

HEBA



4 • 2024



НЕВА

4
2024

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Стихи • 3

Светлана МОСОВА

Ярослава. Козлиная песнь.

*Рассказы из цикла «Картинки конца столетия
с бабочкой в правом верхнем углу»* • 8

Анна ГЕДЫМИН

Мама в своем репертуаре. *Рассказ* • 14

Евгений КАМИНСКИЙ

Стихи • 18

Айгуль АХМЕТОВА

Сольтадас. *Повесть* • 22

Вера ЗУБАРЕВА

Лукоморье у берега. *Стихи* • 117

Макс ШАПИРО

Аллергия. Голубой единорог.

Сон Израиля. *Рассказы* • 124

Алексей МАШЕВСКИЙ

Стихи • 144

Андрей МАКАРОВ

Свобода для мертвых. *Рассказ* • 147

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Анна ЮРЬЕВА

Детство цвета зеленки. Пики. Фишки.

Снежное чудовище. Рассказы из цикла «Городок» • 156

ПУБЛИЦИСТИКА

Верность и свобода. *Диалог писателя*

Александра Мелихова и поэта Вадима Пугача • 164

Дмитрий ТРАВИН

Рождение свободы в Европе. *Часть 2* • 171

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Константин ФРУМКИН

Как литературные критики
оценивают язык писателей • 195

Давид ДАВИДИАНИ

Потаенная символика фашизма.
Неразгаданная кинопритча Андрея Тарковского • 209

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. К 215-летию Н. В. Гоголя. Алла Новикова-Строганова. Вслед за Гоголем... **Заметки постороннего.** К 125-летию В. В. Набокова. Александр Захаров. Говори, Мнемозина! **Заметки энтومолога о Владимире Набокове.** **Искусство чтения.** Марианна Рейбо. Неувядающая классика: рождение нового героя в «золотую» эпоху западноевропейского реализма. **Рецензии.** Владимир Спектор. Время не ангелов — бесов, войны и попкорна... **Книжный остров.** Публикация Е. Зиновьевой • 216

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Харбин — «русский Китеж». Часть 11 • 242

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Наталья Анатольевна ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2024

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

ВИКИПЕДИЯ

Уже у жизни на краю,
За рубежом столетий,
Я Википедию свою
Читаю в Интернете.
Там мой блокадный Ленинград,
И города, и веси.
Там список званий и наград,
И книг моих, и песен.
Там нами снятое кино,
Что не было в прокате,
И погружение на дно
В подводном аппарате.
Там двести шестьдесят статей,
Написанные мною,
И критика моих затей,
И многое иное.
И все мне кажется, друзья,
Хочу признаться честно,
Что это вовсе и не я,
А кто-то неизвестный.
Что над балтийскою водой,
В Балтийске, на причале,
Сейчас стою я, молодой,
И все еще в начале.

ГЛУХОТА

За окном подобьем белых мух
Снег кружится, падая на крыши.
Становлюсь с годами тугоух, —
Ничего почти уже не слышу.

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии им. Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Мир вокруг замолк передо мной,
Как приемник, выключенный кем-то.
Наши отношения с женой
Стали лучше с этого момента.
Замолчало шумное окно,
Никуда от тишины не деться,
Телевизор стал немым кино,
Довоенное напомнив детство.
Грозные замолкли небеса,
И когда в округе стало тише,
Сделались слышны мне голоса,
Что позавчера еще не слышал.
Я с утра их слышу и в обед,
Уши им всегда мои открыты —
Голоса друзей, которых нет,
И подружек, мною позабытых.
Там мои ушедшие года,
И друзья совсем еще не стары.
Юра Визбор шутит, как всегда,
И Булат берется за гитару.
В мире беззвученном моем
С каждым днем те голоса все ближе,
И, проснувшись, думаю о том,
Что, возможно, скоро их увижу.

* * *

В мои полузабытые года,
Когда манила вдаль меня дорога,
Мне не хватало времени всегда,
Хотя его на деле было много.
Куда-то торопившийся опять,
Обремененный многими трудами,
Боялся я все время опоздать,
Что продолжалось долгими годами,
На самолет, на поезд, на суда,
Но убежала в океан вода,
И теплый день сменился холодами.
Теперь другая жизнь у старика,
Поскольку никуда спешить не надо.
Плывут неторопливо облака
Неспешною порою листопада.
И от других в отличие времен,
Что никогда, по сути, не бывало,
Мне кажется, что времени вагон,
Хотя его на самом деле мало.

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Никите Благово

В военные годы лихие,
Где Питер обстреливал враг,
И встали часы городские,
И все погрузилось во мрак,
Порою блокадной проклятой,
Где жизни легли на весы,
На угол Большого с Девятой
Поставлены были часы,
Из дерева и из фанеры.
В блокадные черные дни
Оплотом надежды и веры
Для жителей стали они.
Там в годы безрадостных буден
Отсчитывал время народ,
Чтоб знали и верили люди,
Что солнце победы взойдет.
И в день годовщины блокады,
Что грустных не требует слов,
Осенней порой листопада
Мы вспомним у этих часов
Всеобщее давнее горе
В суровые эти года...
А Питер не солнечный город,
И солнце там есть не всегда.

ДЕНЬ СМЕРТИ ПУШКИНА В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Галине Михайловне Седовой

«Смерть Пушкина, наш скорбный день, —
Подумал я, на снимок глядя, —
Как отмечался он в беде,
В блокадном зимнем Ленинграде?»
Об этом в нынешней стране,
Любовью к Пушкину ведома,
Вчера рассказывала мне
Хранитель пушкинского дома.
В том горестном сорок втором,
Где замерзали кровь и слезы,
В его пустой холодный дом
Пять человек пришли в морозы.
Музей закрыт был в этот год,
И у дверей его квартиры
Они под аркою ворот
Стояли, сумрачны и сиры.

Был двор заснеженным, пустой,
И в тишине печальной той,
Где не давал дышать мороз,
Негромко кто-то произнес,
Что прозвучало, как впервые:
«Красуйся, град Петров, и стой,
Неколебимо, как Россия!»
У Мойки, мерзнущей реки,
Недолго длилась их беседа,
И были очень далеки
Прорыв блокады и победа.

* * *

Над заснеженной зимней Невою,
В поминальный торжественный час,
Моряки из полярных конвоев,
Я опять вспоминаю про вас.
Вы везли самолеты и танки,
Позабыв про усталость и страх.
Кораблей ваших тлеют останки
В заполярных холодных морях.
Не вчера ли, с погодой споря,
К побережьям Новой Земли,
С вами вместе ходили мы в море,
Где на грунте лежат корабли?
Тех из вас, что живыми остались
От торпед и воздушных атак,
Добивает проклятая старость,
Беспощадный сегодняшний враг.
Вас до смерти, куда живой я,
Буду помнить, годам вопреки,
Моряки из полярных конвоев,
Дорогие мои старики!

ЗАВЕЩАНИЕ

Нас связала общая беда,
О которой забывать не надо.
Мы живем последние года,
Дети, пережившие блокаду.
Одного желаем мы всегда,
У гранита Пискаревки стоя:
Чтобы нашим внукам никогда
Не пришлось переживать такое.
И пока в Неве бежит вода
И не стерся пискаревский камень,
Чтобы время это никогда
Грязными не трогали руками.

НАДЕЖДА

Елене Пахоруковой

А я, хоть стать умнее мне бы,
Не верить в счастье не могу,
Пока атланты держат небо
На петербургском берегу.
Пока я помню год далекий,
Над Питером горящим чад,
Покуда пушкинские строки
Еще в ушах моих звучат.
Я буду веровать до гроба,
Как мне порой ни тяжело,
Что победить не может злоба,
Что победить не может зло.
И я в часы надеюсь эти,
Что, проливающая кровь,
Исчезнет ненависть на свете,
Придет всеобщая любовь.
И если я в суровый год,
Двух войн кровопролитных между,
Уйду из жизни, то надежда
Пускай меня переживет.

* * *

Облаков багряный окоем,
Белой ночи светлые миражи.
Я останусь в Питере родном,
У атлантов, возле Эрмитажа.
В синеве мне недоступных дней,
И зимою, и порой весенней,
Песней нестареющей своей
Для других грядущих поколений,
Под ночей июньских серебром,
Привыкая к чаячьему писку,
Я останусь в городе моем,
Получив бессрочную прописку.
Завершивший прочие дела,
Не пугаюсь вечного покоя, —
Лишь бы эта песенка жила
Безымянной песней городской.
О тоске, приятель, позабудь,
О дороге, что осталась сзади, —
Где бы твой ни оборвался путь,
Сердце остается в Ленинграде.

РАССКАЗЫ

из цикла «Картинки конца столетия с бабочкой в правом верхнем углу»

ЯРОСЛАВА

...И когда из изящного японского транзистора прозвучало сообщение о безвременной кончине малолетнего наследника российского престола, Слава, ожидающая в фойе гостиницы деловой встречи, вдруг почувствовала ком в горле и, не справившись с ним, разрыдалась.

Хотя, казалось бы, ну что ей, флегматично зарабатывающей на жизнь продажей матрешек интуристу, было до наследника российского престола? Да ничего, кроме царственного имени «Ярослава». Конечно, само по себе было жаль ребенка, это бесспорно, но... Было еще что-то, нечто, быть может, на генетическом уровне, кто знает... В общем, так или иначе, но Слава заплакала.

Сидящий напротив японец, хозяин изящного транзистора, завидев Славины слезы, встрепенулся.

— Что случилось?!. — спросил он по-английски. — Могу ли я чем-то вам помочь?

Слава не ответила, не умея справиться со слезами, да и чем он мог помочь, чужак, горю Славы, утратившей царя пусть и несуществующего царства, и горю ее неприкаянной страны?!. К тому же, будучи хозяином этого транзистора, он в глазах Славы был в какой-то мере ответчиком за дурную новость.

Однако японец упорствовал. И Слава, немного успокоившись и мобилизовав весь свой английский словарный запас, стала объяснять японцу необъяснимое.

Японец, услышав ответ Славы, был потрясен до глубины души горем этой юной монархистки, ее бурным выражением верноподданнических чувств и, к удивлению Славы, прослезился сам.

Оказалось, что он фанат России и, в частности, русского языка, которым он не владел в совершенстве. Но тем не менее его транзистор был настроен на русскую волну, так как сам язык улаждал его слух и душу, и когда прозвучало траурное сообщение,

Светлана Мосова — член Союза российских писателей, Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов. Редактор и сценарист телеканала «Санкт-Петербург». Автор шести книг и более пятисот телевизионных программ. Сценарист документальных циклов «Это город Ленинград», «Малые родины большого Петербурга». Лауреат премии имени Екатерины Дашковой, двукратный финалист премии «Золотое перо», шорт-лист премии «Новая словесность». Повести и рассказы публикуются в «Литературной газете», журналах «Нева», «Звезда», многочисленных литературных сборниках и альманахах, звучат на радио «Россия». Рассказы переведены на немецкий, датский, польский, словацкий, китайский, турецкий языки. Проза автора изучается в лингвистическом аспекте в Санкт-Петербургском университете.

японец, ни бельмеса не понявший его трагической сути, как раз наслаждался мелодией милой его сердцу русской речи.

Теперь же, устыдившись и осознав, какую тяжелую утрату понесла Слава, японец пожелал вывернуться наизнанку, но что-то сделать для этой юной монархистки. Но — что?!

И недолго думая, он вытащил из кармана пачку денег и протянул их Славе.

Слава остолбенела.

— Что это?! Зачем?! — не поняла она.

— От всей души! — объяснил он.

Слава смутилась. Наотрез покачала головой. Возьмите, горячо просил ее японец, это деньги России! Я выиграл их вчера в казино, но это деньги вашей страны, и я не имею морального права увозить их с собой! Возьмите! От всей души.

Славу, зарабатывающую на жизнь далеко не самым изящным способом, это поколебало. Что-то было не так, какая-то неуместность, неравноценность — Бог его знает, что это было, но Слава твердо сказала:

— Нет.

И тогда японец пригласил ее на русскую оперу.

— Может, на балет? — предложила Слава.

Нет, нет, только в оперу! В балете не поют, а ему желательно слушать русскую речь. Оперу и Славу. И пусть Слава расскажет о себе, кто она такая и чем занимается. Слава подумала и ответила:

— Бизнесом.

— О! — одобрил японец. — А каким?

И Слава опять смутилась. Ну не то чтобы смутилась, а так... Потому что она могла быть ученым, инженером, строить корабли и верфи, она могла стать знаменитой спортсменкой и держать олимпийский факел (ей бы пошло!), она могла быть кем угодно, потому что у нее были хорошие гены. Но время не востребовало ее талантов. Верфи не строили, корабли и подавно, на дворе стояли девяностые, и этим все сказано.

— А кто ваши родители?

— Папа — ученый, изобретатель.

— О! — с уважением сказал японец. — Вы из богатой семьи.

Слава промолчала, не уточнив, что из всех богатств на земле безработный ученый и изобретатель владел лишь одним — духовным.

А какая ее любимая книга?

Учебник физики.

— О-о?! — японец был потрясен.

А ни к чему это — над вымыслом слезами обливаться. Вот книгу о Ван Гоге Слава прочла с большим вниманием: потому что Ван Гог был. А Татьяны Лариной не было. И Золушки не было. Зачем же переживать зря и портить нервы?

Японец смотрел на Славу с восторгом. Мечта его сбылась. Не то чтобы японец думал, что по Невскому бродят сплошные Татьяны Ларины, но какое-то торжественное ожидание было. И вот — Слава! «...Молчалива, как Светлана, вошла и села у окна...»

И Слава вошла в образ — образ был по ней, лег, как платье-экслюзив, нигде не топорщилось и не жало. А может, это и был ее настоящий образ? И Татьяна Ларина все же была?

И они бродили по Летнему саду, по Невскому, по Рождественским улицам, а на следующий день японец улетел, оставив у консьержа Славе конверт. В конверте была та самая пачка денег и записка: «Дорогая Ярослава! Я бесконечно благодарен вам

за город, который вы мне подарили, и это навсегда останется в моей душе. Мне очень хотелось бы сделать и вам на память подарок, но я боюсь ошибиться в выборе, поэтому оставляю вам право выбрать самой. Пусть он принесет удачу и счастье».

И Ярослава подарила себе от японца Париж. Конечно, Париж.

А Париж оказался кулоном с секретом: Слава открыла, а там Гера.

Гера был из семьи музыкантов. У него был абсолютный слух, и все языки он схватывал на лету. С таким талантом он мог бы стать прекрасным переводчиком, известным дипломатом, на худой конец просто шпионом. Но он притворялся агентом по продаже недвижимости, менеджером и даже брачным маклером. А что? Дело нужное, живое, женихи искали по белу свету невест, невесты женихов, и Гера успешно подсоблял Гименею. И Гименей оценил работу, подсуетился и в конце концов за верную службу наградил Геру, посадив его в самолете рядом со Славой.

Слава, кстати, была в статусе невесты. И так понравилась Гере, что Гера послал всех клиентов и предложил Славе себя.

Славе тоже понравился Гера. Он был похож на Розенбаума, как если бы тот бросил гитару и с головой ушел в коммерческие структуры, не отягощенные вокалом. Но важна была сама порода. А порода была хорошая. Дорогая.

В общем, они поженились.

Потому что когда мы любим человека, прочла где-то в художественной литературе Слава, мы видим его таким, каким его задумал Бог. И это было точно и правдиво, как закон о всемирном тяготении.

Такой подарок преподнес Славе японец.

...И вот она сидит на скамейке в сквере, смотрит на свою играющую в песочнице доченьку с диадемой в пышных волосах, маленькую царевну, и — думает... О чем? О времени и о себе. А может, о доченьке. Что она унаследует чистый кристалл таланта давших ей жизнь родителей — абсолютный музыкальный слух своего отца и выдающиеся способности к физике своей матери. И время не потребует от нее коррекции и искажений ее родовых талантов, и счастье ее будет прочным, как храм Спаса на Крови.

И только подумать, что всего этого могло и не быть, если бы в то далекое утро мир не облетела трагическая весть о преждевременной кончине наследника российского престола...

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ

Такое круглое это имя — «Лора»...

Когда-то в юности ей нагадали, что жить она будет у моря, и это показалось тогда забавным Лоре, потому что она и так жила в Одессе, а Одесса, как известно и без гадалки, стоит у моря.

Ах, Одесса!..

Одесситки все пышные, зычные — палец в рот не клади («Чего ржешь?! Зубы простудишь!»), смелое сочетание цвета в нарядах (или — несочетание, но все равно — смелое!), непосредственность и неодолимая тяга к общению («Дама, что с вами, вы плохо выглядите!» — «На себя посмотри!»). Приезжий хохочет, рискуя простудить эти самые зубы и удивляя одесситов, для которых юмор и острое слово обычны, как запах свежей рыбы, пропитавший воздух Одессы.

Теперь Одесса не та. Но одесситы, где б они ни были — те же. Одесский дух не выветривается даже через годы.

Вот Лора, например.

По-южному яркая, пышная, разноцветная — как праздник, как декада культуры Одессы в бледнолицем Питере: косметика — монументальная роспись, одежда — взрыв цвета, на руках — кутерьма браслетов, своей массивностью наводящая на мысль о самообороне: шарахнешь такой дланью нахала — и дух вон! Равнодушных взглядов не было. Может, и были, но мы о них ничего не знаем. (И знать не хотим.)

— Ты плохо выглядишь, — обычно говорит Лора при встрече. — Что с тобой? Ты не болен?

Как многие пышные женщины, Лора считает, что все остальные особи непомерно худы и бледны, и она переживает вслух, что несчастный вот-вот обломится — прямо на ее, Лориных, глазах. Одесса всегда была столицей юмора, однако никогда не была столицей такта и хорошего тона, но Лора по этому поводу не переживает.

Приятелю после слов Лоры действительно становится не по себе, и Лора незамедлительно дает ему советы, коих у нее всегда было великое множество.

В частности, Лора ведала, как остановить катастрофический процесс выпадения волос, которого так боятся мужчины — блондины и брюнеты, умные и неумные, с юмором и без, — но никто почему-то не желал мазать свою не защищенную волосами макушку голубиным пометом. От астении надо было есть мухоморы. И как можно больше. Не верите?! А вы попробуйте!..

Но и пробовать никто не желал. Козлы.

«Козлами» Лора называла особей мужского пола. Всех. Без исключения. Разница была лишь в интонации: от осудительной до товарищески нежной.

— Ну, ты козе-ел! — говорила Лора, и если это был новенький, то любезно добавляла: — Только ты не обижайся.

У новичка натурально шок. Но человек привыкает ко всему — привыкали и к Лоре. Потом даже стало нравиться, ибо «козел» символизировало некую степень близости, потому что, понятно, чужому такого не скажешь. (Хотя Лора может.)

Причем сдачи Лоре за «козла» никто не давал — да и Лора бы не взяла. А если и намечались смельчаки — они тут же изгонялись в стан врагов, и возврата оттуда не было, все.

Несомненно, в назывании всех «козлами» было скрыто не очень скрываемое отношение Лоры к человечеству (мужчинам, в частности) — ее, скажем так, незавышенная оценка. И даже на своих знаменитых картинах (а Лора рисовала исключительно обнаженных красавиц в солнечных бликах!) если и появлялся мужской индивид, то обязательно козел. Критики видели в этом связь с античностью. Новаторство и традиции.

...Впервые Лора предстала моему восхищенному взору на сборе грибов. До этого были легенды и мифы о Лоре, передаваемые из уст в уста козлами и козлихами. Например, как Лора (чемпион на Фонтане по ловле бычков!) таскала из Черного моря одну рыбку за другой, пока нежная Люся валялась в обмороке на дне лодки, но не взирая на такое неудобство (Люсю, в смысле), Лора держалась за удочку до победного конца. Или же как Лора украшала свой пентхаус глыбами камней, самолично вытаскивая их из пучины Финского залива и волоча на свой восемнадцатый этаж. «Ка-ка-я женщина!!!» — в восторге кричали мужчины. Козлы.

Ну так грибы.

А надо сказать, что сбор грибов для Лоры — не развлечение, а дело серьезное: добыча питания, заготовка продуктов на черный день. Представляется это так: наводне-

ние, пожар, землетрясение, кто куда, а Лора к бочке с грибами. Возможно, это было на генетическом уровне, установка, переданная Лоре старшими поколениями, хлебнувшими лиха на пути свершений и созиданий. Так или иначе, но в доме у нее не лентяйничали три холодильника, и Лора принимала гостей по-южному широко, щедро, да и по Лоре было видно, что пища идет ей впрок («Вот гадина!» — должна сказать здесь Лора).

Грибы же были особой страстью Лоры, и вид у нее в лесу был эффектный и устрашающий, как перед боем: малиновый газовый шарф на шее, сапоги, черный прикид, сигарета в красных губах, три корзины, нож за поясом. Грибы, завидев Лору, должны были не думать о пощаде, а сразу сдаваться в плен.

— Ты, Лоркин, как Маленькая разбойница из «Снежной королевы»! — сказала тогда нежная Люся.

Лора выпустила дым из ноздрей, и все промолчали, не став развивать тему, потому что если Лора и напоминала разбойницу, то очень большую.

В следующий раз мы встретились на крестинах в церкви. Лора предстала в дорогих мехах и, небрежно скинув их на меня, воззрилась на подметающего пол послушника с огромным фингалом под глазом.

— За веру, должно быть, пострадал, — подумав, сказала Лора.

Батюшка, крестивший дитя, был красив, элегантен, статен, одна беда: дергалась щека, и Лора все крепилась, как бы не дать ему рецепт, народное средство, от тяжелого недуга, а рецептов на все случаи жизни, как мы уже знаем, у Лоры было великое множество.

Батюшка предложил крестить новорожденную именем «Ариадна», и все одобрили, но практичная Лора спросила:

— А что оно означает?

— Верная в браке, — был ответ.

И Лора запротестовала:

— Ну, не-ет!.. Зачем это надо?! Девочке?! Жизнь сложна, да мало ли... А вдруг попадется козел? И что, храни ему верность?! Она еще нас, чего доброго, проклянет!..

Красивое имя «Ариадна» было решительно отвергнуто.

Время спустя я посетила Лору.

— Ты плохо выглядишь, — приветствует меня Лора. — Заходи.

А Лора выглядит, как всегда, хорошо: грозди серег свисают с ее ушей, не ровен час — рухнуть, покалечив плечо; в руках, густо перебинтованных браслетами, молоток и гвозди — кому-то, может, и мешали бы эти сокровища делать ремонт, но не Лоре: Лора без них как голая. Незащищенный человек. (А мир жесток, и Лора должна быть защищена.)

— Рада тебя видеть, — без энтузиазма говорит Лора. — А думаю, какой козел звонит в дверь...

А козлов много: стан друзей вновь смешался со станом врагов, раня своим вероломством гордую, высокомерную и нежную Лору, но где-то, намекает Лора, у нее есть настоящие друзья, верные, достойные, и с ними, мнится, Лора чутка, мягка и называет их не иначе как «леями и газелями»... Мы, козлы, их не стоим.

Да, ну так о гадании.

Предсказание гадалки сбылось в лучшем виде. Лорин дом стоит в тридцати метрах от набегающей волны Финского залива, сама же квартира Лоры — дендрарий, оазис, вечное лето... Кругом ее прекрасные картины, на которых возлежат красавицы в морских брызгах, щебечут райские птицы, а вокруг пасутся козлы (это гости).

Для приближенных — особая честь! — выход на крышу: там сад-огород, похожий на гигантскую икебану, где рядышком чудно уживаются пионы и сельдерей, петрушка и сад камней — тех самых, вытащенных из пучины. И на фоне всего — Лора, богиня плодородия! — гости просто подавлены красотой. А небо горбушкой, солнечный шар, и птицы задевают крылом!..

— У тебя есть старая крупа? — спрашивает Лора.

— Не знаю... А зачем тебе?

— Для птиц.

Душа переполняется восхищением: прекрасная Лора! Кормит птиц!.. Как это красиво должно быть: небо от края до края, водяная гладь, солнце, пионы, и Лора, как Деметра, стоит над городом, средь облаков, и кормит Синюю птицу!..

— Прикармливаю, — уточняет Лора.

То есть?

— Ну а где брать удобрение?! А тут птичий помет — селитра все же.

Вот, значит, как: птички птичками, а селитра селитрой. Удобрение для петрушки, макушки и прочих очень важных вещей.

— Завтра мне не звони, — на прощание говорит Лора.

— И не собиралась. А что будет завтра?

— Фильм «Фантомас». Все серии. Я отключу телефон.

Хохочу.

— Чего ржешь, зубы простудишь, — говорит Лора.

— Я напишу о тебе рассказ, Лоркин, можно?

— Не надо, — твердо отвечает Лора. — А то мы поссоримся.

Прошло много лун.

Жизнь любого человека — это древнегреческая трагедия, потому что кончается смертью. А «трагедия» в переводе с мертвого языка — это «песнь козла».

И вот мы стоим и поем козлиную песнь. Тебе, Лора. Ты красива на последнем земном ложе, ты антична, но...

Тут что-то не так.

Чтобы гордая, властная, своенравная Лора вдруг застыла в кротости и смирении — этого не может быть!

— Вы что, с ума сошли?! — должна была, восстав с одра, вскричать Лора. — Вот козлы!

Но она впервые молчала, возвысившись над нами, как и мы в положенное время возвысимся сами над собой.

Прощай, Лора.

Свидимся.

МАМА В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

Рассказ

Господи! Неужели хотя бы сын? Этот ябедник, маменькин сынок, застенчивый троечник... Впрочем, что он знает о собственном сыне? Откровенно говоря, он вообще до сих пор не особенно ощущал себя отцом — ни когда тот был пухлым веселым карапузом, ни когда превратился в неприятного прыщавого подростка, ни когда вдруг заявился просить денег — возмужавший и в точности скопировавший ее нарядные краски: каштановые волосы, каштановые глаза, матово-белую кожу. В общем, не то чтобы проглядел — и не глядел вовсе. А парень — вот, пожалуйста, вырос — и смог, вырвался! И он в который раз перечитал выученную наизусть эсэмэску: «мама в своем репертуаре. приеду один. алексей».

Он влюбился в нее мгновенно, при первой встрече. И вся его жизнь, жалобно взвизгнув тормозами, сразу изменила направление. Прежняя семья, прежние друзья, прежняя судьба растворились в дымке на горизонте. Боялся ли он? Конечно, боялся. Ей двадцать восемь, ему — на пятнадцать больше. Она как-то особенно, изысканно, завораживающе красива. Но главное даже не в этом. Она дважды была замужем, и ни разу брак не продлился более полугода. И еще: она считает себя композитором. Последнее обстоятельство казалось до того комичным, что он, дурак, совершенно не придавал ему значения. Увы, человек удивительно туп и инертен. Туп! И инертен! Способность делать хоть какие-то выводы из очевидных фактов, без сомнения, может быть приравнена к гениальности. А он — да, теперь уже можно без боли признаться себе — он оказался не гением. Впрочем (сразу вмешивались успокаивающие голоса), можно ли проявить гениальность, если ты — политический обозреватель всем известного, респектабельного, подчеркнуто скучного еженедельника? Тут нужны другие качества: дипломатичность, точность формулировок, связи. У него все это было. Он писал свои обзоры в тысячу раз лучше, чем это делал бы любой другой журналист. В редакции на него молились. Читатели считали умным и острым на язык. А тут — эта никому не ведомая композиторша.

Он не привык отступать от однажды намеченной цели. Пригласил ее в модный ресторан, потом напросился в гости и тут же постарался завладеть всем сразу: и сердцем, и телом, и местом в доме. Она, к счастью, не сопротивлялась. Уже через месяц он собрал чемодан и переехал в ее неухоженную квартирку. Единственной ценной

Анна Гедымин — поэт, прозаик. Окончила МГУ, факультет журналистики. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Арион», «Континент», «Юность» и др. Автор восьми поэтических и двух прозаических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Международной Волошинской премии в номинации «За сохранение традиций русской поэзии», премии имени Анны Ахматовой журнала «Юность», премий «Литературной газеты», журналов «Литературная учеба», «Дети Ра», «Зинзивер».

вещью здесь было какое-то особенное пианино. А сама она смотрела на него восхищенными блестящими глазами и, кажется, не могла поверить в собственное счастье. Словом, поначалу все это даже разочаровывало как слишком легкая добыча. И он, дурак, расслабился.

Меж тем композиторство неприятно вылезло на первый план. Сначала договорились, что она будет музицировать, когда он на работе. Но потом — пошло-поехало. То ее озаряло среди ночи, то необходимо было записать тему, которую будут аранжировать прямо завтра, так что уж потерпи, надо успеть... Он начал ревновать ко всей этой дури, устраивать сцены из-за вертлявых музыкальных мальчиков — ноль внимания («Успокойся, они же педики!»). А потом у него возникла совершенно честная, неподдельная аллергия на ее музыку! Он начинал до слез зевать и тут же оглушительно чихать. А если музыка не смолкала, надвигалась тошнота. И он опрометью выскакивал из дому. Уезжал на сутки, на двое — бесполезно. Не помогали даже угрозы — она упрямо продолжала.

Оставалась единственная надежда — материнство. Даже приятели уверяли: родит — вся эта дребедень забудется. Тогда он потребовал ребенка, хотя уже имел двух дочерей от предыдущих браков и, если честно, не испытывал к ним ни малейшей привязанности. Вообще что касается чувств, то он питал их только к ней. Кажется, впервые. Или — впервые с такой остротой. Его все в ней восхищало. И все настораживало. Понимает ли она, ЧТО он ради нее сделал? Какую чудесную семью, какой обустроенный быт бросил? И способна ли оценить, насколько он привлекательнее, интереснее, умнее этих ничтожеств — ее музыкальных «коллег»?

Она была способна. Она искренне пугалась его уходов и неподдельно страдала от его сцен. Но музицировать не переставала.

Кажется, на третий день после возвращения из роддома она заявила, что ее впервые пригласили на телевидение и она никак не может отказать. «Я туда и обратно, на такси! А ты только покорми Алешу из бутылочки!» Он воспринял это как предательство. «Ребенку неделя, а ты хочешь его бросить!» — «Но ведь с тобой, ты же отец!» Он хлопнул дверью и на неделю уехал к другу-алкашу. А когда вернулся, выяснилось, что у нее пропало молоко и что она залила соседей, оставив детские вещи полоסקаться в ванне. Но зато и на телевидении не выступала. Он заставил ее извиняться, каяться в невнимании к нему и сыну. И тут впервые, с неожиданным удовлетворением, заметил в ее каштановой шевелюре седую прядь.

Он почему-то, дурак, подумал, что одержал победу. Не тут-то было! Через неделю, сидя в редакции, увидел ее на экране телевизора, в прямом эфире. Кинулся к телефону — с Алексеем сидела соседка.

Он трижды в жизни сталкивался с настоящей стихией. Первый раз — когда на милом черноморском побережье, в крошечном побеленном домике, уже засыпая, вдруг ощутил резкие и неумолимые толчки землетрясения. Длились они какие-то мгновения, но этого оказалось достаточно, чтобы навсегда понять: смерть — это вот такой медленно нарастающий рокот. И первобытная бездна неподвижной ночи. И собственное разрывающееся от ужаса сердце. Много лет спустя, проваливаясь в крошечный сон наркоза, он все это вспомнил. Точнее — нет, не он сам, а какое-то пульсирующее ядрышко в его измученном болью организме. Вспомнило — и рванулось из последних сил. И вцепилось в ускользающий, холодный, стерильный свет. И выкарабкалось из тьмы. И он следом — дрожащий от слабости, с мокрыми от пота волосами, нелепо улыбающийся синими губами.

В третий раз стихия явилась в ее облике. С ней бесполезно было сражаться — она сметала все преграды на своем пути. Только раньше это был путь к нему, а теперь — от него.

Они, конечно, расстались. Еще несколько лет ему удавалось, неожиданно появившись из-за поворота, выжать из этих глаз несколько бледных слезинок. Но с каждой встречей она становилась все более деловитой и торопливой. За ее спиной почти физически ощущался объем новой жизни: какие-то чужие люди, события. Ее композиторская карьера стремительно развивалась, о ней начали высказываться известные музыковеды, всерьез называли талантливым мелодистом. А сами мелодии лились теперь едва ли не из каждого утюга. И тогда он понял: пора исчезнуть. Что и сделал — без боли, а скорее, сладко, с удовольствием. Все еще надеясь, что хоть немного ее этим огорчит.

Тем временем его собственная карьера неожиданно рухнула. Респектабельный еженедельник влился в крупный издательский концерн. Новый молодой редактор привел свою команду, в которой он не увидел для себя достойного места — и, несмотря на вялые уговоры, подал заявление об уходе.

Податься ему было решительно некуда. Никаких идей и никаких сил бороться за новое заметное место тоже не было. Да и стимулы отсутствовали — средства на безбедное существование имелись. Оставалось решить главную задачу: как жить дальше? Для чего? И с чего начать?

Именно в этот момент в глаза бросился кричащий ядовито-желтый баннер: «Хочешь почувствовать себя свободным? Купи велосипед!» И он, дурак, купил.

Спустя четыре месяца он сидел посреди своей огромной квартиры, заваленной пустыми бутылками и прочим хламом, включая чертов велосипед, все еще новенький и блестящий. Это, пожалуй, были самые жуткие месяцы его жизни, слившиеся в единый кошмар. Какие-то малознакомые люди, кабаки, нескончаемые бабы. А в промежутках — панические попытки начать нормальную жизнь: шоссе, велосипед, мелькающие по обочинам деревья, боль в мышцах...

И тут на большом экране постоянно включенного телевизора, словно в назидание, появилась она. Он придиричиво и с досадой вгляделся в ее лицо. Нет, она, конечно, постарела. Но как-то гармонично, миловидно. И явно недостаточно.

Он замычал, как от боли, и понял: нет, больше в одном городе, в одной стране с ней и этой ее музыкой ему оставаться нельзя.

Так он оказался в тихом приморском городке, в уютном доме, окруженном фруктовым садом. По утрам его будило пение птиц. Долгими вечерами он любил смотреть на огонь в камине и читать толстые книги, привезенные из Москвы. Единственным живым существом, разделяющим его досуг, был хомяк, подаренный маленькой дочкой соседей.

А еще он старался вести здоровый образ жизни. И в последнее время увлекся пространившимися в сети психологическими тренингами.

Вот и сейчас, вернувшись с прогулки к морю, он выпил стакан сока и, почувствовав внезапный прилив сил, сделал десять приседаний. Обомлевший хомяк следил за этим из своей клетки, приподнявшись на задние лапки и молитвенно сложив передние. Насыпав хомяку в кормушку зерна, он вышел на террасу и опустил в кресло. На душе было пустынно и хорошо. Ну вот, а теперь остается ответить на последний, главный вопрос: что обычно происходит с такими, как ты?

И вот тогда — словно в ответ на все его вопросы — судьба послала пандемию...

Сразу все изменилось. Весь мир и даже его маленький городок настороженно за-
тихли. И тут же со всех сторон посыпались новости, одна пронзительней другой. Ты-
сячи зараженных, сотни погибших, масочный режим, карантин, неизвестность...

Лично в его жизни практически ничего не изменилось, только в Интернет, в но-
востные ленты, он стал заглядывать чаще.

А однажды на его электронную почту пришло письмо от сына. Алексей сообщал,
что они с матерью приехали в соседний город отдохнуть — и теперь из-за каранти-
на не могут вернуться в Россию. Но это ничего, у них все в порядке, они ни в чем
не нуждаются и здоровы. Но ведь можно было бы повидаться!

Он не смог ответить сразу. Слишком гулко забилося сердце, и зазвенело в ушах.
Чтобы успокоиться, он обошел весь дом — от кабинета и гостиной на первом эта-
же до спальни и гостевой комнаты на втором. Потом спустился в сад, придирчиво
осмотрел и его. Все выглядело вполне респектабельно и даже романтично. Достой-
ное пристанище еще не старого господина, живущего в свое удовольствие. Ей должно
понравиться. Она наверняка поймет, как у него здесь хорошо. И даже, может быть,
захочет остаться. Может быть, она для того и приехала. Даже до конца не отдавая
себе в этом отчет...

Он ответил сдержанно, но приветливо: мол, будет рад видеть, ждет. А потом
не спал ночь, то предвкушая их приезд, то пугаясь. А что если эта музыка, вся ее
новая жизнь разрушит его тихий и привычный мир? Вдруг она посмеется над его
жалким одиночеством? Опять предаст, унизит?

А дальше началась череда недоразумений: сын то называл дату их визита, то в по-
следний момент отменял. Потом оказалось, что им сначала нужно куда-то еще. А тут
вдруг забрезжила возможность их экстренного возвращения в Россию.

И тогда он понял, что она тоже колеблется и боится их встречи. И еще больше за-
паниковал: а вдруг она не приедет? Вдруг не пустит Алексея — чтобы тот не встал
на его сторону? Опасается, что сын привяжется к отцу?

И вот — эта эсэмэска от Алексея: «мама в своем репертуаре». Такая доверитель-
ная, ироничная эсэмэска. Молодец какой сын! Она не пускала — а парень настоял!
Значит, еще не все потеряно. Пусть сначала Алексей. Ему здесь понравится! А потом
и она НЕИЗБЕЖНО появится. И ПОЙМЕТ, ЧТО ЕМУ И БЕЗ НЕЕ ХОРОШО. И ЗА-
ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ...

Алексей появился именно так, как он и ожидал: легкий, улыбчивый, очень взрос-
лый. Приобнял отца, похвалил сад, изумился хомяку. Удобно устроился в кресле на ве-
ранде, охотно выпил вина. Разговор полился естественно и доверительно, будто нико-
гда не прерывался. И вот уже заходящее солнце ярко осветило кроны деревьев, и гравий
дорожки, и далекое море...

И тогда наконец он выбрал момент и, дрожа от нетерпения, и брезгуя, и стесняясь,
и сам себе напоминая соседку-сплетницу из детских кошмаров, небрежно спросил:

— Ну, что там мама?

А сын, такой красивый и впервые в жизни близкий, совершенно свой, оживлен-
но ответил:

— Мама в своем репертуаре. Опять подобрала какое-то ничтожество и теперь пы-
тается сделать из него человека. Она же святая, ты знаешь...

Евгений КАМИНСКИЙ

* * *

Вот-вот и закончится эра,
где правили бал дураки.
И с неба, как красные кхмеры,
сойдут серафимов полки.

Мечом и саперной лопатой
с землею ровнять не спеша
мир этот, кривой и горбатый.
Не стынет от страха душа.

Не ноет от ужаса сердце.
Хоть спрячусь в бетон Мажино,
от участи мрачной — не деться,
не скрыться, когда суждено.

Не истинно было, а мнимо
содружество истин и вер
и жизнь против правды во имя
каких-то всеобщих химер.

Я, право, не должен был вместе,
когда всех тянули на дно...
Но вышло — на сто и на двести
со всеми вокруг заодно.

Пока соблазняла эпоха,
лукавому мнилось уму:
когда здесь совсем станет плохо,
пожалуй, сбегу на Луну.

Как будто там больше не страшен
и к роду людскому терпим
не знающий страха, как рашен,
и лютый, как зверь, серафим.

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор одиннадцати книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», «Плавучий мост», «Зинзивер», «Дружба народов» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Лауреат Пятого всероссийского конкурса гражданской лирики им. Некрасова (2021), победитель Четвертого международного тургеневского фестиваля «Бежин луг» в номинации «поэзия» (2021) Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Прорабы всеобщего рабства
учили меня понимать,
что ради свободы и братства
ест чад своих родина-мать.

Едва ли померкнет светило,
узрев этот яростный пир.
Кровь Рима испивший Аттила
как раз тем и славен, вампир.

Во имя прогресса — и только...
Такая в кавычках корысть.
Мол, тех, от которых нет толка,
не грех, может быть, и загрызть.

Мол, всё лишь для общего блага,
для счастья живущих опричь...
Я знал, что попался бедняга,
но даже не бился, как дичь.

Не все ж угрожа... да сажая?!
Ведь, право, полезно грядущу
слегка проредить, урожая
рекордность имея в виду.

Не выл, не давил им на жалость.
Ну что им какой-то Орфей?!
И им лишь меня оставалось
над дверью прибить как трофей.

Не все же питать себя щами?!
А если уклад вековой
сломать, и хрустеть тут хрящами,
да костью стучать мозговой?

Иль выслать в Сургут. Это, впрочем,
не смерть для того, кто живуч,
пусть ночь там чернее, чем в Сочи,
а жизнь горячее, чем сургуч.

* * *

Я сам отдал на все права
в процессе стихотворчества.
И вот — бесправней, чем трава —
ни имени, ни отчества,

не более чем проводник,
но все же и не менее,
уныло головой поник
над бездною забвения.

Я вещество ушедших лет.
Моих стихов величество
и радо б вдруг увидеть свет,
да вышло электричество.

Обиды мышь внутри шуршит,
вьет кольца меланхолия...
боюсь, тепла моей души —
на пару строф, не более.

Ах, тут бы вспыхнуть на века.
Но нет, не загорается.
Лишь память рабски, как зэка,
скрипит пером, старается.

Вдруг Тот, кто взял на все права,
и волен все поэтому,
вновь в топку жизни, как дрова,
швырнет судьбу поэтову?

* * *

Беснуется полгода тут зима,
всю душу выев.
Когда же в огороде бузина
и — к дядьке в Киев?

Прицепится в начале октября
и вплоть до мая
жует, а ты живешь, по сути, зря —
комедь ломая.

Полгода все же слишком для зимы.
А вот для лета,
когда земные дали зелены,
а плоть раздета,

когда к тебе забыться средь полей
пришла девица,
а ты все пишешь, пишешь, дуралей,
забыв забыться,

когда скрипит, впуская на чердак,
худая дверца
и солнце льет сквозь щели, но никак
не отогреться.

Чтоб отогреться, честно говоря,
хоть мало-мальски,
я б упразднил недели января
и срок февральский.

Чтоб жизни вкус почувствовать теперь,
по крайней мере,
я б все, что — холод, выставил за дверь
и запер двери.

Конечно, жаль и шубы, и манто,
и даже лыжи
стоймя за печью русскою, зато
так проще выжить.

* * *

Теперь иные предпочтения:
не смей, не думай, не страдай,
кропай безделицу для чтенья,
а если против — пропадай.

От века глупо все ж, как манны,
ждать вопля: Лазарь, выйти вон.
Не завопит. Ты гость незванный.
И значит, брат Лаокоон,

рви змия лютого скорее.
Не всем же пьянство на роду?!
Клеймят тебя с твоим хореом?
А ты их всех видал в гробу

с их нерифмованною фальшью,
с их зашифрованным нулем...
Не будешь больше в рифму дальше,
и мы, как мухи, перемрем.

У них всё в книжках понарошку:
и крик души, и сердца боль...
А ты за черной правды крошку
здесь умирать всерьез изволь.

Они всегда для славы голой,
а ты для вечности. Сиречь,
чтоб мысль кричала. И глаголом
не получалось пренебречь.

* * *

Что тебе смерти страшиться,
если при жизни гнездо
свила души твоей птица
в слове любом от и до?!

Что тебе даже Иуда
с фактами в зале суда?!
Выкинут если отсюда,
ты ведь уже навсегда

Если и сам ты, положим,
уж не живешь, а блажишь
что-то на птичьем, проходим
в парке прикинувшись лишь?!

в номере, кажется, пятом,
в гневном эссе «На посту»
синедрионом распятый...
Не пустовать же кресту?!

СОЛЬТАДАС

Повесть

Ночь бледнела и выцветала, выталкивая из своего чрева скукожившийся хворый промозглый день. Он мешкал со своим выходом из-за кулис. Ему вовсе не хотелось быть проткнутым световыми рапирами. Он совсем забыл, какой сезон, не решил, будет ли он сегодня купаться в слезах или ловить ртом солнечных зайчиков. Он разевал рот, протирал глаза, бессмысленно озирался по сторонам и напоминал невинное дитя, разбуженное прежде срока жестокими родителями. Но не было у него ни родителей, ни няnek, ни душевных связей, ни близких отношений. Может, именно поэтому день начинал свое присутствие так явственно и ощутимо прежде всего в этом месте, ни в каком другом, а уже потом, как вязкое, придавленное скалкой тесто, раскатывался по всему городу, прокрадывался во все закоулки, забивался в щели, покровительствуя суете, усилию, напряжению и раздражению. Означенное место — вокзал. Здесь судьбы людей сталкивались, упруго отскакивали друг от друга, а порой и сплетались, как пути в железнодорожный узел, — так же беспорядочно, но совсем не так прочно, и разветвлялись, как кровеносные сосуды, как пролившаяся на неровной поверхности густая жидкость.

Осунувшаяся, словно ночная бабочка, привокзальная площадь еще в полудреме: не наводнена автомобилями и общественным транспортом, слегка расслаблена и рассеянна, но уже в предчувствии тревоги: видимо, и в ее недрах вырабатывается свой кортизол. Да и как не тревожиться, когда по твоему брюху стучат и скребут дворничьи лопаты, сдирая с него единственный покров — ледовую корку, взамен забивая поры химическими реагентами! Эта неорганическая плоть только начинала почесываться от копошения обитающих на ней паразитов: пока еще немногочисленные пассажиры с встречающими и провожающими сновали туда-сюда, чем-то напоминающая сонных разомлевших мух в натопленной деревенской избе, гулко врезающихся в оконные стекла.

Бестолковые фонари-истуканы зачем-то продолжали гореть, понутив головы; высокие одноглазые дылды, почти не ассоциирующиеся с циклопами, они испускали не свет, а туманную тоску, припорошивающую тонкой пылью тяжелый воздух. Вывески воспаленно и нервно подрагивали неоновыми огнями — эти были энергичны, бойки и после бессонной ночи продолжали мигать и переливаться напористо и вызывающе. Город повесой отгулял очередную лихую ночь; в очередной раз он был опустошен и удручен, раздражен и противен сам себе. Но, уподобившись населявшему его чело-

Айгуль Разитовна Ахметова родилась в Воркуте (Республика Коми). Высшее экономическое образование получила в Уральском федеральном университете. Публиковалась в «Новом журнале» (2023). В 2012 году заняла первое место в литературном конкурсе им. Б. Пастернака (номинация «Проза»), организованном Уральским федеральным университетом. С 2024 года живет и работает в Москве.

веку, не подавал виду: тяжело и грузно почивал на чужом ложе, раскинувшись вульгарно и размашисто, кряхтя, без стеснения справляя физиологические потребности, не гнушаясь мыслью о важности своего существования. О том, что он дышал, а иногда протяжно и глубоко вздыхал, напоминали то там, то сям вырывающийся из-под решеток ливневых стоков тонкий, словно газовый, тюль, пар, где-то внизу, ближе к преисподней; и густой слоистый дым, выкуриваемый легкими заводов, — тот сразу устремлялся ввысь, отравляя климат райских куш. В утренней прозрачности резче проступали многочисленные пути — провода, которыми город был обвязан, перетянут и обвешан. Впрочем, город был таким, каким его хотели видеть. Таким город, не сменивший ночную рубашку, застиг наш герой.

Но и герой наш, хоть и бодрствовал, был слишком погружен в себя, чтобы заметить настроение такого необъятного по сравнению с ним исполина. Хотя... наш персонаж был довольно внимателен и чувствителен к внешним раздражителям. Являл он собой молодого человека двадцати трех лет. Всего лишь случайный прохожий, скользнувший мимо, не разворачивая паспорта и никому, кроме проводника, не предъявляя (немного погодя) своего билета. Итак, имя его — Даниил, звучит основательно и твердо, годится на то, чтобы быть первым колышком, пригвождающим к любой маломальски ровной поверхности; как хороша здесь буква «Д»: двумя своими стопорками напоминает она неуклюжую башню, да, накрененную, но вовсе не собирающуюся куда-то заваливаться — просто она распределила свой вес так, как ей удобнее. С именем разобрались, черед за фамилией. Совершенно определенно она начинается с буквы «А», ибо призвана роднить нашего героя или его судьбу со звездой (необязательно той, что болтается в небе, — ничуть не хуже и звезда, обитающая на дне морском, — если не лучше: по крайней мере, она не упадет). И еще одна буква — «Л», ее главное назначение — напоминание о том, что такое быть смешным. Правда, в том шрифте, которым она набрана, вся ее особливость, инаковость, насмешливость утрачены; но вы взгляните на нее в какой-нибудь азбуке, алфавите, дабы узреть ее истинную личину — «Л»: разве вам не мерещится длинная штанина и голая нога под ней, распоясанность, бравада и шегольство, присущие артистическим натурам, паяцам, фиглярам, словом, тем, кто сознательно выставляет себя на всеобщее обозрение? Пусть эта буква больше ассоциируется не с невольным объектом насмешек, а с арлекином, ничуть не страдающим от своей натуры, использующим смех как инструмент власти над толпой, готовым рассмеяться в лицо любому, кто смеется над ним. Нам того и надо! — нам надо, чтобы даже то, что досталось герою по наследству, приложилось к нему, приклеилось помимо его воли, над ним же и потешалось, служило подковыркой, напоминанием о том, что он — из плеяды «маленьких» и «смешных» людей, чужеродных, пришельцев, не умеющих устроить самих себя на нашей планете. Должны же они где-то быть и в наше время, «смешные» люди — не вымирающий вид животных, они не неандертальцы, они не кончаются, сколько бы ни старались истребить самих себя.

Фамилия нашего героя была — Авдалов. Имя — это слово. Слово — всего лишь шелуха, ороговевшая ткань, но оно же есть и имя. Оно же — первый признак безволия каждого из нас, первый сигнал того, что над всей своей судьбой мы будем не более властны, чем над собственным именем. Мы получаем его однажды и навсегда, лишенные выбора, без спросу и без сомнения. И мы уже не принадлежим самим себе. Истлеет это тщедушное тельце сейчас еще младенца, холодное мерцание звездных плеяд станет теплее его дыхания, но имя переживет своего носителя, въедаясь, как ржавчина, в память, в могильные плиты и — если повезет — в сердца. Оно одно будет бледной тенью, усмешкой и доказательством нашего существования. Не значит ли это, что покуда не наречен, не назван, ты вроде как незамеченный и неподтвержденный, а зна-

чит, и ненастоящий, недействительный?.. Вот и выходит, что слово куда более материально, чем ты сам. Но не один ты поработан и служишь слову — оно милосердно уравнивает всех людей, тварей, все вещи и даже ощущения, чувства и мысли — все сущности и явления. Слово хитро, оно потворствует нашим желаниям. Нечто, преданное забвению, загубленное, вымаранное, может быть воссоздано памятью и воображением посредством одного лишь названия. Все остальное, избежавшее словесного изобличения, облачения и заточения, — вздувшаяся пустота, пузыри, растекшаяся клякса и потусторонний мир. Нечто, не удостоившееся формы, заведомо лишается контуров, начала существования, не задерживается в нашем сознании и размывается, подобно линии горизонта между небесным сводом и морской купелью.

Что ж, дабы не обречь героя на упомянутую выше участь, мы его отделили от облаков и морской пены, вынесли на зыбучие пески и, как могли, застолбили; осталось дожидаться биения сердца и тепла живой плоти. Если, конечно, до этого какая-нибудь волна не дотянется до нечеткого образа и не утащит в пучину небытия. Но не пристало нам беспокоиться о будущем, находясь не в его тисках, — у нас не так много времени, чтобы тратить его на тщетные усилия, будем довольствоваться тем, чем располагаем, даже если на самом деле располагают нами.

Обозримая история нашего героя начинается в 90-х годах, не будем упоминать расхожее — «на обломках Советского Союза», банальностей и без того достанет. Родился Даниил в высоких обшарпанных стенах с отколупившейся зеленой краской болотного оттенка, под известковыми потолками с ржавыми разводами в родильном доме небольшого шахтерского городка на Крайнем Севере. Большие, с белыми деревянными рамами, зарешеченные окна, в щелях, заткнутых ватой, тряпками и поролоном, смотрелись жалко и удручающе. Такие окна обычно вибрируют и сыплют осколками белой краски при редком открытии — того и гляди, выпадет да прижмет зеленый, с черными полосками, лист щучьего хвоста — широко распространенного на местных подоконниках растения. Холодная, обтянутая дерматином кушетка, неприятного оттенка розовая пеленка и неизменная игрушка — всегда одна и та же — большая красная неваляшка, будто кого-то она может отвлечь и позабавить: ни роженицам, ни новорожденным она здесь ни к чему. К одной из стен прикреплена проржавевшая раковина с вечно капающим краном; внизу устрашающе торчат трубы, обмотанные скотчем и изолентой, а одно место, казалось, и вовсе замазано пластилином. Со стороны казалось, что и вся раковина прилеплена к стене этим самым пластилином — настолько все было хлипким и ненадежным.

Данька не помнил своего рождения, как и всякий человек, но он позволил себе маленькую простительную вольность: выдумал и вкрапил в свою память одно-единственное краткое воспоминание о том, как в какой-то миг был выкорчеван из преданного забвению приюта и где-то на выселках вселенной оказался спянным с чужой плотью для того только, чтобы быть с нею разлученным. А воспоминания всего-то и было, что в описанную выше больничную палату входил мальчик лет одиннадцати-двенадцати и начинал движение вдоль стен, обследуя их, зачем-то проводя по ним пальцами или зажатый в них кусочком мела. Временами кусочек мела исчезал, и его место занимал уголек. Резкий неприятный скрежет от соприкосновения двух неровных поверхностей слегка царапал нервы. Окна и дверь, словно потворствуя некоему замыслу, соблаговолили куда-то подеваться: должно быть, старый дом закатил свои глазницы, решив вздремнуть.

Линия выходила непрерывная, но неточная: то скакала вверх, то где-то западала, и отдаленно напоминала кардиограмму. Вот уж комната была очерчена по всему пе-

риметру, но мальчик, казалось, не добился своей цели — он снова, не опуская руки, зашагал по только что пройденному маршруту. Он обошел комнату еще раз и еще раз, затем снова, еще и еще... Маленький кусочек уголька в детской руке был пробным камнем, которым старательно и сосредоточенно что-то выверяли. Хотел ли он убедиться в том, что стены не раздвинулись, что они не разверзлись, не отступили и не расширились? Хотел ли он проверить, насколько они реальны и неизменны? В них ли он сомневался или в самом себе? Им ли он не доверял или собственному осязанию? Он не задавался этими вопросами, лишь продолжал упорно, как паук, плести ажурную ткань силков, кокон, в которой можно было бы заковать собственное сознание. Он ловил себя, как ловят рыбу, как ловят бабочку, как ловят солнечного зайчика, — Данька пытался себя приручить, но выскальзывал из нарисованных границ, словно угорь, будучи схваченным, обращался в плеск воды. И все же эта игра не была лишена смысла: разнородные фракции воли, находясь в непрерывном взаимодействии, сцеплялись и уплотнялись, порождали трение и начинали сопротивляться друг другу, выталкивали друг друга, одновременно обмениваясь свойствами. Примечательность этого сопротивления заключалась в том, что оно подтверждало присутствие того, что иначе своего существования ничем не обнаруживало. Но это ощущение очень преходяще, оно нуждается в бесконечном доказательстве. Радость первого открытия сменялась тревогой и нетерпением, сознанием ограниченности, подчиненности и сдерживаемым отчаянием. Но разве ограничение и не было целью установления стен? Не на то ли нужны были стены, чтобы обступали тебя со всех сторон и заслоняли от взгляда приколоченную к небосводу звездами неизбывность ночи — ширму, прикрывающую, как веко, зеницу незавершенности и бесконечности? Бесконечность обескураживает и парализует — она не нужна.

Но что за блажь дурачить самого себя? Зачем верить в то, чего нет? Причина в неспособности принять реальность такой, какой она предстает: выцветшей, ободранной, убогой, пошлой, продажной и безапелляционно навязчивой. Данька, как и всякий человек, отчаянно нуждался в точке отсчета, ему хотелось плыть вверх, оттолкнувшись ото дна, а не тонуть в неизвестности при каждой попытке его нащупать. Первое воспоминание и было тем самым дном. Дно — это возможность, дно — это двойственность, дно — это почва, опора там, где ее быть не должно. Дно, когда смотришь вверх, — это проблеск веры.

Данька родился в двухстах километрах от Северного Ледовитого океана, в городке, название которого переводится как «Медвежий угол». Земля в оковах вечной мерзлоты, небо днем — как нависший над головами серый камень, небо ночью — кусок лабрадорита, иризирующего всполохами северного сияния; на непрочно сметанном стыке неба и земли — дома, все больше пятиэтажные, жмущиеся друг к другу от холода; призрачные шахты, выдувающие из прокопченных легких угольную крошку; чумы правильной конической формы с торчащими из верхушки жердями, напоминающими куриную лапку; олени с разветвляющимися рогами; втянутые в самих себя полярные совы и крадущиеся песцы; вызывающие умиление карликовые деревья и навевающие уныние болота; морошка, мятлик, иван-чай, выбившиеся из больного закороченного грунта — все примечательное своими обреченностью, оголенностью, бескомпромиссной откровенностью; но здесь было о чем мечтать. Было здесь и то, от чего хотелось бежать. И люди бежали — бежали каждое лето на два-три месяца, чтобы непременно вернуться.

Даньке тоже пришлось «бежать» вместе со своими родителями с самого рождения. Благо душевные железнодорожные вагоны без устали и проволочек скользили

по «дорогам смерти» напрямик в среднюю полосу и даже на самый юг, там опорожнялись и вновь набивались, чтобы металлической, распираемой изнутри змейкой уползти в ледяное логово.

«Дороги смерти» были проложены лагерными заключенными, для многих из них (если не для большинства) единственным памятником стали шпалы (если верить хроникам, на каждую из них приходится по две жертвы), под которыми они нашли свой последний приют. Страшно подумать о боли и отчаянии, которыми кишат железно-дорожные насыпи, о крови и слезах, которыми вымараны стальные рельсы. Сколько безмолвных душ до сих пор сотрясается под каждым с грохотом проносающимся локомотивом!

Даньке еще мальцом доводилось слышать эти чудовищные истории, он понимал, что это правда, но не умел с нею обращаться, он отстранялся от нее, помещая в какой-то зеркальный мир, но и выполоть ее из себя уже не мог — знание пустило корни в самое сердце, обвило его терновым футляром. Никогда, никогда не позабыть Даньке этих дорог с тянущимися вдоль них остатками деревянных заборов (сложно было доставлять в такую даль материал для более надежных ограждений, да и нужно ли было? — куда бежать? — кругом тундра и болота).

Пересадки, ожидание своей очереди за билетом или задерживающегося поезда. В те времена желающих стать пассажирами непременно оказывалось больше, чем билетов, да к тому же в них не указывались места, а поезда опаздывали и на час, и на два. Время спускалось, как с молотка, за бесценнок в переполненном здании вокзала с заплыванным полом или на привокзальной площади, на платформе, загаженной голубями, усеянной окурками и шелухой от семечек. Для ребенка томительное ожидание слеплялось с чувством тревоги и подавляемого страха: пока мать металась от одной вереницы людей к другой, занимая очередь за билетами в несколько окон одновременно, Данька внимательно и напряженно следил за вещами, за окружающими и отцом, то и дело норовящим ускользнуть к буфету или киоску, чтобы промочить горло пенным пивом или чем покрепче. Удержать все в поле зрения и подле себя у Даньки получалось плохо: отец под предлогом того, что идет в туалет, отлучался и, юрко шмыгая среди чужих тел, растворялся в толпе. Даниил пытался отследить всю траекторию его движений, буквально цеплялся взглядом, как крюком, за спину в синей ветровке и, пожалуй, притянул бы силой воли обратно к себе, если бы только был наделен такой способностью. Раз за разом он терпел поражение, и это ранило детскую душу. В невольного соучастника истязания превращался узкий вокзальный мирок, отражающийся в распахнутом, чистом и увлажненном взгляде, осененном удивлением: высокие расписные потолки с огромными сверкающими, как на балах, люстрами; картины на стенах: пастельные краски и пестрота, мешанина из людей, саней, лошадей, храмов и заводов, наступающая со всех сторон, — все в одном ярком неразборчивом пятне; темно-серые в крапинку колонны и балясины, воткнутые в точно такой же темно-серый в крапинку пол, полированный, скользкий, как будто залитый незастывающим цементом, хватающим за ноги случайных паломников вокзала.

Земля под ногами словно проходила все стадии истерики: дрожала, тряслась, ходила ходуном под грузными телесами прибывающих и отправляющихся машин. Ощущения подвижности, шаткости и неустойчивости втекали через ноздри в легкие, находили душу, бередили ее. Казавшееся нескончаемым ожидание обрывалось, словно спасительный трос, то для одних, то для других. Протяжный гудок приближающегося состава заставлял сердце колотиться и трепетать от предвкушения встречи с холодной, трезвой, расчетливой скоростью. Но то были времена, когда недостаточно

просто оказаться на перроне, когда подкатится и с одним-двумя подергиваниями, со скрежетом остановится состав, — надобно пробиться сквозь толчею таких же пассажи́ров, отыскать свой вагон, когда он тяжелым увальнем скользит по рельсам, бежать с ним вровень, настигнуть его, когда он прекратит движение, затем проворно протиснуться первым к заветной двери и, не споткнувшись и не поскользнувшись на высоких и узких ступенях, очутиться внутри осыпаемому ругательствами и недовольными вздохами. Но сколько бы гнева и раздражения ни звучало в этих голосах, они утыкались в спину нашего маленького героя и, отскочив от нее, словно деревянные дроботы, безобидно осыпались на пол. Данька же тем временем успевал выбрать места в плацкарте, желательно не рядом с туалетами. После оставалось только удержаться за собой захваченные полки — мальчуган лет четырех-пяти едва ли мог что-то противопоставить взрослому человеку, вознамерившемуся претендовать на все или часть охраняемых мест, но, как ни странно, за все свое детство Даньке не довелось столкнуться со сколько-нибудь устрашающим отпором.

Жизнь раскадрирована и похожа на фильм. Данька — не марионетка, выставленная на подмостки для чьей-то потехи. Но он и не режиссер. Зритель? Пожалуй, нет. Он монтер, тот, кто выбирает и склеивает кадры, тот, кто вырезает лишнее и располагает картинки в определенном порядке, подчиняя время и хронологию событий веянию, предчувствию, смутному ощущению смысла. Он тот, кто укрощает хаос, извлекая из него невысказанность. Он словно паук, отлавливающий в сети своего мироощущения насекомых забытых или нераспознанных идей. Фильм не бывает бессмысленным. Вернее, вот как — чем более он бессмыслен, тем больше он нас обескураживает, выворачивает наизнанку реальность и не то без экивоков заявляет, не то вводит в заблуждение, что смысл настолько глубоко запрятан, завернут в бесконечные складки некоего гениального ума, написан на языке не всем доступной высшей математики или метафизики, что и не должен быть извлечен и постигнут. Ощущение бессмысленности и надувательства, постановки в тупик лицом к лицу с абсурдом как нельзя лучше выступают доказательством наличия задумки, сюжета и развязки, которую, только и всего, не смог понять зритель. Правда, непонятно: если смысл все равно планировалось утаить, к чему нужно было расщепление и утрамбовывание событий, отчего нельзя было позволить им идти своим чередом? В ответ — безмолвие, скорее свидетельствующее о замешательстве, нежели о кокетстве и интриге.

Конечно, Данька не играл сам с собой в слова в столь юном возрасте, не растолковывал себе свою роль в своей же жизни, не прокладывал столь витиеватые и, вообще-то, пресные параллели, ассоциируя себя с монтером или режиссером, нет, он не заблуждался и более чем удовлетворялся позицией наблюдателя, зрителя, не маясь вопросом «зачем?». Он понимал, что мало что понимает, но это было прекрасно. В том возрасте легко смириться с мыслью о собственном несовершенстве, об изъянах, которыми на самом деле только предстояло обзавестись, впитывая знания внешнего мира. И Данька как некий фагоцит неустанно и жадно поглощал атрибуты внешнего мира: картинки, символы, знаки, жесты, правила, обычаи и т. п., ферментируя, спешно переваривал их, не задумываясь, выуживал отдельные волокна из доставшегося ему лоскута грубого вселенского полотна и вшивал в ткань собственного мироощущения. Время, неудерживаемое и непогоняемое, бережно переживаемое, было снисходительно-благосклонно, раскатывалось как солнечное марево по свежей зеленой, напоенной росой лужайке. Оно растекалось по сосуду памяти, медленно и размеренно; меняло свои свойства, иногда было тягучим, как мед, иногда густым, как кисель, иногда прозрачным, как родниковая вода.

Но суета брала свое: мельтешение лиц, сумок, несмолкающий гул, звуки плевков, бьющегося стекла бутылок, ругань, перепалки, всеобщее напряжение и недовольство вкупе с беспрестанным движением поездов наваливались на хрупкие детские плечики тяжче поклажи и заставляли сникнуть и приунуть даже самого непоседливого и энергичного сорванца. К тому же непрерывная череда новых впечатлений требовала внимательности и сосредоточенности, изнуряла, слепляла веки невидимой пылью усталости, от которой нельзя было отряхнуться ничем, кроме сна. Меж тем день был длинен, как тянучка, чуть ли не грозил обернуться бесконечностью. Он был свеж и румян, как наливное яблоко, искрист и маслянист, как только что вышедшая из-под кисти художника картина. Он переливался, как самоцвет, воспалял и расплавлял мозг, как знойное солнце. Реальность играла и перемежалась с фантаσμαгорией, раскрывалась всей палитрой, пестрела аллюзиями и намеками, скукоживалась и расправлялась, как диковинный цветок. Но несмотря на это, вся природа источала благосклонность, еще была не насмешлива, дарила смирением и благодушием. Усталость была проста и незатейлива, легко отступала, печаль сгонялась одной улыбкой и теплым словом, сложное так легко расщеплялось на простое и понятное, желания не терзали своей витиеватостью, порой, правда, пути их исполнения оказывались непроторенными, но доступными чуткому и незамутненному сердцу. Природа как будто была готова потворствовать эгоистичным чувствам и порывам, поощрять смелость и дерзость, сквозящие в детском лепете и топоте.

Чудится, что это было совсем недавно, как легкий сон, еще не растаявший поутру, как морозная свежесть, дохнувшая в лицо и окатившая сознание желанной прохладой. Но минули не дни только и не месяцы — промчались годы. Ничто не осталось нетронутым, все претерпело изменения: город, вокзал, Даниил, время. И все это немного изменило самому себе.

Нынче Даниила совсем не тяготила необходимость пребывать наедине со временем. Он готов был насладиться общением с ним сполна в бездумном и бесцельном брожении по вокзалу, по перрону, предаваясь своим мыслям, повторяя про себя под аккомпанемент любимых мелодий, звучащих в наушниках, строчки из любимых стихотворений, всматриваясь в многозначительную и бесцельную суматоху вокруг себя. На воспаленные нервы иных представителей современной молодежи такое занятие способно оказать благотворное влияние, установить непрочное равновесие, легко опрокидываемое спокойствие, из которого можно взирать на действительность с пассивным удивлением. В эти минуты Данька чувствовал себя по-настоящему одиноким и покинутым — где, как не в толпе? Но обособление это сопрягалось с приятностью, покалывало кожу осыпающимися крупичками свободы, забиралось в глубь гортани, растворяло взбитый тошнотворный комок. Немудрено: прямо здесь и сейчас застывает, трескается и осыпается, как змеиная чешуя, как ороговевшая кожа, социальная мантия, теряют значение статусы, виды деятельности, объемы труда, количество промахов и заработанных наград. Нет нужды держать лицо, корчить рожи, манерничать, скрытничать и прислуживать, проявлять усердие, старательность, прилежность, избражать сосредоточенность и увлеченность. Вероятность встретить своего коллегу или начальника почти что сведена на нет (по крайней мере, они не собирались сегодня в командировку), кругом люди, мнением которых ничего не стоит пренебречь, если вести речь о стяжании новых атрибутов или об увертывании от нагоняев (попробуй-ка оставить без внимания какого-нибудь разбубенистого молодчика, едущего с вахты, несколько суток заливавшего себя спиртом в таких объемах, что его организм уже должен был превратиться в кунсткамеру). Царящая вокруг сумятица, бро-

уновское движение людей, гул, разнонаправленность — ни дать ни взять мир жужжащих насекомых в жаркий летний день, — сами того не зная, могли бы посоревноваться с неразберихой, творящейся в мыслях Даньки.

И представьте: вот в неопределенность, в неустойчивость, в струящуюся дымку, в дрожащую натянутую пустоту вдруг вонзается стрела железнодорожного состава. Словно тяжелый булыжник, брошенный в воду, врзается в песчаное дно. В Даньке из-под кучи пластов настроений и переживаний поднимается тихий восторг. И сердце уже трепещет, и легким хочется добавки к привычной порции кислорода. Чувство благоговения, желание подчиниться и покориться накрывают с головы до ног. Поезда делали с Данькой то, что мало кому и чему удавалось, — они будоражили воображение и оттесняли грубую реальность на периферию внимания. Представая чем-то не вполне земным, не вполне рукотворным, они выступали своеобразными проводниками, отсекающими границы и переправляющими через них. Грозно и величественно, с громовым грохотом, рассекая пространство, мчатся вагоны, хоть и шараясь из стороны в сторону, по своей колее; в них решимость преступника, попирающего законы, разрушающего закосневшие нормы и устои. Есть что-то роковое, вакхическое в соединенных друг с другом колесных парах, напоминающих шлемы грозных, бесстрашных викингов, внушающих ужас и сотрясающих землю. В резких поворотах, в стремительности и скорости, в неумолимости и неотвратимости, во всем облике и во всех перекатах, во всех движениях могучего исполина есть что-то от самой стихии, от судьбы, фатальности. Чудилось даже, что бандаж, колеса, буксовые узлы — это веретена и катушки, виселицы и плахи, ведающие о том, сколько нитей судеб в них вплетено и намотано, что смазаны они кровью и слезами неотживших, но истаявших душ. Состав тяжело дышал, торжественно-заунывно возвещая о своем приближении, надвигался, отрезая пути к отступлению. Нехотя, оказывая одолжение, он притормаживал и наконец замирал на месте. Тяготясь своей обездвиженностью и раздражаясь внутренним копошением, он фырчал и вздыхал, с нетерпением ожидая отбытия. Застывшая вереница вагонов стояла стеной, неборимой и непреодолимой, той самой стеной, по которой дважды два четыре, по которой действуют законы природы. Конечно, ее можно было обойти и справа, и слева, физических препятствий для того, чтобы поднырнуть, не наблюдалось, при большом желании и перелезть по силам, и все же была тут стена. Стена оттого именно, что не хотелось ни перелезть, ни обойти, ни поднырнуть. Стена как-то вдруг воздвигалась внутри, в желаниях, в воле. Ты вроде как признавал за машиной право распоряжаться собой. А наличие манящих зазоров, лазеек, щелей, в которые можно было просочиться, втиснуться, выскочить, еще больше способствовало повиновению и покорности чужой, даже неодушевленной, механизированной воле.

Холодный октябрьский ветер обвевал бледное напряженное, искажаемое скрываемым отвращением, но не утратившее детскости лицо Даниила, иссушал кожу, стягивал ее в маску, вызывал красноту, но не здоровый румянец. Природа вокруг будто на что-то гневалась, чем-то мучилась, готовая разрешиться рыданиями, но сдерживала себя. Она неволила себя из последних сил, затихала на мгновения и вновь протяжно завывала. Безотчетные порывы ярости схлестывались с волей к самообузданию, удары становились все интенсивнее и ожесточеннее, мало-помалу приступы раздражения переходили в неистовство. И вот она замерла на несколько минут, уняла сбивчивое дыхание, уgomонила ветер, застыла в неподвижности... но не выдержала, надорвалась и обрушилась. Спустя несколько минут неподвижной тишины мелкими шариками посыпал, зачастил дробью снег; он ударялся об асфальт, упруго отска-

кивал от него, как детская пуля, и вновь приземлялся, снова подхватывался ветром и скакал по перрону, пока не оказывался сгребенным в кучку своих собратьев.

Данька поежился и за неимением перчаток сунул руки в карманы. Пассажиры, желая спрятаться от гнева небес, потянулись к зданию вокзала. Наш же герой остался снаружи, несмотря на то, что весь трясся изнутри и не мог унять эту нервную дрожь. Таково было его обыкновение — дрожать в ожидании поезда.

И так ничем не подстегиваемое время вконец разомлело, размякло и как будто разлилось в круг. Время, загнанное в теснину будней, таким не бывает — оно мстит, закручивается в воронки, месит и ломает кости. Хрупкие стрелки часов двигались без остановки, но как-то синхронно с часовым механизмом, тикающим внутри организма.

Наконец объявили о прибытии Данькиного поезда, сообщили номер платформы и пути и то, что нумерация начинается с хвоста состава, напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными. Спешить было некуда, но Данька тотчас двинулся в здание вокзала с тем, чтобы поскорее пройти через туннель к своему пути — иначе он не мог: ему хотелось первым оказаться у своего вагона. Не удавалось — путь то и дело преграждали чужой багаж, маленькие дети и даже — откуда ни возьмись возникающие в таком количестве — милые домашние питомцы, с удовольствием путающиеся в чужих ногах. И это не говоря уже о самих хозяевах дорожных сумок, авосьек, корзин, чемоданов. В конце концов Данька протиснулся к своему девятому вагону. Не первым, но какое это имело значение? Имело значение лишь то, что он, как и остальные, окажется в вагоне через считанные минуты, что его не оставят, не позабудут, возьмут с собой, как всякого другого человека; что его признают человеком, наделяют правом передвижения, перемещения в пространстве. В этой простой и общедоступной ныне возможности для Даниила заключалось нечто большее, чем простое изменение координат физического тела: он чувствовал, что деформации подвергаются в движении и время, и то, на что оно воздействует.

Нам еще предстоит обследовать неизведанные тайники свернутых в гармошку миров, спрятанных от посторонних глаз, а пока: проводник с важным видом проверяет билет, с хитрым прищуром вглядывается в лицо, в чем-то на всякий случай каждого подозревая, сличает его с фото в паспорте, возвращает документы и напоминает номер места. Далее — подъем по узким вагонным ступеням, с которым лучше справиться без опоры на протертые грязной тряпкой поручни, ведущая внутрь дверь и продвижение к своему месту — тут следует избегать чужих ступней, матрацев и одеял. Ну и с этим покончено. Место — боковое нижнее, понятное дело, что узенькое и проходное, но вполне сносное, привычное. Слегка обрадовавшись отсутствию соседа, Данька водрузил на соседнее сиденье свой рюкзак и, не снимая верхней одежды, разместился на своем месте, приняв несколько противоречивую позу: внешне он подобрался и сжался, а внутренне как-то рассредоточился и обмяк. Да так и замер. Недавняя взбудораженность и прилив сил оставили его, обобрав, высосав и опустошив. Спина выгнулась вопросительным знаком, плечи опустились и вывернулись, как у сложившей крылья летучей мыши, голова отяжелела и просила подпоры, лицо приняло мученическое и при этом глуповатое выражение, оно выглядело ненастоящим, восковым: подбородок расслабился, уголки губ приспустились, обнажив выступающий вперед резец; в полмеркшем взгляде читалась грусть. Весь облик сквозил растерянностью, свойственной людям, оглушенным чем-то непоправимым, не вмещающимся в их сознание, обескураживающим и лишаящим ощущения самого себя — словно смотришь на себя со стороны, как на неодушевленный предмет или, по крайней мере, совершенно посторонний объект. Но стоит, правда, заметить, что если бы Данька видел себя со стороны,

то рассмеялся бы. Хотя он остро чувствовал, что смешон, что смешны его переживания, что они не стоят и выеденного яйца; оттого, что он этим мучился, ему было горько, досадно и стыдно. Разум упирался в тупик, пытаясь постичь причины тревоги глупого сердца. А сердце молчало, разум насмехался над ним, но и власти возыметь не мог — угождал в стремнину и разбивался о рифы сомнения, так и не поняв своей ошибки. Пожалуй, будучи на слишком близком расстоянии, мы тоже не сумеем разгадать формулу яда, парализовавшего нашего героя, но все же покружим, пореем над ним — вдруг удастся что-то выведать и поведать рассудку. Понаблюдаем за сплином и реакцией на различные раздражители.

Автор сильно введет в заблуждение или даже попросту обманет, если не опровергнет поверхностное впечатление от героя, ведь он не был пассивен и бездеятелен, а в одной стезе и явно преуспевал, проявляя по инерции недюжинную активность даже во сне. Данька боялся. Боялся денно и ночью, неустанно трясясь всем своим существом с выпученными ли, с зажмуренными ли глазами, боялся дома и на улице, один и среди людей, людей и самого себя, стен и крыш, неба и земли, осознанно и не отдавая себе в том отчета. Его пронизывала дрожь от грусти и нечаянной радости, от воспоминания давно минувшего и от переживания настоящего, он без разбору боялся хорошего и плохого, не умея отделить одно от другого, — он боялся на всякий случай и просто так. И при этом он ужасно стыдился своего страха и неумения его обуздать. Для самого себя он боялся как-то уж очень комично, карикатурно, как-то гиперболично даже, ни дать ни взять — Премудрый пискарь. А еще он завидовал: завидовал тем, кто не был на него похож. И ему казалось, что на него никто не похож. В самом деле, людей, делающих свой выбор по критерию «мне бы что посложней», не так много. Посложнее, потернее, а порой и — поневыносимее.

Вот и очередные непохожие на него, намеревающиеся превратиться в пассажиров, продолжали проходить на свои места, задевая ноги Даниила сумками, отирая своими поверхностями его плечи, как мушки кружась на периферии зрения, оставляя зацепки на мгновение назад бывшем цельном полотне внимания. Топот ног и шорканье сумок раскачивали и раздражали нутро вагонов, вызывали у них изжогу, но они покорно покоились на рельсах, пока наконец нетерпение не нашло свой исход в протяжном гудке, и дискретное тело огромной машины не дернулось, словно сведенное судорогой, туда-обратно.

Наконец все разместились: устроились и люди, и сумки, все ненадолго стихло в ожидании скорого отправления, лишь проводница делала последний обход, удостоверяясь в том, что в вагоне не осталось провожающих. Томиться осталось совсем немного.

Спустя несколько минут хлопнула дверь — содержимое вагоньего мира больше не вываливалось наружу, его запаковали и опечатали. Все сжалось и подобралось. Все наружные звуки отступили, затянулись в приглушающие их чехлы. Даниил уставился в толстое оконное стекло, втиснутое в деревянную раму. На соседних путях тоже стоял состав. Но вот поезд тронулся, так легко и плавно, что Данька не тут же понял, поплыл ли его вагон, или состав на параллельных путях в окне, и не откололась и не задрейфовала ли сама платформа. Кратковременная зрительная иллюзия, замешательство и смущение чувств скоро разрешились сначала мерным, но набирающим скорость перестуком колес и приятной, ничему больше не свойственной качкой. За окном еще мелькали люди, но мелькали они все реже; тянулось длинное здание вокзала — новое закончилось, показалось старое, хворое, выцветшее и облупившееся; затем потянулись ряды разбросанных пассажирских и грузовых вагончиков, депо,

гаражи и цеха, постройки, рабочие временки, отдаленные районы города, большой рынок, свалки. Таков был выезд из города.

Еще не кончился город, а пассажиры уже вновь оживились, засуетились: время шло к обеду, пора накрывать на стол. Да и есть уж такое обыкновение, что в какое бы время суток ни сел в поезд, а проголодался. Начались хождения туда-сюда с полотенцами, кружками и банками. Проводница успела повторно проверить документы и билеты, теперь предлагала чай и кофе, предложила и Даниилу, он отказался. Ему так хотелось, чтобы никто его не отвлекал от самого себя, от своих мыслей, и почему-то он смел на это рассчитывать, так что каждая просьба, каждый вопрос, каждое слово, обращенное к нему, заставляло врасплох и вызывало раздражение.

Данька не знал людей, часто не понимал их чувств и эмоций, не угадывал мыслей — они словно лежали под каким-то неподъемным спудом, манили к себе и тут же от себя отворачивали, виделись тайником и зловонной кучей. И вместе с тем перед иными людьми Данька благоговел, но стеснялся на них смотреть в открытую, а потому глядел украдкой, боясь оскорбить доверчивым и любопытным взглядом, выказать свое ничтожное расположение, а подчас и тут же подвертывающуюся щенячью преданность. Большинство людей, с которыми он был знаком накоротке, с которыми чувствовал себя раскрепощенно и непринужденно, кому мог поверить свои тайны, в чей адрес отпускал язвительную насмешку, кого окатывал резкой критикой, с кем вступал в полемику, на которых мог обозлиться или признаться в искренней симпатии, были глухи и безответны — они были мертвы: то были писатели, немногочисленные, мудрые и безумные, откровенные и лукавые, цельные и противоречивые, чужие и родные — такие разные, они немотствовали и кричали, вели за собой и бросали, повествовали о свете и подталкивали к бездне, маячили с факелом надежды и ввергали в отчаяние; отжившие, погребенные, забвенные и увековеченные — они давали то, чего не обещали. Помимо них, в душе Даньки топталась горстка живых глашатаев своего времени, с кем наш герой умудрялся находить общий язык и общие темы, но к ним он обращался крайне редко, только в особенном расположении духа — это была откуда ни возмись возникающая жажда жизни, сдерживаемая и обуздываемая тяга к людям, это была дань желанию проникнуть в недра общества, разделить с ним его суматошный ритм жизни — это была попытка очеловечиться. Но и без того редкое это явление было весьма кратковременным и не имеющим последствий.

Открытие новых авторов, знакомство с ними происходило медленно и тяжело, если не болезненно — они неизбежно сопоставлялись с теми монументальными несокрушимыми авторитетами, живыми изваяниями, которые, как вековые деревья, пустили корни во взрыхленной благодатной почве души, к слогу и звучанию которых приносились и слух, и нутряные фибры. Новые «знакомые» неизменно уступали тем, кем Данька уже был околдован и очарован, которых не хотелось предавать. Вдобавок к этому в сотый раз необходимо было доказать себе, убедить себя, что ничего лучше найденного ранее быть не может, что столпы, омытые слезами умиления, неизменны, сомнению, подмене и свержению не подлежат. Всякий раз, как обнаруживалась какая-нибудь книжная драгоценность, шелуха страха, такая плотная и тесная, сковывающая и обертывающая сознание, как мешковина, поддавалась и прорывалась под натиском неистового необозначенного чувства, и слезы благодарности, умиления и смирения окропляли ароматные, хрустящие, шелестящие, как прелые осенние листочки, частицы материализовавшихся душ, ласкаемые трепещущими пальцами, которые словно боялись стереть пыльцу волшебства с крыльев чужого вдохновения; губы растягивались в блаженной улыбке, лицо озарялось тихим счастьем, страдальческим, вне-

временным и непреходящим — такое бывает на ликах святых и раскаявшихся грешников. Данька замирал от восторга, у него захватывало дыхание, и в то же время он очень досадовал, стоило ему наткнуться на трогательные, чистые, вешние, созвучные собственным мыслям вещи у современников, у живых, с обтянутой теплой кожей костями. Нет, этого он не мог ни понять, ни простить им: живое слово вкупе с живым телом, с пульсирующей кровью, изменчивостью, податливостью — это невыносимо. Поучения, наставления, громогласность и безапелляционность, да даже колебание и сомнение, а еще воздействие на самого себя он мог позволить лишь мертвому, отжившему, непоколебимому, застывшему изваянию. Даньку очень коробила необходимость допустить, что он может оказаться понятным и прозрачным для какого-то удачливого прозорливого прохожего, в то время как он сам списывает свои промахи на запутанную прихотливую и неуживчивую натуру, в становлении которой стоит пенять не только на самого себя. Даниилу хотелось, чтобы все точные, выверенные, оригинальные мысли переливались и переплавлялись в умах, избавившихся от тлена, а фразы выдувались исключительно из заколеченных ртов вечности глухим, едва различимым стоном, рыком, бормотанием, чтобы от них веяло свежестью ледяной глыбы, чтобы они были незыблемы и неподвластны настроению и прихотям их произносящих. Что уж и говорить, Даньке определенно по нраву мертвые писатели. Им можно не завидовать, их можно постигать без опаски, что они скажут что-то более новое, отринув и предав уже проповедованное, опаски плестись позади, не заботясь о том, чтобы быть обогнанным и осмеянным, но подвергаясь угрозе того, что они когда-нибудь передумают и заклеят глупостью все возвращенное в густой тени на каменистой почве. Мертвые ничем не заняты, им безразличны деньги и слава, время их прошло и осталось с ними навсегда, они не строят козни, не злорадствуют и не злословят, не норовят тебя унизить при первой представившейся возможности, зато они свободны и готовы служить тебе, не отвергая, не рана равнодушием, не даря предпочтением другого, не оскорбляя и не требуя взамен ничего — ни уважения, ни почета, ни лаврового венка, ни простой благодарности. В придачу к этому была еще одна веская, сознаваемая и невытеснимая причина: мертвые писатели бестелесны, воздушны, эфемерны, им доступно то величайшее и ужасающее знание, которого страшился и вожделем погруженный в себя читатель: знание таинства расставания с телом, разлучения с ним и продолжения существования — это разрешило бы противоречие, снедающее, разъедающее внутренности, как кислота.

Даниил стыдился своих мыслей, но, отыскивая их скелеты, обнаженные или ряженные тела в жадно поглощаемых историях, весь встрепетывался, обожженный чужим пониманием, сопричастностью к образам, умозаключениям, опыту, переживаниям постороннего, и тут же сглатывал горечь уязвленного самолюбия — выходило, что вроде как зря пыжился и носился со своей незатейливой идейкой, которая на поверку оказалась и не нова, и не оригинальна, меж тем как он терзался родовыми схватками, изнемогая, напрасно ожидая, что разрешится вскоре дитятею и испытает чувство удовлетворения и отдохновения, меж тем как сам был бесплоден. Он начинал потихоньку проникаться уверенностью, а потом и вовсе прозревать, что все уже придумано, сочинено, все сказано, все открыто, описано десятками, сотнями, тысячами и сотнями тысяч способов. Это как семь нот, к которым ничего не пристает и от которых ничто не убывает. Попробуй изобрести восьмую. То же самое с цветами, со словами, с временами года — они лишь играют на оттенках наших впечатлений, слепо подчиняясь своему повелителю — пустоте, порождающей различные связи и сцепления. Втягивая, как черепаха, голову под панцирь, обращая взгляд внутрь себя, Дань-

ка лоб в лоб сталкивался с этой неизъяснимой пустотой, пологой, звеняще трезвой, лаконичной, хрустальной тишиной. Она была структурирована, как молекулярное соединение, блестела и искрилась, как стекло, покрытое морозными узорами, сверкала слепками папоротников, отпечатками крыльев дивных птиц, витиеватыми вензелями, цветами и снежинками. Пусто? Колко и пусто. Тесно и пусто. Пустота наступает, не приемля границ, наваливаясь изнутри, ввергая в горнило сомнений и терзаний. Ну, положим, что действительно там теперь пустота — среда обитания сомнений, фантомов, сожалений... Господи, как пусты эти слова, которыми автор тщится передать ощущение от пробоины не то в своей, не то в чужой груди! Какое малодушие — стремиться заткнуть проржавевшими словами ноющую брешь! Но пусть... пусть хотя бы так. Но ведь прежде было иначе: и Данька когда-то был движим твердой волей, порывами и страстями, взбудоражен, неистов, упрям и непреклонен; он был обуравем ненавистью и жгучей болью, неудовлетворенным желанием, был подвластен гневу и ведом завистью. Пусть все было отрицательное, пусть все было непутевое, эгоистичное, мещанское и грубое, забудем о понятиях, входящих в восхваляемую категорию добродетели, как о не имеющих корней в самой личности, как о наносных, напыщенных, исходящих из одного лишь тщеславия, направленности на внешнее, на соответствие чьим-то ожиданиям, как средству избежать порицания. Что со всем этим случилось? Перетерлось, перемололось, израсходовалось или остыло, замерло и затвердело? Смешной вопрос ремесленника, не уследившего за своей мастерской, но осмелимся подобрать соответствующий ответ — какой-нибудь пафосный, составленный из нагромождения понятий и пролепетываемый устами ребенка. Правда ведь, смешно? И не так раздражающе, ведь вам заранее известно, что тот, кто изрекает слова, не есть тот, кому они принадлежат. Если забыть о том, что слова вообще никому не принадлежат, будучи теми самыми пресловутыми вещами в себе.

Поезд — это хорошо. Сел себе и едешь. Что бы ты ни делал, в каком бы направлении ни двигался, даже если замер на месте, — все равно окажешься в пункте своего назначения. Ты достигнешь какой-то цели, почти не прилагая усилий. Ты всего-навсего позаботился о билете и сел в нужный поезд. Остальное за тебя сделает дорога. Пути, пригвожденные к земле кровью, потом и слезами тысяч и миллионов проклятых людей, ставшие кладбищами без крестов и надгробий, кажется, пропитались отнятыми жизнями, обрели суровую, непокорную, несломленную единую душу — душу павшего народа, широкою, отважную, жертвенную и безрассудную, — с такой душой можно мчаться без оглядки, без тени сомнения, наперегонки с ветром, потому что терять нечего и обретать нет смысла. Такую душу не отковырнуть и не раздавить. Ее можно уничтожить, лишь лишив земли, а земли тут предостаточно. Данька с изумлением взирал на железную дорогу, грезилось ему, что по рельсам, как по лезвиям, с искрой проносится сам русский дух, сама история восстает и мрачным вековым шепотом поверяет свои вековые тайны. Нет-нет, Даниил не отдавал себе в этом отчета, не облакал в слова свои смутные мысли, а только предчувствовал и с охотой поддавался неизъяснимым чарам, ворожбе, кем-то над ним для него одного свершающимися.

Данька будто мимикрировал — в оконном отражении он сливался с самой местностью, терялся в пространстве, становился прозрачным, растекался, как акварель под каплей воды. Так удобнее наблюдать, оставаясь нераскрытым, незамеченным. А он не мог не наблюдать, не мог окончательно отгородиться от людей — они обступали его со всех сторон, отнимали твердь и воздух, отвоевывали территорию, время, эмоции, мысли, они доставляли немало неудобств, не давали покоя, занимая собой, своими мыслями о нем, о пустом месте, об окопавшемся, о бесправном.

— Снова «рыба»?! Хватит, надоело интеллигента советского корчить! — во всеуслышание заявил, выплескивая раздражение и недовольство, крепкий, коренастый мужчина лет тридцати пяти-сорока, сидевший в купе напротив Даниила. — Завязывай! Или давай карты, или я — пас, — выдержав паузу и видя, что никто не бросился исполнять его распоряжение, присовокупил: — Нет, ну в самом деле, прекращай это баловство, доставай деньги и водку!

Для пущей убедительности нарушитель спокойствия, полусогнувшись, выпячивая пятую точку, поднялся со своего места и почти уперся макушкой в верхнюю полку, как оттуда ему прилетел свинцовый приказ:

— Заткнись и сядь!

На Даньку, уставившегося в окно, приунывшего и помрачневшего из-за отнятой возможности провести время в пути в относительном спокойствии и тишине, отдавший приказ голос, его тональность, резкость, повелительность и какое-то безапелляционное спокойствие, ровность произвели впечатление: такому внушению сложно противиться. Совокупность этих свойств, сошедшихся в громыхнувшей короткой фразе, возымела столь потрясающее действие, что Даниил тут же забыл о своем разочаровании от несбывшихся упований на дорогу. Он словно выскочил из оцепенения: надо же, где-то совсем рядом есть что-то интересное, что-то заслуживающее внимания. Даньке захотелось посмотреть на обладателя голоса, но в то же время ему было неловко столь неприкрыто выставлять свое любопытство на обозрение. «Как же, сидят вот все и только обо мне и думают: куда-де этот мальчишка свою голову повернет, на что уставится, ах, какая это была бы честь, ах, как бы мы посмеялись над ним, ах, как бы сразу стушевали (ох, и фантазер же: прям-таки „куда-де“ да „стушевали“ в лексиконе у типчика с девиантным поведением должны найтись для Даньки) его возгласом: чего выдупилс?» — думал Данька про себя, продолжая буравить оконное стекло.

Тот, к кому были обращены слова сверху, был вполне урезонен. Послышался звук быстро сдувшегося воздушного шарика — это грузное тело воссело обратно на обитое дерматином сиденье. Такое себе короткое «пфф...».

Лица того, от кого исходил приказ, не удалось бы разглядеть, даже если бы Данька, осмелев, повернулся и посмотрел на занявшего его внимание пассажира: тот лежал, повернувшись к стене и накрыв голову согнутой в локте рукой. В отличие от усмирленного и угрюмого, сидевшего внизу, этот не имел атлетического телосложения, но и хилым не казался: рослый, несколько худощавый, но при этом широкий в плечах, да и под свитером угадывались не рыхлость сальца, а явственно выступали мышцы рук — вероятно, этот человек постоянно занимался спортом или, по крайней мере, тяжелым физическим трудом. Тело само по себе в сочетании с непринужденностью принятой позы, излучая некое энергетическое поле, как бы недвусмысленно намекало на дерзость, вызов, провокацию. Даниилу и вовсе чудилось, что стан незнакомца окутан неким темным ореолом, как будто черты его сами по себе, без участия света, растушевывались тенями, как будто рой мошкары роился рядом с упругой плотью, ожидая падали. Вот еще минуту назад ты этого не замечал, не был во власти этих паров, не догадывался об их существовании, но вдруг они достигли твоих ноздрей, и все изменилось: уплотнилось и накренилось. Может, это состав слишком разогналс? Этот загадочный пассажир, как и все прочие, всего лишь человек, хоть и — бессмысленно отрицать очевидное — с весьма незаурядной энергетикой, если и не подчиняющей, искажающей волю окружающих, то уж точно колеблющей, заставляющей ее претерпевать значительные изменения. Ослабь сбрую радио, накинутую на воображение, и тут же вынешь человека из ячейки общества, выдернешь из всей человеческой ра-

сы и возведешь (или опустишь?) его до ранга бездушной стихии, от которой исходит неукротимая, необратимая, неумолимая, безжалостная угроза. Не ненависть, не ревность, не зависть, никакой нравственный императив, ничто человеческое, за исключением инстинкта, не будут верховодить этим хищным существом, одна лишь природа властна над его умом и сердцем.

Как же он притягателен, загадочен, тем более в своей недоступности обзору: впечатлительной, тонко чувствующей натуре с непоседливой фантазией так и видится некий зверь, грациозный, но притом стремительный и сильный, выискивающий и выслеживающий тигриным взглядом свою добычу, вырывающимся из своих сафари и посягающим на городские джунгли, не ведающим и не блюющим человеческих законов, попирающим мораль. Грубое естество, брутальность и — подходящее по смыслу, но не по звучанию — слово «нативность» должны дополнять характеристику человека, лица которого Данька пока не смог увидеть.

Большая часть внутреннего мира Даниила была населена персонажами разных книжек, он чуть ли не весь был напичкан бумажными человечками, но не имел привычки перегонять обитателей своего и чужого воображения в мир реальный. Не хотел, или просто не выходило. Если быть до конца откровенными, то объяснение, почему он не смел примерять книжный мир к миру во плоти, было весьма заурядным: первому ни за что было не сравниться со вторым, он ему и в подметки не годился, он не был ни его тенью, ни его силуэтом. Он был его идеей, игрой, пустотой, игрой с пустотой. Его вопиющие ущербность и убогость бросались в глаза. Это было какое-то проявленное, видимое ничто. Но помимо этого «ничто» не оставалось больше ничего. Но порой сознание с молниеносной скоростью само собой выделяет некие кульбиты, за которыми остается только наблюдать. Да и почему бы и нет? Почему бы не сдвинуть разнородные пласты в единую почву, не состыковать их, не замесить реальность и вымысел — а ну как одно в другое перетечет, вольется и заиграет новыми красками? какая разница? — ты все равно никогда не узнаешь, что такое тот или иной человек в действительности, да и где эта так называемая действительность, а тут ты напаялишь на него какой-нибудь образ, маскарадный костюм, какой в голову придет, как будто бы поверишь в него, да станешь соответственно к нему относиться. Ну и что, что поверишь не до конца? По-настоящему, значит, поверишь, а не от одной безотчетности и слепой страсти, — куда же без сомнения? Взять, к примеру, этого буяна — кого он напоминает, чье имя или прозвище рвется с языка, вернее, со слипшихся страниц канцелярского сердечка? Уж не карлика ли из «Лавки древностей»? А почему нет? Рост не подходящий? А хоть бы и так! Пусть будет он. А тот, что лежит, заслонив лицо, на второй полке, вот этот незаурядный? Тут как-то посложнее, никто на ум так сразу и не идет... Неужто Жильят из «Тружеников моря»? Уж как-то не сходится: Жильят вроде вон какой положительный персонаж, а этот... угрюм-вода. А почем знать, может, этот и куда положительнее выйдет еще. Или все-таки тот, как же его звали-то, роковой из «Гертруды» Германа Гессе? Запомнил Данька его имя. Явно ведь что-то на «Г». Точно: Генрихом его величали-то! Так и будем его дальше звать про себя, этого случайного встречного, возбудившего любопытство и приковавшего внимание Даньки. Меж тем наш новонареченный Генрих тоже успел заметить существование Даньки и даже будто бы им раздражиться. Тяжелым пристальным взглядом из-под навеса тени ошарапал он Данькино лицо и тело — словно хотел тут же с ходу что-то смахнуть, соскоблить или иссечь. Даньке, почувствовавшему на себе этот скребущий, недоброжелательный, презрительный взгляд, стало не по себе. Что Генриху было до аморфного, студенистого, бесцветного Даниила? Все очень просто: Генрих, руководству-

ющийся инстинктом, безошибочно, с первого взгляда, как хищник, как охотник, учуял и разглядел в Даньке скрываемый страх — страх жертвы. Дело было не в повадках даже, не в неуклюжих движениях, зажатости, дерганости и рассеянности — то всего лишь внешние проявления реакции нервной системы, а именно в том страхе, который подрагивал, как пламя свечи, в незамутненном распахнутом взгляде. Какой-то мелкий, зернистый, не определившийся с причиной своего возникновения страх жизни из-за страха смерти. Страх животный, забившийся во все поры Даниила, тот самый страх, которого не ведал непроницаемый Генрих. Проницательному Генриху впору бы остаться безразличным к Даньке, обойти его своим вниманием. Так бы оно и было, если бы не одно обстоятельство: он-то мгновенно распознал причину страха, и эта причина задевала его за самое нутро. Причина незатейлива, заключена она в существовании чего-то, в обладании чем-то. В обладании тем, что можно потерять, за что хотелось цепляться. У этого неуклюжего, нелепого, ссутулившегося, с хронически простуженной душой человека, то бишь у Даньки, в глазах Генриха, что-то было, что-то такое драгоценное, но что он забыл, куда положил, или о чем просто забыл, хоть оно и выставлено на всеобщее обозрение. У Генриха ничего подобного не было. И он это знал, хотя и редко ощущал. В нем шевельнулась безотчетная зависть. Да-да, в Генрихе, в том самом персонаже, которому должны были быть чужды подобные паразиты психики или души. Он никогда ничего не терял, потому что было нечего, а ощутить пустоту от недостатка чего-то, чего у тебя никогда не было, не так-то просто. Справедливый вопрос: а разве так бывает, чтобы совсем уж нечего было терять, разве может у человека совсем ничего не быть? В конце концов, у него есть он сам, его жизнь, его душа, устремления, возможности, о которых он даже не подозревает. Но все это сплошь такие категории, которые часто не ценятся, принимаются за безусловную данность, которой как будто бы нельзя лишиться. Вот на обозрение небрежная калька с жизни Генриха.

* * *

Молодому человеку двадцать семь лет от роду. Его матери было двадцать семь лет, когда она его родила. Сейчас у него ни отца, ни матери. Их на его памяти у него не было никогда. Но когда они физически существовали, будущий отец преподавал физику в институте, будущая мать рисовала картины в свое удовольствие и на заказ. Еще сохранились слухи, что они были замечательной, прямо-таки идиллической парой. Отставим выяснения того, что заставило людей прийти к такому выводу. Однозначно то, чего, кроме его родителей, никто не знал: его мать никогда не хотела его рождения. Ничего особенного — Бог просто обделил ее материнским инстинктом, либо он не успел созреть или пробудиться. Но будучи уверена в чувствах своего супруга и прислушиваясь к словам людей, безотносительно ее самой бездумно рассеивающим ее робко выражаемые сомнения в готовности стать матерью, — мол, все придет само собою, когда ребеночка уж понесешь (ох уж эти толки всезнаек!), она, чувствуя и подавляя в себе сопротивление навязываемому отношению, переступила через себя и решилась зачать. Вскоре сила советов, увещаний и заверений рассыпалась в прах, как будто ее и не бывало, все стало предельно ясно, внутренний голос больше не мямлил. Винить было некого. Призвания, предназначения себя как женщины она не нашла, предвкушение чуда не снизошло на нее, простертой длани господней над своей головой не осязалось. Но дело было сделано: в ее силах было соблюсти формальности, внушить себе и окружающим рассудочное чувство к будущему живому существу как к некой вещи, драгоценности, принадлежащей на праве собственности, требующей ответствен-

ного и бережливого отношения. Наедине с собой она признавала, что совершила непоправимую ошибку, заглушив свои чувства и не внемля своему разуму. Она сожалела, глубоко сожалела о своем решении и чувствовала себя виноватой перед неродившимся ребенком. Чувство вины росло вместе с плодом и сжирало ее изнутри. Она взывала к своему сердцу, просила у него любви — оно оставалось черство, она искала поддержки у разума — ему было нечего предложить; отчаявшись, обращалась тихо и стыдливо к Богу — такие молитвы к нему воздевают редко. Тревога, навеванная чувствами и мыслями, в плену которых она находилась, которых бежала, от которых пыталась отгородиться, стоило ей едва осесть мутным осадком в душу, как нечаянное слово, случайное сочетание знаков или звуков, неловкий жест или взгляд разворачивали и взметали ее, как язык пламени, и жгли нутро. Допустить, что испытываемое ею беспокойство и есть то самое материнское чувство, глубиной и оттенками которого остальным и в голову не приходит гнушаться, она не могла. Нет, что-то столь эгоистичное, циничное, грубое, животное и при том церемонное не имело права быть причисленным к чему-то сродни чуду. Она кляла и клеймила себя за то, что было не в ее силах, не в ее власти. Это был ее изъян, несостоятельность, порок, грех. И она не умела себя обмануть, что его можно искупить. Одна, стойко и молчаливо, безропотно и смиренно, скрывала она ото всех свою неподъемную ношу. И все же все-таки есть свой предел: немного погодя внутренние терзания стали пробиваться наружу. Стесняемые и сдерживаемые, клокочущие и обуздываемые, свой исход они находили в подавленности, болезненности и бессилии своей хозяйки и рабы. Супруг глядел на свою спутницу и почти все угадывал и понимал, но ничего не мог изменить. Утомленный и как будто немного укоризненный взгляд, проглоченное слово, вырвавшийся из груди вздох заставляли его мучиться не меньше ее. «Отчего же я не послушался ее, отчего позволил послушаться меня?» — горестно вопрошал он, продолжая горячо желать ребенка, загодя заключая в его жизни смысл жизни своей. Меж тем срок подходил. Она ослабевала, таяла и истлевала, словно свеча, но храбрилась, как будто собиралась с духом, и ни на что не жаловалась. Все формальности были соблюдены: множество книжек прочитано вслух, Чайковский, Моцарт, Вивальди, Гендель, Бах влиты в уши в неудобоваримых порциях, пройдены курсы для будущих родителей и прочее, прочее. Все — для того, чтобы хоть на грамм уменьшить груз вины.

Бог оставался глух, зато плод, похоже, учуял фальшь в тех неумных и судорожных усилиях, которые мать прилагала, чтобы заставить себя любить. Этот маленький человечек оказался более жестоким, чем сам Бог, он толкался, ворочался, вызывал тошноту, рвоту и открывал кровотечение, по нескольку дней кряду не давал есть и спать, в общем, он изо всех сил заявлял о знании того, что от него скрывали, и нещадно мстил. Лицо будущей роженицы осунулось, она исхудала, хотя и без того была хрупка и тщедушна, измотана настолько, что не могла и пятнадцати минут продержаться на ногах, чтобы у нее не закружилась голова. Муж смотрел на жену уже с нескрываемым ужасом: ему было страшно за нее, он уже что-то предчувствовал, время замедляло свой ход, становилось пластичным и таким осязаемым, как будто легкой кошачьей поступью касалось человеческого тела. Зачаток, зародыш, семя заключало в себе столько же желания и стремления к жизни, сколько и к смерти. Он выпускал яд в ответ на вину своей матери. Он питался ее соками, а оттого и сам поглощал этот яд. В конце концов они умерщвляли друг друга.

Когда в назначенный час встал вопрос: ребенок или она, она без колебаний выбрала его жизнь. Супруг хотел было воспротивиться ее воле, но сдался. Наконец она избавилась от своего бремени и, умиротворенная, без сожалений, стонов, вздохов и слез,

покинула земную обитель. Возможно, ей принесло это облегчение. Она ушла, не будучи в силах оправдать свою нелюбовь, но не надеясь заслужить прощение, — его нельзя было заслужить: она ни в чем не была виновата. Она ушла, а ее муж, ставший отцом, едва взглянув на малыша, в отчаянии, заслонив лицо рукой, сдерживая разрывающие грудь рыдания, поспешил удалиться, проклиная ребенка, называя его монстром, обвиняя его в загубленной жизни своей благоверной.

Ребенка отдали в детский дом. Лет в пять мальчик услышал про себя, что он — убийца.

— Смотри, вон идет, — бесстыдно показывали на него пальцем подростки, вторили им и детишки чуть старше его самого. — Говорят, он убил свою мать. Вот с..., свою собственную мать сбыл на тот свет!

За Генрихом закрепилось это прозвище — «убийца». Хотя ему не было понятно, что значили слова ребят и кого он мог убить (таракана, муху, лягушку?) — он ничего не помнил. Да и зачем ему могло понадобиться кого-то убивать, уж тем более собственную мать? Он же об этом даже ни разу еще не задумывался. Да и мог ли он, даже если бы ему в голову закралась такая мысль? Он был еще слишком мал и слаб. Его обижали, его поколачивали и унижали, бывало, окунали головой в ведро с грязной водой после мытья пола, пинали в грудь, заставляли курить, а он задышался от кашля, надевали на голову мешок, совали в нос и в рот клей «Момент», вынуждали воровать, отдавать свои обеды и ужины, методично лишали сна, прижигая руки непотушенными окурками, обливая водой, щипля, коля иголками, связывая руки и ноги так, что ему приходилось скорчиваться в такую позу, в которой от боли невозможно уснуть. Но так было не только с ним, так было со многими, это было обыкновение, данность, неотъемлемая часть жизни, на которую бесполезно было сетовать. Оставалось лишь приспособливаться и набираться сил. Все перечисленные плоды изобретательности, измышательства и ухищрения вызывали злость, раздражение и возмущение, но не мысли о смерти и убийстве — чужой или своей, напротив, они возбуждали желание борьбы за жизнь.

Сколько бы раз его ни сбивали с ног и ни придавливали к земле, как слизняка, как отброс, как гниль, он непременно поднимался, чем лишь сильнее разъярял своих измышателей, получал еще более хлесткие удары и оплеухи, но все равно вставал. Неужели ему не было больно, неужели ему не хотелось поскорее прекратить нападки, залезать раны и забиться подальше, чтобы не попадаться на глаза своим обидчикам? Зачем он их растравливал, зачем дразнил их, подначивал к новым атакам, зазря хвастался своей необоримостью и не сдавался? Ему было больно до той степени, что он почти переставал ощущать боль, ему было гадко и мерзко где-то в области желудка и выше, а еще где-то там, снаружи, там, где он будто бы смотрел на себя со стороны. Но он слишком рано понял, а может, это понимание было впрыснуто ему в кровь, вобрано не с молоком матери, но с последним ее вдохом втянуто в легкие: если не встать один раз, спасовать перед собственными страхами, то в следующий раз ты уже с убогим, низменным удовольствием будешь валяться в ногах других, власть и силу держащих, а Генрих ни за что не хотел быть пораженным. Отчего же он тогда не давал сдачи — был слишком хил? Не без этого — он был слабее своих так называемых старших товарищей, а ровесники не слишком-то сами по себе покушались на его спокойствие, они лишь пресмыкались и действовали по указке старших ребят, как будто чуявших угрозу в неокрепшем ростке, как будто желавших сломать стебель, пока он еще был хрупок и не обзавелся шипами. Как бы то ни было, Генрих сам себя подвел к осознанию того, что боль не есть плохо, что боль можно и нужно преодолеть, что

можно стать для нее неуязвимым, но для этого требуется принять ее сполна, с избытком, приноровив к ней свое тело и закалив свой дух.

Чем дальше, тем легче Генриху было сносить побои и издевки; его психика и тело постепенно натренировывались, приспосабливались к оказываемому воздействию; оружию, обращенному против себя, он позволял вонзаться в свое тело, вынимал его, филигранно обтачивал и складывал про запас. Он рос и креп, он научился амортизировать удары и при этом снизил чувствительность своего организма и сознания. Бесстрашие, выдержка и развитый высокий болевой порог позволили Генриху овладеть различными техниками боевых искусств (ничего конкретного, смешение разных элементов, черпаемых из наблюдения и практики), и желающих продемонстрировать свое превосходство поубавилось. С ним стали считаться, уважать, прислушиваться, находилось немало тех — в том числе и строптивых, — кто был готов следовать за ним и исполнять его волю. Причиной тому явилась не одна лишь физическая выносливость, но и холодный и трезвый ум, немногословность, невозмутимость и даже внешнее обаяние — оно не так уж маловажно для мужчин. Генрих обладал незаурядной внешностью: по отдельности черты его не были канонически правильными, но в сочетании друг с другом смотрелись гармонично и притягательно; к тому же (мы это ранее отмечали) в нем были заложены природная грациозность и изящество: каждый его жест, каждое движение умели оказывать некое гипнотическое действие, наделяя их значительностью, зачаровывая, внушая доверие и убеждая в правоте речей и поступков, которые они сопровождали.

У Генриха не было Бога, и не было у него дьявола. При этом он не взялся бы отрицать существование ни того, ни другого. Они его просто не заботили. Они были сами по себе, он сам по себе, этого более чем достаточно, чтобы не требовать друг от друга удостоверения личности.

При этом извечный философский вопрос «Зачем жить?» его либо не посещал вовсе, либо Генриху удавалось представить себе более-менее устраивавший его ответ. Был другой вопрос, который смущал и ставил в тупик острый, пытливый, четкий и последовательный ум юноши: «Зачем он убил?», а сомневаться в том, что он убил, ему не приходилось. Но ради чего, ведь он даже мотива не мог не то что узреть, а даже выдумать. Для чего ему нужно было быть клейменным прозвищем «убийца матери»? Чтобы искупить свою вину? Но зачем ее, вину, стоило допускать? Чтобы искупить ее вину (да и знал ли он, чувствовал ли, в чем была ее вина)? Но к чему была и ее вина? Его ум долго плутал вокруг этих вопросов, следовал к новым вопросам, уводил в сторону, заманивал в ловушки, давал иллюзорные ответы, но не более того. Лишь изредка Генриха посещало смутное ощущение того, что он почти добрался, почти почувствовал зыбкую «свою» истину, с которой готов примириться и жить, но тут же поскальзывался и выпускал это свое ощущение, как наутро забывается сон, который несколько секунд неизмеримой пропастью отъединял нас от реальности.

Сон... Ему часто виделся один и тот же кошмар: что вот он, в утробе матери, будучи скукоженным, смятым, как кишка, и находясь вверх тормашками, вдруг вытягивается во весь рост, переворачивается и проталкивается вверх, к горлу, хватая его своими тонкими ручонками и начинает душить, злостно, остервенело, изо всех сил. Бедняжка же, его мать, читавшая ему, Генриху, какую-то очередную сказку, начинает задыхаться, выпускает из рук книгу, хватается за горло как раз в том месте, где, как тиски, изнутри сжимает своими пальчиками, торчащими маленькими отростками из рук, напоминающих скрученные плети, маленький Генрих. Руки матери накрывают руки ребенка... и помогают им задушить ее. Но от этого Генрих, будучи единым

целым со своей матерью, начинает задыхаться сам. В ней одной их жизнь на двоих. В нем одном ее смерть. Он ужасно хочет ее убить и прилагает к тому все свои силы. Лицо его во сне осеняется улыбкой, невинной и блаженной, как у младенца.

В этот миг он знал, за что желал своей матери смерти. Нет, не за то, что она его не любит, не за то, что она его не хочет произвести на свет, а за то, что она хочет его полюбить и родить — вот чего он не мог ни перенести, ни простить. Кто-нибудь спросил его, хочет ли он родиться, кто-нибудь позволил ему распорядиться своей судьбой? Ах, он ведь знал, что его мать испытывала чувство вины не за то, за что на самом деле была виновата. Нелюбовь к будущему сыну? При чем тут это?! Зачать его, дать жизнь — вот что было преступлением! Перед ребенком, перед людьми, перед Богом? Нет, нет и нет! Перед собой, перед своей верой, перед искусством, к которому была приобщена, перед голосами, канувшими в трясину бесконечности, перед памфлетами и гробами, перед своей жизнью и смертью. Перед дорогими сердцу людьми, перед воспоминаниями и пережитой болью. Это было насмешкой, пощечиной и надругательством над ними. Это было предательством, которое ей было не снести. Это было покорение и смирение, капитуляция перед пошлостью. Вот чего она не могла и не хотела пережить, вот что обглодало ее изнутри. Вот что ее убило и спасло от самой себя. И Генрих это знал: она оставила его одного с этим знанием. Она не была его началом, а он не был ее продолжением, но оба они оказались вместилищем одной идеи. Герман Гессе без отчаяния, почти что в лучах солнца и радужного сияния, ну может быть, проглядывающих через гряды туч и изумрудную крону деревьев, изрек в «Душе ребенка» утешительные слова: «Умереть вообще было лучше, чем жить!» Так нерожденное дитя обвело вокруг пальца самого Господа Бога.

* * *

За окном безостановочно мелькали отшлифованные, не цепляющиеся за сознание кадры. Они набегали друг на друга, схлестывались и рассеивались в зыбкой дымке, а потом вдруг прояснялись и оттеняли друг друга, контрастируя и фоны друг другу. То тоненькие березки торчали из проталин-пробоин земли, подобно сигаретным окуркам, дотлевающим на поле боя. То вдоль кромки соленых вод серебрившегося змеиной чешуей озера или речки лежали перевернутые вверх днищем лодки, будто брошенные гробы. Темные длинные стройные ели, густым рядом тянущиеся вдоль крутых берегов, ровных полей, дорожных насыпей, буравящие небо и сбегające с холмов, представляли в непрозрачном целлофановом сознании безглазыми рыбьими скелетами, драконьими хвостами, воткнутыми наточенными карандашами.

Ни одного повторного дубля, никаких клише. Неизменно повсюду тянулись лишь электрические провода — коллинеарные вектора, чернее ночи, они делили мрак на части, подпоясывая облака, плывущие по невидимому конвейеру тучными рыхлыми мешками. Прозрачный бисер дождя, задержавшись на доли секунд, осыпался с тонких лесок, а кое-где на эти рельсы, проложенные меж небом и землей, нанизывался инеем мраморный снег. Но и их видно все хуже и хуже: неспешно сползали сумерки, и картины становились все более фантазмагоричными. Потусторонность за вагонной мембраной вся была размечена насечками — железобетонными опорами линий электропередач. В движении столбы подпрыгивали и оседали, провода утончались и утолщались, вились и сучились нитями меж веретен. И так это было прекрасно и завораживающе, что хотелось, чтобы это маленькое шарлатанство, проворачиваемое с восприятием, длилось подольше. Данька принимал к окну все ближе и, не поспевая за движением,

весьма охотно позволял пестрой мазне предметов обманывать себя, ведь это так увлекательно: наблюдать не за живыми существами, тщаясь доказать свою значимость, горделивыми и бессильными, а за тенями во всех своих оттенках, ненароком кичающимися своей неподдельной властью — над сознанием, людьми, землей, повисшей пустотой. Время текло размеренно, как река, необратимо вспять, разливалось и распрямлялось, как пружина, стремилось замкнуть очередное завихрение, как будто жаждало конца, но не умело его достать, или в очередной раз проскакивало намеченное на разметке деление, как вагон мимо станции.

Толстое вагонное стекло отгораживало Даньку от антрацитового вечера, предвещающего темную безлунную ночь, в котором постепенно увязали вся природа и плоды человеческих ухищрений. В ослепительные краски, мерцание и сияние, в игру света и тени вгрызалось большое темное бесформенное чудовище, оно пожирало, как гусеница, все на своем пути, обращая живописный пейзаж в набросок простым карандашом. Даниил то вглядывался в чернь, как в непроявленный негатив, кое-где различал дома, еще лоснящиеся озера и реки, покосившиеся заборы, кресты и ограды на кладбищах, леса и поля — все такое мрачное, притихшее и заговорщически перешептывающееся, такое живое и живучее, будто осыпанное щепоткой ворожбы; то фокусировался на самом стекле, на отражении в нем, таком близком, неподвижном, но каком-то неубедительном, нарисованном и тягучем, выливающимся, расплескивающимся из самого себя.

Но вот в вагоне зажегся тусклый желтый свет, и все, что было за окном, обляпанное этим желтым светом, лишилось контуров, отступило в глубь пустых глазниц ночи, а потом резко провалилось в чью-то невидимую глотку. Осталась внутренность, тесная полость вагона, напичканная телами, испарениями, вздохами, зевками, копошением, скукой, надеждой, ожиданием и разочарованием. Тени и блики огней плясали, вертелись, качались и полосовали замкнутое пространство. Дождь и снег продолжали хлестать стекло, подстегивая состав бежать быстрее. Взгляд, так упрямо блуждающий в потемках, вынужден был обратиться вспять и, угасший, понурый, вернуться к созерцанию и изучению потрохов настоящего, разлагающейся и размножающейся, как плесень, действительности. Явь напирала, придвигаясь все плотнее, не задавая вопросов, алкала лести, внимания, убажания и раболепия.

И все же она не была всеильна и всевластна: Данька с трудом вспомнил бы, что происходило с ним вчера, неделю, месяц назад — наверное, оттого, что с ним ничего не происходило. Встреча, знакомство, неприятность, маленькая радость, приобретение и утрата, новость или ожидаемое событие — ничто не находило в нем отклика, все либо проходило по касательной, либо рикошетило, едва задевая за живое, не поглощаясь памятью, не отливаясь в переживание. Все было серое, пресное, тусклое, суетное, незначительное, но отнимающее энергию, отщепляющее плоть времени. Каждый день, независимо от того, каким ворохом проблем оказывался приправленным, возбуждал волю лишь одним пассивным желанием — поскорее разрешиться от бремени этого дня, так же как и ему предшествовавшего, так же как и за ним следующего, — лишь бы побыстрее пропустить, размолоть, развеять его отупляющую бессмысленность. Ни единого свежего впечатления, ни единого впечатления вообще. Поскорей бы ночь, поскорей бы уснуть... или проснуться.

Иначе дело обстояло с воспоминаниями о детстве и раннем юношестве, свисающими, как спелые, налитые соком плоды, с ветвей молодого еще и сильного древа памяти, готовыми выпасть из согнутых кистей predeterminedности и кануть в ее разверстой бездне. То были горькие плоды, солоноватые от слез, жесткие от сумрака, с сердце-

виной, увитой червивым клубком. И все же это было самое драгоценное из всего, чем владел Даниил. Это были всполохи северного сияния, лишь однажды озарившего для Даньки ночное небо Заполярья.

Именно там, за полярным кругом, на самом краю света, двадцать три года назад Данька звучным криком и плачем возвестил землю о своем пришествии. Говоря откровенно, место за Сивой Маской годилось больше на то, чтобы умирать, а не рождаться. Большинство было согнано в эти места именно для встречи со смертью. Будто она сама была сослана сюда. И все же люди здесь рождались, не по своей воле они пускали корни в вечной мерзлоте, заключившей в свои цепкие объятия человеческие судьбы.

Здесь практически все живут временно. Временно живут детство и отрочество; временно живут юность, молодые и зрелые годы, временно живут и выходят здесь на пенсию, находят свое последнее пристанище. Настоящая жизнь, представляемая на пышущей зелены, плодородной, колосающейся рожью и пшеницей, усеянной ягодами и душистыми травами, залитой солнечным теплом, дышащей благодатью, давно покинутой родине, беспрестанно откладывалась и отсрочивалась, чему в угоду и оправданием служила то одна, то другая необходимость, на поверку оказывающаяся нежеланием и неспособностью вести иное существование, кроме того, которое было однажды принято или насажено в этой суровой местности. Понаехавшие из так называемой средней полосы, из бывших социалистических республик, из деревень и небольших городов, русские, украинцы, татары, белорусы, удмурты, марийцы и т. д. и т. д. — все они стеклись сюда, поведаясь на сулимые достойный заработок, собственное жилье, социальные привилегии и льготы, более-менее доступные дефицитные товары: те же ковры, массивные темные шкафы-стенки, диваны, стиральные машинки, посуда и прочее. И как ни странно, люди действительно все это получали: от приличной зарплаты до квартиры с ремонтом в новом доме, от трюмо до швейных машинок, от экзотических для того времени бананов до натуральной черной икры, от новогодних утренников до путевок в лучшие лагеря для детей. Не сказка ли? А в придачу к тому романтика северного края: жизнь в паре сотне километров от Северного Ледовитого океана! Сказка! Темная, мрачная, промозглая, усыпляющая сказка. Непроходимые болота, истлевшая земля, каменное небо, горстка солнечного света, от которого тепла не больше, чем от лунного мерцания, беспощадный ветер, всеядная ржавчина, сползающая от колючей проволоки лагерей для сосланных сюда со всего света заключенных и разбегающаяся по равнинам и многочисленным оврагам, взбегающая на холмы и пригорки, забивающаяся в теснины и расщелины. «Заполярная кочегарка» — это горнило, приоткрытая дверь в ад, дорога к которому вымощена эзками, ходы которого протоптаны не кротами. Ад — это забой, это вспоротое сердце дьявола, которое нещадно и остервенело, с риском для собственной жизни, дробят кирками, выколуывая уголь, шахтеры, чтобы, измазавшись дочерна, выдать его на-гора и обогатить вместе с горсткой людей, паразитирующих на чужом труде. Но город существует лишь благодаря этим лазам, этим искусственным кишкам, а эти паразиты — залог прозябания простых рабочих, но большего это место никогда не сулило.

Тогда Данька еще не знал, что родился в городе, у которого нет будущего, время которого, подобно времени Бенджамина Баттона, идет лишь вспять. Горька судьба такого города, расцветшего в младенчестве и пожухшего, едва ступив шаг из юности. Но завидней ли судьба человека, обреченного жить одними лишь воспоминаниями, из которых не выжать и капли меда?..

Здесь не было роскоши и изысков, но все свидетельствовало о том, что хозяева — люди работающие и способные себя обеспечить. Отец мальчика — шахтер, мать — простая рабочая на молокозаводе. Каждая копейка добывалась тяжелым и упорным тру-

дом, но ощущения несправедливости в материальном отношении эти люди не испытывали: так трудилось большинство, многие зарабатывали меньше, кто-то даже не мог найти работу, а богатых в те времена было мало, да и существовали они где-то в параллельной вселенной — как минимум, в столице республики. Завидовать было некому и нечему, все жили примерно в равных условиях и, в общем-то, были довольны, в общем-то, можно было дотянуться до простого человеческого счастья. Но так продолжалось совсем недолго после распада Советского Союза. Это замечание лишь постольку-поскольку... Не будем отклоняться от повествования и касаться того, что и так запечатлено, осмыслено и проанализировано историками, политологами, иными сведущими и не очень людьми, нас интересует лишь то, что непосредственно настигло и коснулось нашего героя.

Итак, отец Даньки работал на шахте, был шахтером, спускался в забой и большую часть своей жизни проводил там, уходил из дома он до рассвета, возвращался домой поздно, уставший, угрюмый и молчаливый. Он работал и по выходным, сыну уделял крайне мало времени. Чаще всего у него не оставалось сил даже на то, чтобы просто с ним поговорить. И вряд ли отец чувствовал перед сыном вину, ведь что он еще мог? Он работал и зарабатывал деньги, приносил их домой и тем самым обеспечивал всю семью. Пожалуй, глава семейства даже гордился собой. Каждый день он на совесть делал, что умел и мог, и получал от этого какое-никакое удовлетворение. Его не посещало желание что-либо кардинально изменить, все силы направлялись на поддержание того, что есть. Не поднималась в нем волна возмущения против своего работодателя, не казалось ему, что труд его невыносим, не глодала его мысль о том, что он всего лишь раб, подчиненный и эксплуатируемый до полного износа, что мало чем отличается от скотины. Ему некогда было думать о понятиях справедливости и смысла жизни, некогда рассуждать о психологии, установлении отношений, некогда заботиться о душевном здоровье своих домочадцев. В конце концов, когда его растили, никто ведь ни о чем таком не задумывался в его отношении — и ничего, как-то вырос, окреп, создал свою семью. Ничто не вынуждало остановиться, оглянуться на свою жизнь и, окинув ее взглядом, ощутить в сердце ноющую тоску. Он неукоснительно и тупо исполнял долг перед обществом и перед семьей, а что такое долг перед собой, ему не было ведомо. Да и кому это ведомо...

Велико желание все скомкать, процедить сквозь зубы пару непонятных фраз и умчаться прочь от детских лет Даньки.

Отец и мать возвращались домой с работы, и все, что они делали, — молчали, ужинали, мыли посуду, смотрели телевизор и молчали, расстилали постель и молчали. Когда кто-нибудь из них или оба бывали не угнетены, а раздражены и не знали, куда себя деть, то назревал и закатывался добротный скандал. Он зарождался, как буря. Неделями, реже — месяцами накапливался капля за каплей в грозowych тучах, витал в воздухе пучками напряжения, ища исхода, трепетал, как передавленная струя, вибрировал, как сжатая пружина, и наконец разражался, обрушивался с ревом, стоном, самозабвением, стараясь изойти до последнего предела. Для этой стихии, безудержного порыва, гнева, напора всегда находилась какая-то причина. Она всегда была ужасно мелочна, непонятна и несурозна; это мог быть нечаянный вздох, взгляд исподлобья, оброненное слово или затянувшаяся пауза, недосоленный суп или разлитый по неосторожности чай, это мог быть даже чуть более веселый, чем подобало конкретному вечеру, тон Даньки.

Данька, несмотря на свое малолетство, отводил грозу, как мог, стараясь увлечь родителей своими рассказами ни о чем, заполняя набухшую от напряжения тишину —

предвестника скорой завязки и непременно последующей за ней кульминации. Обо-зленные и заочно униженные друг другом, они сыпали взаимными оскорблениями, хлестали друг друга словами, винили в сложившихся жизненных обстоятельствах, попрекали в чужих словах и выпавшем за окном снеге. Извечная тема нехватки де-нег, купленная без обсуждения вещь, задержка на работе, тарелка недоеденного супа, длинный телефонный разговор, отправленная в деревню родственникам посылка — всего не перечесать, что упоминалось в этих баталиях. Нет, не могло быть правдой, чтобы мелочь, такая незначительность, воспламеняла тот костер страстей, должно было быть что-то еще, веское, обозначившееся при первом взрыве, трещине, надло-ме, вторгшееся в отношения супругов, болезненное и постоянно саднящее, чтобы из-бегать наименования самого предмета. Наверняка все последующие ссоры были лишь продолжением той первой, некогда случившейся и не изжившей себя до конца. Иначе нельзя было объяснить ненависть, озлобленность, неистовство и презрение, с каки-ми два нечужих человека обрушивались друг на друга. В расселине вулкана неугаса-ющих страстей был зажат Данька. Его ум не мог постичь, взять в толк, отчего те, кого он любил, вдруг обращались во врагов и осыпали друг друга градом острых, колючих, переворачивающих душу слов-лезвий, слов-клинков, оставляющих незаживающие раны. Тогда еще Данька не был способен обижаться за себя, а ведь ему приходилось тяжелее всего; он больше всего хотел, чтобы родители поскорее помирились. Он еще не таил обиды, не восставал против свершавшейся с ним несправедливости, не грозил кому-то невидимому кулачком, смеряя его презрительным взглядом.

Едва смолкали голоса, едва кончалась тирада тяжелых вздохов, едва наступало за-тишье, как в душе ребенка вновь загоралась крошечная надежда на то, что мир, лад, спокойствие, пускай вызванные лишь усталостью, где-то уже рядом, готовы устано-виться, что вот забрезжил свет, неистовствовавшая стихия отступила, что вот-вот раз-глядятся грозные складки на родных лицах, вот-вот отпустит их судорога боли и не-нависти, как рано или поздно буря, шторм, пурга отпускают море или снежную пусты-ню, перестают их вздывать и всклокочивать, позволяют отдаться собственному ритму, безмятежности и бездеятельности.

* * *

Недополучая внимание от своих родителей, не чувствуя в них надежной опоры, теряя уверенность в самом себе, мальчик искал пути завоевания прочных позиций, придания значимости собственной личности, становления и избавления от чувства бесполезности. В силу своего возраста и отсутствия наставника он, озираясь, натывал-ся лишь на то, что было вне его, то, что ценилось и навязывалось обществом: социаль-ные статусы, деньги, власть, первенство в любой сфере. Все перечисленное слишком рано стало занимать развитой и пытливым ум. И в общем-то, это не было страшно, да-леко было до нарциссизма и тщеславия. Чудный, спокойный, терпеливый, серьезный ребенок, понимающий многое с первого слова, а иногда — и намека, он был смыш-лен, усидчив, вежлив и предупредителен со взрослыми. Хуже дело обстояло с ровес-никами — ему было тяжело найти с ними общие темы, да и большинства из них он стеснялся. И понятное дело, что тот, кого всегда ставят в пример — а Данька был тем, кого ставили в пример, — не бывает симпатичен тем, кому ставят в пример. Даньку легко было чем-нибудь занять — достаточно было дать раскраски, бумагу, ножни-цы, краски и карандаши и быть уверенным в том, что ни с ним, ни с домом, ни с окру-жающими ничего худого не произойдет. Неуверенность в себе вынуждала мальчи-

ка внимательно следить за реакцией взрослых, выбирать и придерживаться той модели поведения, которая помогла бы ему заполучить их расположение и одобрение. В этом он преуспевал — взрослые обожали его, выделяли при всяком удобном случае. Данька представлял собой живое воплощение беспроблемного ребенка. Все в маленьком Данииле располагало к нему, все играло ему на руку, но только в отношении с посторонними взрослыми людьми. Дети его сторонились, родители не отмечали похвалой. Между тем он слушался и выполнял все наказания воспитателей и нянечек беспрекословно, прилагал огромные усилия, чтобы все сделать в лучшем виде, проявлял старательность и прилежность, не свойственные своему возрасту. Никто их от него не требовал, никто его им и не учил. То же самое продолжилось затем и в школе. С первого своего дня в ней он знал, для чего в ней находится, что от нее может и должен получить. Он рьяно учился, впитывая все, что старались вложить преподаватели, не задумываясь над тем, пригодится ли ему то или иное знание в дальнейшем, обогатит ли его, будет ли приложимо к практической жизни. Главное — быть первым в настоящем моменте, в каждом настоящем моменте. Он был лучшим почти во всем. Где-то этому способствовали природные дарования и наклонности, где-то он брал упорством и трудом. Он чувствовал, видел и знал, что силен не во всех предметах, находил, что есть более одаренные в математике, более одаренные в биологии, более способные к языкам, более талантливые, более искусные, но стремился к вершинам, несмотря ни на что, и обходил их, превосходил, перепрыгивал, как планки на своем пути. Да, он завидовал, дико завидовал, наблюдая в других зачатки таланта, зачатки нестандартного мышления, зачатки непокорности и волеизъявления. Его самого манило непонятливое, особенное, непривычное, а порой и отвергаемое, но эта тяга пока не была до конца осмыслена, она подавлялась как нечто ненужное и отвлекающее от цели. Он считал, что должен смотреть по сторонам только для того, чтобы не позволить кому-нибудь вырваться вперед. При всем этом он не являл собой образчик высокомерного и задиристого мальчугана, готового осмеять любую оплошность другого. Но и это не способствовало заведению настоящих друзей. И не вменить это в вину окружающих — он сам не умел дружить, как и большинство его сверстников. Совсем одиноким Даниил тоже не бывал: к нему прибивались, ища своей выгоды, то одни, то другие ребята, но ненадолго, он чувствовал их неискренность, замыкался в себе и сводил общение на нет. Никто и не пытался рядом с ним удержаться; он не имел столь естественной в определенном возрасте потребности заявить о себе посредством нарушения запретов: не хулиганил, не пакостил, не пропускал занятия, не слонялся по подъездам, не пробовал курить, ни над кем не издевался — в общем, прескучнейший тип. Все, чем было наполнено время нашего героя, — это учеба, зубрежка, решение задач и... мечты. Мечты о том, что когда-нибудь он сможет вырваться из этой кабалы, в которую сам себя загнал. Он учился не для того, чтобы учиться всегда, познавать и развиваться непрерывно, — по крайней мере, не для того, чтобы учиться тому, чему учился и уж точно не подобным образом. Учеба была лишь средством, орудием в достижении цели. Ему необходимо было самоутвердиться, доказывать себе свою значимость, опровергать свою ничтожность. Скучно, не правда ли? Скучно об этом читать, скучно, по правде, даже повествовать об этом. И еще, конечно, жалко: жалко мальчугана, так рано впрягшегося во взрослое поприще (взрослое ли, сознательное ли? — разве не глупое?) — достигаторство.

Признаться, Даниил не испытывал никакого удовольствия от вечной учебы, он тяготился ею и даже был в какой-то степени (в какой он мог себе позволить) отстранен от нее. Сердце его было глухо к знаниям, которыми он пичкал свой ум. Оно не би-

лось быстрее, ну разве что от страха не сдать плохо выученный урок. Да и знания эти ему хотелось засунуть поглубже в память, чтобы те не беспокоили его. Настоящего интереса, задорного и страстного, неумного, вовлеченности и любопытства по отношению к тому, что ему преподавали, не ощущал. Учеба была трудом, почти что конвейерным, почти что вынужденным, выполняемым добросовестно, но без нужного горячего чувства. Она сильно напоминала повинность, которую непременно надо отбыть. Хотя было нечто, что доставляло ему удовлетворение, но не удовольствие — это удовлетворение преодоления. Решенная задача, безошибочно написанный текст, гармоничный рисунок, выведенная (пусть и не самим с первого разу) формула, численное выражение необъятного, законы, действующие исключительно в отсутствие силы трения, — все это занимало ум, укрепляло его позиции, позволяло опираться на него, заблуждаться, следуя его выкладкам, — он прикладывал немалые усилия к тому, чтобы замаскировать свое бессилие.

Даниил знал, что он хуже других. Более того, он это чувствовал. Но никто об этом не должен был догадаться. Это надо было скрыть. По возможности — и от самого себя. Его надзиратель и конвоир — страх. Страх подавлял его, душил, повелевал им. Он был практически безотчетный, инстинктивный. Страх унижения, страх быть растоптанным, изгнанным и осмеянным. Данька мог найти тысячу оправданий для других, но не для себя.

Он не верил ни в себя, ни себе, поэтому самоутверждаться мог только опосредованно — через чужое мнение. И он продолжал его завоевывать, крупица за крупицей составлял мнение о себе через оценки посторонних людей. Он верил людям, внимал им. Целью же его, уже не совсем маленького мальчика, было стяжание власти, могущества, уверенности и самоуверенности. Способ достижения всего этого избрал он банальный, да даже низменный — деньги. Они должны были стать его щитом, его броней, его мантией. Нет, не сразу, конечно, а спустя годы. Сотворенный идол определил в школьные годы выбор будущей профессии: Данька решил, что станет банкиром. Он не был столь глуп, чтобы считать, что все оно сложится само собою, что стоит лишь получить профильное высшее образование, как тут же по мановению палочки богатства мира лягут к его ногам. Для начала он хотел стать первоклассным специалистом, профессионалом своего дела, незаменимым и исключительным. Он довольно рано начал свое движение в этом направлении: занялся поисками институтов и университетов, которые успели организовать кафедру банковского дела (ни на что иное он не был согласен — важна была безукоризненная точность), определился с предметами, которые ему более всего были необходимы для поступления, начал скупать и заглатывать учебники по экономике и по банковской специализации. Его интересовало все: история возникновения денег, история первого банка, наиболее удачливые и талантливые банкиры, инструменты денежного обращения, рычаги воздействия на спрос и предложение, но больше всего его занимали прикладная математика и методы прогнозирования. Точность, предсказуемость непредсказуемого, управление неуправляемым, покорение непокорного, многофакторность — вот что его привлекало более всего. Если еще точнее: приручение хаоса — это была его цель. Пусть хотя бы в какой-то части жизни, в каком-то виде деятельности, это было бы уже что-то. Сухой мир денег завораживал его своими устойчивостью (конечно, мнимой, но простим эту наивность), логичностью, надежностью, изобилуя такими понятиями, как то: теория вероятностей, теория принятия решений, интегралы, дифференциалы, дюрация, эластичность, маржинальная стоимость, рентабельность, вероятность дефолта, уровень потерь, модель Васичека, альтернативные издержки, матрицы и так далее и так

далее — над всем этим мерещился ореол волшебства; все это было сопряжено с фокусом, с ловкостью ума, с торжеством над беспорядком. Неужели все это станет подвластно и ему? Думая об этом, он переполнялся ощущением торжества от предвкушения себя будущего. Он ликовал, несколько презрительно относясь к другим профессиям, в особенности к тем, что и профессиями-то никогда не признавал, — сочинительство во всех его проявлениях, будь то музыка, литература, театр, кинематограф... — все, что связано с искусством (и это при его-то любви к художественной литературе!). Он считал, что приверженцы искусства любят это свое искусство больше, чем настоящих людей. Вряд ли он сильно в этом заблуждался. Сам он людей любил и ненавидел, зависел от людей и делал, как ему казалось, все, чтобы освободиться от этой зависимости, стягивая на себе путы все сильнее и крепче, не понимая, что для победы нужна покорность.

Когда его презирали люди (а он твердо знал, что его презирали), ему казалось, он ощущал на себе презрительный взгляд Бога — нет, это не человек, это не толпа, это не плоть презирала, отторгала, отступала с чувством брезгливости, а сам Бог — вот это-то и было невыносимо! Бог превращался в карателя, законодателя и моралиста, он был взыскателен, гневен, суров и непреклонен, властен и вседержавен. Но странное дело, от этого Его существование не становилось маловероятней, напротив, Он не оставлял ни единого шанса усомниться в Нем. Наделенный человеческими чертами, с широким скульптурным лицом и захватским характером, Он внушал благоговейный, преклоняющий страх. Чем более человеческим, плотским образом наделялся Бог, чем более карающим он выступал, тем более виноватым чувствовал себя Даниил. Такая бренчащая кандалами вера поработала, изводила, медленно сводила с ума. Глаза терзал солнечный свет — сверкало так ярко, что слепило, так ярко, словно таило в себе нечто, должное при малейшем падении тени проступить в самом неприглядном виде, что отвратило бы взор и с размаху вышибло бы веру. Даниил, утомленный этим белоснежным стерильным сиянием, забивался в углы, искал тени, заслонял лицо ладонями. Когда его принуждали верить, он превращался в помешанного, ненавидящего себя и свою жизнь. Когда он сомневался, он все же жил, ибо метался, как маятник, находился в движении, но не достигал вполне ни одной из крайностей: ни безоговорочной веры, ни полного от нее отпадения. Зато в этом движении краем глаза можно было заметить торжественно восходящую на пьедестал отвращенную, поэтическую смерть.

* * *

Что ж, немало волею судьбы, а может — вопреки ей случилось в соответствии с планами Даниила: успешно окончил школу, поступил в тот самый университет, на ту самую кафедру, которые загадал, наслаждался кратким моментом победы и снова впрягся в гонку.

Казалось бы, усилия оправдались, вознаградились сторицей, пора бы и выдохнуть: первые серьезные экзамены на пороге взрослой жизни успешно выдержаны, впереди — два месяца отдыха. Но разве так бывает? Разве есть дело насущным вопросам до твоего отдохновения? На повестку дня вскочил, как прыщ (хотя он, конечно, не был так уже неожидан, а просто прятался за скобками до поры до времени — не прыщ, вопрос, конечно), вопрос с жильем, ведь Даньке предстоял переезд в город покрупнее, чем тот, в котором он родился и вырос, в город, находящийся за сотни, нет, даже за тысячи километров от родины. Данька неплохо знал себя. Имея твердое

намерение всего себя посвятить учебе и не желая противостоять пустым препятствиям, которые неминуемо его настигли бы при совместном проживании с ровесниками, возможность прописаться в общежитии он категорично забраковал и начал поиски съемного жилья. Со стороны родителей он не встретил возражений, но понимал, что с их доходом он не сможет себе позволить комфорт и уют, к которым привык. Как ни крути, деньги решают многое: если их много, то ты ими распоряжаешься, если мало — они тобой. Даниил накопил кипу газет с объявлениями, изучил огромное количество различных сайтов, но арендные ставки были непомерно высоки для семейного бюджета. На стипендию рассчитывать было нечего, и вскоре Даниил убедился в этом — сумма была мизерна, едва ли следовало думать о совмещении работы с учебой на первых курсах; в общем, источников дополнительного дохода не предвиделось, такую роскошь, как квартира, Данька при всем своем желании, по-видимому, не мог себе позволить.

Даниил обрел свой приют у чужого человека. До начала семестра оставалось чуть больше недели. Дом находился в пригороде, дорога до университета в лучшем случае будет занимать час времени. Снег, дождь, зной, человеческий фактор, возрастающая интенсивность движения в часы пик будут вносить свои коррективы и увеличат время в пути на полтора-два часа. Даниилу придется смириться с тем, что четыре часа каждого будничного дня (четыре часа его жизни, шесть дней из семи, почти десять месяцев в году! — разумнее было бы обменять их на что-нибудь, вступив в сделку с дьяволом) будут сжигаться впустую. Все сидячие места в автобусе занимались еще на начальной станции, так что рассчитывать на возможность почитать, поспать или как-то иначе провести время с пользой в дороге не придется. Бедный мальчик считал себя несгибаемым и непоколебимым — такая ерунда не могла тебя подкосить, такая малость не могла лишить тебя сил!

Юноша переехал в свой новый кров всего за пару дней до начала учебы. Решить вопросы, связанные с переездом, обустройством и оплатой, помогли, конечно же, родители. В финансовом плане Данька был беспомощен и зависим, что если и не само собой разумеющееся для молодых людей его возраста, то, по крайней мере, не может быть причиной для стыда. И все же Даньке было не по себе, он карабкался, как мог, переступая через свои желания, жмурясь от страха, он пробирался и продирался на ощупь в новый сумеречный мир, имея весьма размытое представление о его устройстве.

А сумерек хватало. И в новом жилище тоже. Дом представлял собой добротное деревянное сооружение с бетонным фундаментом, с зеленой кровлей и деревянными воротами цвета морской волны с кое-где отошедшей краской, кое-где полинявшей на солнце и вымытой дождем. Некрашеное туловище дома глазу виделось желтым, но не канареечного, а оттенка скошенного отсыревшего сена. Место стыка деревянного корпуса с бетоном окаймлял, как будто гофрированная юбочка, серебристый козырек, под которым скрывался целый мир: его населяло скопище паучков с точковидными тельцами и длинными тонкими лапами, шустрых, непредсказуемых, стремительных, опутанных своими сетями и переплетенных друг с дружкой — это была их территория, они заграбастали себе тень и сгущали ее, как могли, сбиваясь в клубки и свисая гроздьями. Данька ужасно боялся этих насекомых и стыдился своего страха, но не имел желания избавиться от него, прибегнув к кардинальному и, наверное, единственно действенному способу — вступить с предметом своего страха в более тесный контакт. К счастью, заглядывать часто под козырек дома надобности не было. Собственно, ничто не мешало паукам различных мастей, тонким и упитанным, с длинными или короткими лапками, проявлять бестактность и вторгаться в людские вла-

дения — летом они часто наведывались в дом, плели свои паутины в труднодоступных местах и на самом виду, меняли место дислокации, когда им вздумается, в общем, удостаивали своим присутствием любой приглянувшийся уголок.

Внутренности дома, как заведено, были разделены перегородками на четыре полноценные комнаты, кухню, просторную веранду (зимой она служила одним большим морозильником по причине своей неутепленности и неотапливаемости) и комнату, отведенную под большую выбеленную печь, в которой теперь уже не было нужды: к дому не так давно подвели газ. Одна из комнат, наиболее удаленная от входа, но расположенная как раз напротив него, была предоставлена в распоряжение Даниила. Тесная клетка, как для дикого зверя, но обставленная всем самым необходимым для постояльца: стол, стул, кровать, шкаф для одежды, на стене — книжные полки. На окне — железные узорчатые решетки, небрежно вымазанные в серебристый цвет. Стены аккуратно оклеены обоями невзрачной, незапоминающейся расцветки — изображения блеклых цветов, обрамленных прямоугольниками, зато полотна подведены стык в стык, так что нигде не заметить было обломков лепестков или стеблей; окна занавешены плотными темно-зелеными шторами. Деревянный, выкрашенный в темно-коричневый цвет пол, немного вздувшийся ближе к центру комнаты, между досками кое-где имел приличные щели, но это ерунда — большинство из них было спрятано под синтетическим ковром красно-серого цвета с какими-то замысловатыми узорами в узбекском стиле. Все старое, обшарпанное, выцветшее и полинявшее — вот уж чудятся отбрасываемая полетом моли тень и запах нафталина. Назвать обстановку аскетичной не поворачивается язык, верными будут следующие определения: поношенная, дряхлая, изжившая себя; гармонично сюда могли бы вписаться старушка с долизывающей свою жизнь большой кошкой, впрочем, именно они-то и были изъяты из этой комнаты по завершении своего земного пути; хоть Даньке о том и не было сообщено, он о том догадывался по невыветриваемому густому запаху.

Словом, нашему герою предстояло забиться в эту небольшую, со спертым воздухом, стискивающую грудную клетку, а иногда и горло каморку. Но не стоит забывать, что эти несколько скромных квадратных метров все же были отведены ему одному, а не четверым и в его распоряжении оказались довольно массивный стол и стул — ими он мог владеть единолично, а это не так уж мало.

В доме, правда, не было ни ванной, ни туалета, ни иных выводящих коммуникаций. Все удобства находились во дворе, в дом провели лишь водопровод и газопровод. Ведро, стоящее под раковиной, наполнялось с неумолимой скоростью, приходилось выносить его в любую погоду; судя по всему, прогресс шагнул не так уж далеко либо обошел это место стороной (ну или находился где-то на подходе) — мало ли нехоженых мест.

К хозяйке, женщине лет шестидесяти с небольшим, не совсем подходило определение «старушка» (хотя по годам она превосходит раскольниковскую процентщицу): ее немного смуглое лицо, обрамленное короткими поседевшими выющимися волосами, лишилось четкости границ, одрябло и огрубело; взгляд небольших, близко посаженных глаз давно утратил свою свежесть, помутнел, но до сих пор не выражал усталости, выдавал энергичность, цепкость, тупое самодовольство и притязание на долгую жизнь; вполне складное сочетание небольшого носа с тонкими губами было не без налета пошлости; при этом женщина сохранила прямую осанку и природную худобу, граничащую с сухощавостью, и вообще держалась очень бойко; примечательное во внешности тем почти и исчерпывалось, разве что стоит упомянуть костлявые руки со скукожившейся кожей, напоминающей не то куриные лапки, не то ветви иссыхающего

дерева. Когда-то хозяйка работала в железнодорожном депо, но теперь, на пенсии, большую часть ее времени занимал огород, который в любое время года, кроме лета, походил на маленькое кладбище — настолько много там было то плотного белого снега, то рыхлой черной земли.

Поначалу Даниил и представить себе не мог, что привыкнется с чужими стенами, утопающими вместе со всем стиснутым ими содержимым во мраке. Окно, выходящее на затененную сторону, да к тому же заслоненное колышущимся ажуром ветвей растущих у стены вишневых деревьев, изредка одаривал вниманием солнечный свет, тогда его откосые лучи пронзали комнату ослепительными рапирами, кое-где размазываемыми в пятна и трепещущие тени, завлекающие в свои пляски зрение и воображение.

Мало-помалу Даниил перестал замечать окружавшие его бесприютность, холод, неустроенность, даже безобразие более не коржило своим видом его чувствительность. Часть его внимания атрофировалась, поддавшись желанию адаптироваться к существовавшим условиям, а та, что осталась, не чуралась самообмана — Данька теперь и сам стремился к потемкам: окна практически всегда были задернуты тяжелыми, плотными шторами. Стены, пол и потолок оставались негостеприимными, казалось, что они ломаются и кривятся под давлением прислоняемых чужих ушей, а углы обтачиваются острыми языками и прогрызаются зубами мелких тварей. Нельзя было ни на минуту расслабиться: внешние раздражители требовали неустанного бдения и реакции. Его готовы были застигнуть врасплох в любую минуту, обвинить в безделье, лени, усталости, нерасторопности, да и мало ли в чем еще. К его успехам в учебе, целеустремленности и влюбленности в книги относились надменно-пренебрежительно, сам же предмет его влечения — книги — называли не иначе как макулатурой, годной лишь на то, чтоб топить банную печь. Если ты не вкалывал на работе, не занимался физическим трудом — неважно каким: дворник и уборщица были в большем почете, чем студент, склонивший голову над раскрытой тетрадью. Все многочисленные родственники хозяйки, постоянно навещающие ее не то из заботы, не то от бездельничанья и любопытства, так и норовили его укорить, подколоть, всадить ему какую-нибудь занозу, съязвить, брызнуть ядом — так они самоутверждались, восполняли свою ущербность и повышали самооценку. Они с чего-то возомнили, что мальчишка находится у них на иждивении, что он ими всеми облагодетельствован и чем-то им обязан, при этом всячески подчеркивали свою мнимую опеку и заинтересованность в судьбе юноши, требовали признательности и благодарности, упуская из виду то обстоятельство, что Данька ежемесячно и в срок оплачивает свое содержание, то есть исправно исполняет условия заключенного договора, и никому и ничего сверх того не должен.

Несмотря на все эти шероховатости, а порой и вполне ощутимые чинимые ему преграды, Даниил умудрялся сохранять в фокусе своего внимания цель. Правда, чистый и незамутненной ей довелось оставаться недолго — в первозданном виде она просуществовала три, максимум — четыре семестра. Дальше она стала тускнеть и меркнуть, границы ее пожатало беззубое солнце и размыл плаксивый дождь. Чуть меньше года потребовалось на то, чтобы разрыхлить и просадить ту твердую почву, на которой Даниил всегда находил опору; срока хватило, чтобы надломить его волю и обратить ее в своего врага.

Даниил поначалу этого не замечал: слишком незначительно проявляли себя касающиеся его изменения, но ежедневно его сознание толклось, словно в ступе, и, желая укрыться от воздействия извне, просачивалось все глубже, забивалось в протоки бессознательного, выталкивая из него лишь одно желание — забыться, забыться

крепким и долгим сном, бесчувственным и бесцельным. Но постепенно количество тревожных симптомов возрастало, сами по себе они были бессвязны и назойливы: Даниил никак не мог выспаться, его постоянно клонило в сон, сколько бы часов он ни проспал; он стал засыпать сидя на парах и стоя в автобусе; Данька понимал, что процесс проистекает по его попустительству, но не мог его остановить. Еще недавно Даньку волновала каждая вещь, каждая деталь, каждое ответвление наружной жизни, все это вызывало в нем любопытство, маслянисто переливалось некой особливостью, манило мистицизмом и аутентичностью, цепляло память и вкраплялось в ее ячейки. Теперь же все как будто таяло, размазывалось, смешивалось с водой и забрызгивалось весенней грязью. Все, что он ощущал, ибо он уже не мог чувствовать, — это пресыщенность, скука, бесполезность и абсурдность. Коловращения жизни как будто хотели отнять его у него самого, лишить его времени. Данька мог просидеть со склоненной головой за столом часа два или три кряду и не выдать ни одной приложимой к делу идеи. Он потерял мотивацию, умение быстро ориентироваться, систематизировать, отыскивать нужные ответы. Его мысли роились вокруг отвлеченных понятий, обесмысливающих все приобретаемые знания, заучиваемые формулы, решаемые задачи. Все вдруг как-то обратилось в сутолоку, суету, стало игрушечным и ненастоящим. Зато из тени выступили притязательные вопросы: «Зачем я это учу, что мне это даст? Кого я обманываю, пытаюсь убедить себя в необходимости того, что я делаю?»; «Хорошо, представим даже, что ты выучил все, что написано в книжках, все, что произнесли человеческие уста, все, что было видно глазами живых и отживших, все, что высеклось, выцарапалось, выскоблилось в лабиринтах, пещерах, свитках, монуменах, манускриптах, — все это тебе пригодится, найдет свое применение в жизни, что пренебрежение силой трения оказалось оправданно, что человек — разумное существо, поступки его подчинены логике, желания сопряжены с волей к жизни, с благоустройством в пользу самого себя и человеческого рода. Допустим даже, что ты преуспел в этой жизни, дорвался до материальных благ и стал уважаемым и почитаемым человеком, занявшим весомое и лакомое местечко в социальных сотах... что ж с того? Зауважаешь ли ты после этого самого себя, примиришься ли с собой, найдешь ли согласие с внутренним голосом, сладишь ли со своею волей? И найдешь ли чем извинить свою суетность, свое копошение и ерзанье, кроме как самообманом и собственной слепотой? С чего это он взял, что то, что выдуманно человеком, внедрено в социум, забетонировано словом и признано большинством, есть неоспоримая правда и всеобщее благо? Пусть, пусть даже всеобщее, но как же благо индивида? Как же мое благо, как же моя выдумка, как же мое „правильно“?»

Эти бесплодные размышления вели к апатичности, невозможности действия, к обесцениванию любых целей.

Когда Даниил жил с родителями, хаос был вовне его, он обволакивал, лип, словно к мухе, угодившей в паутину, но при этом Данька изо всех сил пытался побороть его, вырваться из его цепких лап. Едва ли ему это удавалось, но он сохранял свою неоторжимость: хаос, как бы крепко к нему ни прилипал, не мог влиться внутрь организма — последний отторгал все чужеродное, мобилизовывался и вновь упорядочивался. Но теперь, теперь все было иначе: хаос, неупорядоченность, разомкнувшие объятия, внешне отступившие, переставшие быть настырными, вдруг стали неспешно и незаметно просачиваться сквозь поры, достигать и обволакивать кровеносные сосуды, продавливать во внутренней полости пропитанные ядом канавки.

Нет, что за ерунда! — что может быть проще, чем совладать с самим собой?! Даниил не мог себе представить, что когда-нибудь может быть подведен самим собою. Его еще не обурежали страсти, не мучили призраки прошлого, не донимали воспо-

минания... Нет, все это было, было, но от всего этого получалось отмахнуться, отгородиться, трезво просеивая через сито рассудка. Что там фантомы! — даже физиологические потребности могли быть приглушены усилием воли на определенный промежуток времени. Данька с легкостью обошелся бы без еды, скажем, неделю, не теряя при этом работоспособности. То же было с чувством жажды и влечениями иного рода. Заложенные природой позывы трансформировались и иссякали, гасли на пути к мозгу. Даниил слишком увлекался внешними раздражителями, чтобы уделять внимание внутренним процессам. Уж с собой-то всегда можно сладить! Да-да, нелепость, неуклюжесть и неуверенность в самом себе могут приводить к парадоксальным выводам.

* * *

Чем дальше, тем меньше удовлетворения от учебы. Сдались ему эти экономические, статистические, финансовые термины, формулы! Все они уже перемежаются, ассимилируются и примыкают к категориям моральным, оценочным, отвлеченным: все можно будет транспонировать, подвергнуть инфляции, проверить на эластичность и про дифференцировать.

Интерес гаснул так быстро, что, несмотря на дотошность, целеустремленность и упорство, Данька не то что не шагнул в дебри истории финансов, но остался у самого порога первого банка — храма (с тех самых пор где-то на запятках сознания Даниила валялась индульгенция религии на ростовщичество). Не пытаясь разгадать загадку, боясь разоблачить великую идею, скрытую за дверями божьей обители, юноша опрометью кинулся по спирали времени поближе к современности, стал изучать современные методы оценки кредитоспособности, всякие Базели, вероятности дефолта, уровни потерь и прочее, прочее; его какое-то время занимали модели Блэка-Шоулза и Васичека, корреляция, теория игр, графы, вероятность и статистика — он снова и снова зубрил формулы, теоремы, показатели, счета бухгалтерского учета, внушал себе симпатию к микроэкономике, риск-менеджменту, оценке бизнеса и Положению Банка России о формировании резервов на возможные потери по ссудам. Его ум без проводника блуждал в лабиринтах знаний, то и дело натываясь на стены, на тупики, он разворачивался, шел к началу, но, плутая в своих следах, не мог достичь и его; система не выстраивалась, одна отрасль знаний не состыковывалась с другой, накопленный материал не срастался даже в фундамент теории, грезить о здании не приходилось, так же как и об успехе попытки наложить теорию на реальность — это то же самое, что искать точку пересечения параллельных прямых. Даниила терзала догадка, что он ищет не там и не то, но ум в смущении и упрямстве продолжал рыскать в потемках, ковыряться в грязи, рассчитывая вымыть из нее крупинки драгоценных камней. Со всем этим хотелось поскорее покончить, но что-то гнало, гнало вперед, заставляло метаться, не доставляя ни удовлетворения, ни радости. Все эти неуютные признаки Даниил списывал на собственные невежество, неосведомленность и негибкость мышления. Было исключено, было просто невероятно, что ненадежным, шатким, неверным оказывалось то, чему поклонялись люди, то, что пережило тысячелетия, то, на что до сих пор молились, — деньги. И пусть Даниил не понимал по-настоящему этого религиозного благоговения, идолопоклонничества, пусть он не прозрел для этой установленной и принятой подавляющим большинством связи между человеческой душой и набором цифр, обозначающим номер банковского счета и сумму на нем, у него не было ни единого шанса перестать верить в их власть, в том числе и над самим собою.

Сложно все, неудобоваримо, косноязычно, синтетично. Вроде думал, что берешь в рот сочный кусок мяса, а оказалось, что бутафория, — тут бы взять да и выплюнуть этот шмоток резины! — но что же мы? — жуем и морщимся, жуем и травимся, жуем и отторгаем!

Тут бы еще перейти на высокопарный слог и сказать, что вот он — момент, когда вера Даньки пошатнулась, душа подверглась флуктуации, что в Боге он усомнился, что отпал от Него и признал и принял свое полное одиночество вместе с одиночеством всего человечества. Что же — веру сразила цифра, поразило число? Вера оказалась нулем перед единицей? Вот так мы и упрямся в простое богохульство? Для него мы плутали? Нет, так не могло случиться. И все было не так, или не все было так — разница огромная, но предоставим сомнению мухой облетать то одну, то другую сторону границы. Вера никуда не делась и даже не пошатнулась, хотя Даньке очень бы этого хотелось, — вера окрепла. Душа надломилась, да, но она обнажила свои недра, позволила стать ближе к своим тектоническим пластам. Бог не исчез, Он остался, но изменился. Изменилось и отношение к Нему: Он больше не был тем, к кому стоило звать, на кого стоило уповать. Он вдруг, в одночасье, обесценился и стал презренным: Данька отвернулся от Него. Данька рад бы просто разувериться в Его существовании, но не мог. Ему было стыдно своей веры — стыдно признавать существование Бога, стыдно было Бога, который заглядывал ему через плечо и с насмешкой отмечал ошибки. В те мгновения, когда мысли Дани становились нестерпимо выразительными и четкими, почти откристаллизовавшимися, ему становилось смешно своей веры. Даньке представлялось, что вся суть истинной веры выражена следующими строками (не им изреченными, ибо все, что производилось им самим, ему казалось лишь смешным): «Закрываю глаза и вижу стайку птиц. Зрелище длится секунду, а то и меньше; сколько их, я не заметил. Можно их сосчитать или нет? В этой задаче — вопрос о бытии Бога. Если Бог есть, сосчитать можно, ведь Ему известно, сколько птиц я видел. Если Бога нет, сосчитать нельзя, поскольку сделать это некому»¹. Даниил не желал позволять Ему считать за себя птиц. Он не желал Его присутствия в себе. Он хотел видеть птиц, и ни к чему ему было вести их счет. Пусть Он считает то, что Ему с такой готовностью испокон веков совали за пазуху, — деньги. Первое впечатление искреннего удивления от обнаружения того, что прототип кредитного учреждения берет свое начало в храме Господнем, что колыбель злата была где-то перед аналоем, уже успело померкнуть. И все же это вопиюще странное соседство и сочетание духовного и материального, устроенное божьими приспешниками, — теми, кто провозглашал воздержание, смирение, проповедовал искание истины, изобличал суетность мирского, греховность наслаждений, никчемность благ, теми, кто увещевал отказаться от материального в пользу спасения души! Видимо, Бог держит у себя людские капиталы, дабы искушение не выходило из-под его строгого надзора. Стоит ли удивляться тому, что к нему часто возносили молитвы о благах вполне земных — уж они-то были в Его ведении и распоряжении.

Разве не абсурд, что подобное устройство совсем не порицалось, не подрывало веру в Церковь, а, наоборот, внушало к ней уважение и благоговейный страх, — обладателей деньгами всегда наделяют властью, всегда причисляют к божьим помазанникам. Христианское или какое бы то ни было религиозное учение лишь выигрывает. Служителям Бога, получившим пожизненную индульгенцию, стыдиться совсем нечего, даже своей алчности. Имея деньги, легче убеждать других в их бесполезности. Наполненный не чувствует жажды страждущего. Неискушаемому легко судить искушенного. Безусловно, обходиться без денег не может ни один человек. Даже находящемуся

¹ Борхес Хорхе Луис.

на попечении у государства нужна своя копеечка, но неужели деньги настолько нам дороги, что мы стремимся предать их неусыпному бдению самого Господа? И что же тогда удивляться тому, что Он не приходит нам на помощь, занятый сбережением самого для нас драгоценного? Он же — охранник, страж! Что ж, таковы основания, таковы истоки. Едва ли что-то можно изменить, едва ли можно изничтожить электрон или отменить гравитацию по той лишь причине, что они несимпатичны. <...>

* * *

Реальность меж тем все наступала, неотвратимо наступала и наваливалась, требуя, как глина, прикосновений своего гончара. Никем не наблюдаемый, никем не оцениваемый, ни к чему не примеряемый, Даниил уж тяготился своим существованием. Он отчаянно нуждается в рефлекторе, в соглядатае, в свидетеле своей жизни. Иначе он не умеет верить себе, чужое присутствие ему для того, чтобы убедиться в собственной реальности. Ему необходим кто-то вымышленный, чтобы перестать самому быть ненастоящим. Стыдливо, не напоказ он искал отклика на свое обездоленное скитание. Все, что касалось посторонних людей, выглядело таким многозначительным, все, что касалось его самого, было смешно и нелепо.

«В конечном счете...» — а ведь это было весьма и весьма важно, что счет-то все-таки велся; счет велся — и с Ним, и без Него, но все-таки Даниилу нельзя было забыть, что он сам связал свою жизнь со счетом. Он сам выбрал эту сторону — сторону цифр, точных формул, квадратных корней, интегралов и дифференциалов, сторону полнейшего рационализма с иррациональными, как душа, числами. Да, не слова, отнюдь не слова, а сухопарые надежные и постоянные цифры должны были жечь в нем благоговейный огонь сознания, а не эти пигалицы, нанизанные бисеринками на многослойные браслеты слов. Не скроем, продолжал он корпеть и над этим недостойным делом. Бог с ним, но подступало время выпуска, маячила необходимость трудоустройства, выхода в бескрайний океан так называемой взрослой жизни.

Вот уж и система так называемого образования (кто-то из Даньки да должен был образоваться), в которой он четырнадцать годов варился, к которой приноковился, к теплему бочку которого изнутри припекся, заворочалась, запыхилась да поднатыжилась — срок поспедал, готова была она выкинуть, выплюнуть не свое дитя, выдрать из своей ложбинки и предоставить новой житейской стремнине. Начальная планка — дно, а ведь он даже и дышать под водой не умеет. Он уже задохнулся, уже утонул, эта игра началась без него, без него она и завершится. И Даниил постиг эту правду жизни, постиг, но пока не знал, что с ней делать, как втиснуть ее в себя. Чем ближе окончание университета, тем сильнее чувство тревоги — кому теперь сдавать экзамены, кому понадобятся его ничем не подкрепленные знания, его грамоты, медали и дипломы? И все же что-то не давало ему окончательно сдаться, что-то заставляло длить агонию, бултыхаться и хватать ртом воздух. За смелость и упрямство ему воздалось: чья-то небрежная рука подхватила, завертела и вынесла его на берег. Устроившись на работу после окончания университета, Данька по глупости даже подумал, что перехитрил свою судьбу.

* * *

Ну так да здравствует оцифрованный мир! Матрицы, логика, всеобщая вычисленность... Вот и наш герой отвешивает тебе с готовностью и смирением поклон, прими его и заглоти. Сдержанность, умеренность, расчет, дотошность, пунктуальность, скру-

пулезность и высшее радение — он готов все положить к твоему алтарю, как монах, служить тебе и исполнять прихотливую твою же волю. В волокитстве уличен не был, но за тобою готов и волочиться. Всю свою жизнь намеревался он посвятить тому, чтобы таскать и перебирать бумажки, белоснежные, тепленькие, только что вышедшие из принтера, точно подогретые пеленки. Но, оцифрованный мир, оправдаешь ли ты ожидания? Ты должен был быть разлинованным, ячеистым, расчерченным, как шахматная доска, как клетка, в которую можно было заключить Данькину душу, здесь должны бы подавиться все мятежи, тревоги, здесь не должно остаться места разнузданности, лени, вольнодумству. Выданы правила — читай и соблюдай, тебе воздастся. Но что там уготовано вместо аккуратной клетки? Огромная система, человеческая машина, до отказа набитая активными, извивающимися, плодящимися образцами, вынутыми точно из реторты, банальными, расхоложенными, тщеславными, напыщенными, чванливыми, причмокивающими, всхлипывающими, чавкающими. Отдадим должное, среди них, как золото среди песка, находятся экземпляры и иного типа: стойкие, дисциплинированные, прагматичные трудоголики, профессионалы своего дела; в их повадках — гипнотизирующая размеренность, спокойствие, уверенность, они смотрят тигром, орлом, змеей, ничто не выдает в них суеты и человеческого смятения. Первых было в разы больше, чем последних. Но Даньке повезло подобраться и ко вторым, попресмыкаться у подножия их пьедестала. Разница была в температуре — в толчее первых чувствуешь себя, как в жарко испропленной бане: тяжело дышать, необходимо притираться и стыдно оттого, что больше никому не стыдно. Вторых мало, и от них веет холодом, лишний раз они тебя не заденут, а если и заденут, то поморщатся, словно замарались.

Свое первое официальное рабочее место Данька нашел на сайте вакансий. Конечно, ему хотелось перепрыгнуть через свою и множество других голов, и вроде как ему должны были дать это право красные дипломы, грамоты, медали и так далее — иначе зачем они? — но вот что странно: он их стеснялся, да и сам себе отказывал в возможности получения каких-либо преимуществ благодаря им. Вроде как понял, что никто и не заставлял его, никто не подгонял кнутом и не просил у него знаков отличия. Более того, потенциальные работодатели косились с недоверием и плохо скрываемой завистью на эти самые знаки — видать, не отступили еще годы студенчества в глубокие теснины памяти. И все же Даниил прошел собеседование, выдержал многочисленные тесты и проверку службы безопасности. А еще добыл справку из психиатрического диспансера о том, что он не имеет отклонений, «нормальный», «среднестатистический». Видимо, бывали прецеденты... Правда, справку выдавали так, что и без нее вполне можно было бы обойтись: пришел, заплатил пятьсот рублей в кассе и зашел к врачу, принимающему другого пациента, а тебя тут же, между прочим, осмотрели — кольнули профессиональным взглядом поверх приспущенных к кончику носа очков, подписали желтоватую, ворсистую справку, вдавили в нее синюю печать да и развернули с Богом, чтоб больше не ходил. И Данька не ходил.

Учреждение под названием «банк» распахнуло перед ним свои двери, прияло в себя, как в ясли агнца, и усадило за стол. Отдел кредитования юридических лиц, сегмент для начала соответствующий — «малый». Коллектив небольшой — всего четыре человека вместе с Даниилом, и это учитывая руководителя. Коллеги Даниила были значительно старше (вот он, изъян неуловимого по большей части, но сбитого в отдельной точке в густую массу времени: в сжатое пространство удалось стиснуть лета от двадцати до пятидесяти), и, видя его главное преимущество — молодость и огромный недостаток — неопытность, смотрели на новичка с нескрываемой завистью и не-

приязнью. Лишним будет описывать обстановку кабинета и его обитателей — как выяснится впоследствии, водянистые впечатления от знакомства с ними не оставят по себе никакого осадка в памяти Даниила, развеются, как туман. Кто-то завел невидимый механизм, и рутинная карусель, скрипя и дергаясь, начала свой разбег, размазывая все вокруг, и вот уже калейдоскопом замелькали дни, один другого короче. Данька старался, он въедался в каждую строчку нормативных документов, вчитывался в сноски, не ленился находить документы, упоминаемые в этих многочисленных сносках. Раз за разом обводил он своим немигающим взглядом буквы, прилеплял их друг к другу, но слова не вязались, фразы не обретали смысла. Разъединенные, несвязные действия, которые предстояло совершить ему или сотруднику другого подразделения, в уме Даниила не смыкались в единую цепь. Формулировки насакивали одна на другую, спустя страницы две или три они начинали противоречить друг другу — то ли автор забыл, передумал, то ли решил намеренно ввести в заблуждение, а то ли был слишком прозорлив и дальновиден — надо ж ему чем-то заниматься и потом, когда документ спустится до коллег-исполнителей: будет отвечать на их нескончаемые вопросы, будет нужным, даже незаменимым, а то поди разбери, что он имел в виду. Многочисленные инструкции, технологические схемы, методики, регламенты зачастую писались теми, кто и не касался практики. Сокрушаясь над путаностью изложения и собственной непонятливостью, Данька корил составителей и себя заодно — за заносчивость и высокомерие: попробовал бы сам хоть так написать. Корил, но не бросал попыток одолеть декларируемые нормы, хоть заучив их наизусть, хоть разъяснив себе как-нибудь, лишь бы слепился смысл, лишь бы сметались все разрозненные лоскуты. Смысл, правда, улепetyвал быстрее, чем Данька успевал наступить на его тень.

Где-то там на периферии мозга уж посверкивала (она моргала, как желающая перегореть лампочка, но все никак не могла скончаться) неоновыми огнями одна незатейливая строчка: «Вот собрались и так решили. Нет никакой особой логики, которая была бы лучше другой, но под свою логику, если что, у нас все факты подтасованы — обращайтесь». Вопила эта строчка, вопила, для того и моргала: не зажигалась насовсем и не гасла — назойливая она, упертая, вот и пришлось ее чем-то усмирять и прищучивать. «А ну и что! — решил Данька про себя. — Что собрались и решили? Не абы кто же собрался небось, все люди уважаемые, авторитетные, опытные, с чего б отказывать им в праве собраться и что-то решить большинством экспертных мнений, сумели же они как-то прийти к общему знаменателю!» И Даниил переступил через себя: он еще усерднее стал заучивать неудобоваримые, корявые, сучковатые полотна текста, которыми было необходимо руководствоваться в работе. Что ни говори, это противоречие в себе он если и не преодолел, то пообтесал и успешно утрамбовал его поглубже внутрь, чтобы не торчало на виду.

Но было и другое, саднящее и свербящее Данькино нутро: опытные ученые мужи и почтенные дамы изъяснялись каким-то странным способом: употребляя для того то согбенный, то растянутый, то ушитый, но прилаженный к их мышлению, асимметричный язык, как будто подогнанный для совместного пользования лишь избранными. Говорили-то еще ладно — складно, прижимисто, точно, не тушуясь и не размазывая мысль, а иные и вовсе как ручейки весенние журчали — так и видится, как солнечные лучи вплетаются атласными лентами в косички вешних вод; но писали почти поголовно на каком-то искалеченном, истерзанном, искромсанном языке: громоздились запятые где ни попадая, должно быть, перескакивали с обращений, причастных и деепричастных оборотов, двоеточия и тире почти что не встречались меж слов

(надо полагать, сбежали), все это было ряжено в тон пафосный, назидательный, самодовольный, рассчитывало стяжать беспрекословное подчинение и вселить трепетный страх тому, к кому было обращено, а если вдруг где-то требовалось прикрыть свой промах и без упоминания о нем никак обойтись нельзя было (то водилось среди исполнителей), то непременно большинство «извенялось» (похоже, для пушечей убедительности пускали кровь из вены и о том сообщали), но не просило прощения. А стоило бы попросить: вот хотя бы за эти самые вопиющие орфографические ошибки — они были чем-то неприличным, выпирающим, вульгарным, словно нечаянно или нарочно обнаженные части тела, которые подобает скрывать от чужого взгляда, задрапировывать в потемки. Волей-неволей начнешь сомневаться в содержании кривых сосудов, задаваясь вопросом: уж не попутали ли и сами слова, не оговорились ли... Доверие подрывалось. В учебниках, которые Даниилу доньше приходилось штудировать, ошибки были исключением, редчайшим событием, признаваемым, обсуждаемым и исправляемым. Тут же все было иначе. Знания представляли лжезнанием, они были унавожены тщеславием, сомнением, кичливостью, надменностью, деспотизмом — их главное предназначение сводилось к унижению тех, кто их выдумал. Эта пища ума смердила, и тот, кто, несмотря на это, ее поглощал, вынужден был мучиться несварением. <...>

Ну да бог с ними, а с ошибками (кто не пренебрегал грамматикой, да и за автором сих строк тянется нескончаемый шлейф едва ли оправдываемых промахов), и с заблуждениями, человек, кажется, из них одних и скроен, но как-то же уживается сам с собою, как-то функционирует, а что хорошо для одной системы, глядишь — сгодится и для другой. Всего больше корбило, обижало, возмущало и отвращало то, что эти самые господа, шипящие, грозящие, мнящие о себе невесть что, в общем, всяко власть предержащие и «извеняющиеся», не знали пощады в признании и предании каре чужих и своих, но «делегированных» ошибок — а они обладали несомненным талантом во внушении ошибок, чувства вины за них своим подчиненным. Нередко шишки сыпались на голову Даниила, нередко эту самую голову ему хотелось посыпать пеплом. Но он держался.

Страшно представить, до каких размеров волдырей вздуваются мелкие дневные проблемы, неприятности, заботы, препоны на просторах сознания в ночное время суток. Эти волдыри нагружают собой утомленное сознание, зудят, лопаются и зудят еще сильнее. Пропущенная в документе печать, потерянный клиентом документ, необходимость повторного подписания, исправления отчета или заключения, неснятое обременение в Росреестре — все эти события ночью превращаются в монстров: они наступают, сковывают в цепи, не оставляя ни единого шанса вырваться из-под их гнета. Карусель сознания вынуждена бесконечно крутить этих монстров.

Ночь была для Даниила самым страшным временем. Черная, плотная, ночь сама была монстром, поглощала его, заглатывала целиком, но он не разжевывался, не дробился и не переваривался, хотя медленно, но верно мялся и месился, раскатывался скалкой и рисковал быть совсем расплюснутым. Но каждый раз что-то не удавалось, и часам к пяти утра он, обслонявленный и изрядно скомканный, выплевывался неким аморфным существом на гранитный парапет всамделишного существования. А зачем, спрашивается? Велика ли разница между ночным наваждением и дневным бодрствованием? Как только голова Даниила касалась подушки, с ним начинали происходить ужасные вещи: он вновь переживал свой будничный день с незначительными вкраплениями мистики, с гипертрофированными чувствами, с пылающими красками, с увеличенной резкостью и возросшим освещением. Темпы происходящего ускорялись, а Дань-

ка, втиснутый в действительность, как в некий студеный эфир, не поспевал реагировать: нужно было приложить усилия даже для того, чтобы выдернуть руку из текущего положения и пробить брешь для нового. Руку что-то сжимало и теснило, она затекала, покрывалась мурашками, пронзалась болью, но и эта боль не спасала от изощренных измывательств слов, тембра, тональности голоса, которым подвергалось сознание бессознательным. Травля, ох какая травля разыгрывалась в одной голове, как мчались мысли, как сжималось и забивалось бичуемое существо, оно почти готово было лопнуть, погаснуть, вытесниться, но что-то, какая-то малость удерживала от окончательного исчезновения, и изможденное, покалеченное сознание бултыхалось и барахталось, как лягушка, к брюху которой привязали камень. Невыносимо видеть во сне, как пробуждаешься с чувством вины, отправляешься на работу, еле семена ногами, преодолевая тяжесть и распирающие в икрах; высиживаешь встречи; защищаешь на комитете заявки; получаешь вопросы, которые следовало бы обращать к самим же задающим их; выслушиваешь упреки, получаешь задания и, наконец, сознаешь, что совершил непоправимую ошибку, и начинаешь медленно сходить с ума. Все до мельчайших подробностей: ты видишь не тобой заполненные заявки, не тобой написанные электронные письма, материалы судебных дел, бесконечные таблицы, расшифровки расчетных счетов, лица, гнев, ярость, в которые ты приводишь руководство, слышишь слова, которые они еще не произнесли, обращаешь внимание на новый галстук одного начальника, на кольцо другого, на прическу третьего, на сыпь, появившуюся на руке четвертого, на тень, на блик, на пылинку. Ах, как страшно, как больно, как свербит в голове зубная боль, как противно и тягостно быть опутанным недовольством, раздражением и нетерпением собравшихся за этим круглым столом! Этот дергает ногой и стучит об пол своим начищенным ботинком, тот насупился, вот эта продолжает допытываться (ты ее уже не слушаешь — ее словам нет места в твоей голове), о, вон еще тот, что просто над тобой смеется. Тебе так хочется их придушить. Уснуть бы, уснуть бы прямо здесь, на этом самом месте, под их испепеляющим взглядом. Уснуть? Но ведь ты и так спишь, все это тебе только снится, вся эта тарабарщина, это всего лишь трепыхание крыльев ночного насекомого перед твоим носом. Проснуться, проснуться — все, что нужно, чтобы избавиться от кошмара!

Вкушая горькие плоды, Даниил, стиснув зубы (зубное нытье отчего-то отдавало из челюсти в лобную часть головы), продолжал двигаться. Нет, не вперед, но судорожно, как поломанный станок, вхолостую, туда-сюда, лишь бы не остановиться совсем.

Данькины сослуживцы были большие молодцы (никакой язвительности и сарказма): приходили они впритык к положенному времени, что не мешало им в течение первого получаса рабочего времени посмаковать кофе с пирожными и печенюшками, обсудить вчерашний вечер, счет ночного футбольного матча, фильм, только что вышедший в прокат, и тому подобное, успевали переделать все дела (Данька искренне в это верил, ибо в адрес ни одного из коллег ему не доводилось слышать упреки начальства), высказывали с работы через минуту после окончания рабочего дня. Даньке оставалось лишь удивляться: он так не умел. Он целыми днями корпел над бумагами, напряженно утыкался в монитор, принимал клиентов, консультировал их по телефону, готовился к комитетам, но ничего не успевал, кроме как получить новые задачи поверх нерешенных старых. Даня, наивный, не утративший веру в людей, изумленно взирающий на них, готовый все перенимать и учиться, был уверен в том, что компетенция, квалификация и опыт его коллег настолько непревзойденны, блестящи, безмерны и достойны восхищения, что ему лишь оставалось пенять на свои медлительность, тугодумство, слабование и нетерпение. Чтобы угнаться за своими

старшими товарищами, он вновь и вновь задерживался на работе, пытался разобрать свои завалы, но закапывал себя в яму все глубже и глубже, не смея заподозрить, что ему, как новому и неопытному сотруднику, свалили все неугодные сделки, копившиеся месяцами, а теперь для верности — чтоб не дать учуять неладное — торопили и подгоняли, чтоб ни единой минуты не оставалось на размышления, трезвое осмысление объема работы и действительного положения дел. Данька не справлялся: чем больше времени он уделял работе, тем большего она от него требовала. В конце концов, загнанный как лошадь, эмоционально выгорающий, перестающий быть чувствительным к напору, возмущающийся, но еще не протестующий, он начал прозревать. Он стал замечать, что в рабочих котлах его коллег ничего не кипит, сделки не заключаются, а все клиенты, которые у них появляются, постепенно становятся его, Данькиными. Он был наивен, но все же не туп. Но казалось бы, разве это не шанс: раз все сделки твои, так иди и иди на комитеты, запоминайся, блистай перед руководством, получай свою похвалу, а вместе с ней и удовлетворение от проделанной работы, в общем, думай о том, что тернии не бесконечны, и не смотри по сторонам. Действительно, отчасти в этом стоило и можно было найти утешение: Даниил выходил на комитеты, сталкивался лоб в лоб с руководителями, отвечал на их вопросы, отмечал их благосклонное к себе отношение, заключал сделки. Но сколько их было, этих сделок — одна, две за полгода? Да, ибо по большинству тех заявок, что оказывались у него на столе, следовало вынести отрицательный вердикт. Со временем Даниил и это понял, он стал быстро отличать «хорошего» клиента от того, что с высокой вероятностью перейдет в разряд проблемных в короткие сроки, пустую работу от перспективной — он начал отделять зерна от плевел. Вскоре Даниил пошел на первый свой рабочий обед, не чувствуя угрызений совести. Спустя еще немного времени, он начал уходить домой не вовремя, но значительно раньше. Сделки делались, неидеально — и это скребло изнутри, но как возможно, посильным трудом. Внутренне Даньке тоже стало легче: он принял для себя твердое решение — о смене рабочего места — и как будто распахнул перед собой новую дверь. Текущее место могло подойти лишь тому, кто готов был поступиться своими принципами и подмять себя под систему во имя денег. Он получал слишком мало, чтобы разменять на эти гроши свои принципы. Останься он здесь еще года на два, он бы кончил тем же, что и герой Германа Гессе «Под колесом». Для него система этого кредитного учреждения была колесом. В нем ему нельзя было не крутиться, а удобно повиснуть, зацепившись за ступицу.

Выдачи кредитов «своим», по договоренности и указкам, с минимумом документов и залога — для этого годились руки исполнителей самого низшего звена. Головы же этих самых исполнителей годились на то, чтобы лететь при любом разоблачении. Ревизии, служебные проверки, расследования булжниками катились на жалких работников, последствия острыми прашами всаживались в тела заранее намеченных жертв.

Нарисованные балансы, раскрошенная дебиторская и кредиторская задолженность — лишь бы не втянуть в периметр сделок наиболее ценные компании, принятие неподтвержденных данных по доходам и расходам, выдачи кредитов на покупку чего бы то ни было у своих же, аффилированных компаний — это лишь малая толика очевидных схем, которые так или иначе составили опыт Даниила.

Даниил постиг, сколь дорога минута рабочего времени его начальства, сколь мизерен час его собственного времени. Выходило, что его жизнь дешевле, чем чья-то, выходило, что деньги и жизнь его сумели оценить. Но почему? Почему, если он вкладывается больше, в эту минуту, интенсивнее, горит и переживает сильнее? Впервые он обнаружил в себе революционера, впервые через себя пропустил вопрос борьбы про-

летариата с буржуазией. До того он верил в то, что, чтобы заработать, нужно очень много работать, больше других, усерднее, упрямее, выдумывая и предлагая что-то новое, совершенствуя существующее и безукоризненно выверяя все сделанное. Но «связи», угодливость, лесть начальству, подличанье, показушность и все в подобном роде — то, что Даниил пропускал мимо ушей, то, от чего всегда отнекивался, — оказывалось сильнее его усердия. И оказывалось, что леса жизненного проекта Даньки были подпилены у самого основания.

Пустота, отрешенность, попытка интроспекции изымали из глубин памяти застывшее в памяти солнце по ту сторону залепленного морозными узорами окна: оно смотрит так беззастенчиво ровно и спокойно, так равнодушно, до щемящей боли в сердце. Вот это холодное солнце: ты смотришь на него, окунаешься в него, проходишь сквозь него, как призрак, но не веришь в его жестокость. Это солнце будто убежало от своего предназначения, позабыло о нем в этой земной точке. Почему? Оно не знает о своем предназначении, оно не может его выполнять, не хочет?.. А знаешь ли ты свое предназначение?..

Какое дело — его призвание? Что ему уготовлено, что лежит там под елкой в большой красивой коробке с синими лентами? Как знать... Что такое его «свое» дело, есть ли оно, ведь никто его даже не обещал. Заниматься так называемым «своим» делом, слепо, без оглядки — значит быть не просто уверенным в себе — значит быть самоуверенным, слепым и глухим до всего, что дела не касается. Это значит верить в себя, в свое дело, в его смысл, не имея к тому ни логических обоснований, ни оправданий, ни чаемого результата. Нужно суметь выползти из-под пресса своих сомнений, выдрать ум из терновника предрассудков, навязанных суждений, оценок и — морали. Нужно разболтать эту тяжелую, мутную жижу болота, нырнуть в него с головой, не запутаться в тине, не увязнуть и достать со дна, с абиссали души невидимые драгоценности, которые, быть может, есть, а быть может — их никогда и не было. Есть или нет, но тот, кто вынырнет на поверхность, едва ли избежит презрения к жизни. И нельзя не презирать: презирать человека, толпу, общество, коллективный рассудок, обычаи, устои, опыт, переработанную грудку опыта, знаний и труда. Презрение — это орудие противопоставления себя и своего, пусть мнимого, таланта им, порицающим, критикующим, возносящим, признающим и отвергающим, презрение — это тщеславие и категоричность, в некотором роде ограниченность — желание отсечь себя от щедрой рассады остальных. Выдуманный герой, его подрагивающий силуэт, с которым ты ассоциируешь самого себя, оказываются значимее и весомее человека из плоти и крови. Карикатура затмевает живой прототип, бледные, едва различимые линии предпочтительнее вопиющего, налитого соками естества. Человек — всего лишь материал и орудие искусства, он служит ему вместе со своими страстями и слабостями, он подчиняется завихрениям, изломам и перегибам идеи, он — лишь художественный образ, лишь символ, обозначающий некую отвлеченность, с его помощью выражаются мысль и чувство, человек — их наряд, который нужно относить и бросить.

* * *

Даниил смутно подозревал, что болен душой, но не в том смысле, что он душевнобольной (хотя кто его знает — не верить же справке за пятьсот рублей), а просто будто застудил душу, вот она у него и расклеилась, вот ее и лихорадит. Он стал часто сомневаться в своей способности здраво рассуждать, но ему так хотелось себя оправдать, настолько громко кричало в нем чувство собственной вины, что нужно было чем-то прикрыть, заслонить свои слабости, несовершенство воли, недостаточность или

избыточность усилий, пренебрежение к одним и страсть к другим вещам. И такой за-слон, такая ширма находились — в физических недугах. Данька выдумывал их себе, но, странное дело, его мнимые недуги подтверждались диагностикой и заключениями врачей. Он не ограничивался одним заболеванием, собирал их в букет, но при этом боялся последствий, которые они могли ему принести, которые могли его изуродовать, причинить неудобства себе и посторонним, ввести в зависимость от помощи или лекарственных препаратов, тем самым унизив его еще больше. На некоторое время обнаруженного заболевания доставало на то, чтобы подавить чувство вины и угрызения совести. Даниил боролся со своими болячками не рьяно и подобострастно, но в точности следуя предписаниям эскулапов. Вскоре заболевание, не сильно досаждая, притихало, умиралось и теряло свое значение, приходило разочарование в его важности, сознавалось существование гораздо более тяжких недугов и несчастий, с которыми людям приходится жить и умирать; тогда Даниил забрасывал свое лечение, забывал о том, что его что-то беспокоит, и предавался самобичеванию, вновь испытывая к себе, а попутно и ко всему окружающему ненависть. Сам виноват, нечего было кликать, призывать болячку, чтобы хоть на нее да сложить с себя ответственность. Стоит, к слову, сказать, что диагнозы он подыскивал все сплошь «благородные» и приличные, подобающие невротической, тонко устроенной натуре, а еще редкие, малоизученные и неизлечимые, но чтоб симптоматика, анамнез у них непременно были изысканными, не роняющими самолюбие; заразные, ввергающие в ужас одним своим видом недуги не годились. Но зато те, что годились, служили нашему герою лишним и лучшим подтверждением бракованности собственной сущности.

Итак, его начали мучить головные боли. Поначалу голова болела раз в две недели, потом — каждую неделю, чуть позже — каждый день. Началось это после одного из выходов из отпуска. В первый же рабочий день его голову будто сжали кольцами и поместили в ней часовой механизм — так несносно пульсировала то в одном, то в другом виске кровь. Это был какой-то тугой комок, бьющийся о стенку черепной коробки, разрастающийся, постепенно спускающийся к горлу и вызывающий рвоту. Даниил не мог заснуть, а если засыпал, уповая на то, что тиски ослабят свою хватку, то наутро вставал с еще более тяжелой, словно распухшей, головой. Болеутоляющие не выручали, они притупляли пульсирующую боль, но справиться с ней до конца не могли. Даниил злился на свой организм, считал его предательски слабым, ненадежным, ни на что не годным. С месяц или полтора Даниил просто терпел, отчасти надеясь, что так резко возникшая боль так же резко может и отступить, но ни боль, ни ее спутницы — тошнота и рвота — его не покидали. Он обращался в поликлинику, проходил обследования, получал рецепты и вновь оставался наедине со своей проблемой: лекарства ее не решали, а усугубляли. Несмотря на то, что симптомы были выраженными, перемену Даниил заметил в себе не сразу — насторожиться заставил лишь изменившийся почерк. Писать вдруг оказалось трудно: сколь сильно бы Данька ни зажимал ручку, ему не удавалось выводить ровные строчки: буквы подскакивали и проваливались, как воздушные гимнасты на матах, превращались в хвостатых макак, кучно, слишком плотно сидящих друг с дружкой, а то вдруг меж ними образовывалась неожиданная брешь, коей не подобало быть посреди слова, сама горизонтальная линия — шампур, на который нанизывались буквы, — ни с того ни с сего кривился, будто ошпаренный едкой кислотой.

Даниил вновь обратился в больницу, но уже к другому специалисту; на этот раз, приняв во внимание все симптомы, Даньке назначили МРТ и по его результатам поставили диагноз. Тут Данька в первый раз очнулся ото сна.

Путаность, нечеткость, рассеянность сознания — неужели все это было не только и не столько следствием его лени, безалаберности и расхлябанности? А причина головных болей не только в постоянном напряжении и подавлении эмоций? Припомнилась вереница тревожных симптомов, вызывавших в Даньке досаду: иногда он промахивался мимо предметов — чем не следствие расфокусированного взгляда; часто спотыкался — просто неуклюжесть; про почерк и выделяющую странные пике ручку мы уже упоминали; слова куда-то вдруг девались из головы, язык коснел, мысль обрывалась, не оставив по себе и следа — то ли еще может быть от недосыпа! Даниил не придавал всему этому значения, он боролся с самим собой, негодуя и раздражаясь на себя.

Он не задавался вопросом, почему именно он, а не кто-то другой, почему в его возрасте, за что, можно ли что-то исправить, если да, то — как? Ему не нужны были ответы на эти вопросы, он уже готов был принять ту реальность, которая вдруг заговорила с ним прямо, без обиняков, поставила перед ним песочные часы. Это было жестоко, но справедливо. В фильмах и литературе герой, оказавшийся в такой ситуации, частенько вдруг прозревает смысл своей жизни, записывает свои желания и приступает к их немедленному исполнению; тут же обретаются смелость и отчаяние, откуда-то притекают ресурсы, в подружках заводится удача. С нашим героем ничего подобного не произошло. Да, наверное, нужно было что-то сделать, наверное, должны были вскипеть в нем, как пена морская, желания, наверное, как некий оракул, он тут же должен был овладеть тайным знанием отделять существенное от будничной шелухи. Но повторимся: ничего этого не случилось. Потрясения хватило на один вечер, у Даниила не открылся третий глаз, не обострилась интуиция, не появилась дополнительная энергия, с которой он бы развернул небывалую активность, да он не понял даже, чего ему хочется. Жизнь не перевернулась с ног на голову, была она конечной, так конечной и осталась, может быть, сжалась в гармошку.

Ничего не изменилось: Данька продолжал движение по своему привычному маршруту, метя и умерщвляя безжизненным взглядом столбы, деревья, здания, птиц и даже людей — они оставались неназванными, неокликнутыми, замолчанными и погружались в молочно-сизый туман, безвозвратно растворялись в нем, как непроявленные чернила.

Долго все свои переживания утрамбовывал и закапывал в себе Данька, может, считывал на то, что они обратятся в перегной и подготовят плодотворную почву его мироощущению. Но время шло, а ростки не пробивались. Видать, все, что ни хоронил Данька в себе, толком не могло разложиться, ибо противно и чужеродно было природе, как полиэтилен земле. А земля ведь тоже тужится, мутит ее, выворачивает; инородность проталкивается к свету. Вот и полезло то, что не переварилось, наружу — удушенное, обслюнявленное, истерзанное — и внутри чужое, и снаружи не свое: по-выскальзывали необтесанные слова. Не понятно ничего, шершаво, склизко и липко, а все ж из себя, все ж не удержать, не подавиться, не проглотить, вот и вырывались полумертвые слова, все разбухшие, размазавшиеся, растекающиеся, ни с собой не умеющие управиться, ни с друг с другом сочетаться. Они толпились и громоздились друг на дружке, как будто хлипкие захиревшие домики, покосившиеся и смыаемые селом — вот-вот соскользнут в обрыв, вот-вот канут в небытие. Ни красоты в них, ни силы, ни характера, ни содержания, никакой притягательности даже, чтоб любопытство разжечь. И ведь с чего, казалось бы: слова ведь все те же — людьми предметы в них были ряжены, людьми же обозначены, а выходило так, будто дрянной портной все не по размеру скроил и сшил: тут вроде и чувство то, а втиснуто не туда, тут вроде и глубина та, что надо, и размах верный, а с самой формой промах. Оттого короби-

лись и коверкались благородные чувства, а непутевые эмоции в мантии да при посохе на троне оказывались. Все было не на месте, все не к месту гротескно и бутафорично.

Но куда от этого деться? Пустота в душе меняла свое агрегатное состояние, сгущалась в эфир и требовала исхода. В замешательстве, в сумятице, в исступленном возбуждении Данька выхлестывал из себя слова, неточные, слабые, они вяло вылетали стрелами из неумело натянутой тетивы, встречали сопротивление воздушных масс и, лишившись инерции, ударялись оземь, не достигнув своей цели, не учув ее, не ощутив к ней тяги.

Данька пытается запаковать в слова впечатления от пережитого; каждое слово вызывает не изжившие себя чувства, ударяется об их колокола, отскакивает от одного, влетает в другой и порождает какофонию, отпевающую душу.

Несвязный текст, закосневшие слова и неоправданные чувства — это все, на что он способен! Тонкая игра, будоражащая кровь щекотка и сдержанность, полутона или откровенность — все это ему неподвластно, от всего этого он отрезан. Сумбур, сумятица, дрожание не только руки, но и мысли, отрывистость и пульсация — это было все, чем исчерпывалась художественная ценность, а если честно, ничтожность его жонглирования словами.

* * *

Ах, знал ли Данька, понимал ли он, что изъяснялся на непонятном, неподъемном языке не потому, что иначе не умел, но потому, что иначе не мог, потому, что за туманными фразами, запутанными лабиринтами слов, за мишурой напускного изящества, искусственности, недосказанности и обрывистости, за расточительными оборотами прятал как можно дальше себя от постороннего пытливого — или не очень — взгляда, он хотел стать недостижимым, улепетывал все дальше и дальше, заслоняясь армией слов, он пытался, путая след и все же боясь совсем потерять из виду человека.

Порой Даниил отступался и пытался от придуманных и ниспосланных миров, порой слова, закутки слогов, крючки букв, их сцепления и круговерти вдруг теряли свое значение, очарование, даже лишались бессмертия и превращались в заурядную, ни на что не годную ржавую проволоку — ни дать ни взять опаленные полые стебли высоких некогда трав. Свергнутые, они обращались в закорючки, в болты и шурупы, растерявшие свои зазубрины. Они вызвали к себе жалость, какой мы обдаем, как кипятком, нищих оборванцев и калек, они расчленились, прели и тлели, виноватые, тусклые и развенчанные. От них оставались лишь хлопья дурманившего тумана.

Слова предавали его: они переставали воскрешать образы, они дышали механически, со свистом, но от них не исходило тепла, они совершали множество движений, топтались на земле и сминали все всходы, что успели до них подняться и подбочениться. Ах, эти слова, эти честолюбцы, эти палачи! Каждое слово — не то компрачикос, не то его жертва. В конечном счете слова, напичканные возвышенной фальшью, начинали вызывать тошноту, они будто, не зная, чем еще привлечь внимание, начинали испражняться на глазах у того, кто их призывал, чтоб неповадно было тешиться над ними.

* * *

Но подождите: что же, бросил наш герой ненавистную, бессмысленную и осточертевшую работу, посвятил остатки сознаваемой жизни самому себе? Как бы не так! Вот и сейчас поездом он следует к одной из точек хозяйственной деятельности своего потенциального клиента. Все же прогресс есть: Даниил совершенно не думает об этом.

Когда перемещаешься в пространстве, движешься и во времени. Верно и обратное. И твоей душе приходится с этим мириться.

Даньку немного знобило: не то от нервного напряжения, хотя вроде не было к тому особых причин, не то он успел нагулять на перроне простуду.

Ночь меж тем зазывала под свой покров. Данька повиновался, отдаваясь ее власти. Расстелил постель и улегся, укрывшись простыней и грязным, в бело-голубую клетку, одеялом. В конце концов перестук колес увлек его сознание в зыбкий, тягучий, но неглубокий сон. Душа, сознание, сновидение — эта троица, как трехглавый дракон, плутала где-то под металлическим брюхом поезда, наворачивалась на тонкие стальные веретена и спицы, соскакивала с них и расплющивалась под колесами, но продолжала свое безотчетное движение. Вдруг через лохмотья сознания и наслоения звуков, образов, тревог пробились чьи-то голоса, обрывки фраз и ругательства. Что-то в Даньке без его на то усилия напряглось, сосредоточилось и окаменело, не отходя ото сна. Что-то уловило чье-то возбужденное, взбудораженное состояние, копошение рядом и горячее дыхание. Над Данькой что-то творилось, свершалось с поспешностью и отягощенностью привычными, ловко выполняемыми действиями.

— Достань тряпку какую-нибудь или дай свой носовой платок, а то вдруг проснетесь и завершит еще, — горячо, но неспешно шептал один голос.

— На, держи. Слушай, может, влить ему в глотку полбутылки крепкого? Обмякнет, проблем будет меньше, — отвечал и вопрошал другой, более раздраженный и менее приглушенный.

— Тише ты, разбудишь. Не его, так кого-нибудь.

— Так вместе с ним этого разбуженного и отправим, — ухмыльнулся кто-то, явно давая знать, что работенка ему не внове. — Так что, поить будем?

— Нет, кто его знает, что с ним градус творит. Вдруг он буян, которого потом не урезонить, только шум поднимем, хлопот не оберешься.

— А чего мы вообще об него мараемся? Пацан зеленый, денег с него не возьмешь. Много чести. Да и без нас он какой-то пришибленный, того и гляди, приключится с ним что. Малость даже жалко парнишку.

— Это ты верно подметил, но разве нас это когда-нибудь останавливало? Приключились с ним мы, так что все путем, мы лишь смазываем скрипучие рельсы его судьбинышки.

— Ну, пацан, спасибо тебе за проявленное участие, вернее, соучастие. Ты сейчас так бьешь своими плавниками и извиваешься, что не могу понять, кого ты больше напоминаешь — червяка или рыбу. Угря, что ли... Эй, — обратился он к своему поделнику, — ты смотрел фильм «Сделано в Китае»? Вот там тоже угорь был...

— Умолкни. Сначала — дело, потом про фильм расскажешь, — примирительно заключил голос.

Данька совсем не пытался вырваться из цепких чужих рук, ему в них было уютно, словно в колыбели. Почему же говорили, что он извивается? Он чувствовал себя туго спеленутым ребенком, стиснутым коконом, обклеенным скотчем, было приятно, тепло и безопасно. Руки и ноги прижаты к туловищу, шея будто заржавела — голову нельзя было никуда повернуть, казалось, что одно лишь сознание, как выжатая начинка, могло бы выплеснуться из тела. Было легко. Еще бы — его подхватили четыре крепкие руки и куда-то несли, как некое бревно. А еще было очень любопытно: казалось, что свершается некий обряд, таинство, которое без Даньки — без жертвенного подношения — пойдет под откос. Надо, чтобы все получилось, никто и ничто не прервало мистическое действо. И все же интересно, почему никто не просыпает-

ся? Почему никто не задает вопросов, куда посреди ночи несут человека? Неужели даже проводники их не остановят, пропустят, неужели никто ничего не сделает для его спасения?.. Но спасения от чего? И почему он сам не пытается себя спасти? Почему не размыкает век, не кричит, не стонет, не брыкается, никак и ничем не препятствует тому, что с ним делается? Безысходность и неотвратимость окутывали легким флером, уплотняя и разряжая вокруг воздух, но Даниил боялся пошевелиться, дабы не нарушить это состояние. То, что происходило с ним сейчас, было неизведано и — знакомо, неподвластно и хрупко одновременно, должно было обратить в прах планы общества и его собственные планы... это захватывало дух и спирало дыхание. Изъятый из серой будничной массы, затаив дыхание, Даниил ждал следующего шага. Он ненавидел свои подчинение, покорность, угнетенность в повседневной жизни, но сейчас был готов повиноваться, быть чьей-то безвольной добычей, смилившейся со своей судьбой, наблюдающей за ней из своего сна. Сложив с себя всякую ответственность за свое существование, он видел виновников внутреннего торжества и с закрытыми глазами. Даниил слышал мерный звук вагона, ползущего по рельсам, ненастойчивый перестук колес — казалось, эти звуки как будто закупорили сознание, оно стало непроницаемым и умиротворенным. Но вдруг что-то случилось. Лопнула и прорвалась невидимая струна, меха выдохлись, или это была всего лишь гофрированная мембрана между вагонами, она как-то еще сладко называется... «суфле»?.. О, какое вкусное суфле ему доводилось есть в детстве, жаль, что такое теперь не продают, да и название Даниил не помнит, что-то на «Р», какое-то имя...

Вдруг сквозь вату, туманную пелену (не-е-ет, сквозь желтый старый поролон) послышались слова (такие странные, упакованные, как дорогая техника, в пенопласт и пузырчатую пленку): «Запомни, слюняй, жить — это всегда преступление». Кто это сказал, кто так злобно вдул ему в уши эти слова? Данька покрепче сомкнул веки, он почти зажмурился. Ах, как сладко. Страшно, очень страшно, но непередаваемо ново. Вот он сам мог стать наблюдателем, сам мог быть главным героем и главным зрителем постановки. «Ты такая же частица Вселенной, как и все прочие, подчиняешься тем же законам, что и иные физические тела, да и метафизические понятия, если только они в самом деле существуют, — так что надобно начать падать, чтобы обрести свое направление, энергию, форму, чтобы хоть на сколько-нибудь ощутить левитацию, прежде чем разбиться оземь. Помни о том, что ты — всего лишь комета этого мира, ни на что не годная, отход мирового производства, но знай и то, что все остальные — обитатели той же свалки». «О да, я всего лишь отход, я — целая комета!»

Тирада вкрадчивого, но деспотичного голоса прервалась. Перед глазами все поплыло. Не помню — глазами открытыми или сомкнутыми. Заструился дым. Сначала тонкими нитями, затем клубнями, наконец занавесил все и заглотил в себя пассажиров. Открылась дверь, стук колес стал четче и резче, но как будто медленнее. Кто-то посадил Даньку на ступени. Открылась еще одна дверь. Они оказались в тамбуре. Стоп! Мы же уже тут были, ели «суфле»... В лицо пахло свежим, напитанным влагой воздухом. Поезд замедлял свой ход и снова порывался вперед. Время шло все быстрее. Дело близилось к развязке.

— Скоро станция, — сказал один из распорядителей Даньки. — Минут пять осталось, если не опаздываем.

— Подождем, пока скорость слишком велика, — ответили ему.

Вот только что герою сжимало сладкой негой неизведанности сердце, томило его предвкушением и переживанием приключения, сопричастности преступлению против самого себя, против человека, против природы, против границы, пролегшей между

нею и им, против Бога, как в нем уже совершился разворот, индуцировалось возмущение, неприятие, восстало чувство несправедливости оттого, что кто-то посторонний, непричастный к нему, не имеющий на то права, такой же материальный, как и он сам, чужеродный организм пытается вершить его участь.

Как нельзя кстати, Даньку настигло одно воспоминание: это был детский сон, который случался непременно во время каждой болезни, когда Даньку мучил жар и лихорадило. Сон не был о чем-то определенном, осязаемом и определяемом словами, он был соткан из ощущений, переживаний. Казалось, что действие происходило в мчащемся на полном ходу поезде, но Данька не мог определить своего местоположения в нем — он точно в нем присутствовал, но как будто в нематериальном виде, как будто проникший, размазанный по неодушевленному нутру, по стенкам и перегородкам; вместе с тем движение было нехарактерное для поезда — монотонно-зацикленное, конвейерное (рядом с этим словом непременно вставал образ Форда — не самого Генри Форда, а его детища: лакированного, коричневого, с выпуклыми фарами-глазщами), но все время набирающее скорость. Ничего не было видно, все было залито тушью, но присутствовало знание того, что все не черное, а коричневое. Происходило чье-то падение вниз под аккомпанемент странной мелодии, которую Даниил никогда не слышал наяву и не мог бы воспроизвести. Данька вдруг оказывался на граммофонной пластинке, потом вдруг перескакивал на старую кассету, длинную, приятную на ощупь ленту которой магнитофон зажевывал вместе с Данькой, ничуть не боясь подавиться. Этот сон, как уже было сказано, давно превратился в воспоминание, вздулся неожиданно, как мыльный пузырь, и уволок сознание в свою полынью. Отряхнуться от навяздения Даниил смог только будучи уже на земле, скатившись в овраг насыпи железной дороги и почувствовав тупую боль и холод. Всему этому предшествовали резкий, выверенный толчок в спину, непродолжительная борьба с силой гравитации, раскрывшийся было рот и воздух, много сжатого, спрессованного воздуха, запихнутого в рот, как кляп. Данька покатился кубарем, вдыхая, заглатывая и пережевывая сырую землю, траву, мелкие камни и песок. Одежда, в которые так старательно его заворачивали, сбились и освободили руки и ноги, но не потерялись — обхваченные на поясе широким скотчем, они так и остались безвольно висеть на жертве. Данька нашел себя уже постфактум, он не помнил, как его столкнули, не помнил, что он почувствовал в этот момент, не был он и удивлен этим фактом. Ни единого следа от страха, ужаса или потрясения, голова была свежа, чувствовалось теплое покалывание во всем теле. Собственно говоря, это все могло легко объясняться: ведь не чувствовал же он боли, когда, будучи совсем еще маленьким, расшиб лоб в кровь — она так и хлестала из раны, а боли, даже легкого жжения не было, шрам, между прочим, до сих пор на месте. Кто его знает, может, организм так мобилизовался и запустил все защитные механизмы, что сумел уберечь сознание от невыносимого потрясения. Даниил осмотрел себя: он был весь в ссадинах, некоторые из них были глубоки и кровоточили. Сердце билось, как сумасшедшее, надрывно и тяжело молотило оно в грудь. Судя по тому, каким бледным, акварельным было небо, по серпу луны, которого еще не коснулся язык богини рассвета, время было раннее, где-то между пятью и шестью утра. Травы, уже пожухшая, затвердевшая, колючая, была черно-желтого, гнилого цвета. Мокрые звезды упали с неба, раскололись на миллиарды осколков и теперь впивались в кожу. Или нет? Это всего лишь щебенка и песок.

Несмотря на то, что Данька весь продрог, он не чувствовал дрожи, — может, оттого, что температура его тела была близка температуре земли. «Чушь! — одернул себя Даниил. — Ты хочешь сказать, что в тебе лишь десять-двенадцать градусов тепла?

Не обратился же я в рептилию!» И все же он чувствовал тело земли. Родное и бесприютное, плодородное и прожорливое, в нем угадывалось шевеление жизни. <...>

Даниил перевернулся на спину, раскинул руки в стороны и, прикрыв глаза, глубоко, жадно вобрал в себя воздух. На выдохе он открыл глаза, и его взору открылось чистое, без единого облачка, небо, похожее на лист бумаги. Странное небо для вступающей в права осени. «Должно быть, Болконский примерно так же лежал на поле битвы и заворуженно и безвольно смотрел на небо», — мелькнуло у Даньки воспоминание о школьной скамье и тут же кольнула совесть — а ведь она, бесстыжая, закрыла глаза и спустила с рук эпизодическое прочтение великого романа (ладно в школе, но ведь и к своим нынешним годам Данька не удосужился восполнить пробел в классическом литературном образовании). «При чем тут Болконский?! — тут же вспыхнула полемика с незванными мыслями. — Ну какой Болконский! Нашел кого рядом с собой ставить и сравнивать. Нашел „баталию“ „своего“ масштаба!.. Долго ли ты тут собираешься лежать без толку?» — раздраженно спросил он у себя, но был не в силах оторваться от небесной голубизны, к которой присосался его взор. Данька не признавался себе, но чувствовал затаенную радость, как если бы там, за необъятной аквариумной стекляшкой скрывался чей-то взгляд; ему хотелось разглядеть кого-то, кто подсматривал за ним, хотя бы сейчас, хотя бы в нынешнем его положении, даже если до этого он оставался незамеченным. Человек не может быть один, ему нужно выдумать либо Бога, либо самого себя, и неважно, что они никогда друг с другом не пересекутся, и будет стул без тени или тень без стула, а значение будут иметь лишь зеленый горошек или футбольные флажки. Данька продолжал лежать, внутри него равномерно разливалось тепло, словно после продолжительного бега. Он не думал ни о тех, кто выбил его из наезженной колеи, грубо и нагло вытолкнув из вагона, ни о мотивах, которые их к тому побудили. Мотив — это следствие логического умозаключения; в том, что приключилось с Даниилом, не было логики, скорее, был животный инстинкт, явление абсурда. Все это было неважно, вопиюще неважно. Все стало неважным, простым, неспешным. Исчезла тревога. Слишком долго державшее напряжение, на что-то отвлекшись, ослабило хватку — должно быть, утомилось и лишилось внимания и собранности. В голове наступила опасная пустота — не настолько, впрочем, пустая, чтобы не дать воспламениться любой, самой неуместной мысли и не опалить следующую, в нетерпении вырывающуюся из забытых пор сознания. Мысли вздувались, переливались всеми цветами радуги краткие мгновения и лопались, оставляя по себе лишь едва уловимую вибрацию.

Даньку со всех сторон обступила настороженная любопытная тишина — та самая, звенящая, — воздух был стеклянный, прозрачный, сжатый и расслабленный одновременно — в таком состоянии ни природа, ни дух долго находиться не могут. Такое состояние бывает после пережитого, испытанного до дна чада. Кстати припомнилось название последней станции, которое Даниил увидел перед сном, — «Чад». Наконец он заставил себя подняться, отряхнуться, осмотреться и, закутавшись в случайную безвинную свидетельницу и жертву совершенного с Даниилом преступления — одеяло, двинулся в путь. Ему было все равно куда идти, не задумываясь он о том, в какую сторону следует двигаться, чтобы достичь какой-нибудь станции и полицейского участка, чтобы вновь продать своим существом социальную ячейку, в которую можно было обратно втиснуться. Как уже было сказано, ни документов, ни денег, ни иных атрибутов, изобличающих его причастность к социуму, при нем в настоящий момент не было. Даниил располагал лишь самим собой, а им, в свою очередь, как снутри, так и снаружи, в полной мере располагала природа. И все же при желании было до-

вольно просто добраться до какой-нибудь станции — проще простого: достаточно идти вдоль путей, до которых рукой подать, сообщить о себе, восстановить себя и ход событий, с ним произошедших, — в конце концов, все данные о том, на каком поезде он ехал, какие документы при себе имел, где пропал (а это уже с легкостью могли подтвердить проводники), по какой причине и т. д. Так что стоит признать, что положение героя было затруднительно лишь сравнительно и уж точно неплачевно. Но не то герой наш в ту минуту уж слишком растерялся и утратил поддержку рассудка, не то в его голове присутствовал какой-то план, но он не только не стал держаться железной дороги, но, наоборот, начал удаляться от нее, двигаясь по направлению к далекому еще, синеюще-чернеющему лесу. Вскоре он достиг его и не без колебаний двинулся в его недра. Куда его несет и зачем? Неизвестная местность, никаких средств связи. Со всех сторон пилились деревья, и чем дальше он шел, тем сумрачнее и жестче становился их взгляд. Ветви деревьев напоминали тюремную решетку — могло стать, что его душа-птица зацепилась за них крыльями и теперь безмолвно трепещет ими и кровоточит, насаженная на прутья, причиняя себе все большую и большую боль, пытаясь высвободиться. Но даже если так, она обязана продолжать подавать признаки жизни: было бы неплохо, если бы она окликнула Даниила по имени, и они вместе освободились или упали навзничь друг с другом рядом, лишь бы вместе, не изнывая от тоски друг по другу.

Даниил брел без цели, просто так, чтобы не лишиться инерции. Ощущения безнадежности своего положения у него не было. Не пугало его и то, что он все дальше и дальше забредал от каких-либо ориентиров.

Даниил шел в одном направлении, никуда не сворачивая, насколько это было возможно в данной местности, не возвращаясь назад, не думая о пропущенных выходах из сумрака, не сомневаясь и не рассчитывая на одни лишь свои силы. Он уповал на случай. Ему пришлось вспомнить о том, каким длинным может быть день. Вспомнил он и о том, что такое физическая боль и усталость, он превозмогал их порой с невероятным усилием: мышцы ног забивались, дыхание сбивалось, сердце стучало в ушах; Даниил продирался сквозь колючие кусты, увязал в нетвердой почве, вброд переходил водоемы, мок под дождем и снегом, но не выбивался окончательно из сил, не опускал руки и не предавался отчаянию. Может, оно еще было впереди, а может, он уже был «по ту сторону» отчаяния. Как бы то ни было, он двигался вперед методично и твердо, предвкушая окончание этого путешествия, но не торопя его.

Пейзажи сменяли один другой: были пресные, водянистые, скучные виды, напускающие уныние и ворующие силы; но иногда природа проявляла свое благодушие и баловала потрясающими полотнами. Ближе к вечеру одна из таких замечательных картин развернулась перед Даниилом: металлический блеск закатного солнца, пронизывающего вспухшие, отяжелевшие грязновато-розовые тучи, слепил глаза и вынуждал зажмуриваться, в то же время возбуждая любопытство и маня взор сочными красками, щедро, слой за слоем накладываемыми небесным реставратором на осунувшуюся действительность; мазок за мазком — и все вдруг оживляется, румянится, как корочка запеченного пирожка, смазанного маслом. Вкусно... вкусно вдыхать в полную грудь этот осенний вечерний воздух, разлившееся вокруг мощное увядание, торжественные, пышные похороны природы, наверняка знающей о скором своем возрождении.

Наконец где-то впереди, когда все кругом померкло и потускнело, словно затянувшись в матовую защитную пленку, и нелегко уже было определить расстояние на глаз, сквозь ряды деревьев забрезжила янтарная нитка света: то были окна низеньких домов.

Светлая полоса пролегла над и под растушеванной линией горизонта: должно быть, дома тянулись вдоль берега некоего водоема. Радоваться бы близости человека, но изнеможенного Даниила тут же омрачила мысль о необходимости вновь устанавливать связи с людьми, делать усилия, чтобы быть понятым, напрягаться, чтобы понять других, просить о помощи, быть кому-то обязанным; но все же было более приемлемым искать приюта у чужих людей, рассчитывая на их сердобольность, нежели оказаться в полицейском участке и — хоть и в полном праве — устанавливать, доказывать и защищать свою личность, оправдывать себя, обвинять кого-то, требовать чего-то... Вновь обретать себя, свою личину, а вместе с ней прошлое, историю, уязвимость, отношения... Нет! От нахлынувших мыслей по телу пробежала дрожь возбуждения и бросило в холодный пот. Сейчас Даньке была удобна и приятна его разъединенность с самим собой, со своим обозначением, со всеми теми гвоздями, которыми он был приколот к ненавистному внешнему миру. Так чувствовалось, что искренним в исполнении нашего героя могло быть только молчание; любое слово, протиснутое через сжатые до боли зубы, вывороченное непослушным языком, значило фальшь, подличанье и лицемерие. Любое слово заочно растаптывало его.

Оставалось идти не так долго — может, километр, может, два, когда каждый шаг Даниилу стал даваться труднее предыдущего, ноги словно увязали в цементе. Но связано это было не с физической усталостью, а с внутренним сопротивлением — такое он часто, да практически всегда испытывал, когда шел на работу. Наконец он пересек железнодорожные пути (снова они — уж не кругами ли плутал Данька?), и оказался совсем рядом с людьми. Нужно лишь перейти мост через реку или озеро, чтобы оказаться в жилой местности. Судя по всему, он вышел к какой-то рыболовецкой деревушке или поселку. Даниил ступил на скрипучий деревянный мост в заплатках. Идешь по нему, а он кряхтит, будто ты продавливаешь живое, хоть и иссохшее тело, да противно, как Баба Яга, отзывается на каждое движение. Одна доска поднимается, другая опускается, так, пожалуй, все косточки пересчитаешь. По обеим сторонам зловеще сверкала своей чешуей, словно огромная рыба, темная, густая, непроницаемая поверхность затхлой воды. Воды ли? Глаз видел густое черничное желе. Воздух, отяжелевший от сырости, наваливался на Даниила своей незримой тушей и, стесняемый чужим присутствием, нетерпеливо толкал в спину. Приблизившись, Даниил мог разглядеть, что населенный пункт позади, как забором, обнесен лесом. Ни души не было в поле зрения. Даниил слышал плеск воды, уютное кваканье лягушек, чей-то глухой нырок, звук листа, опавшего в воду, игру ветра с волной, треск веток, редкий говор птиц. Пахло тиной. Мост был очень низкий, казалось даже, что в середине он выгибается и точкой экстремума достает до самой воды. У кромки воды, на плохо очерченных берегах, на деревянных подмостках различались силуэты лодок и катеров. Все видимое ныне поселение составляли десятка два-три одноэтажных построек, вытянувшихся в более-менее стройную шеренгу. Даниилу оставалось призвать на помощь удачу и бросить жребий — кто знает, в каком из этих домов готовы были принять нежданного путника без денег и документов. Интересно, что бы сделал кто-нибудь на его месте? Господи, насколько решительней и уверенней в своих силах стал бы наш герой, предоставь ты ему возможность наблюдать постороннего в такой же ситуации: ведь тогда бы возникла точка отсчета, шкала измерений, возможность сопоставления. Но не приведи ему случая столкнуться с образчиком изящества и спокойствия, приводящего в изумленное восхищение, — тут наш герой сдуется: плечи его устремятся к центру тяжести, дабы создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы все существо всосалось без остатка в как-нибудь удачно подвернувшуюся воронку.

Но стоит ли о несбыточном? — в сию секунду нет ни одной души, которой можно было бы противопоставить самого себя, которой на глазах Даниила предстояло бы совершить тот самый выбор, к которому он сам себя привел.

Итак, Даниил остановился и принялся изучать обстановку. Из некоторых домов и дворов доносились голоса, смех, музыка, иные же мирно почивали за наглухо задернутыми шторами. В одних окнах горели огни и мельтешили тени, другие пребывали в оцепенении. Последние удостаивались наиболее пристального внимания Даниила, будто из черни можно было скovyрнуть неприметный знак гостеприимства. Ощупав вереницу домов напряженным взглядом справа налево и обратно, пройдясь по остриям крыш и заборов, Даниил наконец принял решение и двинулся в сторону одинокого дома, отстоящего от других немного на отшибе, неосвещенного. Угрюмая, молчаливая, холодная, какая-то безжизненная, эта постройка манила Даниила в свое лоно отрешенностью, отстраненностью и как будто усталостью, позволяющей не ожидать ощутимого отпора нежеланному путнику. Должно быть, в свое время это жилище было вполне добротным, красивым, уютным и добродушным, ибо оно и окружавший его забор сохранили по сей день признаки здоровья: основательность, крепость и опрятность — ничего не накренилось и не прогнило, не хватало совсем немного, чтобы проглянул румянец и проступило теплое дыхание очага и довольства. Но это «совсем немного», по-видимому, было труднодостижимо, дом стоял, стиснув зубы, и из последних сил держался, чтобы не зарыдать — такое тягостное впечатление он производил, таким унынием, удрученностью и безнадежностью веяло от него. Но было темно, вся эта фантасмагория могла и привидеться, и почудиться.

Даниил уже достиг ворот и, поколебавшись, постучал в них. Немного постояв и помявшись, но так и не получив ответа, он постучал громче и подольше. Ни шума шагов, ни лая собаки, ни единого признака человеческой реакции на беспокойство. Одни лишь тени, деревья, трава учуяли незнакомца и засуетились, зашептали что-то друг другу, заматались, прося совета и помощи. Даниил взялся за ручку двери — разом все смолкло, вытянулось и напружинилось. Легкий толчок от себя, и в аутентичный мир ступила нога чужеродного организма. Данька не переставал думать о собаке, которая могла его здесь подстергать. Но весь двор вместе с его едва различимыми постройками, деревьями, заборами, пнями, завалинками немотствовал, лишь сердце гнало кровь к вискам и гулко ухало, да еще клокотало в горле, но Данька не смел сглотнуть. Не встретив отпора и сопротивления, Даниил, крадучись, словно вор, осторожной мягкой поступью, медленно, неестественно пружинисто, направился в потемках к крыльцу дома, с трудом, впрочем, ориентируясь в пространстве, боясь споткнуться, создать шум, растянуться. Вытянув вперед правую руку, он ощупывал ею воздух, как дотошный врач, пальпирующий плоть, пытающийся обнаружить новообразования, но пока ни на что не натыкался. Было не так уж темно, чтобы совсем не различать силуэты, не отделять менее темное от глухой черноты, но в глазах Даньки роились мошки, которых в данный момент не могли бы слизнуть лучи даже солнца в зените. Небо было облачно, ни единой звездочки, ни луны. Мошкам удавалось немного оттянуть на себя внимание от страха и стыда, сопровождающих Даниила. Ни одного обозримого источника освещения — неужели в этом доме никто не живет? Неважно, лишь бы найти место, где можно прикорнуть, да перед этим смочить горло и полакомиться хоть корочкой черствого хлеба (да, щепетильный гурман в Данииле совсем сник). Данька тенью скользил по чужому двору, но тень любит притулиться к поверхностям, так что в конце концов и он очутился возле двери, потянул на себя ручку, ступил за порог, успел заметить ступени и погрузился в полную темень. Надо сказать,

что тут все было крайне благожелательно, дышало уверенней, даже и не съезживалось боязливо при виде незнакомца. Было тепло, отдавало совсем чуть-чуть сыростью, но в целом обволакивало приятным мшистым уютом — как будто кто-то сунул тебя за пазуху. Но то было лишь на одно мгновение — показалось. Уже в следующее стало как-то тесно и душно, словно в телефонной кабинке переговорного пункта его детства — должно быть, темень хотела его выдавить, как некую занозу, уткнувшуюся в мирный сон дома. И точно: половицы где-то скрипнули, дом словно очнулся от дремоты, оправился, отряхнулся и вздохнул. Было не по себе: кто же ложится спать, оставляя все нараспашку? Но что делать, какой есть выбор (хотелось, чтобы его не было): дрожь от холода и страха, изнуренный, сомневающийся Данька продолжил вторжение в чужой мир, втуне алкая тепла и еды. Не напрасно же он сам пришел к человеку, его усилия должны быть вознаграждены! Бессмысленно в подробностях и красках расписывать каждый шаг нашего героя (тем более что на разнообразие в красках не приходилось рассчитывать — с лихвой хватит одного тюбика черной гуаши), отметим лишь, что после шараханий, тыканий, задеваний непонятно чего он сумел найти источники утоления и жажды, и голода (вода, хлеб, сыр и помидоры прекрасно справились с этой задачей). Поглотив нехитрые съестные припасы, Данька, так и не познакомившись с хозяевами, забился в какой-то чуланчик и, не помня себя от усталости, погрузился в глубокий здоровый сон, едва сомкнув веки. Ему ничего не снилось, если не считать живой и пластичной темноты. Она забралась в подсознание, мягким, податливым, обмякшим небом, расстелившись невесомой пуховой шалью. Это была изумительная бессловесная ночь, пустая, без снов и без тревог.

Разбудила Даниила пунктуальная кукушка, выдвинувшаяся ровно шесть раз из своего темного металлического дупла, сосредоточенно, туго и методично оповещая о времени, являя собой часть часового механизма, призывая к дисциплине и бережливости в отношении тонко нарезанных секундных долек, сколь кислы бы они ни были. Сделав свое дело, она умолкла, затем послышался непродолжительный щелчок — это захлопнулась дверца в ее жилище, дабы никто не помешал ей в ближайшие полчаса заниматься своими делами; когда следует, она вновь выпорхнет и безупречно выполнит свою рутинную работу. Тишина, кажется, сильно притомила, так что не успела она продержаться и с полминуты, как опростоволосилась и надорвалась — все же не она была владычицей этого дома: послышались чьи-то частые нетвердые шаркающие шаги. Даниил, открыв глаза, обнаружил себя лежащим на деревянном полу в скрюченном положении рядом с железной койкой, заваленной матрацами, подушками и одеялами. Комнатушка действительно была не то чуланом, не то кладовкой; судя по всему, ею не так часто пользовались, хотя была тут и небольшая тумба со старым тяжелым телевизором с выпуклым экраном (не то «Сапфир», не то «Рубин»), и старый же холодильник «Бирюса» — небось все в рабочем состоянии (его знатное урчание не пробилось сквозь железобетонный сон). Все содержимое вместе с Данькой окружали деревянные стены, выкрашенные в цвет морской волны. Маленькое окошко — не единственная, правда, щель во внешний мир: среди досок виднелись многочисленные просветы — занавешено темной плотной тряпкой. В занавеску и щели тонкими спицами вонзались и расползались по комнате лучи солнца — они как будто делали дому живительные инъекции, дабы растормошить его и поднять на ноги, и он, чувствуя заботу, боясь ею пренебречь, кряхтя и оправляясь, усаживался, расправлялся, разминал свои члены.

Между прочим, шаги приближались к Даниилу. Он напрягся, прекрасно понимая, что деваться ему некуда: ступив в каморку, не обнаружить его было невозможно. С дыханием случилось то, что называется «сперло», холодная дрожь трусила по телу и, не до-

бежав своей дистанции, застряла где-то меж лопаток. Сердце, видимо предприняв попытку сбежать, прыгнуло в горло, но промазало и застряло где-то сбоку, в шее, зажав собой выдавившуюся вену. Опасный момент. Шаги умолили, ступни, направленные в сторону Даниила, замешкались на пороге. Три-четыре удара сердца — не больше — скрипнула половица, и шаги возобновились: пришаркнув, как будто кому-то отдав честь, они медленно, нерешительно, как будто пятась задом наперед, стали удаляться, настигли невысокой лестницы, навалились на ступени и вышли вон из дома — прозвучало старушечье ворчание двери с коротким визгом. Данька боялся выдохнуть. Некоторое время он так и сидел не шелохнувшись, опасаясь, что в доме есть еще кто-то. Выходит, ночью лишь по счастливой случайности он не наткнулся на хозяев дома. Немного погодя Данька решился снова попытать удачу: отворил дверь своего тесного убежища и высунул голову в проем. Натянутая тетивой тишина. Либо дома никого не осталось, либо домочадцы еще крепко спят. Напротив себя Даниил увидел вылупивший свои стеклянные зенки большой, советского пошиба, сервант. Кряжистый, тараканье коричневый, неотесанный и неуклюжий, он бережно хранил в своих недрах всякую посуду, вазочки, пластмассовые коробочки из-под тортов, плетенные из открыток корзинки, сами же открытки, две большие нераспечатанные конфетные коробки, нераспакованные спичечные короба, шкатулочки, еще какую-то кухонную утварь и всякую мелочь. Все было чистым, опрятным, аккуратно расставленным на белых (ну может, немного посеревших) салфетках. Даниил осторожно и бесшумно пробрался к серванту, достал конфеты, печенье, хлеб, халву, что-то рассовал в карманы, что-то оставил в прижатой к туловищу руке. Пожалуй, голодная смерть нашему герою в обозримой перспективе не грозит. Даниил понабирал всего, что уместилось в руках и карманах, и юркнул обратно в свой угол. Там он, неумытый и растрепанный, спешно проглотил часть урванного и почувствовал насыщение и удовлетворение. Не мешало бы эту сухомятку чем-нибудь запить. Ночью он наткнулся на ведро с водой где-то в коридоре, но нынче его не увидел. Ладно, жажда пока не мучила, можно и потерпеть до удобного случая. Кое-какие первичные желания были удовлетворены, настало время проснуться любопытству. Интересно, сколько человек живет в доме? Пока кажется, что один. Мужчина или женщина? По шагам, вздохам и кашлю — мужчина, нет сомнений. Молодой, средних лет, пожилой? Обстановка была простой, строгой, угрюмой, холодной и безрадостной, но никак не запущенной. Наверное, не совсем еще в годах человек, а если и старик, то не дряхлый. «Интересно, а найдя меня — не смогу же я вечно ускользать от него, — не пришибет ли меня хозяин?» — думал Даниил, гадая, насколько крут нрав хозяина, скоро ли он вернется, пошел ли он на работу, на рыбалку, в лес или куда-нибудь еще или просто вышел во двор. Данька подошел к занавешенному окну и осторожно приподнял край шторы, окинул взглядом прямоугольник внешнего мира: солнце стояло высоко, играло бликами на коньке крыши напротив стоящей хозяйственной постройки — наверняка сарай, жухлая трава, как щетина небритого ребенка, щеколота воздух и почти не мялась под пружинистыми шажками куриц и уток, деловито расхаживающих по двору. То, что выглядело сараем, стояло будто нечто одушевленное на паперти и просило милостыню, глядело гноющимися блеклыми глазами в сторону более крепкого собрата, подбоченившегося удалого крестьянина, не устаивающего взором немощь и хворь, и подавляло в себе желание вздохнуть от ощущения бедственности своего положения, но в то же время стеснялось тем самым обратить на себя внимание. Обзору поддавались также сколоченный из досок туалет, стоящий поодаль справа у забора, и умывальник под самым окном. Хозяина было не видать.

Данька отольнул от окна, с ногами залез на койку, удобно устроился и призадумался. Что ему следовало делать дальше? Пуститься в дальнейшее странствие или остаться здесь, в месте, которое ему едва ли сулило спокойное и сытое существование, скорее, должное стать его ловушкой, если только он не успеет вовремя выбраться (ибо кому он нужен?)? Но куда ему податься, где искать приюта и укрытия? У него нет знакомых, которые его бы приняли и не настояли на возвращении в обычную жизнь, они ни за что бы не смогли его понять... Да что там, Данька сам не мог себя понять: к чему побег, вся эта конспирация, сокрытие свершенного над ним преступления — тому не было логичного объяснения.

Даниил находился в странном положении. Мог ли он чувствовать себя свободным, не имея при себе ни документов, ни денег, ни собственного угла, ни одной личной вещи, ни даже отражения в зеркале? Сомнительно. Он был и теперь оставался полностью зависим от людей. Если хотите, еще более, чем когда-либо. Если хотите, он уже, вспоров чужую ночь и сделав непрошенный стежок в чужом утре, начал паразитировать на чужом бытии. Может ли быть место волеизъявлению там, где все должно быть реакцией на внешние обстоятельства, там, где каждое движение, каждое желание следует поставить в зависимость от другого человека? Нельзя выразить эмоцию, выплеснуть негодование, нельзя проявить себя, ибо проявлять нечего — тебя нет. О да, Даниил больше не каторжник, не холуй, не раб вороха бумаги и беспощадного времени, вместо этого он прямо сейчас обращается в невидимку, в привидение, в наблюдающего, подсматривающего, подслушивающего, в зрителя, которому не положено даже освистать актеров. Многому предстоит научиться Даньке: его движения должны обрести бесшумность, самоглушащую округлость, пружинистость, эластичность, им следовало зазамшеветь, да и всему его существу нужно стать пластичным, сосредоточенным, тихим, терпимым и терпеливым. День будет сменяться ночью, ночь — очередным днем, а у Даньки будет одна цель — не быть раскрытым. Есть тени — в них нужно вписаться.

И что же, наплевать на неизменный, вопиющий вопрос, вновь расправляющийся, вытягивающийся во весь рост, хрустящий суставами (не своими), надрывающий сердце и колесующий ум: «Зачем?» Зачем Даньке все это, зачем чужая жизнь, зачем комканье и утилизация своей? <...>

Данька снова проигрывает времени: вот его снова запикивают в какие-то очертания, укладывают в какой-то футляр не по его меркам.

* * *

Даниил решил: отмахнувшись от доводов рассудка, уповав в очередной раз за эти дни на капризный случай, на провидение, на постороннюю волю, тая где-то на дне души или совести причины, повлекшие столь удивительное свое поведение, и не давая себе труда осмыслить его возможные последствия, он — остался. Громкое заявление для того, чье решение велит не высовываться и не шуршать. Даже мыслями.

Что ж, будем благодарны герою за отсутствие долгих колебаний и в свете принятого решения отведем дальнейшие строки подробному описанию той обстановки, в которой Даниил себя добровольно замкнул. Это будет какое-то круговое, сферическое описание, опоясывающее нашего героя, и вместе с тем диффузное, наступающее на него со всех сторон, напирющее из разных углов, как будто стремящееся выдавить его из груды вещей, дабы заявить о его существовании. Покрывая нашего героя, опасаясь стать виновниками его разоблачения, раскрытия инкогнито, мы (кто такие мы?) пре-

доставим ему биться о внутренности деревянного пристанища, пока чихом, кашлем или отрыжкой его не исторгнут наружу. Благо было обо что биться и на что наткаться: поналеплено множество маленьких окошечек, занавешенных белоснежным, но старомодным тюлем; ажурность постройки позволяла световым пучкам, равно как и ветру, пронизывать ее насквозь. Были и перегородки-преграды: комнату делили на две части — одну больше и другую поменьше — морщинистая выбеленная печка и советского почина светло-коричневая лакированная стенка. И не в меру наштукатуренная печка, и молодеватая стенка будто были живыми: они создавали эффект чьего-то присутствия, стояли скромно, потупив взгляд, но невольно оказывались свидетелями всего происходящего в доме; не исключено, что эти два самых массивных предмета составляли странную пару. Может быть, кто-то так же подумал, глядя на них, и повесил между ними тонкие аляпистые занавески. Далее пространство перестает быть сплошным, цельным, непроницаемым, все равно что волна воображения нахлынула на сознание и как-то не спешила с него скатиться, залепляя его мириадами пупырышек. Это слабое место в ткани повествования, прохуdivшееся, истлевшее, расслаивающееся на нити, да и те рвутся. Это не то лакуна, не то ложбинка, теснина, устроенная бесхитростными вещами, беспорядочно и бессистемно бросающимися в глаза, как-то: уже обозначенная печка, темно-коричневая газовая плита, два стола (поменьше — под бак и ведра для воды и побольше — для одиноких трапез), два подоконника, деревянный табурет, дверь, задняя стенка шкафа, обтянутая тонкой материей в несуразный цветочек. Вот и все, что нужно для ловушки. (Весь обзор завалило мягкими тюками, никуда от них, пожалуй, и не деться.) Ах да, чуть не забыли о стенах — чистых, выбеленных, брусчатых. На противоположной стороне обитали старый деревянный шифоньер, скрипящий при каждом ступании на половицу, угодившую под его грузное тело, потрепанный диван, укрытый идеально разглаженным покрывалом (на такой страшно было садиться — не обладающий тайными знаниями ни за что бы не привел его в исходное состояние), обеденный стол, пара кресел, тумбочка с телевизором, два стула и еще два табурета. Под столом стояла грузная, но изящных форм швейная машинка, томно и стыдливо опустившая голову, — лошадка, бьющая копытом и готовая умчаться вскачь, сверкающая глянцевитыми черными боками. Породистая вещь, но, видимо, давно вышедшая из употребления. На нижней полке стенки стоял, как-то уместившись, запыленный патефон. Игла его почему-то вызвала ассоциации со стоматологическим орудием, и от этого по зубам пробегала мелкая дрожь. Невольно передергиваешься. Ну и немного мелочей: вазочки с искусственными цветами, черно-белые фотографии на стене, вычеканенная картина, вязаная игольница. Подоконники уставлены простыми броскими цветами в незатейливых горшочках с подложенными под них кружевными салфетками. Все безвкусное, горькое, а вместе с тем такое особое, такое хрупкое, таинственное, осмысленное, как рисуемые детским воображением колыхания и шевеления из старательно замешиваемых в густую жижу теней и света на чердаке соседнего дома. Даниил, движимый впечатлением детского воспоминания, подошел к окну, но взгляд, уже отвлеченный более броской картиной, сорвался с крыши и острым лезвием заскользил по водной глади, сфальцованной с небом и бархатистым синим лесом. Так размеренно и незаметно было движение деревянных и моторных лодок по гофрированной поверхности, что Даньке казалось, что он наблюдает статичную картину. Он долго еще смотрел в окно как замороженный, переходил от одного окна к другому и любовался полотнами, заключенными в них. Густыми, невпитавшимися мазками выпячивалась, маслялась и струилась природа, переливалась охрой и опалом, горела рубином и цитрином; величественная

и равнодушная, яркая и скромная, жестокая и незлобивая, она приковывала взгляд. Утомленная и растрепанная, она напоминала в своем сегодняшнем, осеннем наряде (стоило лишь приглядеться: там точно были опущенная на лицо вуаль и сетчатая юбка, черные перчатки по локоть и бордовый вельветовый жакет) женщину бальзаковского возраста, исполненную энергии, но разочаровавшуюся, рвущую и мечущуюся в тихом иступленном негодовании, едва сдерживающую свои стенания и вопли. Легкость, трепет стебелька, нежность лепестка, невесомое дыхание и лепет — все снесено, весь этот летний налет улетучился, словно сдутая с крыльев бабочки пыльца.

Наш герой, увлеченный безмятежным жадным созерцанием беззастенчиво раскинувшихся перед ним видов, лишился бдительности и ощущения времени. Потрясающее чувство — будто спрятался ото всех, но — мимолетное, оставившее, правда, после себя приятное послевкусие: спокойствие и умиротворенность. Облаченный в них, как в доспехи, Данька оторвался от подоконника, поклонился немного по дому, выпил чаю, вымыл за собой кружку и забился обратно в свой угол. При этом он был совершенно беспечен, ни о чем не думал, не ощущал ни страха, ни беспокойства. Хорошо и спокойно, раскованно. Не клонит в сон, не цепенеет тело, не отекают руки, и не пухнут пальцы.

Ничего не делать — не такое уж простое занятие, но сегодня оно удавалось Даньке. Новизна обстановки и положения дарила массу впечатлений, прихотливо растягивающих и сжимающих пружину времени. Скучно не было.

Часовые гирьки в виде шишечек сползли в самый низ, а хозяин все не возвращался. Кто-то обрабатывал небесную рану заката, разбросав повсюду клочки посеревшей ваты; рана зарубцовывалась; потихоньку спускались сумерки — часы отбили половину седьмого вечера. Данька почти вальяжно сходил на улицу, вернулся домой и, решив хоть немного состорожничать, расстелил себе постель под кроватью — место было удобное, тенистое, ждало и зазывало Даньку в свои объятия. Он забился под железную решетку кровати, укутался теплым одеялом и стал ждать, прислушиваясь к доносящимся с улицы звукам. Монотонный шум, ненавязчивый и приглушенный, действовал усыпляюще, но не давал сознанию закрыться в створках своей раковины и перенестись в дебри воображения: как поплавок, оно балансировало на грани. «Интересно, здесь есть мыши?» — поплавок дернулся было вверх, но махнул на все несуществующей рукой. Прижимистый полумрак и мшистое тепло придавливали тело и сознание, дергающееся как беспокойный кошачий хвост. Спустя примерно час Даньку всего, без остатка, спеленал сон, увлек его от новой реальности, такой неизведанной, глубокой, прозрачной, непотершейся и необтрепаншейся, такой, которую еще предстояло разносить и к которой нужно было приноровиться. Тому залог — время и развитие событий. А пока Данька спал без снов. Лишь шелест деревьев слышался в его голове да весла бились о деревянный корпус лодки (или то был звук песта, ударяющегося о дно и стенки ступы?). Было в этой односложной мелодии умиротворение, но вместе с тем и нечто грозное, предупреждающее. Где-то здесь была пучина, готовая разверзнуться при неверном шаге или неверной мысли? И все же это было чудесно. Если бы Данька вышагнул из своего сознания, то увидел бы себя, спрятанного в гнездо, как птенца, который вот-вот мог вывалиться и разбиться, но который, удержавшись, мог и взлететь.

Вдруг в хрусткую скорлупу сна с размаху влетел какой-то грохот. Ушибленное сознание потирало будущий синяк и, заслышав звук натягивающейся пружины, пыталось выбраться из дверного проема, дабы избежать участи быть прищемленным. Бьют наотмашь. Больно. Данька дернулся от резкого пробуждения. Широкий, забористый

скрип и подлый короткий хлопок — кто-то вошел. «Странно, что хозяин не запирает дверь, даже когда отсутствует так долго», — осенило Даньку только сейчас. Послышались шаги, вдавливающиеся не то в деревянный пол, не то в самую подкорку Данькиного сознания, прерывистые, распределенные как-то диффузно (в голове возник образ тетрадного листка в клетку с изображением функции Гаусса—Лапласа с так называемым «хвостом»), тяжелые, медвежьи, переваливающиеся из одной стороны в другую, потом было два-три быстрых неверных шага — такие нередко заканчиваются полной капитуляцией перед силой гравитации, но не в этот раз — случилась остановка. Крашенные доски пола застыли в напряжении. Вот кто-то уперся ладонью в стену, вот этот кто-то глубоко вздохнул, пробормотал что-то невнятное, усмехнулся и вновь засеменял — уже к массивной двери, ведущей в жилую часть дома. Никем не придерживаемое тяжелое, обитое войлоком выбеленное полотно размашисто ухнуло на свое место, плотно, без зазоров, только что не герметично, укрыв собой дверной проем. Словно схваченное льдом, все замерло; пропал даже ход часов. Данька не услышал, как человек, не снимая с себя верхней одежды, упал на кровать без чувств в пьяном угаре. Данька ничего не слышал, он был оглушен.

Данька долго лежал, вслушиваясь в тишину. Хотя она не была вовсе непроницаемой — была усеяна множеством звуков: без усталости стрекотали сверчки, крылья каких-то насекомых ударялись в окна, лаяла собака, методично включалась и выключалась кукушка (да-да, дело было не в механизме: неугомонные часы дробили, линовали, очерчивали пространство и расфасовывали время в чайные пакетики), пришепетывал ветер, туда-сюда сновали грызуны, дом вдруг испускал протяжное скрипучее дыхание, играя суставами — половицами, просыпался и бухтел холодильник. В оркестре, исполнявшем мелодию ночи, ничто не фальшивило. И не могло быть иначе — ночь распоряжалась туго натянутой струной в виде Даньки. Он так и не уснул: утомленное сознание спотыкалось, но, бродя по своим излучинам, обходило все бреши, уготовленные нежной и сильной рукой Морфея. Темень была густа и непроглядна, как будто выдавлена из тюбиков с масляными красками, — с такой не встретишься в городе.

Но даже такая ночь — шуршащая, живая, пластичная и тягучая — имеет свой исход. Небо, как губка, промокнуло и втянуло ее поглубже в себя и прояснилось карандашной серостью. Даниил, снедаемый горьким любопытством и — как следствие его неудовлетворенности — внушаемым буйной фантазией страхом, вылез из своего укрытия и, стуча зубами от утренней прохлады, направился в ту часть дома, в которой спал хозяин. Как можно аккуратнее одолев дверь, Даниил шагнул в теплые недра деревенского дома. Едва Даниил переступил порог, ему в нос ударил тяжелый, влажный тошнотворный запах — он сразу его узнал: смесь алкоголя со рвотой — так пахнет отчаяние. Даниил был не в том состоянии и положении, чтобы оценить окружающую обстановку последовательно и целиком, она угловато вдвигалась и впиралась в него частями, где-то вонзалась острыми, а где-то коржила тупыми краями.

Диван, стоящий у окна справа, расстелен в просторную кровать со смятой простыней, придавленную у изголовья большой подушкой в несвежей наволочке, там же валяется перекрученное, как жгут, одеяло. В левой стороне домашнего нутра, отгороженной печкой и служившей кухней, слабо горел бессильный свет, защемленный и расслаивающийся под наваливающейся серовой голубизной, огибающей замысловатые загогулины ветвистых деревьев и втискивающейся, как нечто студенистое, вонзающейся, как тонкие ледяные иглы, в полости дома сквозь многочисленные оконца. Далее... а что далее? Даниил заметил на полу, чуть правее от окна (какого из окон?), какое-то быстрое и мелкое движение — наверняка насекомое, но чтобы убедиться, присел

на короточки и стал рассматривать. Да, это была всего-навсего муха, в меру упитанная, обыкновенная, без опознавательных знаков. Только завидев Даниила, ощутив на себе его дыхание, как сильный порыв ветра, она вовсе не поспешила ретироваться, взмыв в какие-нибудь потолочные высоты, а осталась на полу, изменила лишь направление своего движения. Даниил пригляделся и тут же понял, по какой причине цокотуха не покинула своего места: отсутствовала часть левого прозрачного крылышка, видимо, этого увечья хватило, чтобы утратить способность летать.

Ранее мы с Данькой уже успели обследовать обстановку этой комнаты, но некоторые вещи упустили из виду. Например, от его внимания ускользнул легкий ковер с золотистой бахромой, занавешивающий две стены, с изображением молодых оленят, вытянувших в изящном изгибе свои шеи и щиплющих травку. Лишь один лопухий олененок, внимание которого отвлек некий шум или движение, оторвавшись от своего занятия, стоял, глядя как будто внутрь дома немигающим взглядом своих невинных, четко очерченных глаз, обрамленных длинными ресницами. Надо сказать, что олененку этому повезло меньше других (а может, больше? — к чему решать за него?): его двумерное тельце оказалось расправленным на двух стенах, словно картинка, размещенная на двух книжных страницах; так олененок оказался вогнанным в угол. Что-то нехорошее было в этом углу. Бессмысленный угол, а в него и забивается воображение — что ему там, что за блажь приставать к чужим стенам — неужели вновь горячка? Ах, как глупо, как несуразно: застыть в чужом углу и преломиться. Странная складка — складка дома, складка сознания, складка памяти... кажется, что-то все-таки сильно прищемили, хоть стены — это не книжный переплет, — оттого и эта боль в голове и гудение в ушах. Даниил смотрел на оленя, олень смотрел на Даниила. Похоже, Данька себя выдал. Не зная, как спрятаться от невинного взгляда, Даниил зажмурил глаза — и зря: олень в негативе проявился резче и ярче: весь в подвижных мушках, он утратил наивность, влажно сверкавшую в его глазах, как драгоценные камни, — теперь глазницы, будто выковыренные, уставились потусторонней рассеянной белизной. «Моя душа — олень громадный — псов обезумевших стряхнет...»² «Что за ерунда, откуда эти строчки, обрывки чьего мира вновь занесло в мои мысли? А-а-а... Набоков, Сирин, Цинциннат... Серпантинные тексты, серпантинный смысл! Опять чужеродная заноза вонзилась в мое сознание! Все чужое, все суррогат, ничего своего!» — Даньку как-то резко охватило раздражение, какое нападает на человека, помещенного в духоту, сжимает в тесных объятиях, но спустя немного времени отпускает. Впрочем, пока не отпустило. На шею вползло и уселось, свесив ноги, проклятое напряжение, которое вроде как соскользнуло давеча, не удержавшись, с Даньки, когда его бесцеремонно выдворили из теплого, утрамбованного душами и мясом, предельно осязаемого вагона. Отсутствующий взгляд оленя ослеплял и буравил Даниила. Даниил пытался вспомнить оленя. Олень его уже вспомнил. Вспомнить, видимо, было что. Даниилу часто приходилось видеть диких северных оленей, он даже катался в саних, запряженных крепкими, с размашистыми, ветвистыми рогами, оленями с клубящимися в сорокаградусный мороз парами дыхания; у него хранилась старая фотокарточка, на которой он запечатлен восседающим на чучеле оленя. Что еще?.. Пимы, да, все свое запорошенное снегом детство он проносил пимы. Они были скользкие, твердые, иногда натирали пятку, но зато невероятно теплые, как ему довелось позднее понять. Все, присутствие этого благородного грациозного животного в жизни Даньки на этом заканчивалось. Все остальное должно было быть заимствованным, краденым, списанным и срисованным. «Но что ж этот олень так пристально глядит на меня?» — недоумевал Данька,

² «Олень», В. В. Набоков.

не в силах и сам расстаться с назойливым видением. Эх ведь понесло-то — все одно, что приглашение на казнь получил, — только им Данька мог бы оправдать перед собой такое вот иступление чувств и мешанину сознания, блуждающего среди случайно захваченных и срыгиваемых образов. Животное неподвижно, Данька — тоже. Что за ерунда! — так и хочется наблюдателю воскликнуть и толкнуть нашего героя в спину: нашел время и место развлекаться оптическими аберрациями в подсобках своего бессознательного!

«Зачем, зачем же *он* своего Лужина на дрова усадил, зачем на то же место, что и Достоевский Голядкина? Неужто других мест не нашел, к чему эта тавтология, этот симулякр? Настолько героя своего невзлюбил? Или нет, не так: на, смотри, вот как герой-то должен на поленьях сидеть, вот какой герой на поленьях право имеет сидеть! На поленьях сидеть — это вам не на скамье, обитой бархатом или велюром, это вам не с комфортом. И что, и что с того, что вы на вашу скамейку от безысходности сели, что же, что затынуло вам глаза черной пеленой, что голову чуть не разорвало, что вся она стала за минуту до этого как будто утыканная иглами, как будто распираемая паразитами? Ну, что еще? Будто левая сторона отнялась, рвет вас? А теперь уж и лоб свинцом обделали? Что ж вы такого с собой натворили, что давление ваше до двухсот подскочило? Что, любезный, можно сделать с собой в вашем возрасте, чтобы чуть паралич не хватил или того уж — с концами? А ведь безумно жаль вам было, самих себя жаль». Не мог, вот прямо в эту самую минуту не мог Даниил простить Сирину «супостата Достоевского». Это же всего лишь слова, неожиданными волнами накатившие на берег сознания. Слаба попытка самообмана: слова не могут быть *всего лишь*, слова — это сваи для памяти, силки для души. Сколько слов, сколько безвинно умерщвленных, расстрелянных, растоптанных, разорванных в клочья слов! Иные до сих пор болтаются на виселицах пера, иные тонут в чернилах. Все для того, чтобы истребить память, стереть ее в порошок, смешать с белилами, развеять с прахом. А это не помогает: трупы слов разлагаются слишком медленно, слишком сильно смердят и собирают слишком много падальщиков. Воспоминания, вбитые в твердую, практически неподвижную почву словами, невыносимо осязаемы, как настоящие столбы, — материализовавшимися, ими невозможно пренебречь, вот она, проекция твоего прошлого, с какой бы целью ты ее ни перенес. Ты, конечно, можешь рассчитывать на то, что, дополненная, докрученная, изогнутая под другим углом, она вдруг заиграет, как утренняя росинка, всеми цветами радуги и раскроет твоему сознанию сокровенный смысл, намерение, предназначение. Для чего нужна материализация, приколачивание, цементирование в принципе? Для уяснения? Для любования? Для осязания? Для владения? Для поклонения? Для разделения? На все вопросы ответ один — «да», но это не главное. Главное, для чего нужна материализация, — для возможности уничтожения, гибели, естественной смерти. У воплотившегося нет иного исхода, кроме гибели, рано или поздно круг замкнется. А как же бессмертие книг, а как же «рукописи не горят», как же из поколения в поколение сохраняющаяся актуальность того, что написано столетия назад? Здесь нет никакого противоречия: бессмертие это относительное, хоть и величественное, но глядит оно сквозь пустые зеницы скелетов-слов...

Глаза все так же зажмурены — или уже нет? — олень задрожал и поплыл, как плывет пейзаж за вагонным окном, оплеываемым разухабистым дождем. У олененка появились водянистые рога, они немного съехали набок, но это ничего. Некоторые вещи порой сложно разглядеть, смотря на них в упор, их примечают только периферийным зрением. Вот и Данька, глядя на голову божьей твари, но охватывая всю ее целиком взглядом, вдруг отметил некое шевеление в грациозных, хрупких ее ногах. Фо-

кус сместился, створки глаз сомкнулись в прищуре: в копытах вился не то шланг, не то канат, не то шнурок; наводим резкость — Данька невольно передернулся: плотным, коротким, скользким шнурком оказалась змея. Пора бы в этот самый момент отвести взгляд, распахнуть веки, на крайний случай — выключить сознание, но ничего не выходило: Даниил завороченно и жадно продолжал смотреть, как краб на каракатицу, как заяц на удава, цеплялся за это полотно, как за некие выступы в колодце, рискуя провалиться в него с головой. И — провалился: почва под ногами стала податливой и топкой; олень ожил; не наклоня головы, но чуя опасность, он стал перебирать копытами — вправо-влево, вверх-вниз, вперед-назад, красиво, гармонично, своевольно — в той степени, в какой своевольно мерцание огоньков на фейерверочных палочках. Змея обвивалась и скручивалась то вокруг одного копыта, то вокруг другого; олень с гордо поднятой головой, не смотря под ноги, лишь чувствуя стягивающиеся живые пути на своих конечностях, ритмично выступал из казавшихся бесконечными смыкающихся колец, чтобы вновь оказаться в них заключенным. Пружинистые шаги, как будто отталкивающие от себя опору, как будто желающие избавиться от земного притяжения, вырисовывающие витиеватые узоры, напоминали череду танцевальных элементов танго — перемежаемые друг с другом басы и корте. И — правда: чарующие звуки мелодии Пьяццолло и Гарделя, как потоки воды, прорвавшие дамбу, хлынули в ушные раковины и отгородили от посторонних звуков; рука ощутила тепло другой руки, температуры совпали, время заledenело. Одно касание, единственное касание, роковое касание... Шажок, еще один, шажок, стежок, шпилька, узел — затянули. Было, было, это все когда-то было. Обнаженное тело, сознание, стыдящееся не своей наготы. Бесконечные квадратики и лампы, дорога длиною в три-четыре минуты. Страшно? Нет, это не зовут страхом. Заветные, запретные двери, за которыми свет, так много света — врата рая? Вот ты и в центре Вселенной. Операционное ложе, прижавшее в себя скрюченное от стыдливости белоснежное тело, такое жалкое, такое дорогое, такое неприличное — как ты мог в него нарядиться? Прекрасный материал для кройки и шитья, немного сморщенный, но его только разгладить одним движением руки. Ах, эти кости, обтянутые кожей, округлости и выпирающие углы во всей неуклюжести. Дрожь — это твой способ танцевать танго. В расширившихся зрачках зарделось пламя: жизнь и смерть обожгли друг друга касанием. Вокруг столько людей, лица скрыты масками — все они по твое тело. Они — твои спасители, они — твои палачи. В руке хирурга сверкает вовсе не скальпель, нет, в нее воткнулся и врос смычок! Кто-то заметил ставший мраморным от неудобной позы пальчик на ноге, исправил положение, обошел кругом. Медсестры невесомой мошкаркой движутся в ритме танго. Ты доверяешь им. Тебе стыдно, но ты вверяешь им всего себя целиком. Во взбухшую вену, как краску в хрупкий стебель орхидеи, впрыснули миноры и мажоры, бемоли и диезы, и вот они, теснясь и выпирая, неистовствуя, наперегонки побежали по каналам. Тело обмякло, сознание выскользнуло. В танго столько же трагизма, сколько и в размахе крыла бабочки. Удар копыта, вознесенная вверх напружиненная нога с выпирающими костями, но гордо и смиренно вздернутая голова. Ни отчаяния, ни ропота, ни надежды. Рубиновые росинки на белых лепестках вздуваются, вздуваются, сливаются друг с другом и превращаются в струи дождя, стекающие по оконному стеклу. В танго нет ошибок — танцуйте и полосуйте с трепетом и холодной страстью, сосредоточенно и с душой, только, прошу вас, не фальшивьте, ни одного изъяна, ни одного промаха наедине с собой, ни одного слова, молю вас! Так и должно быть — ты бы не пожалел, если бы больше не проснулся. Застывший сон, не размыкай своих объятий! А впрочем... один к одному, тебя устроит любой исход. Борьба жизни

со смертью? Нет, борьбы нет, есть ритуал, есть разреженность, есть танец, есть поглощение огня огнем. Стежок, еще один, граммофонная игла коснулась пластинок, змея, вдетая в иголье ушко, еще стежок — протащили, затянули. Давление и пульс в норме. «Господи, если бы я мог запомнить это ощущение — переживание тихого, но предельно отчетливого и ясного любопытства, удовлетворяющегося в равной степени и болью, означающей жизнь, и вечным, плотным, неподъемным забвением без снов — так, должно быть, живет червяк под камнем (Господи, за мгновение перед тем, как у меня отняли сознание, я совсем не думал о Тебе, так и знай, но знай и о том, что я не думал ни о ком, кроме себя самого), если бы я мог пронести это через всю свою жизнь...» А вдруг и получится — через всю жизнь. Там, где нет сознания, нет боли. И там нет ничего, там нет тебя, там нет никого. Цинциннат готов к казни, ведь ему сообщено ее время. Живая лента, изворотливая и путаная, как кассетная, стремительная и извилистая, она мечется и выводит свои вензеля в попытках ухватить одну из тонких конечностей жертвы, дабы заключить ее в свои объятия, парализовать и погасить импульс. Наконец она стягивает своим мускулистым телом, как жгутом, в два небольших тугих кольца, образующих знак бесконечности, передние ноги, подламывает их в коленях и без единого звука заставляет бедное животное осесть на землю. В стремлении сжать узел покрепче змея головой тянется к своему хвосту, захватывает его и — начинает судорожно, конвульсивно проталкивать в глотку самое себя, давясь, набухая, разрываясь и жаля себя своим же ядом. Голова и туловище подкошенного оленя затвердевают, превращаются в лед, вот они уже треснули и рассыпались крохотными льдинками, а бывшие только что тонкими и хрупкими — как хворост — ноги налились металлом и, сплетенные и сращенные, вконец слились и преобразились в граммофонный тонарм. Виниловая пластинка, плавно покачиваясь и посверкивая, тронулась с места. Игла еще касается фарфоровой кожи с голубыми прожилками, но сознание возвращается. Ресницы и щеки мокры от слез, тело пронзает боль, к горлу подступает тошнота. Да, именно в такой последовательности: сначала слезы, потом — боль и тошнота.

Боль и тошноту вызывал выпот жизни, брызнувший в глаза Даньке, едва пупырчатая шахматка, в которой явно выигрывали черные, разломилась и рассыпалась в угольную пыль. На полу у умывальника, рядом с ведром для жидких бытовых отходов, лежал полубоком, заваливаясь на живот, человек. Скрючившийся, с беспокойно подергивающимися ногами, ассоциирующимися с терзаемыми тремором лапками щенка-переростка, внезапно просыпающийся на краткие мгновения, что-то бормочущий, угрожающе мычащий и стонущий, он резко вскидывал то ногу, то руку, с грохотом обрушивал их обратно на пол, начинал храпеть, сильно, неровно, прерывисто, а потом вдруг переставал издавать какие-либо звуки, даже дыхание становилось неслышимым, так что приходилось искать его признаки в едва заметных волнообразных движениях тела. Данька не мог рассмотреть лица человека, но успевший застояться запах выдавал его состояние — он был пьян. По представленным обзором частям тела собирался такой образ: человек роста среднего или чуть ниже, худощавого, но крепкого сложения — о том свидетельствовали небольшие, но крепкие, упругие мышцы, ни намека на обвислость и дряблость кожи; несмотря на жалкую позу и невнушительную комплекцию, мнилось, что человек это сильный и выносливый, разве что вид ногставлял в том усомниться — уж больно неубедительно выглядели: тонкие, цыплячьи, будто бы неустойчивые, скорее хилые подпорки, нежели надежная опора; впрочем, они попались на глаза Даньки в невыгодной для себя позе. Зато с руками все было ясно: однозначно рабочие, широкие, лопатистые, с огрубевшей кожей, с короткими

толстыми пальцами, на иных ногтях расплывались темно-фиолетовые и черные пятна — видимо, не раз их придавливали, охаживали молотком или иным тяжелым инструментом; большой палец правой руки в запекшейся крови, кисть расцарапана. Щетиный подбородок, приоткрытый рот, стекающая слюна. Дешевая, закоптившаяся от долгой носки фланелевая рубашка в темно-синюю клетку с закатанными по локоть рукавами, выглядывающая из ворота синяя же футболка, темные, истончившиеся брюки, подпоясанные истрепавшимся ремнем, черные носки.

Даньку угораздило поселиться в доме пьяницы. Банальность, ставшая неожиданностью, неожиданность, которую трудно было предугадать в положении Даниила. Он растерялся: первой мыслью было бежать, бежать как можно дальше от неустроенности и разлада, от убожества и проклятия этого чужого дома, пока он не заразился ими. Он бежал от своей ущербности и разрухи, но оказывалось, все, чего он достиг, — чужие ущербность и разруха, которые уже прокрадывались за шиворот назойливым насекомым. И от их ощущения и созерцания, от их прикосновения Даниилу не становилось легче, не появлялось контраста, водораздела для сопоставления, собственное несчастье не умалялось, нет, оно обнажало ту глыбу, которую так старался перестать различать взгляд; вид чужих потрохов действовал обезоруживающе, угнетающе, он усугублял, сгущал потемки, утяжелял свинцовый шар отчаяния и расширял им пробоину в душе.

Непроизвольно отпрянув назад, с отвращением, ужасом и презрением глядел Данька на того, на чей кров и кусок хлеба посягнул. Эта реакция проступила на его лице: верхняя губа как-то криво приподнялась, обнажив по диагонали неровные передние зубы, брови сдвинулись, подбородок от напряжения окаменел. Так безразлично смотрят на слизняка или слизь. Даниил мог обозначить точнее: он смотрел так, как ему мнилось, что все смотрят на него. Но вот что нехарактерно: в испытываемое чувство омерзения и отвращения вмещалось столько горделивого пренебрежения и самодовольства, что поверх их, стремясь их уравновесить, наваливался стыд, душащий бесконтрольную спесь. Но даже так не обойтись без самообмана: снисходительность требует лицемерия, растушевки равнодушием, невнимательностью, противоречием — иначе нельзя подавить свое искреннее, естественное, но постыдное движение в душе. Но к чему это? Чем лучше разбавленная, водянистая смесь напускной, выдавленной жалости, толерантности — ежели угодно — в сравнении с чистым, концентрированным неприятием, осуждением и презрением? Деликатность души — это кривлянье, игры перед зеркалом, но что же тогда остается? — с упоением, полной грудью дышать испарениями, которыми исходит твоя мятежная изнанка! Каким-то морализаторством отдает этот диалог ни с кем. Ну вот перед кем ты сейчас красуешься, посредством кого самоутверждаешься? Да какое там, собственно говоря, самоутверждение! Чем твоя безвольность над собственными мыслями благороднее безвольности жалкого пьяницы?

Пришибленный, ибо для ошеломленности то, что испытывал Даниил, не дотягивало, было притуплено и тускло, отбросив никчемную, по его разумению, осторожность, прошел в другую, гостевую часть комнаты и в задумчивости опустился в скрипучее кресло. Что же ему делать дальше? Опять этот настойчивый вопрос: остаться здесь или отправиться на поиски нового крова? Разве можно себя уверить в том, что в другом месте будет лучше и легче, что не угодишь в логово большого семейства, облепленное глазами и ушами? Да и нужна ли толпа народу, чтобы обнаружить присутствие взрослого организма, которого на раз-два выдаст его же собственная тень. Нет гарантии даже того, что в другом доме не окажется такого же алкаша, собутыльника

вот этого же, что лежит перед тобой. Мало ли на какие еще препоны, которые сейчас вялое воображение отказывается представить, можно наткнуться!

Вообще говоря, что было здесь такого для столь сильного возмущения и неприятия? Его кто-то выгонял, кто-то бросался на него с кулаками, чего-то требовал с него? Разве происходящее с жильцом дома касалось Даньки? Таило для него угрозу? Прямо сейчас — нет. Но это не примиряло Даниила с самим собой: в нем как будто поднялась память предков, хранящая в себе все ужасы пьяного угара; каждая нервная клеточка, оказавшаяся в замкнутом пространстве с нетрезвым субъектом, трепетала и буйствовала, желала сбежать, на крайний случай — исчезнуть. Рой — как будто заготовленных — вопросов уже начал досажать: наклонность, пристрастие, зависимость — что с ними делать, как побороть и стоит ли с ними тягаться? Вот говорят, указывая на какого-то человека, что он добродетелен и порядочен (оставим в стороне вопрос о том, какие именно свойства завернули в эти блестящие фантики), положим, что так оно и есть на самом деле. Но если добродетелен он и порядочен лишь по счастливому стечению обстоятельств, заварившему такой, а не иной состав его тела, задавшему такой, а не иной ход мыслей, — ну не выползают у него из затененных уголков бессознательного мрачные, запретные желания и побуждения, не находит его достойным своих искушений сам дьявол; герметичен котел, в котором вскипают чувства и варятся плоды размышлений, непроницаем он для чужеродного, необъяснимого, спонтанного; в общем, живет человек в такой вот идеальной физической модели без силы трения (допустим, ведь любая теория требует идеальных моделей) — что ж теперь, все ему в заслугу и поставить? Так пусть же этого персонажа (тем проще ему простить вымышленность) ничто не соблазняет, пусть привит он от хандры, меланхолии, сплина (какие все красивые слова!), праздных размышлений, ничто не смущает и не растлевает его ум и душу — таково его устройство, так он сложен не самим собой. Что ж, сам он себе все это снискал, своим трудом выскреб? Неужели заслуга его в том, что ему повезло? Ведь он не ведет ни с чем борьбу, не утруждает себя заботой о сохранении трезвости ума и спокойствия сердца — они у него чисты до скрипа, прозрачны и спокойны, как родниковая вода. Вот этот человек — безгрешный, довольный, благочестивый, и все это лишь по случайности, по прихоти природы, каких-то неведомых сил — короче, какого-то химика, виртуозно исполнившего свою лабораторную работу.

А взять теперь другого, противоположного первому, обуреваемого, заполоненного страстями, сводимого ими с ума, но противящегося им, прилагающего усилия укротить желания волей, истребляющего их вместе с собою, разрывающегося на части, стесняющегося и отчаивающегося — лучше ли он того, первого, честнее ли, искреннее ли, подлиннее ли этот мученик, пропалывающий в себе ежедневно и еженощно ростки зла (того, что сам, общество, этика признали за таковое)? Положим, что он в очередной раз преодолел это наваждение, это безумие, неистовство, но значит ли это, что он искоренил их, полностью освободился от узурпации, вырвался из-под гнета своего внутреннего антагониста, истребил его, значит ли это, что гной вышел наружу и начался процесс заживления и выздоровления? Потенция греха (нет, не того библейского греха перед карающей непонятной нечеловеческой силой) — пусть сдерживаемая и подавляемая, пусть прижимаемая к ногтю, словно неумная блоха, пусть сжимаемая за горло, словно тонкошеяя птица, — уже воплотилась в соблазнительно запретном образе о нем, мысль мелькнувшая уже проявила его, вычертила черный абрис, дала толчок воображению и чувствам, запустила их по смазанным рельсам; не будет двигателя — достанет инерции: все ощущено и прожито будучи запертым глубоко внутри,

стиснутым, утрамбованным, а оттого — выпученным, явственным, резким и сфокусированным; не проступившее в реальность, все налилось соком и цветом, прониклось ароматом, обросло мякотью и зарделось ореолом недозволенности. И нет известного средства, которое уберегло бы, вернуло бы к себе, вернуло бы радость простой жизни, не наспигованной соблазнами.

Какое все это имеет значение? Ведь все равно, все равно... Но бессовестно шумные, разнонаправленные, как пассажиры в городском транспорте, мысли топотали и кричали, толкались и бились в голове Даниила, переставшего обращать внимание на звуки, издаваемые спящим на полу хозяином, выпускаемые всей реальной обстановкой. Прямо так, сидя в кресле, с мешаниной обрывочных мыслей, неразвернутых, схлопывающихся в неразличимую точку, с отяжелевшей и склонившейся головой, Даниил незаметно для себя задремал, не чувствуя никаких физических неудобств, не взыскую ответов на вопросы, пуская все на самотек, предоставляя реальности обтекать по границам сознания, покуда не выищет в нем брешь.

Очередное пробуждение Даниила в этом доме отнюдь не оказалось спокойнее и приятнее предыдущих. Он проспал не более получаса, но ему показалось, что прошло не меньше двух-трех часов — так глубока была расщелина его сна. На этот раз тишина прорвалась густым, жирным, намешанным и скатанным, как сметана в масло, шлепком: рвотные массы, извергающиеся из недр человеческого существа, глухо ударялись о дно высокого алюминиевого ведра. Даньку как будто вытолкнули из сна, ладони в напряжении вперлись в подлокотники, тело подалось вперед. Ах, чья-то рука вдавливают нашего героя в чужую историю, не оставляя возможности для выбора.

Хозяина рвало долго и громко, изматываяюще, с утробными звуками и отплевываниями, казалось, вот-вот он исторгнет из себя душу. Даньке вспомнилось, что в детстве его часто выворачивало: укачивало в машине, подводил желудок, да и здоровьем он был слаб — жар по любому поводу сопровождался такими же обильными излияниями, ненавидимыми им больше боли. Интересно, а этому человеку больно? Может ли он охватить себя с ног до головы сторонним взглядом, узреть, насколько он мерзок? Не тошнит ли его от того, что его тошнит? Мелькала ли в его голове мысль о том, что во всем виноват тот самый алкоголь, то самое пойло, которое он вливал в себя несколько часов назад? Испытывал ли отвращение к нему? Чувствовал ли горечь и сожаление, винил ли самого себя? Зарекался ли не брать больше и капли в рот? Какая слабость, должно быть, его разбивает, как пересохло во рту, как крутит живот, стонет прожженный желудок, как зыбка и противна ходящая ходуном действительность. Его трясет от пробирающей все тело мелкой дрожи, ему холодно, ему страшно, ему противно. Покидавшее сознание вернулось, он вновь втиснут в невыносимый трезвый мир, заляпанный тягучей слизью, рвотными массами и отходами. А ему меж тем никуда не деться из этого давящего помещения; он один, никому не нужный, брошенный, ни в ком не нуждающийся, убогий, униженный самим собой, Богом и людьми. О чем же он думает, ощущает ли какую-то горечь, кроме горечи вылаканного зелья? Едва ли. Все, чем ограничатся его желания, — это потребностью опохмелиться, выпить еще и еще, потушить полыхающий в груди пожар, лечь, заснуть, а там — все по новой: тошнота, рвота, слабость, неумное, скребущее всю внутренность раздражение, новая рюмка, новая опорожненная бутылка — и так до тех пор, пока организм не пропитается ядом до такой степени отравления, что возопиет о медицинской помощи.

Хозяин, опираясь рукой и коленом о пол, делая над собой неимоверное усилие, держась другой рукой за грудь где-то в области сердца и испуская тяжелый выдох,

как будто пытаюсь изгнать демона из легких (напрасное движение, тщетная попытка), поднялся на ноги, нетвердые, ненадежные, словно ходунки; ополоснул лицо, вытерся и, ступив пару шагов, возник в проеме между печью и левой для Даньки стеной. Мужчина остановился — его вниманию предложили Даньку, но мутный стеклянный взгляд, застилаемый мелкими мушками, соскользнул с необследованного предмета, так ни за что и не зацепившись, и хозяин мелкими шажочками, почти не касаясь пятками пола, засеменил к кровати, настиг ее и ничком рухнул. В нынешнем его состоянии присутствие Даньки оказалось слишком малозначительным событием.

Даниил же почувствовал облегчение, наконец-то оказавшись уличенным в своем существовании и присутствии. Дальше могло последовать что угодно: едва заметный отпечаток вдавился в судьбу постороннего человека, неглубоко, пожалуй, лишь до легкой снежной пороши. Но если вовремя не выбраться, не пересечь поле, рассеянно задуматься и замереть, немудрено нечаянно застрять и оказаться стертым белоснежным ластиком с лица земли. Вновь хаос. На этот раз чужой хаос. Но Даниил не чувствовал в себе сил и желания противостоять этой посторонней жизни или избежать ее, что-то его манило, что-то неизъяснимое, противоестественное, грозное и жалкое одновременно, приковывало его к чужому мрачному быту.

Время все никак не желало подвигаться вперед, утро набиралось медленно, как будто стекало с неба по капельнице. Всего около шести часов. Недавно пребывавший, ластившийся, как кошка к ноге, туман прорвался, будто пенку собрали со вскипевшего молока. Изнутри, из недр дома чувствуется, что воздух ажурен и невесом. А ведь какой-то час или полтора назад за окном стояла непроницаемая завеса дымки. В какой-то момент Даньке даже почудилось, что дом оседает — не засосало бы его в расхлябавшуюся почву... <...>

В который раз мысли Даниила оказались увлеченными в сторону от непосредственной ситуации, от переживаемого момента. Композиция проста: Даниил в кресле, хозяин дома — на кровати. Неприязнь или равнодушие — в какое из этих понятий легче размять и скатать воск, стекающий со свечи сознания? Данька был бы равнодушен, если бы природа его позволила ему быть таким по отношению к людям вообще. Любой человек для него был своего рода раздражителем, на который он не мог не дать ответной реакции. Любой человек его интересовал, в каждом он видел загадку. О нет, не тешился он иллюзией эту загадку постичь, но понаблюдать за ней, изучить, прийти к своим выводам — то было делом необходимым. Так или иначе, Данька чувствовал дискомфорт, напрягался, становился внимательным и чутким к слову и движению того, кто оказывался рядом. Вот и сейчас он непроизвольно внутренне подстраивался под ритмы спящего человека, стараясь по дыханию и движению определить тот момент, когда он проснется и начнет вставать, уже наверняка будучи в состоянии осознать Данькино вторжение в свой дом.

Две часовые гирьки в виде шишечек спустились по цепочкам в самый их низ, дверца, методично захлопывающаяся после каждого выхода кукушки, напоминающая ревнивого конферансье продуманного водевиля, перестала открываться; громкое, назойливое время онемело, непростукиваемое пространство, словно контуженное, оглохло и уплотнилось. Любой механизм несет на себе налет фатальности, чего-то неумолимого и необратимого, внушающего неосознаваемый ужас. Должно быть, это плата материи за насилие над ней: за то, что она покорилась, поддалась, смялась и деформировалась в человеческих руках. В застывшем механизме скапливается и застревает энергия, рвущаяся наружу, выжидающая своего момента; эта энергия — готовое сдвинуться с места колесо, волна, которая вот-вот оборет дамбу.

Не исключено, что от толчка этой энергии и проснулся вдруг хозяин, резко и порывисто сел на кровати, уставившись прямо на Даниила, как будто весь свой тревожный сон памятовал о присутствии чужака на своей территории. Невыносим, как же был невыносим этот воспаленный, мутный, рыбий взгляд наэлектризованного человека — раздражение, неумность, нетерпение, невозможность отвлечения от единственного интересующего предмета оседлали волю и готовы были галопом нести к источнику утоления желания. Даниил виделся препятствием на пути к искомому удовлетворению и, надо сказать, смутно об этом подозревал. Мятежный дух, заимствующий человеческое тело, а не человек, не личность, тарасился на Даниила. У Даниила не было ни заготовленных, ни спонтанных слов для этого духа, но в них и не было нужды. Хозяин смотрел на Даниила с прищуром, через боль, казалось, его слепило солнце, но во взгляде не было ни удивления, ни растерянности — не исключено, что это всего-навсего являлось следствием абстинентного состояния, взбудораженности, отвлечения внимания или заторможенности реакции. Наконец веки прикрылись, взгляд соскользнул в пол, рот, обрамленный тонкими, прижимистыми губами, скривился в полуулыбку-полуухмылку, и после протяжного тяжелого вздоха последовало объемное и увесистое «Да-аа...», довершилось оно укоризненным прицокиванием. Что значило это «да», Данька не знал, но в нем послышались упрек и уязвление — стало не по себе, кольнуло булавкой, точно не кто иной, а один лишь Данька был повинен в положении человека, сидевшего на кровати, раскорячив ноги, уперев в колени локти и опустив тяжелую голову. Кажется, Даниил пришелся кстати — нужен был кто-то, на ком можно отвести душу.

Хозяин, так и не проронив ни слова, просеменил к ведру, приподнял звонкую жестяную крышку, зачерпнул из него ковшиком колодезной воды, отпил, накрыл ведро, оделся и вышел из дома. Вернулся он лишь поздно вечером. В том же состоянии, что и накануне. Даниил же прослонялся весь этот день по дому и двору, уже не опасаясь других жильцов и не особо помышляя о том, чтобы покинуть свой нескладный и неладный, разбитый, печальный кров и повлачиться в новые дали. Податься все равно больше некуда — такова была оправдательная мысль, о которую оперся (и в которую уперся) уставший рассудок. Надо признаться честно, попади Данька в устроенный, приветливый, благополучный кров, где его приняли бы с радушием, окружили бы добротой и заботой, ему, совершенно не привыкшему к подобному обхождению, совсем немного времени потребовалось бы на то, чтобы почувствовать себя ужасно несчастным, ущербным, неполноценным, зависимым. Глядел бы он исподлобья недоверчиво, что-нибудь подозревал бы, выискивал в простом, без задних мыслей, расположении посторонних к нему людей какие-то происки, ухищрения, вождение за нос с умыслом извлечь как-то выгоду чуть погодя, в тот самый момент, когда он, Данька, должен будет расслабиться, привязаться и проникнуться теплыми чувствами к своим благодетелям. А ведь он не привяжется и не проникнется — ему этого не позволит вбитое, как колышек, в сознание убеждение в том, что что-то должно быть причиной такого к себе отношения: некое ожидание — отдачи, выгоды, благодарности. Любая якобы безвозмездная услуга, любезность — это всего лишь способ манипуляции, изощренного психологического закабаления, не иначе. Для Даниила, сызмальства вымуштрованного оправдывать ожидания, в конце концов подобные связи станут настолько обременительными, и он начнет стремиться их отсечь да преуспееет в этом, а та легкость, с которыми в одночасье порвутся сплетенные сети — силки, послужит для него подтверждением того, насколько иллюзорными, ничтожными они были.

Вот и вышло, что первичное, поверхностное побуждение выбраться из чужой червоточины, отстраниться от окутанного мрачным флером холодного очага, не привлекающего улыбкой, гостеприимством и довольством, но и не изгоняющего из своего лона и окрестностей, не дышащего враждебностью и угрозой, оседлалось желанием остаться незамечаемым даже будучи наблюдаемым.

Так, ни у кого не прося дозволения, Даниил остался обитать в этом доме. Слово призрака, домового, дух. Практически ничего не делая по дому, не заботясь о запущенном хозяйстве, он слонялся по дому и двору, не испытывая неудобств в бытовом плане и не чувствуя себя лишним и обременительным. В еде и крове ему не отказывали. Надо сказать, что только поначалу это попустительство происходило по причине замутненного сознания хозяина (да и того нельзя знать наверняка), спустя неделю беспросветного запоя он пришел в себя, стал приобретать человеческий облик.

Совершенно вымотанный, исхудавший, с высосанными жизненными соками, осунувшийся и отекавший одновременно, он, по-видимому, не в силах был усидеть на месте — что-то изнутри терзало его и подгоняло — остервенело взялся он за выправку своих дел. Суетливо, но со знанием дела, проворно, с кажущейся легкостью, но скрупулезно, методично, скоро, как в мультфильме про летучий корабль, наводил он порядок на каждом участке своего хозяйства. Дело спорилось в его руках, все покорялось без лишних движений. Вот были вынесены и вымыты с порошком все ведра, вот посвежел пол, как только что выциклеванный; постель сменила белье и накрылась чистым пушистым покрывалом; политые цветы воспряли духом и вытянулись; пыль вместе с паутиной, еле видимым мхом обжившие поверхности, исчезли без следа; посуда, простоявшая несколько дней, засияла чистотой; чуть-чуть отклонившиеся от установленной нормы занавески, скатерть, салфетки, покрывала одернулись умелой рукой: ни одной морщинки, ни одной ворсинки — все как будто ожило, обогородилось и вместе с тем приобрело какую-то математическую правильность. Дошла очередь до двора: прелые, пергаментные листочки быстро сгребли в одну кучу, забрили в целлофановый мешок; распахнулись двери сараев — влажный застоявшийся воздух клубом выкатился и, перемешанный с остывшими слоями, незаметно рассеялся. Умытое, ухоженное, проникнутое человеческим теплом, все словно встрепенулось, стало обжитым, засветилось надеждой и предвкушением, радующими глаз, хотя и не избавилось от матового налета глубокой печали.

Здесь, в небольшом мирке, заключенном, как вакуоль, в мягкую мшистую мембрану из сине-зеленых бархатных лоскутов елей, сосен, пихты, сменяющихся переливчатым атласом своевольно, отчужденно растущих липы, дуба, лентами березовых посадок, время текло иначе, нежели в городе. Тягучее, как патока, оно никуда не спешило и не проливалось зря, никого не торопило, позволяло насыщаться собой вдоволь и искать занятий для досуга. Ощущение Даниилом времени было как будто во все и не новым, а возвращенным, возрожденным из детства — оно ассоциировалось с искрящимися бескрайними снежными полями, сугробами, все прибывающими и прибывающими снежинками, беспрестанно устилающими все вокруг; это нечто противоположное песочным часам, стремительно избывающим свои крупинки (правда, замкнутость песочных часов, быть может, еще ближе к бесконечности — лишь бы была сила, готовая их перевернуть). И вот это все белоснежное, хрусткое, дышащее прохладой симметрично распластанное время, не стремящееся растаять и испариться, предоставлено в полное распоряжение Даниила: его можно беречь, а можно растапливать своим дыханием — хватало и на то, и на другое. Скучать не приходилось: в доме нашлось и находилось множество интересных книг (они были распаханы по разным

шкафам, видно было, что к ним, запыленным и даже затянутым в паутину, уже давно не обращались, а меж тем среди них были «Могикане Парижа» А. Дюма, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Трудно быть Богом» Стругацких, «Лолита» и «Дар» В. Набокова, «Красное и белое» Стендаля, «Смирительная рубашка» Дж. Лондона и проч. и проч., чтение чего не просто помогало скоротать вечер-другой, но способно было доставить истинное наслаждение любителю и ценителю изящной словесности и глубокой мысли; интересно, кому они принадлежали?), обнаружение которых для Даниила было сродни открытию сокровищниц, оазисов посреди пустыни — это были поистине блаженные, драгоценные мгновения, которые сжимали сердце и томили душу предвкушением встречи с чем-то таинственным, волшебным. Никто не мешал, не прерывал чтения, ничто ему не мешало начаться и продолжаться в любое время суток; Данька отрывался от книг тогда, когда ему хотелось, например, остановиться и обдумать прочитанное или просто подольше остаться под действием очарования, насланного на него той или иной мыслью, тем или иным описанием, эпизодом, фразой, словосочетанием. Тогда герой наш часто отправлялся гулять в окрестные леса, посадку или на озеро. Он оставался незамеченным, так как ему не приходилось выходить на улицу: со двора можно было уйти через большой огород, расположенный позади сарая и других хозяйственных построек. Огород был обнесен по периметру деревянным плетнем, через (или даже сквозь — он не был сплошным) который не стоило никакого труда перебраться наружу и оказаться в чистом поле; чуть поодаль виднелись посадка и узкая автомобильная дорога, а еще дальше — леса, еще поля, еще леса — весь огромный внешний мир, все развертывающийся и развертывающийся, нигде не давящий и ни в чем не ограничивающий. Свежий, насыщенный кислородом воздух, от которого Даниил давно отвык, который кружил голову и раздувал грудь, местные сочные пейзажи увядающей природы виртуозно играли с органами чувств, не уступая — если не превосходя по силе воздействия — чужим плодам творчества, пьянили чувством легкости и иллюзией едва уловимой смещенности, блуждания всех предметов относительно их настоящего расположения: они будто обращались всеми своими возросшими в количестве измерениями, крутились голограммами вокруг своей оси. Данька осторожно, боясь причинить боль, а попутно и самому расщепиться — ось его сознания тоже кренилась, — ступал по промерзшей, стянутой ледяной коростой земле, посыпанной, как пылью или металлической стружкой, тонким слоем снега, под которым еще хрустели опавшие листья. Без всяких усилий сосредоточенный взгляд Даниила комариным хоботком всасывал в себя краски поздней осени, и среди них не находилось ни спелой охры, ни глянцевиной бронзы, ни тем более солнечного янтаря — нет, перед ним не было россыпи самоцветов; все было опутано ломкой ржавой медной проволокой, а пористое, как пемза, и хворое небо было готово в любую секунду расклеиться и окропить землю скорбными слезами. Данька бродил меж стволов чужих деревьев (их не было в его заснеженном детстве, по большей части проведенном в бесплодной тундре), проводил рукой по их неровным шершавым стволам, взирал на ветви, простираемые старческими руками не к грифельному небу даже, а к чему-то рассеянному в холодном воздухе, что когда-то неимоверным ужасом высушило соки всего одушевленного, исказило гримасой боли обращенные к нему некогда выпуклые, вычеканенные, а теперь сплюснутые, вдавленные в кору, в дернину, ставшие неразличимыми вневременные лики. Данька ощущал неясную, но прочную связь с прошлым, которое, возможно, так и не закончилось, но замерло, с его горечью, трагедией, его нескончаемым умиранием, угадывал во всем окружающем признаки избыточного, но беспредельностью своей возвышающего над ним же самим страдания,

обескураживающего и обыгрывающего смерть. Даниил слышал безмолвные стоны и знал, что все вокруг внемяет его мыслям, знал и то, что мысли его навсегда останутся звучать здесь, в этом пропитанном кладбищенским духом месте. Некогда здесь все плясало и корчилося в агонии, но от этого не становилось жутко, наоборот, — тени прошлого умиротворяли, обволакивая и опутывая страшными видениями, гипнотизируя заунывной мелодией осеннего ветра, старательно прибирающегося, приготовляющего природу к соборованию. А впрочем, нет, не стоит ограничивать природу нашими религиозными путями, пусть она живет по своим обычаям, следует своим обрядам, шепчет заклинания и проклятия, пусть будет всемогущим, непостижимым язычником, мистиком, лишь бы и дальше она творила свое таинство, позволяя нам иногда за ним подглядеть, пусть даже воспоминание об этом подглядывании будет стерто из памяти; это воспоминание заместит другое — о пережитом ощущении, по которому непременно будешь тосковать и за которым будешь гоняться. И Данька бродил по окрестностям, одаренный этим драгоценным воспоминанием, переживая нечто восхитительное, чувствуя, как в теле самопроизвольно проистекают некие химические реакции, дурманные сознание не испытанным ранее вдохновением, предчувствием и единением — казалось, что все, что составляло Даниила, подключили к огромному зарядному устройству, которое напивало его энергией, мыслями, опытом множества существ, возможно, уже отживших, а возможно — просто выдуманных. Это было волшебство, которому Даниил с удовольствием отдавался, из-под очаровывающего гнета которого не хотел выходить.

* * *

Изредка Даниил задумывался над тем, ищут ли его. Несмотря на то, что прошел столь незначительный промежуток времени со злополучного или благословенного дня, когда Даниила, как какой-то тюк, выпихнули из вагона, та жизнь, сброшенная как ороговевшая кожа, бредовая, горячечная, напоминающая несвязный, бесцветный кошмар, спутанный с явью, представлялась какой-то далекой и невозвратной. Мысль о возможном обличении себя, о выдаче жителями поселения или стечении обстоятельств, которое раскрыло бы его личность, омрачала нынешнее существование Даниила, но все же он старался не поддаваться напрасным тревогам и утешал и подбадривал себя тем, что в любом случае ему стоит как можно полнее пользоваться той свободой, которая нынче в его распоряжении, и нечего отравлять ее страхом.

Когда Даниил находился дома, все его мысли роились вокруг хозяина крова: где он, чем занимается, трезв или вновь сорвался, полез в бутылку, с кем он, когда вернется, все ли с ним в порядке. От окна к окну переходил Данька, возникая и затираясь, то в одном, то в другом немигающем зрачке дома. Даниил поначалу не обращал внимания на отлучки хозяина — какое ему, в общем-то, было дело; вполне комфортно оставаться дома в одиночестве, безнадзорно делать что вздумается. Но живущие бок о бок друг с другом, хоть и в установившемся мягком и пружинистом молчании, невольно принаравливающиеся друг к другу, каждый про себя понимал, что между ними протягиваются невидимые нити отношений, возможно, из разряда тех, что бывают у домашнего питомца с хозяином. Правда, Данька лишь получал, не предлагая ничего взамен, при этом не чувствовал себя обязанным или задолжавшим, да даже хотя бы благодарным; скорее, он относился к предоставляемым ему благам и оказываемым услугам как к чему-то само собой разумеющемуся, как будто он уже когда-то внес свой залог либо имел законное право на безвозмездность, которое не оспаривалось хозяином.

Небольшой круг домашних дел у Даниила все-таки образовался: он натаскивал в дом колодезной воды, выливал использованную воду, приносил дрова для топки дома, изредка готовил что-нибудь незатейливое и мыл посуду, в отсутствие хозяина давал корм домашней живности (ее было немного: с десяток кур, петух, пара овец да кот); мог сподобиться приколотить что-нибудь отпадающее, починить что-нибудь сломавшееся, но бывало это от случая к случаю и единственно по прихоти. Баню Даниил сам не топил: не умел как надо, да и нужды в том не было — это дело хозяйское, а помочь, подсобить, если что, приглядеть — тут он пригождался; но баня находилась впритык к соседскому забору, поэтому приходилось осторожничать, чтобы не выдать себя.

В трезвом уме хозяин ни с кем не ссорился, ни у кого ничего не просил, но всегда был готов прийти на выручку кому бы то ни было. К нему часто обращались, звали на работу: на покос, на выпас коров, на стройку бани или дома, на рытье колодца, на помощь на пасеке и так далее — к любому труду шла, примерялась его рука. Даньке оставалось лишь дивиться, наблюдая за трудом без намека на упорство, на преодоление лени, сетование на хлопотность дел, отсутствие тяжелых вздохов, легкость, непринужденность и удовольствие, сквозившие в каждом действии. Неужели человек может быть столь смиренным, работающим, непривередливым, неужели его может доставать на все эти утомительные, нудные, бессмысленные мелочи? Изю дня в день одно и то же, изю дня в день с бесменными радением, прилежанием, кропотливостью и тщанием. Нет, Даниил ни за что бы так не смог. Это все казалось ему слишком наивным, простодушным, бесхитростным, почти граничащим с глупостью, а все же он умилялся и завораживался плавностью и размеренностью движений, выверенных, экономных, невесомых, сродни порханию бабочки — отнюдь не напористому и резко перелету пчелы. Гармония, покой, добрососедское сожительство с природой — все это было на самом деле, пока вдруг, словно бы без причины, без предупреждения обрушивалось лавиной, расползлось селом, когда в очередной раз наступал срыв, и этот добродушный, смирный, терпеливый человек хмелел и уходил в запой. Иногда его угощали те, кто звал на работу. Иногда он сам начинал искать повод, чтобы выпить, начинал с кружки пива, а там уж с головой бросался в омут беспамятства. Те, кто его поил, прекрасно знали, что ему противопоказан алкоголь в любых дозах, но это никогда их не останавливало — наоборот, ожидая сцены, раззадориваясь, они подначивали выпить больного, в сущности, человека, с удовольствием ждали они ломки воли и унижительного, жалкого представления. После первой опрокинутой рюмки не было смысла вести счет всем последующим. Слабовольный терял свой человеческий облик, обращался в животное, в желание, в необузданную стихию. Спаиватели злорадно усмехались за спиной и открыто смеялись в лицо, смотрели уничижающе и презрительно, дразнили, подливали и тешили свое самолюбие — мол, мы-то пить умеем, мы-то головы не теряем. Все, чему можно было позавидовать, вмиг растаптывалось и улетучивалось — перед вами оказывалось пресмыкающееся, хотя — нет, пресмыкающееся лучше — оно хладнокровно и бесстрастно. Хозяин исчезал. Иногда на дни, иногда — на недели.

Данька же, сам того не замечая, потихоньку приручался, сдавал свою волю без натиска жалкому человеку, который ничего от него не ожидал и не просил. Зато Данька, в иссохшем сердце которого наметилось какое-то нездоровое шевеление, продирающее наружу ненужные всходы, начал ждать, жадно, с надрывом ждать, как преданный пес ждет своего человека с работы. Любая задержка хозяина с работы или шабашки откуда-то из затопленных глубин души поднимала тревогу, не однажды пережитую

и вроде бы навсегда оставленную в прошлом... Все повторялось из раза в раз: тишина становится суше и начинает потрескивать, спицы, накидывающие и собирающие петли времени, захватывают волокна сумерек, сама пустота сжимается, напряжливается и, стиснутая, разряженная, растертая меж грозowych туч, незримыми волнами накатывается на помещенные в нее предметы и растекается по ним, растекается... А предметы трескаются и лопаются. Свет уже не цедится, желтеет, избавляясь от своей болезненной бледноты, заваривается, тени уплотняются; все, как панцирем, обрамляется в абрис и обрастает еще одним измерением. Все напитывается смачной, густой, жирной краской, даже душа вымазывается жиром — оттого и не дается в руки, выскальзывает из них, не дает себя убаюкать.

* * *

Спустя месяца два с небольшим после появления Даниила в поселке одиночество двух существ нарушило внезапное, нет, не вторжение, а как бы вмещение третьего человека. Ранним утром ясного зимнего морозного дня к воротам дома подкатил легковой автомобиль, и из распахнувшейся его дверцы выступили две ноги, обутые в красивые черные полусапожки, а потом из нее же вынырнула трость, на мгновение упершаяся в землю, затем бегло ощупавшая припорошенную снегом поверхность и как будто вильнувшая хвостом своей колеблющейся хозяйке — выходи, все в порядке. Нагретые недра машины выдали сложенную на несколько мгновений и тут же распрямившуюся аккуратную фигурку девушки. Завернутая в светло-серую дубленку с отороченными мехом воротником и рукавами, с капюшоном на голове, она напоминала маленькую Снегурочку. Лицо девушки, бледное, с голубоватым отливом, белизной своей соперничающее со снегом, наполовину скрывали темные очки — они устраняли двойственность в понимании предназначения трости. Усилия, прилагаемые к сокрытию неуверенности и угловатости, заставляли их выпирать еще сильнее, как жировые складки под прилегающей одеждой. Не оставалось сомнения, что девушка незряча. Поводыря при ней не наблюдалось. Все же она самостоятельно добралась до калитки, надавив на ручку, отперла ее и толкнула от себя, вытянув руку и ощупав пустоту, — так же Данька засовывал свою руку в темный мешок ночи, когда впервые очутился здесь, — и упрямо двинулась ко входу дома. Машина тут же тронулась, слегка забуксовала, но справилась, развернулась и, оставляя глубокие следы, быстро скрылась из виду.

Хозяин был дома. Это был один из тех самых дней, когда он вернулся после недельного отсутствия. Пьяный, с проспиртованным — не телом даже, а душой, что впору выставить ее в Кунсткамере, он валялся на кровати в рабочей одежде, запах бензина от которой невероятным образом не сбился алкоголем, и в не пожелавшем остаться снаружи или хотя бы свалиться у кровати ботинке — из него, нерасшнурованного, торчала пятка. Рядом с разложенным диваном на полу стояли две початые прозрачные бутылки, на столе валялись хлебные крошки, одна из них угодила в медленно сужающуюся лужицу разлившейся водки. Тут же была открытая трехлитровая банка маринованных помидоров — солоноватый запах просачивался из-под неплотно прикрытой жестяной крышки. Данька только что вернулся с прогулки по окрестностям: приходилось избегать общества хозяина в известном состоянии — он становился слишком многословен, навязчив, лез с бессвязными бестолковыми речами, от которых тоска брала за душу — хоть волком вой. Порой Данька задавался вопросом: уж не «белая» ли горячка? Ее уж стали приписывать соседу жители ближайших домов, и виной тому был Даниил, которого никто не видел, но о котором так упорно под градусом начинал твердить хозяин. Слушатели с опаской и тревогой переглядывались

между собой, смешки меж теми, кто жил поблизости, сошли на нет — да и будет ли до смеха, ежели обезумевший сосед, коли взбредет ему чего или привидится, подпадет свою или чужую баню или избу! Какой-то благожелатель, не то из страха, не то из сердобольности, позвонил дочери хозяина да и поведал в красках житье-бытье никудышного отца. Явившаяся девушка и была той самой дочерью хозяина.

Даниил не сдвинулся с места — остался у окна в комнате, не считая нужным или возможным прятаться. С тылу было ненадежное прикрытие — коричневый, орехового оттенка, шифоньер, то и дело покряхтывающий, покачивающийся вперед и назад да озвучивающий свое мнение похлопыванием резных ручек по своему широкому полотняному лакированному телу при каждом близком шаге домочадцев. И все же на него можно рассчитывать, да еще на печку, вроде глядит с сожалением и, прикрыв черный рот платком, тихонько всхлипывает, как слезливая баба. Не то что на окно и стол — те смотрят равнодушно, от них не стоит ждать участия, пожалуй, еще и подножку подставят. Как-то невозможно было никуда двинуться так, чтобы не потерять точку равновесия. Просто пат какой-то. Интересно, как из него выбираются: вот бы пригодились умение играть в шахматы, если б таковое наличествовало. Да, Владимир Владимирович³, вы б грациозно разрешили эту затруднительную ситуацию, пусть даже вынырнув на изнанку шахматной доски — глядишь, голову не разбили. Хм, Даниил всегда немного свысока косился на замкнутые, ограниченные системы, мимоходом извлекая из их недр то, что — одному Богу весть по каким признакам — относилось к тайнописи: ноты, краски, цифры и буквы. У Даньки и самого было весьма смутное представление о том, что отличает буквы от шахмат, ноты от шахмат, цифры от шахмат — как ни крути, а проще было рассмотреть преимущество того, что, имея материальное воплощение, тешило осязание и заставляло волочиться мысль в сферы самые что ни на есть отвлеченные и беспредельные. Найдется *x*, при котором функция, втиснутая в формулу из математических символов, будет стремиться к бесконечности... Болезненное детство, в котором было слишком много математики, но из шахматных фигур — лишь заблудившаяся пешка.

Девушка справилась с дверьми и порогами и оказалась наконец в комнате. Враз все поняв и прочувствовав, она в бессилии, не освобождаясь от верхней одежды, словно сшибленная, подкошенная, не то осела, не то рухнула на легко обнаруженный стул и, едва опершись правой рукой о трость, оттолкнула ее от себя, как геометрическая фигура, отсекающая от себя лишний отрезок или луч, дабы не изменить своей сущности. С какой безжизненной тяжестью упала рука, мгновение назад поднесенная к лицу и сорвавшая с него темные очки — в них больше не было нужды: никому нет дела до ее подслеповатости — мир смазан, видится будто сквозь несходящую пелену, но все же не черен. То восседала не удрученность, но обреченность в человеческом обличье. Данька смотрел, смотрел жадно и бесстыдно, во все глаза, сверля, вылушивая и препарируя, как патологоанатом души. Душа, между прочим, даже не содрогнулась. Тонкое овальное лицо, не тронутое румянцем, высокий покатый лоб, аккуратные брови, миндалевидной формы зеленые глаза, опущенные длинными ресницами, фарфоровая синева под глазами, длинный с горбинкой нос, тонкие поджатые губы — все было хорошо по отдельности, но сочетание их не складывалось в красоту, чего-то недоставало или, наоборот, что-то ее нарушало, но образ в целом, хрупкий (дубленка не ставила под вопрос, что сложения она была миниатюрного), разводненный, акварельный и выразительный одновременно, возбуждал любопытство и дразнил взгляд. Несколько минут она так и сидела с опущенными плечами, безвольно повисшими руками, словно ветвями плакучей ивы; все явственнее проступала на лице обескура-

³ Имеется в виду В. В. Набоков.

женность. Руки несколько диссонировали, нарушали целокупность образа девушки: совсем небольшие, но ковшеобразной формы, с короткими, неровными, наспех очерченными пальцами и детскими ногтями, они как-то стеснялись сами себя, как нечаянно приметанные не к тому телу, но всегда оказывались выставленными напоказ, торчащими; нынче им было совсем совестно: их покрыли маленькие водянистые пузырьки, кое-где лопнувшие не без помощи ногтей, кое-где только набухшие жидкостью. Но мысль — мысль без усталости продолжала свою кропотливую работу и мобилизовывала готовый только что по швам разъехаться дух. Во внутреннем котле что-то готовилось, доходило — сырая, дрожжевая мысль нарастала, закипала, напирала и вдруг разрешилась: девушка вдруг усмехнулась, всплеснула руками и еще раз усмехнулась, выпрямила, между прочим, спину и расправила плечи да разразилась смехом, нервным, истерическим, с похлопываниями колен и с вогнутым в себя взглядом. Смех этот был горек и жесток, ему надлежало сослужить службу брони для уязвленной гордости и самолюбия, ибо девушка чувствовала себя униженной, осмеянной и жалкой. Даниила захватила разворачивающаяся на его глазах драма — такой она и бывает: обычно обходится без дорогих декораций. Гнев и раздражение теснили узкую грудь, с недюжинным напором из нее выдулся тяжелый сферический, но протяжный, как мыльный пузырь, вздох «эх!», словно вулкан хотел отрыгнуть из себя душащую его мокроту. Эх, тут бы сделать пару ходов пешкой и туда-сюда пропрыгать конем, но — нет, если не королем, то выступаем смело ферзем, да пребудет мир с его резной витиеватой душой!

И хотя ее смех был громок и сидела она на расстоянии чуть больше полуметра от кровати, на которой лежал ее отец, *его* беззвучная насмешка просто оглушала, ибо немыслимо было представить, что он не пробудился ни от звука машины, калитки, дверей... ни от ее голоса. Растравленная той же мыслью, что и Даниил, она порывисто встала, как будто соскочившая пружина, крикнуло кресло — пустой выпад, сдернула с головы шапку и в одно движение очутилась над лежащим на диване отцом, в следующее мгновение стащила с него одеяло и треснувшим голосом, но не повышая его, как бы сдерживая натянутую в груди, под горлом, тетиву, велела:

— Вставай, ну же, вставай! — чуть повернутое в сторону — прямо смотреть было невмочь — лицо искажала гримаса боли и нетерпения; растрепавшиеся волосы, как водоросли, заволакивали и мельтешили неизбежной мукой перед глазами Даниила, затаившего дыхание.

Все, кроме хозяина, откликалось и подавало признаки жизни, незримо копошилось, нагибалось, приседало, кряхтело, покашливало и почихивало, перешептываясь, о чем-то справлялось друг у друга. Зрительный зал камерного театра. Набилось много всего дышащего, сопящего, запыхавшегося, как будто не здесь все это было еще минуту назад, как будто вынырнуло с работы, пробилось из пробок, отслоилось от лож, выдралось с предыдущего места и, не успевшее опомниться, по инерции продолжающее заданное ранее движение, но обернутое во фраки, вечерние платья, приплюснутые цилиндрами и снабженное тростями (верно, на случай, если запнется мысль), восседало в нетерпеливом беспокойстве (каждый предмет тщетно пытался вспомнить, что он позабыл) на коленях как будто не своих, перепутанных кресел. Звуки, шершавые, рельефные, ворсистые, — составляли неизбежную, неприрученную прослойку. Некие сверхчувственные фибры явственно слышали тему сминающейся плотной бумаги, и им уже грезилось, что это одну стену дома кто-то аккуратно взял за край и стал сворачивать в трубочку, так что не ровен тот час, когда домочадцы потеряют под собой точку опоры и завернутся вместе со всеми своими страстями в рулон, потом этот рулон, как палас, как ковер, уберут в дальний угол какого-то иного мира.

Может, правда, случиться и иначе: закатают, как газонную траву, увезут и расстелют в иных мирах — вот и не верь потом в потустороннее. Ну да и не поверишь: забудешь обо всем, что было прежде, себя самое забудешь, вот как эти вещи, таращащиеся во все глаза, выдающие свое любопытство и настороженность, но все же отвлекающиеся. Мм, где-то скользнула фальшь, все экспонаты на месте, но все они болезненно бледны, как будто простужены, и укутаны в белесые волокна тумана... все должно быть иначе. Должна быть глянцеви́тая покатость предметов с едва заметными осевшими на них пылинками, с проглядывающими там и сям отпечатками пальцев на лоснящихся поверхностях. Да, именно, вот что это было: свет — ему полагалось быть болезненным, искусственным, электрическим, рассеянным и вязким одновременно; лучами-спектрами, как мутировавший осьминог, он обхватывал и удерживал все содержимое комнаты и даже претендовал на параллельную реальность, отражаясь в ламповом экране пузатого телевизора, — почти мистическая вещь, портал в миры Билли Миллигана. Ничто не противилось. Разве что муха, отчего-то не дремлющая в укромной щели, а летающая под самым потолком, отбрасывая несоразмерные ей самой тени.

Хозяин уже поднялся и сидел на краю кровати, уткнув лицо в ладони, окаменевший, желающий врасти в свою опору, провалиться в нее, через нее в погреб и — бежать, бежать, бежать, он вдруг затрясся в рыданиях. Она не знала, что он чувствует, — она бы пожертвовала полжизни за это знание, но он рыдал, пряча глаза, сжимаясь и скукоживаясь, отчего становились громче и колющие всхлипывания. Она сидела рядом, подогнув одну ногу под другую, и тоже тихо всхлипывала, внутри ее все надрывалось и клокотало, ее душу затапливали темная терпкая печаль, ненависть и жалость к себе.

— Хватит! Перестань! — зажмурившись и зажав уши руками, отрывисто бросила она. — Хватит ломать комедию! Господи, сколько можно!

Ее отец в мгновение ока сполз с кровати и очутился перед ней на корточках, не склоняя головы, глядя прямо в лицо своей дочери, вперяя в нее воспаленный взор, обжигая ее каким-то чужим взглядом, запричитал:

— Прости меня, доченька, прости, я ошибся, — обдавая теплым, проспиритованным дыханием, выпучив глаза, бормотал он, стараясь убедить, уверить, облапошить свою дочь.

Данька попался на крючок: а что, вдруг появление дочери сможет круто изменить жизнь его хозяина, вернуть в верную колею? Тень радости мелькнула в его сердце. Или это всего лишь взмах крыла кружащей цокотухи?

Девушка, услышав эти сотни раз слышанные пустые слова, лишь крепко сжала руки в кулачки и одним из них со стоном ударила в сиденье (оно лишь коротко проскулило), резко мотнула головой, рассекая этим жестом навешиваемую на глаза пелену, и со сверкающими ненавистью глазами не то процедила, не то прошипела:

— Замолчи. Замолчи!

Хозяин в нетерпении и отчаянии, внушенном неудавшейся попыткой краткосрочного примирения, сменил позу и сел по-турецки, локоть правой руки уперев в колено и опустив на раскрытую ладонь горячий лоб. Ему было плохо, он обратился в наэлектризованный клубок обнаженных нервов. Это был тот самый опасный момент, когда он мог на все махнуть рукой, сорваться с места и припасть к бутылке с утешительным зельем. Но — нет, так не случилось. Одно всхлипывание, другое: он снова рыдал. Она же терпела эти звуки из последних сил. Немного погодя, перемежая свои слова вздохами, паузами и полустонами, он приглушенным низким голосом пустился в обстоятельный рассказ, призванный раскрыть причины и стяжать у слушательницы оправдание того, что выпало ей нынче сносить. Сама не своя, не удерживаясь дол-

го на высоких гребнях своих чувств и эмоций, она, совсем притихнув, пришибленная, слушала. Судьба, оказавшаяся тут как тут — через дымоход влетела, что ли, — сидела за прялкой и тоже слушала. Занавес. Добро пожаловать в гримерку души!

* * *

Кто придумал миф, что детство — беззаботная пора, наполненная радостью и любовью, искрящаяся, как ручеек, мягкая, как перина, сладкая, как рахат-лукум? Интересно, посчастливилось ли кому-нибудь на самом деле познать все эти прелести? Надо признать, что наша героиня полагала, что знает детей, у которых детство если и нельзя назвать сказочным, по крайней мере, было нормальным, таким, каким ему полагается быть. «Нормальное» ей представлялось недостижимой планкой. Обыкновенное для нее было чудом. Ее угнетало чувство неполноценности и ущербности. Даниил знал это чувство не понаслышке.

Так уж повелось, но стыд за своего близкого человека, будь то мать, или отец, или так называемая вторая половинка, как-то нечаянно выказанный взглядом, мимикой, жестом, словом — чем угодно, — порицается и принимается за признак малодушия, незрелости личности. И должно быть, это не так уж далеко от правды, особенно если к стыду примешивается желание отстраниться, отступить от объекта стыда, а не накрыть его собой, уберечь от чужого взгляда. Боязнь быть задетым общественным презрением, обрызганным ядовитой слюной желчной толпы, разделить участь прокаженного и клейменного — она естественна, исходит она вовсе не от черствого сердца и худого нрава, но сама по себе она сигнал и приманка для падальщиков: стоит ей оказаться в спектре внимания той или иной социальной группы — начнут с шакальничьего обнюхивания, а кончат тем, что разорвут на части. А ведь стыд этот бывает таким, что от него невозможно спастись бегством — даже убежав, оставшись наедине с самим собой, не почувствовать облегчения и освобождения: тут же за дело возьмется воображение, которому легче вздуть и воспалить мозг, чем самой ужасающей реальности. Невнятно, туманно, абстрактно? А вот конкретно: ребенок лет пяти-семи (два года для рано повзрослевших детей — ничто, их внутренний мир и через десятки лет претерпевает немного изменений, он лишь расширяется и углубляется, но не деформируется), понуро вышагивающий рядом со своим принявшим за воротник шатающимся отцом, с животным страхом, с неповорачивающейся, заржавевшей, вжатой в плечи шеей, исподтишка обводящий взглядом окрестности, дабы при приближении кого-то смутно знакомого резко повернуть, сделать крюк к искомому месту, но ретироваться, сию же секунду покинуть полосу встречного движения, ибо сохранение самое себя на ней значило подвергнуться флеру чужого мира и получить вмятину в мир собственный, с заданными параметрами «х» и «у», никак не наоборот. «Х» — это невероятная привязанность ребенка к своему родителю, «у» — тяжелое бремя его вины, «его» можно присовокупить без разбора и к дитю, и к тому, кто его породил. В какой-то момент в сознании ребенка вызревает словом ли, мыслью ли, делом ли, стечением ли обстоятельств зароненное семя ответственности за вину своего родителя и вину за мысли, поступки и обороты судьбы своего родителя. Всему находится причина, всему находится объяснение — все это лежит в плоскости импульсов, испускаемых детской душой. Возможно, кинувшись от безысходности в религию, стоило бы сопоставить это чувство с первородным грехом, но последний — это нечто общечеловеческое, стадное, сплывающее; за то, что их кто-то изгнал, изгнанные не преследуют самих себя, подобных себе они готовы приять и сами они примыкают друг к другу. А здесь частность, непохожесть, инородность — то, что раздражает, ополча-

ет массы, то, что подвергает остракизму. Так бывает даже тогда, когда отличие — повод гордиться. Тут же гордиться было нечем. Этот страшный ярлык «ребенок алкаша» — позволит ли он ошестившемуся, забитому, самим собой в избытке самосознания забракованному существу подпустить к себе когда-нибудь постороннего человека, обнажить ему свой уродливый нарыв, позволить одарить теплом и расположением? Даже если это вдруг случится, даже если он рискнет и приоткроет дверцу в свой хрупкий, боящийся сквозняка мир, придушив мысль о том, что его не поймут, осмеют и осквернят, сделают достоянием людских пересудов сокровенную тайну, не пожалев ли он о своей слабости в тот же миг, как на пороге его мира начнут вытирать ботинки и разуваться? Не станет ли воротить нутро от самого себя, разоткровенничавшегося, размякшего, предавшего самого себя? Не станет ли это вытащенное наружу страдание мерзким и бессмысленным, не исказит ли, не исковеркает ли это неприкосновенное переживание, не сотрет ли с него, как легкую пыльцу с крыльев бабочки, искренности, значимости, таинственности, не опрокинется ли враз все то, что копилось годами на алтаре одиночества и затворничества во храме все еще детской, девственно чистой души? И наконец, не возненавидит ли он своего небрежного слушателя, наблюдателя испода своего нутра, не возжелает ли окропить его кровью чужака, дабы могильной плитой заслонить лаз, столь непредусмотрительно приоткрывшийся однажды?

Абсурд, но чем губительнее становилась страсть отца к выпивке, чем туже смыкались на его горле кольца холодного змия, тем сильнее и прочнее делалась привязанность девочки к отцу. Он все больше и больше смещался к центру ее мироздания (виниловая пластинка, которая без этого не могла звучать). Будучи совсем маленькой, она повсюду следовала за ним, когда он не был на работе. Она без устали и лени плелась за ним к родственникам, в магазин, к ларькам, в ЖЭК, к мусорным бакам, сопровождала его даже в его походах к собутыльникам, следила за тем, сколько он берет денег, боялась спросить зачем и уже омрачалась недобрым предчувствием, увязывалась на работу, когда он выходил в выходные и праздники, украдкой заглядывала в глаза, силясь по их выражению определить первые признаки беспокойства — она умела различить симптомы того, что затем переходило в невтерпеж. Она чувствовала себя крайне неуютно в роли надзирателя, конвоира, это было тягостно, но больше всего она боялась тех минут и часов томительного ожидания его возвращения неизвестно откуда, когда он упирался и не брал ее с собой, оставлял в кротком молчании и со сжавшимся сердцем. Конечно, даже преследуя его по пятам, она не всегда могла его оградить от его страсти, ей приходилось наблюдать метаморфозы, происходящие с ним от сладострастно вливаемой в горло прозрачной, пахнущей Кунсткамерой жидкости или дрожжевого, пенного коричневого напитка, запах которого казался смешанным с запахом мочи. Детское воображение не могло выдержать одну лишь прозу, оттого представлялось, что захмелевший серповидный месяц оказывался вдруг в деревянном уличном туалете и вытекал в отцовский стакан неприглядной жидкостью, которая никак не ассоциировалась с янтарем, ржаными полями и чем-нибудь еще, чего бы коснулось солнце. Тогда она еще не догадалась бы прекословить, была исполнена уважения, да и боялась строгости отца — его авторитет еще не пошатнулся, оставался нурушим и незыблем.

Когда же реальность вспарывалась очередным срывом, все расходилось по швам и несло кубарем — а случалось это очень часто, — девочка невольно обращалась к своей памяти и начинала выискивать не чьи-нибудь, а свои промахи, проступки, прегрешения и пропущенные ею предзнаменования. В своих поисках она доходила до суеверного, мистического самобичевания: «Ах, вот если бы я сказала то, а не это,

если бы я не просила вот эту мозаику, если бы я ее не собрала, вот если бы один кусочек не потерялся (или наоборот — потерялся), если бы я взяла это правой рукой, а не левой, вот если бы навстречу попался автомобиль белого цвета, а не серого...» О нет, она не мнила себя бабочкой, взмах крыла которой способен вызвать где-то землетрясение или цунами. Как бы ни вязались и ни плелись нити судьбы, в центре их сидел ряженный шестилапый паук, способный что угодно спутать. Она считала себя этим пауком. Иначе за что ее наказывает Бог? Конечно, за провинность; должно быть, она много чего натворила, не будет же Он просто так терзать невинного ребенка. Вот только она не могла разобрать, что же конкретно ею такого сотворено. Ей мерещились насмешки и перешептывания, все как будто осведомлены о том, чего она не знает. Что исправить, что починить, какое движение погасить, чему придать импульс, куда себя деть, как искупить свою вину? Какую вину, она не ведала. Когда отец был трезв (о счастливое время с легким сердцем, возносящимся до небес!), он не проявлял особой строгости, не ругал за мелкие шалости и оплошности (среди тех, что она помнила, крупных не допускалось), но держал с ней себя как-то отстраненно и холодно, не принимая совсем уж всерьез, словно относясь как к домашнему животному с неглубокими впечатлениями: достаточно накормить, напоить, выгулять, уложить спать; забота предоставлялась добросовестная, прилежная, но формальная, исполняемая по долгу, по велению обычая и закона, но не сердца. Неуверенность в чувствах родителя терновником обвивала душу и порождала сомнение в праве на занимаемое место: если для того, кто тебя породил, ты — нудная, отягощающая повинность, то что же ты за помеха для всех остальных? Поперек природы, но потихоньку забивалась она в углы, стеснялась себя, сознавала как-то со стороны, все время одергивала себя, всем вызывала собственное недовольство — повадкой, мыслью, отражением, у всех все выходило лучше, все пригляднее и милее — им многое прощалось, сходило с рук, но не ей: ей непозволительны расхлябанность и слабость, ей нельзя высовываться и допускать хоть малейший повод для укора. Одичалый, чурающийся людей, стесненный, стеганный формировался характер, а к нынешним годам и вовсе стал каленый — сам себя обжигает. В любой перемене обстоятельств, настроения своих родителей, благоволении и суровости судьбы усматривала она причину в себе. Наверное, слишком много взваливала на себя, слишком много мнила о себе, сводя все токи этого мира в одну ничтожную материальную точку, но не умела вылущить из себя разрастающееся, как на опаре, предчувствие или воспоминание — оно и свое вроде, из себя высеченная искра, и в то же время как будто врученное на хранение и передачу; страшно быть с ним, еще страшнее — избавиться от него.

Не забыть ей страха, который сжимал ее в свои объятия, когда она возвращалась домой из школы, издалека начиная смотреть на свои окна в панельной девятиэтажке, пытаясь подковырнуть взглядом домашнюю обстановку, мысленно подавить, предотвратить беду, так ярко и в неисчислимых вариациях вырисовывавшуюся в воображении. Накануне вечером он так и не вернулся с работы, дома он теперь или нет? Если дома, то не учинил ли с матерью скандал, не покалечил ли ее — когда стало совсем неважно, отец поднимал на мать руку, но могла и она — на него (однажды ранним утром, потеряв терпение и человеческий вид, она занесла бутылку над его головой, готовая одним махом покончить с этим беспросветным адом); целы ли они оба? А если так и не вернулся, то где он теперь, где его искать? И — пустяковый на фоне остальных, но марающий краской стыда вопрос: что скажут на его работе, что придумать в очередной раз в оправдание прогулов? Это второстепенно, лишь бы нашелся: можно взять больничный, можно упасть на колени перед начальством, а можно и уволиться.

Земля укрыта огромной снежной периной, чистой донельзя, отдающей голубоватой белизной, искрящейся, как наждачная бумага. Ноги быстро устают, наливаются тяжестью и распухают, распирая сапожки, утопают в глубоких сугробах. Дома, приставленные друг к другу бочком, как вагоны железнодорожного состава, лентой выются куда-то вдаль, к зарастающим летом мятликком оврагам, седой речке с сальными косами, к ныне пустынной, а в остальные времена года ржавой тундре. Сиреневые тени лежат на белоснежном снегу. А снег такой скрипучий-скрипучий, такой плотный, что цепляется за ногу, как репейник. Идти тяжело, приходится высоко поднимать голени и смотреть вниз, на эти кратеры с обломленными краями, остающиеся по твоей милости. Интересно, как далеко, глубоко земля, да и есть ли она здесь, в вечной мерзлоте? Может, это лишь отмерший участок на огромном теле планеты, ороговевшие клетки, зашпоренная пятка?.. И в каждой снежинке распускается радуга, переливается яхонт, бриллиант. Это все солнце. Оно здесь, конечно, как бы завернутое в плотный целлофановый пакет — такие теперь уж и не дают в магазинах, мутное, как будто затянутый в белок желток глазуньи. Небо плотное и глухое, почти асфальтовое; рыхлых облаков, хотя бы похожих на больничную вату, совсем не видно. А ведь чудеснее всего небо, когда оно просвечивает из-за ветвей деревьев. Здесь нет таких высоких деревьев, нужно склониться к самой земле, почти что приложить к ней щеку, чтобы посмотреть на небо сквозь карликовую иву. С крыш домов свисают длинные прозрачные сосульки, как сталактиты. Приятный холод окутывает кожу своим мягким дыханием, он не колет и не обжигает, а как будто гладит лицо тыльной стороной ладони. Так много деталей, которые можно выдумать, изъять из себя вовне, выскоблить до последних прозрачных мушек в глазах, которые можно разглядеть, лишь смотря куда-то в сторону, но правда в том, что даже этими деталями не заполнить пустоту. Ее в избытке, сколько бы ни выпало снега, им не залепить эту разъехавшуюся проклятую реальность в ослепительной белоснежности.

Сколь богато ни было воображение ребенка, и оно не могло исчерпать неисчислимые варианты того, что могло произойти в этой страшной сказке с тем, кого необходимо спасти: авария, драка, кража, обвинение, убийство, любой несчастный случай (он мог поскользнуться, упасть с лестницы, попасть под машину, провалиться под лед, замерзнуть в любой подворотне, оказаться в тюрьме, отравиться, не найти выпивку в критический момент и т. д.). Потерянная память, плевки, оскорбления, обрыв, веревка, пинки, кровь, рвота, снова кровь и рвота — это месиво крутилось в голове, с легкостью продиралось сквозь заученные стихи, исторические даты, теоремы и аксиомы, формулы химических элементов, цифры, логарифмы, названия морей, гор и океанов. Вероятность того, что с ним может случиться что-нибудь из упомянутого и недодуманного, была гораздо выше, чем вероятность того, что все обойдется. На уроках не учили, как измерить *эту* вероятность, пришлось выдумать свои инструменты вычислений: подходя к деревянной реечной двери своей квартиры, прежде чем сунуть ключ в замочную скважину, она выбирала какую-нибудь одну рейку и начинала от нее отсчет: если число четное — все обошлось, он дома, если нечетное — не вернулся. Ни разу она даже задним числом не отметила, сбылось предсказание или нет, ни разу памятью не попятилась, чтобы проверить свое изобретение на точность. Ей никогда не хватало смелости досчитать до конца. Да и к чему эта попытка довериться случайности, на чей знак она уповала, и чего от него ждала для себя: к чему заглядывать в будущее, от которого тебя отделяют материальная дверь и пара-тройка секунд? Бессмысленная, непременно обрывающаяся попытка обмануть сердце и уличить кого-то (кого?) во лжи.

Задерживаться надолго перед дверью нельзя: могут застать соседи, нужно отдать им должное: они ни разу не жаловались на шум и не вызывали участкового. Что же там, за дверью? Отопрется ли она? Бывало, что он возвращался домой, запирался изнутри и оставлял ключ в замочной скважине, — сколько раз приходилось взламывать замок. Иногда он оставлял дверь незапертой. Однажды, увидев в окно возвращающуюся дочь, он кинулся прочь из квартиры, но не успев выбежать из подъезда, спрятался, пригнувшись, под лестницей; его неподвижная спина в темно-синей спецовке навсегда проткнула память. Грязный, заплеванной подъезд со стенами, выкрашенными в зеленый с белым, облупившаяся краска, чьи-то номера телефонов, написанные черным маркером, мат, свастика, звезды в кругах, сигаретные окурки, почтовые ящики цвета хаки и... он, спрятавшийся от нее, от дочери семи-восьми лет. Потрясение ее было настолько велико, что в тот день она дала ему уйти: не вцепилась в руку, не зарыдала и не закричала, а просто стояла на лестнице и изумленно смотрела ему вслед. «А-а, вот оно что...» — подумалось ей, и ее посетило ощущение двойственности времени, как будто она оказалась в двух поездах, движущихся с разной скоростью на двух параллельных путях; в одном из них она явно была лишней. Это был первый и последний раз, когда она его не догоняла, а догонять приходилось. Приходилось связывать — запомнились закрученные простыни — наивное отчаяние, приходилось сторожить — и в результате отпускать, обманувшись в очередной раз словами, приходилось следить — желая по некрепости духа от страха упустить из виду.

За дверью переливалась ртутная тишина. Там уже все отравлено и медленно обугливается. За порогом ждала воспаленная, гноящаяся, покрытая миазмами спрессованная реальность. Реальность ли? Может, всего лишь кошмар, навеянный чьими-то злыми чарами? Тишина — она бывает страшная. Оставалось гадать, какого она свойства: та ли эта тишина, которая бывает перед началом бури, раскаленная, разрывающая барабанные перепонки, душная и тесная, и какая-то наполненная прозрачными амебами и инфузориями, или та широкая, переливчатая тишина, что, хоть еще и затаив дыхание, все же разносится без страха и утайки, звонко, лихо и расхлябисто, как разжавшаяся пружина, как будто ей нечего терять? Что ее встретит там? Ее «там» вот оно, слишком близко, это не «там» полноценных людей, это «там», которое ей придется принять в полном сознании, во всей остроте. Он, валяющийся в луже рвотных масс. Она, с синяками и ссадинами, в сиреновой кофте, со следами от шнура удлинителя на шее, обхватившая голову, прислонившаяся к стене, с растекшейся под столом черничного цвета раной от вмазанной с размаху вазочки со смородиновым вареньем. Горько от этой лобызавшей стену сладости... Эти рыдания, эти невыносимые рыдания, содрогания и причитания, которые вызывают жалость лишь поначалу. Он лежит выпуклой кляксой, плотным липким сургучом на сургучного же цвета полу — пластилин на глянцевиной дощечке памяти. Она сидит, вытянув ноги. Может быть, утратив всякое терпение, в приступе ярости, она разможила ему голову очередной бутылкой? В воображении уже есть осколки коричневого стекла, кровь, — но их нет в реальности, а могли быть, а может, и были. Он — это отец, она — это мать.

А дальше — дальше безумная, безумная, адовая карусель, в которой не семь кругов, нет, карусели мало семи кругов, она будет кружиться и кружить, кружить, кружиться и давить: через час-полтора он поднимается, его кормят, поят, еще часа два он проспиг, уже на кровати, уже более здоровым сном; затем сон истончится, начнет прорываться фантазмагория и психоделика, наметанные широкими стежками на истерзанную марлю жизни; его поднимет, нет, не желание, не страсть, а одержимость, наваждение, сверхъестественное; в нетерпении начнет он искать поводы вырваться на-

ружу или же на худой конец, подняв скандал, корча изуверские рожи, стеная, рыдая, мечась, заламывая руки, разбивая голову о стены, занося над супругой руки, отпра-
вит он ее за склянкой с зельем, бесовским зельем.

* * *

Все свое детство она провела в душевном затворничестве, столько лет оберегая с переменным успехом от посторонних глаз и ушей самую неприглядную часть своей жизни. Но однажды, когда она уже окончила школу и уехала на учебу в другой город, дала себе слабину и допустила непростительную оплошность: поверила свою тайну постороннему. Они учились вместе на одном факультете и на первом-втором курсах довольно часто пересекались на парах. Она сразу обратила на него внимание: он слишком старался скрыть ото всех самого себя; он же ее не смог для себя выделить из толпы и приметить. Она, найдя его забавным и занятым, стала издалека за ним наблюдать. Тем бы дело и кончилось, если бы однажды они не встретились вне учебных стен: оба оказались на одном концерте в филармонии. Совпадение не самое тривиальное, но не из ряда вон: в большом городе бывает пересечься легче, чем в селении о двух улицах.

Октябрь. Пасмурный дождливый день, который, как губку, уже полагалось бы хо-рошенько отжать. Но днище некоего небесного сосуда прохудилось и, покуда не было залатано, давало знатную течь, не без некоего, впрочем, разнообразия: то отвес-но лило, то стегало, как кнутом, то вдруг переходило на мелкие водяные накрапыва-ния, что-то пунктиром намечающие на капризном полотне города. Ноздри не радовал насыщенный озоном воздух, все пресытилось влагой, стало неспособным ее впиты-вать, пахло сыростью, землей, кругом мелькали зонтики и слышались гул, шипение и шуршание шин, расплющивающих и расплескивающих лужи; иные из них перелива-лись радугой бензиновых пятен: наложение двух лучей, один из которых немного от-стал от другого — вот тебе и чудесное явление интерференции, радующее глаз и чуть-чуть приподымающее дух. Отовсюду капало, все шелестело, дул холодный щетини-стый ветер, и даже нагие деревья, чем-то напоминающие раскачивающихся пациентов в смиренных рубашках, поскрипывали, попадая в общую заунывную тональность. Зато с каким удовольствием (хоть и немного омрачаемым заботами о внешнем виде: брюки забрызганы чуть ли не до колена, обувь вся перепачкана и даже не изящно — грязь, да и только) ныряешь в теплое помещение, скидываешь промокшую верхнюю одежду, укутываешься в плед (пусть хотя бы согревавший не так давно чужие плечи). Несколько минут, и вот все вычищено, подправлена прическа, восстановлено дыхание и вместе с ним внутреннее равновесие; можно двигаться в зал и занимать свое место. По пути стоило обратить внимание на развешанные по стенам весьма занятные кар-тины — может быть, и не шедевры, достойные Эрмитажа (в Эрмитаже души каждой из них находилось место), но уж точно доставляющие эстетическое наслаждение. От-дав дань восхищения попавшей в поле зрения части полотен, наша героиня, просколь-знула под высокими потолками с тяжелыми хрустальными люстрами в исполненный атмосферой торжественности, величия, великолепия зал в стиле сдержанного нео-классицизма. Едва ли помещение можно было определить словом «роскошное»: стены и потолки, некогда бывшие белыми, обрели кремовый оттенок, некоторыми местами выпячивались, словно набитыми шишками, паркет с вкраплениями черных волокон давно не обновлялся и поскрипывал, деревянные сиденья, обитые красной матери-ей, были узки и угловаты, с низкими прямыми спинками, в них нелегко было найти комфорт; и даже живые цветы, которыми была уставлена вся кромка сцены, каза-

лись искусственными, не говоря уже о том, что они на три четверти заслоняли происходящее на сцене зрителям первых рядов. Пышность создавалась и поддерживалась в основном лепными колоннами, далеким расписным потолком и упомянутыми огромными блестящими люстрами, неизменно останавливающими на себе обращенный на них взгляд. Резкий желтый свет, встречающий при попадании в зал, заставляющий звенеть тишину, электризирующий ее и несколько раздражающий нервы, за несколько секунд до выхода музыкантов на сцену сменялся мягкими, туманом стелющимися, обволакивающими переливами всех возможных цветов, среди которых доминировали голубой, сиреневый, розовый и белый. Наконец все разместились, все смолкло, послышались первые, накрапывающие звуки, сдерживаемые, словно водные потоки, до поры до времени kloчочущие где-то в вышине, словно на невидимой террасе, мощью и энергией, вот-вот должны обрушиться на барабанные перепонки. Фортепьяно, скрипка и флейта тремя шелковистыми прядями вплетались в единую косу и, достигнув вершины, распускались и распадалась, низвергались в расщелину вызревшей канонадой, чтобы вновь начать свой путь.

Наша героиня не была особым знатоком классической музыки, плохо разбиралась в нотной грамоте и не стремилась запомнить названия композиций, чтобы перед кем-то блеснуть эрудицией. Само собой, у нее нашлось бы с десятков любимых произведений, но она была готова слушать любой концерт, любой опус, любую сюиту — что бы то ни было, все годилось для достижения ее цели: физического очищения под воздействием живой музыки. Требовалось лишь закрыть глаза, и постепенно тело расслаблялось, все зажимы размыкались, исчезали пресловутые триггерные точки, кипящий поток мыслей отмывался от шлаков и замещался новыми спокойными незамутненными ручейками ни во что еще не оформившихся простейших неделимых частичек. Эффекта хватало ненадолго — день-два, иногда чуть дольше, но слишком часто прибегать к такой «чистке» не полагалось — чревато привыканием, пресыщением и сведением результата на нет, так что она посещала храм музыки раз в две-три недели, а иногда и раз в месяц.

Он же с музыкой был гораздо больше на «ты», чем она, поскольку в свое время учился в музыкальной школе игре на баяне и знал, что такое «сольфеджио» и «композиция» не понаслышке, правда, он бросил учебу между третьим и четвертым классами, и нельзя сказать, чтобы об этом жалел: он бросил вовремя — как раз до того, как схватилась его ненависть к музыке. Спустя годы он вернулся к музыке, но уже как слушатель и знаток, большой ценитель, не претендующий на роль ее творца, но с отзывчивой душой, вибрирующей и резонирующей, как хорошо настроенный инструмент, от виртуозного воспроизведения мелодий. Ему выпало счастье уметь наслаждаться.

Вновь она первой заметила и узнала его. Увидела его в антракте стоящим в холле и, не зная куда себя деть, разглядывающим какую-то картину. Пару раз мелькнуло его лицо, но даже со спины она могла определить, что ему неловко, этот перерыв для него излишен и тягостен. В молодом человеке не было ничего особенного (если только в ком-то что-то вообще бывает особенным): неплохо сложенный для своего среднего роста, подтянутый, не жилистый, плотно сбитый, с довольно широкими плечами и прямой спиной, чувствующий твердую опору под своими крепкими ногами, внешностью он скорее располагал к себе, нежели отталкивал. Но нельзя сказать наверняка: то была субъективная оценка — таким его хотела видеть наша героиня, которая даже к небольшой лопухости этого парня отнеслась снисходительно, найдя в ней некое очарование. Безо всякой определенной причины ей было приятно смотреть на своего одноклассника, ей виделось в нем что-то близкое по духу, знакомое; подспудное

сомнение говорило, что это лишь игра воображения, внушение, заблуждение, но и расставаться с ними не хотелось. Вообще-то, она вышла из того возраста, когда для шалостей и забав требуется компания, поддержка друга и приятеля, но к этому человеку она испытывала симпатию, ее влекло к нему и больше, чем перспективы быть отвергнутой или разочарования от знакомства, она боялась остаться с сожалением о том, что так и не заговорила с ним, не предприняла ни единого шага, чтобы удовлетворить или погасить свое желание. Скрутив таким образом из сиюминутных ощущений и чаяний свою решимость, она двинулась было в сторону молодого человека, намереваясь с ним хотя бы поздороваться, но не успела и шагу ступить, как он повернулся и встретился с ней взглядом. Нет, она не смутилась и не отвела глаз: отчего-то совсем не стыдно было ей своего любопытства. Казалось, и он ее признал: глядел внимательно, но робко, как будто чего-то ожидая и не веря в возможность дожидаться. Она, ничего не обдумывая, искренне улыбнулась, про себя отмечая, что отрезает пути к отступлению и внутри ее что-то противится, но подошла к нему и поздоровалась, представилась. Девушка привела его в некоторое замешательство, но не вызвала заметной неприязни. Он ответил на ее приветствие, они обменялись парой-тройкой ничего не значащих слов — наспех заклеили тишину, забросали лакуны молчания ворохом сухих фраз, дабы не сразу отлепиться, не отпрянуть друг от друга.

Кончился антракт. Каждый, чувствуя незавершенность взаимодействия, прерванной химической реакции друг в друге, как будто вот-вот две среды должны были проникнуть одна в другую, но разъединились неким вмешательством, вернулись на свои места в зале. Кто его знает, что чувствовал он, но она попала в полынью очарования: мир вдруг брызнул сочными красками, все обрело четкие, резкие контуры, как будто восстановилась утраченная в детстве острота зрения, кровь увеличила скорость своего движения до такой степени, что все внутренности запульсировали, забились из-под кожи с той силой жизни, которая долгие годы не давала о себе знать. Оркестр продолжал играть концерт, исполняли какую-то сонату Скарлатти, но для нее это уже не имело должного значения — чувствительность обострилась, а вот восприимчивость как будто наоборот — все органы чувств вдруг стали непроницаемыми для всего, что не связано с навязчивым всеобъемлющим образом, мелодия путалась в клубке мыслей героини, ничего к ним не добавляя. Ее охватили нетерпение и страх упустить какую-то важную возможность, хотя внутренний голос подсказывал, что этого не случится, что при всем своем желании ей не увернуться от фатальности последующих событий. И ведь знает она, что то, что с ней вскоре случится, ничто перед ее ожиданием и предвкушением, знает наперед о поджидающем разочаровании и опустошении, но это будет потом, сейчас же ей необходимо выжать нектар умопомрачения, дурмана, сладкого самообмана. Он сидел в нескольких метрах позади ее, а она рисовала его недоверенный портрет в своем воображении. Господи, что за бред: совершенно чужой человек, ничем не принявший участия в ее жизни, не разделивший с ней ни одной тревоги, не выразивший симпатию, ни разу даже не оказавший услугу, ни с того ни с сего в ее глазах превратился в удобного, чуть ли не родного, необходимого! Они не проговорили и пяти минут, а ей уже грезится безраздельная власть над его помыслами, обладание всеми тайниками, всеми кратерами его души. Эгоистично? Безусловно, но не это главное: что за игры затеял тот, кто внушил ей эти ничтожные желания, кто посмел глумиться над ее волей? С чего еще пришла бы ей блажь куражиться над самой собой, поставив себя в зависимое положение от другого человека? Если бы только ей удалось вернуть самообладание, задавшись этими вопросами. Но физическая модель выглядела практически идеальной: характеристики ничтож-

ности удостаивалась лишь сила трения, которая не могла остановить начатого движения и одолеть инерцию.

Концерт кончился очень быстро, как будто его кто-то подгонял к завершению или скомкал отведенное ему время, как использованную салфетку. Как всегда заполненный зал, вмещающий до шестисот зрителей, отмер и зашевелился: все поднялись со своих мест, словно отжалась кем-то давеча придавленные клавиши. Толпа водным потоком хлынула из всех отверстий-дверей и, сбегая по лестницам, устремилась к гардеробу. Озираясь по сторонам, ища глазами и не находя пока предмет своего интереса, наша героиня тоже очутилась в одной из очередей возле гардероба и тут же выхватила взглядом свою цель в соседней очереди метрах в трех от себя. Ничто в облике юноши не выдавало того же волнения, в котором пребывала героиня, и все же она знала: если он и не обуреваем той же страстью, что и она, он, по крайней мере, готов ей поддаваться. Вот их взгляды встретились, она одарила его глупой улыбкой, словно бы светящейся внутрь себя, дабы не обнаружить безмерности вызвавшего ее довольства. Дальше все развивалось по уготованному, предчувствованному сценарию, в котором описанию каждого чувства и мысли суждено быть либо до крайности банальным и напыщенным, либо наивным и смешным. Пойдем на эксперимент — утопим их в пучине безмолвия и будем наблюдать за бессмертными пугающими призраками.

С какой отчетливостью вспомнилось ей ее чувство, испытанное наутро после того, как накануне ею была обнажена душа перед чужим человеком. И ведь она это сделала добровольно, точно беря саму себя на слабо; ее никто не вынуждал, ее слушатель был симпатичен, приятен, она ему безосновательно доверяла и желала выдать свою тайну. Он внимательно слушал, не перебивал и не рассуждал о том, чего не понимает, не давал советов и не пытался сравнивать со своим жизненным опытом, свое сочувствие и сопереживание выражал весьма деликатно, если не сказать боязливо.

Чем сильнее она раскрывалась — а она не могла остановиться, словно катилась по наклонной и не за что было зацепиться, — перед этим случайным встречным, так называемым «другом», тем больше проникалась ощущением омерзения — к себе. Все было не то, все было не о том. Зачерпывала, зачерпывала, взбаламучивала водоем своей души, а ничего не доставала — только тина, водоросли, мусор. Неужели это все, что она собой представляет? Слова, эти предательские, ни на что не годные слова! О нет, они не были сухи и пространны, не были однобоки и плоски, они были как плоть, как самая настоящая плоть, они вылезали из ее сердца, души, разума, рта, обвивали шею, руки, грудь, живот, заслоняли глаза, заползали в нос, но не давали прекратить себя порождать. <...> И вот ты сидишь перед своим слушателем, продолжающим с непроницаемым лицом поглощать с аппетитом свою пасту, и извергаешь из себя блевотину чувств, воспоминаний, переживаний, упуская, между прочим, наиболее постыдные моменты, предлагая вниманию лишь самые изысканные узоры, и не можешь остановиться, не можешь остановиться, не можешь... Ты продолжаешь говорить, говорить, а в это время вспоминаешь себя пяти-шестилетним ребенком, в деревне, ясными солнечными днями предающимся странной одиночной забаве. У самого крыльца дома лежали два больших серых плоских камня, вдавленных в землю и сохраняющих ее сырой в любую погоду. Было что-то привлекательное, вызывающее любопытство в этих камнях, чем-то они манили. Она, в общем-то не озорной и не шаловливый ребенок, с необъяснимым предвкушением и необычайным желанием внимала безмолвному приглашению неодушевленных предметов, приближалась, садилась на корточки и маленькими чистыми пальчиками выковыривала эти серые тяжелые плиты, не боясь запачкаться и оцарапаться, несмотря на смутное осознание преступности своего деяния, схожего чем-то с раскопкой захоронений и отдающего мародерством,

непременно их переворачивала и, будто пронзенная электрической иглой, была вынуждена отпрянуть в приступе брезгливости. Почти всегда она натыкалась на кольчатых грязно-розовых червей, небольшая часть которых облепляла испод камней, другая же, превалирующая часть, извивалась в черной сырой земле; и те, и другие приходили в активное движение от неожиданного вторжения. Они бесстыдно вытягивали и сжимали свое мясистое скользкое и склизкое тело, утверждая неоспоримое право на существование. Ребенок сосредоточенно и напряженно, боясь моргнуть и спровоцировать что-то ужасное дыханием, неотрывно следил за обнаруженным откровением, с чувством гадливости, но с толикой удовлетворения — казалось, что природа открыла ей свою тайну, поделилась нелицеприятной стороной, как будто говорила, что и ей есть что скрывать: лучшее утешение, которое она могла предложить.

В наивных глазах на детском личике, сморщившемся от отвращения, вспыхивали гнев и решимость, доброе сердечко скрывалось в кокон жестокости, крохотные ручки, сжимающие каменную плиту, ободранные об ее острые края, возносились вверх, куда-то к небу, застывали на мгновение, как будто пытались обхватить облако или произнести молитву, и обрушивались с орудием на врага — слизняка. Не проходило и пары мгновений после того, как она узревала плоды своей решимости и отваги, а их уже сменяли изумление и обескураженность: противник был рассечен надвое, но продолжал шевелиться, из него не сочилась кровь и не вываливались внутренности, в издевку теперь уже два телесных рубка подавали признаки жизни. Столкнувшись с загадкой и не сумев ее разгадать, она не бросала попыток прийти к ожидаемому исходу и, словно безжалостный палач над своей жертвой, вновь и вновь заносила оружие над множющимися головами и хвостами. С каждым мнимым соприкосновением камня с небом тщетность ее усилий становилась все очевидней, и наконец девочка, смилив упрямство и подавив любопытство, бросала попытки разموжить и растолочь противника. Оказывается, бывает и так, что уничтожение умножает, а умножение — унижает. Стремясь избавиться от созерцания своего поражения, но не от факта поражения, ребенок воздвигал камень на место, испачкав его своей кровью и наделив своим теплом. Как давно это было — как будто это было вчера.

И вот ее снова одолели те же черви. И одолели перед лицом какого-то незнакомца, которого она выбрала, чтобы излить душу. Наконец слова кончились. Собеседник (хотя в этот вечер его вернее было бы окрестить слушателем — роль скромнее, но, сдается нам, и сложнее) уплеl весь свой заказ и распростился, не задавая лишних вопросов, не обещая сохранить все рассказанное, не благодаря за откровенность, но и не испытывая никаких неприятных ощущений в области живота или горла — он провел замечательно и занимательно время, воодушевился и насытился. Пожалуй, ему было интересно, пожалуй, он никому ничего не расскажет, пожалуй, ему приятно оказанное замкнутым человеком доверие. Да, его вечер удался.

Ах, как все начиналось... Деликатное, боязливое, с затаенным дыханием, с ощущением радости открытия, рука, вложенная в другую руку, ощущение человеческого тепла, совпадение температур — казалось: то не пальцы, а души на мгновение укрылись в объятиях друг друга. Не было стыдливости — для нее не нашлось причин. Не было слов — все было сказано без них. Не было чувств, не было надежды, не было трепета и ожиданий. Прекрасный, заверченный, потусторонний акт. Так должно было быть. Но какой-то нечаянный, непредвиденный завиток, сердечный зуд, душевная заусеница — пустяковые, в сущности, вещи, если их вовремя устранить и не расчесывать воображение, стали точкой приложения воли и желаний. Какая слабость, какая низость, какой стыд. Так было много лет назад, так было и сейчас.

* * *

Иначе, иначе все обстояло с нашим оставленным ненадолго героем. Заключение МРТ гласило о выявленной церебральной атрофии головного мозга. Изогранный приговор отнюдь не немедленного исполнения. И вовсе не приговор, так, констатация факта.

Как ни крути, в распоряжении Даниила оставались реальные или кажущиеся тело, жилье, работа, социальные обязательства и физиологические потребности, начальники и соседи, родственники и просто случайные люди, ветер, снег, солнце, законы физики. Ничто из этого не отпало, мир не изменился, сказать по правде, и он сам не очень изменился. Нет, ты не меняешься, не так-то просто переключить себя за один вечер, придушить привычку рутины, оборвать все связи. Не говоря уже о том, что денег в твоём распоряжении не стало больше, работодатель не расщедрился на оплачиваемые дни, организм не перестал требовать еды, питья и крова, даже коммунальные платежи не самоуничтожились. Герою оставался все тот же серый жесткий ломоть дня из пресного, иногда не пропекшегося теста, жевать его было неприятно, не жевать — невозможно, так или иначе, его приходилось заглатывать. Караваев со взбитым кремом у судьбы для Даниила, похоже, заготовлено не было. Революции не случилось, ни внутри, ни снаружи. И все же что-то готовилось, что-то проклевывалось в сфере Данькиных влечений и вскоре поспело.

Ему захотелось сделать что-то такое, чего он раньше не делал, но что это такое, он себе не представлял. Сколько он ни примерялся, ни ощупывал свои желания, как некие болячки, все они рассасывались, стоило до них дотронуться. В такие моменты жизнь становится более благосклонной в некоторых отношениях и норовит дать, как отрезвляющие оплеухи, небольшие подсказки, употребляя к тому подручный материал.

Проклятая старушка, арендодатель его жилья, а по совместительству и ближайший сосед, отказывалась оставить Даниила в покое, она буквально вцепилась в его жизнь. Чудилось, что запахом этой не в меру деятельной дамы пропитана не только комната Даниила, но и его вещи — до книг (хозяйкино обозначение — «макулатура»), да и он сам, вплоть до мыслей. Да, раз уж мы упомянули книги, отметим мимоходом, что и старуха сумела-таки постичь их пользу: пока Даниил был на работе, захватила, что лежало на столе, да сунула в банную печь, не опровергнув, что «рукописи не горят», ибо текст был печатный, а не от руки, но весьма успешно обуглив одни и обратив в прах иные обложки и листы, которые Даниил некогда так бережно переворачивал. Книги погибли, слова и буквы слизнулись языками пламени, им нипочем были логарифмы, пределы, транспортные задачи, инвестиции, статистика и все прочее. После этого случая бабка вконец опостылела: она виделась бесхребетным ползающим по дому спрутом, запускающим сальные щупальца под диван, в стол, под стол, в шкаф, оставляющим везде после себя невидимую слизь; уж насколько она была противна Даньке и до этого, теперь в его глазах обратилась в мегеру, в мифическое порождение, которое более нельзя терпеть, которое нужно уничтожить.

Хозяйки было слишком много, хотя Даниил проводил дома лишь поздний вечер и ночь. «Опять гулял, неуч», «Не лей воду, мой быстрее руки!», «Ты что по ночам сидишь, свет зря жжешь!», «Вон соседка рассказывает, какой у них студент: учится, работает, с ремонтом помогает, надо — картошку сажает, надо — дрова колет, да все со смехом, с шуткой! А девушка у него какая! Не то что некоторые — сидит, как таракан в углу, двух слов не свяжет, что-то мямлит, кто ж на такого позарится!» И смо-

трит, смотрит искоса прищуренным взглядом, с презрением смотрит, одно что не содрогаются. А Даниил молчит, зубы стискивает да молчит. Чего молчит-то, чего терпит, того и сам не объяснит — за комнату свою деньги вовремя отдает, не задерживал ни разу, за завтрак с ужином доплачивает, три четверти коммунальных платежей тоже за его счет, — так чего не предъявит домовладелице своих прав или и вовсе не съедет со своим нехитрым скарбом? Нехорошо ему было, неудобно, тревожно и гадко, но с этими проявлениями нехорошего он успел свыкнуться, от них не приходилось ожидать подвоха и изощренности, лупили они больно, но метили грубо, все в одно и то же место, с одним и тем же размахом. А знаете, это все же становится невыносимо, когда каждый день совершенно посторонний тебе человек, как розгами, сечет тебя словами, шпыняет безответного, глумится и помыкает тобой, презренным. Для психики это что-то сродни пытке каплей воды, стекающей на голову человека; тихая, мягкая, незаметная, раздражающая, она превращается в свинцовую пулю для черепной коробки. Раздражение имеет свойство накапливаться, а терпение, как и все прочее в жизни, лишено свойства бесконечности. Слов, достаточно было слов, чтобы забитость, страх и чувство неполноценности выкипели в гнев и ненависть. Старая неумная желчная бабка с противным скрипучим голосом, возомнившая себя хозяйкой, нет, не комнаты ее дома, а всей его жизни вместе с задворками. Внешне опрятная, она обычно ходила в брюках и кофтах с закатанными по локоть рукавами, обнажая темные грубые руки; стриженные седые волосы торчали жесткими кудрями; лицо всегда хранило на себе налет какой-то тупой бесчувственности. Несмотря на тщедушность фигуры, она не внушала Даниила жалости. Всякий намек на жалость, сочувствие, участие убивала упертая, тупая, непобедимая самоуверенность этой женщины и плоды виртуозного, искусного владения ремеслом выворачивать любые слова, эмоции и ситуации в свою пользу. Одна фраза, брошенная на предложение ее сына позвать Даниила к столу по случаю какого-то праздника: «Да ты что! Он же пить не умеет, у него наследственность плохая», стала роковой для ее дальнейшего существования. Старушка перестала раздражать Даниила, его сознание обратилось на нее, сфокусировалось, выбрало ее своим объектом, поместило под микроскоп, как букашку, как микроб, как тлю, которую предстояло изучить и раздавить. Нет, Даниил не задавался вопросом, тварь ли он дрожащая, — знал, что тварь, но что с того? Вовсе не обязательно быть Богом, чтобы истреблять. Созидание — вот забота, дело Бога, с которым и Он справляется из рук вон плохо. Данька не намерен стяжать себе такую славу, ему всего-то и надо было, что найти цель, к которой готова приложиться воля, достичь ее да расквитаться поскорее с жизнью.

* * *

Итак, он решил.

Первым делом Даниил собрал всю нужную информацию о своей хозяйке и ее сыне, смысла искать данные о ее супруге и других детях особо не было: муж, если он был жив, не показывался, а что насчет взрослых уже детей, так одного было более чем достаточно для свершения задуманного. Благодаря работе в распоряжении Даниила оказались сведения о девицкой фамилии его арендодательницы (выходило, что госпожа Татьяна Владимировна урожденная Вострикова), ее дате рождения, паспортные данные вплоть до места рождения (небольшой поселок в Удмуртской Республике), служебный список (кстати сказать, подтвердилось, что большую часть жизни она трудилась на железной дороге, в вагоноремонтной мастерской, и теперь ее образ был неразрывно связан с оранжевой безрукавкой), реестр недвижимого имущества (возможно, не-

которая информация утратила актуальность, но источники гласили, что за Татьяной Владимировной числятся, помимо дома, в котором она проживает, еще две квартиры в городе), перечень всех прописанных в нем, номера домашнего и мобильного телефонов, данные о кредитах, задолженностях, исполнительных производствах, счетах и остатках по ним, штрафах и проч. и проч. Аналогичные справки Даниил навел и о сыне Татьяны Владимировны. Все это заняло у Даньки каких-то сорок-сорок пять минут — как раз обеденный перерыв, который он использовал не по назначению.

Да, легко проходят подготовительные мероприятия, быстро, играючи подвигаясь от зачина к кульминации, словно сел в санки, а там уже оно все само катится, само собою устраивается. Тут нет ни заклада, ни вшитой петли, ни топора. А ведь, вообще-то, вот эти самые приготовления, наведение справок, консолидация данных без письменного согласия на то самих лиц уже самое что ни на есть преступление, нарушение прав, злоупотребление служебным положением. Но надо сказать, на данном этапе наш герой вовсе не мучился угрызениями совести, не ощущал груз преступления на своей груди, не терзался сомнениями и не испытывал потребности в оправдательной теории. Да и в целом то, что он замышлял, представлялось ему лишь большой пакостью, шkodничеством без особо тяжких последствий (в системе координат его моральных ценностей, конечно: о том, что на этот счет есть у закона, он был прекрасно осведомлен).

Все же нашлась парочка нюансов, над которыми Даниилу пришлось призадуматься. Весь его план мести сводился к тому, чтобы оформить несколько займов на имя своей хозяйки и ее сына, — вот для чего ему понадобились их паспортные данные.

Даниил уделил немного времени обзору рынка микрофинансовых организаций, ибо в них рассчитывал обойтись без оригиналов паспортов. Сначала он подумывал о том, чтобы попробовать оформить займы онлайн, но в таком случае ему пришлось бы указать данные своих счетов или, по крайней мере, электронного кошелька (да и остались бы следы в виде IP-адреса, только если не проделать операцию через интернет-кафе), что означало скорое разоблачение, либо завести реальные счета подставных заемщиков — это уже лишало возможности распорядиться деньгами, а они были бы совсем нелишними. Поэтому более разумным представлялось получить займы наличными, обратившись непосредственно в офисы кредиторов, при этом из предосторожности (видеонаблюдение никто не отменял) он решил предварительно изменить свою внешность какими-нибудь усами, затемненными очками, а по возможности — гримом, потому стал посещать соответствующие магазины, а еще небольшой камерный театр, не вполне, правда, отдавая себе отчет, что он из него может вынести. Кончилось тем, что походы в театр ему принесли мало практической пользы для задуманного дела, но зато спектакли, ставившиеся в нем, и некоторые актеры весьма впечатлили Даньку, так что он, насколько была к тому способна и расположена его натура, пристрастился к драматическому искусству, не ко всему, а именно к такому, какое демонстрировалось здесь, в маленькой комнатухе, стены которой были оклеены черными обоями, потолок и подпиравшие его две колонны, разместившиеся прямо на сцене, как вечно немые второстепенные персонажи, обиты черной материей, а пол... непонятно чем устланный пол просто был темен, как разверзшаяся под ногами бездна.

Дело, задуманное дело, не требуя больших моральных усилий, исполнялось, устраивалось потихоньку, как бы само собою. Никакой маскарад не пригодился, разве что пара театральных приемов позаимствовалась произвольно, от пристального внимания и изучения повадок полюбившихся актеров: Даниил обошелся медицинской маской да темными очками, не слишком привлекающими внимание своим размером, темно-серая шапка и бесформенная куртка, непримечательные джинсы и ботинки за-

вершили образ. Было решено предпринять две-три вылазки в кредитные учреждения, расположенные в разных районах. Первая организация, на которую пал выбор Даниила, находилась рядом с большим городским рынком. Тесный, задрипанный райончик, хотя и всего в двадцати минутах от центра города, изобиловал микрофинансовыми организациями (раньше Данька сторонился их, испытывая какой-то суеверный страх вперемешку с брезгливостью), был утыкан небольшими киосками, пестревшими вывесками: «Быстрые деньги!», «Деньги мигом», «Займ до зарплаты» и т. п. Никаких залогов и поручителей, никаких справок о доходах и звонков на работу — все легко и просто, так, чтобы мышеловка могла быстро захлопнуться. В первый раз все проходит максимально гладко, без единого сучка, чтобы у клиента не возникло сомнений насчет того, чтобы вернуться в это место, не исключено, что и присоветовать его кому из знакомых. На то Даниил и держал расчет, предусматривая целых три точки для своих набегов. Вторая и третья размещались в еще более злочных районах: одна за железнодорожным вокзалом (надо заметить, что, отправляясь туда, Даниил рисковал вернуться ни с чем даже в случае успеха своего предприятия — проще простого его могли обворовать прежде, чем он успеет покинуть задворки вокзала, но это не заставило отказаться от затеи — напротив, такая возможность пощекотать себе нервы представляется нечасто), другая — в противоположной стороне города, вокруг автовокзала (этот район считался вполне respectableм, активно застраиваемым, развитым и обжитым, кишущим дорогами магазинами, ресторанами, клиниками, наполненными благополучными горожанами; тем контрастнее здесь выделялись приезжие из ближайшего зарубежья, то и дело прибывающие, снующие в поисках работы или легкого заработка; конечно, среди них были самые разные люди, были просто несчастные, добродушные и мирные, но терлись меж ними и опасные субъекты, по меньшей мере помышлявшие о воровстве ради пропитания; и все же в светлое время суток здесь мелькала лишь тень опасности). Провидение, рок или еще какая сила сберегли Даниила от долгих размышлений и кропотливых приготовлений к нетривиальному делу, обошелся он без теорий и догм. Вообще, он чувствовал прилив сил и бодрости; жатость, комки в теле как-то размялись и разошлись, и ум, вечно спутанный, узловатый, как старые снасти, из которых невозможно достать улов, даже если он случится, вдруг расправился и заозирался по сторонам. Ни стуканья сердца, ни головокружения, ни спертого дыхания, ни дрожи, ни даже вспотевших ладоней или затуманенной действительности. В общем, все прошло как по маслу, как в крутом фильме. И действительно, Даниилу казалось, что он всего лишь зритель в кинозале, настолько легко все воплотилось: он ничего не почувствовал, не испугался, не ощутил и дыхания угрозы. Данька обзавелся деньгами, небольшой суммой, чуть больше двух сотен тысяч рублей, но — что немаловажно — под высокий процент, который, по его задумке, не с него должны взыскивать.

Болезнь заочно амнистировала его совесть. Вот что, должно быть, чувствуют распорядители чужих судеб, — думалось Даниилу. Он, как паук, как неумолимый рок, сплел вокруг своей жертвы невидимую сеть, и ему нет нужды созерцать истязания жертвы или самому принимать в них участие, нет, ему достаточно того, что нарисует его воображение, когда он скроется с глаз долой от своей — нет, уже чужой — жертвы. Да, это низко, подло, мелочно, если хотите — по-канцелярски. Но вот в этой низменности и мелочности и было самое удовольствие, доза была как раз та самая, чтобы пропитаться ею целиком, но при этом не пресытиться, не подавиться, не отравиться и не измучиться тошнотой. Ты вроде и посягнул на человеческую жизнь, да не на всю же, а все же на распустье ее вывел, как будто в зачаток, эмбрион вторгся да одним выдохом изменил его структуру. Нет, не рубанул топором, не ударил обухом, а впил-

ся иголкой, комариным хоботком вонзился, в самый нерв неприметного доселе зуба угодил. Теперь-де поизвиваются, теперь помечутся, до чужих жизней дела меньше будет. Ну, примерно с месяц, а всего вернее, еще с три пройдет, конечно, а за это время Даньки и след простынет. А дальше судебные приставы, хотя... какие еще судебные приставы! — у этих микрофинансовых организаций есть вышибалы, зачем им обращаться к закону: дорого и волокита одна.

Лишь теперь на ум пришла странная мысль: а может, искупление следует прежде вины? Время действительно не линейно. Немудрено, если то, что принимаешь за время, есть лишь его проекция, отражение. Жизни нет дела до того, где мы себя ощущаем — в ее загривке или в хвосте, в одном с ней смотрим направлении или наперекор движению смотрим уходящему вослед, горько сожалея о неиспробованном и непрочувствованном. Для любого из нас когда-то наступает спячивающаяся, сжимающаяся, узловая жизнь, тычущая нас в испод нашей души и тем же нас отрезвляющая и умиротворяющая.

* * *

Все одно к одному, все рассчитано, все подгадано: через неделю Даниилу в командировку, через неделю он окажется в поезде и еще чуть погодя — в деревне, в доме у незнакомца, пути их сплетутся в стальной узел. И вот теперь он стоит посреди комнаты напротив своей проекции, или... он сам и есть эта проекция? Эта страшная догадка ошеломила, сковала льдом и покрыла инеем ясности его расхлябанное, разъезженное, как проселочная дорога, сознание. Пока всего на несколько мгновений, но что-то уже схватилось.

Разве можно в это поверить: в расколотое сознание, в Двойника, в Соглядатая? Отчего нет? Стороннему наблюдателю, врачу, читателю под силу обозреть подобный казус, заурядный случай помешательства, объять, так сказать, его целиком и даже сделать предметом своего изучения. Но тут другое — тут сам помешанный уличает себя в помешательстве, сам ведет следствие и выносит приговор. Все вышло так смешно и нелепо: отчего же? А вот хотя бы оттого, что он не умел поверить в себя, в свою боль, в свою серьезность и непустяковость, он не мог себя пожалеть: для всего этого нужен другой, отодранный от себя, выдуманный, призрачный — кто угодно, но как будто бы противоположный, но главное — ложный. Разве вас не посещало желание узнать, как бы в ваших обстоятельствах повел себя другой человек, разве не раздирало любопытство увидеть себя со стороны и понять, какие эмоции и чувства вы пробуждаете в других? Вот и Даниилу захотелось выскочить из самого себя, заместить, подменить себя кем-то другим, кто бы за него принял весь спектр воздействий, которые его почти перевели на ту сторону отчаяния. К сожалению, его история не столь захватывающая, как история Билли Миллигана или Хайда и Джекилла, расщепиться так просто его сознание не могло и не хотело; для того чтобы сойти с ума, Даниилу пришлось прибегнуть к нехитрому средству — ко лжи. Но не к пустой лжи, а к плодотворной, той, которая могла бы стать фундаментом и опорой мировоззрению. Такая ложь вытесняет и замещает. Своя жизнь, не то полинявшая, не то выцветшая без времени, его не особо прельщала, и все же его что-то удерживало от бездумного, легкого, разнузданного распоряжения ею. Сложность заключалась в том, что главным объектом лжи должен был выступить он сам.

Глупости, все глупости! Глупости, горячка, виляние и позерство! Не было того Даниила, который бы сошел с ума, не было того Даниила, который сумел бы обтянуть плотью собственную фантазию, не было и бесплотной девушки, которая начала бы

искать себе Творца из костей и крови. Все эти фантазии, витиеватые узоры, кружева мысли — мишура для прикрытия наготы и беспомощности логики, прямой, как спице, ей надо в чем-нибудь запутаться, во что-нибудь закутаться, где-нибудь найти свою петлю. Отринь Данька всю эту метафизику, что ему останется, кроме горечи и сомнения? Горстка заплесневевших воспоминаний и одно недодавленное, как червяк, желание — вернуться к отцу, которого не видел без малого пять лет. Это желание — ключ к разгадке, камень, брошенный в воду, все остальное — разошедшиеся на ней круги. Это желание, поработив волю Даниила, искало варианты своего воплощения. Деньги? Власть? Всеобщее признание и уважение? Ничто из этого не составляло внутренней потребности Даниила, каждое из них — безвекторный луч, сублимация одного стремления, одной просьбы, мольбы, требования — внимания, любви, признания одного человека — своего отца. Прошло столько лет с разрыва матери с отцом, но Данька так и не смог за это простить — нет, не отца, — а мать, за то, что она бросила больного родного человека, оставила того, кого оставлять не следовало ни в коем случае. А еще из детства он вынес то чувство вины, о природе, причине которого он забыл; если быть точнее, он запомнил о главной его части, о сердцевине, ибо на него радужками наслоилося множество других побочных вин. В числе вмененных: предательство по отношению к отцу, выразившееся в том, что, несмотря на свое презрение к матери, он все же смалодушничал, тоже оставил его одного, лучше всех представляя, к чему это приведет. Какой-нибудь взрослый, узнав, сколько было тогда лет Даньке, уверенно и сокрушенно бы отметил, что тут и говорить не о чем — какая могла быть свобода выбора у столь юного мальчика: он поступил так, как и полагалось ему в его летах — последовал за своей матерью. Но Даниил твердо знал, что выбор был: выбор был и тогда, выбор есть и сейчас. Но и вина была, есть и будет, и она не какой-то там фантом.

Ни с чем не сравнимо то чувство облегчения и полноты, цельности одновременно, которое переживал Даниил, когда его отец наконец останавливался, в очередной раз выпрастываясь из полыни своей страсти и выходил на работу (о, этот первый день — все равно что день судный: вознесет в рай или повергнет в ад), а после нее, отработав полную смену, возвращался домой в полном изнеможении! Даниил знал это болезненное, страдальческое выражение, которым проступало на лице приходящее в себя сознание; апатия, уныние, удрученность нападали на едва протрезвевшую жертву, измотанную ломкой и возбужденным раздражением. А раздражение, кстати, никуда не делось — одной искры достало бы — и доставало — воспаленным нервам. Но окрыленный Даниил ничего этого не замечал — не хотел замечать, он радовался наставшему непрочному миру в их доме, это было его счастье, на другое ему не приходилось рассчитывать, поэтому он упивался им, как мог. Он лез к отцу с шахматами, с картами, с книжками и не замечал — не хотел замечать, — насколько он в тягость, насколько он назойлив, насколько требователен, но он и не мог иначе: уже на следующий день он начнет сомневаться, уже на следующий день он начнет ждать очередного срыва, очередной схватки, уже на следующий день он будет смотреть на отца с недоверием.

Чувство вины не имеет свойства проходить, постепенно оно заполняется и уплотняется — то, что было беспричинной тревогой, в конце концов находит свое содержание. В конце концов в Данииле родился страшный, подавленный монстр — желание пережить вновь боль, ощутить себя униженным, растоптанным, преданным и — восставшим и отчаянно борющимся — всемогущим. К спокойствию, размеренности, некоей определенности больше не тянулись ни душа, ни разум. Никакая радость не могла сравниться с тем, что дарило страдание, за ним следовало отчаяние. Отчая-

ние — предвестник, предтеча возрождения, но иногда это отчаяние таково, что никакого возрождения и не хочется.

Эта девочка — та, кого он хотел подставить под удар вместо себя, та, чьими чувствами можно поступиться, дабы уберечь собственные: пусть кто-то другой будет для его отца досадной помехой в его ломке. Даниил больше не мог сносить своего существования, он готов был сдаться, но и сдаться не мог: не мог же он вырвать сердце из собственной груди. Если бы отец ему только помог — если бы ударил, всего один разок: может, надорвалось, треснуло бы чувство, прохудилась бы, истлела нить привязанности?.. Но ничего подобного. Ненависть, жалость, отвращение, злоба, ярость — все это было, но не было освобождения. Война с невидимым врагом приобретала абсурдные формы, эти формы сами по себе ломали психику, держали на грани помешательства: руки и ноги, связанные простынями, взломанные замки, опустошенные кошельки и вынесенная и проданная техника, слежки, преследования, поиски, поиски, поиски, бесконечно сдавливаемые слезы и неисчерпаемое тинистое, трясинистое отчаяние. Отчаяние, как бы велико оно ни было, все же измеримая сущность, в системе координат души — поверхность, так пусть оно будет черный раскаленный шар с площадью $4\pi R^2$ (ибо кто кому запретит мнить отчаяние поверхностью?). Наверное, логичнее, а следовательно, легче было бы представить вместо шара бутылку Клейна, не так ли? Проклятый Клейн... должно быть, где-то есть и проклятый Вагнер. И скажите на милость, на кой нам вычислять площадь, если свойства тела от этого не изменятся, если другой стороны нет? Но этого не может быть! Ведь, в конце концов, поверхность способна расслоиться, и неважно, что этого пока не произошло. «Не произошло», «не случилось», «не вызрело» — чем это отличается от «прошло», «завершилось», «сгинуло»? И то, и другое — нуль. Подступайся слева или справа, рассчитывай предел при стремлении к плюс нулю или минус нулю, это всего лишь нуль. Это точка бифуркации, невозврата, и лежит она на поверхности отчаяния, отчаяния, у которого лишь одна сторона, независимо от того, внутри ты или снаружи бутылки, независимо от того, Клейн ты или Вагнер. Ты вылушен, в тебе больше нет содержания, единственное, что тебе остается, — самому стать содержанием. Но ты уже был содержанием — ты был содержанием своего Творца, Бога, пока не убил его. И вот Он мертв, и у тебя никого нет, и тебя ни у кого нет... И ты — ты решил симитировать Бога и зачал свое творение — самого себя, но с Богом — с собой. Попытка замазать брешь, заполнить лауну, спаять себя с каким-нибудь миром... Попытка сбежать от самого себя. Мы нуждаемся лишь в идее Бога, самого Бога нельзя вынести. Существование Бога — ограничение нашей свободы. Бог должен был уничтожить себя во имя нашей свободы. Господство равного себе принять проще, чем господство совершеннейшего из существ. Чтобы поверить в чудо, Бог необязателен: нужен другой. Он необходим для подтверждения того, что то, что видят глаза, не есть плод воображения. Но как убедиться в том, что кивающий нам другой, — не выдуман?

* * *

Та же комната в том же доме. Даниил, девушка и ее отец. Или — его отец? Впервые Данька недоумевает: почему его никто не замечает? Ведь он есть, он всамделишный, он режиссер и постановщик, так почему же он невидим? Он прилагал неимоверные усилия к тому, чтобы прятаться и скрываться, мимикрировал и стирал следы своего существования, так неужели он в своем тщании дошел до того, что забился в складку небытия, чтобы быть замещенным по своей воле кем-то другим, бесплотным и безжизненным?

Два родных друг другу человека терзают, мучают друг друга, каждый невольно усматривает в человеке перед собой помеху, каждый, во власти непреодолимой зависимости, в сердцах желает другому смерти и ужасается своего желания, даже под алкогольной анестезией. Противостояние, исход которого уже предreshен. Бедная, бедная девушка с бледным лицом, окропленным молчаливыми слезами, и мертвенным взглядом, вобравшим в себя всю пустоту и горечь своей вселенной, вселенной Даниила, тебе уготована новая пытка — ее придумал для тебя Даниил.

* * *

Героиня в бессилии сидела в кресле, с каким-то отупением уставившись в окно напротив, позади сидящего на диване отца. На подоконнике вокруг цветочного пластмассового горшка от обильного полива образовалась небольшая лужица, вокруг (да должно быть, и в ней самой) копошилась мошкара, а в уголке с отколовшейся краской, обнажившем деревянную прослойку, болталась тоненькая паутинка. В общем-то, девочка не должна была этого видеть — это видел Даниил.

Не прошло и пары часов, а хозяин уже ерзал, выказывал нетерпение и неумность, борьбу с нарастающим раздражением. Несколько раз он вставал с дивана и принимался ходить по дому, вновь садился на диван или на пол, но не выдерживал и пяти минут и снова начинал метаться. Совершаемое над собой усилие скривило ему рот, мутный взгляд воспаленных глаз, белки которых пронизаны тонкой сосудистой сеточкой, напоминающей треснувшую скорлупу, блуждал, не зная, на чем остановиться, чтобы отвлечься мыслями от искомого предмета. Он пробовал пить воду, рассол квашеной капусты, но это была не та вожденная влага, которая могла притупить жажду и желание. Девочке подумалось, что, должно быть, отец испытывает то состояние, про которое он не раз говаривал: в груди все жжет. Видимо, встреча с дочерью все-таки произвела впечатление, ибо он, хоть и сильно сомневаясь в самом себе, пытался себя сдерживать, растворить нарастающий в горле комок, от которого с легкостью на время могло бы избавить содержимое прозрачной початой бутылки, стоящей под столом. Внутреннее истязание каждого продолжалось: дочь в напряжении ждала исхода — сколько бы он ни оттягивался, отец неминуемо должен был сорваться; она это чувствовала, а Даниил осмысливал. В конце концов выигравших не будет.

Хозяин попробовал снова прилечь, но не мог успокоиться, а все ворочался и ворочался, не умея найти себе место, уgomонить нутро, громко и протяжно вздыхал, хватался за сердце. Дочь не сводила с него глаз; ей было страшно — скоро кульминация, она это знала; скоро весь ее мир полетит в тартарары.

Все-таки усталость и напряжение ненадолго взяли верх: одержимый перестал вертеться с боку на бок и притих. Дочери отвели несколько минут передышки. Сердце ее, несмотря на то что она часы подряд сидела практически неподвижно, бешено колотилось, тело, каждый кусочек которого пронизало напряжение, тонкой пленкой покрывала холодная, неприятная испарина; кровь пульсировала, вздувая голубые жилки на висках. Вокруг ничего не менялось, лишь откинутые от сознания во внешний мир мосты словно начали подниматься и отгораживаться ото всего: точно лишаящийся света цветок подбирал свои лепестки и закрывался в плотный, непроницаемый бутон. За окном висела тишина, в доме признаки жизни подавали лишь часы, как будто костяшками старых счетов с прищелкиванием отмеряющие время. Казалось, что все перестало дышать. Дочь перестала различать звуки дыхания отца, поднялась с места и подошла к нему поближе; убедившись, что грудь лежащего мерно вздымается и опускается, успокоенная, она вернулась в кресло — свой наблюдательный пункт.

Опасаясь произвести хоть какое-то воздействие на подвижные слои реальности, закипающей, как магма, в жерле вулкана, она сидела неподвижно, стараясь обуздать даже мысли, сыплющиеся бусинами с порвавшейся низки.

Вдруг точно пружина слетела с петель: хозяин резко вскочил и сел на кровати, обратив на дочь пылающий взгляд, говорящий — нет, вопиющий о том, что он решил. Хозяин быстрым движением откинул скатерть и нырнул под стол, схватил заветную бутылку, откупорил ее и поднес было уже ко рту; но вот что-то дернулось в сторону, как тронувшийся с места состав: сознание Даньки вскользнуло в тело ее отца — в тело *его* отца.

Вновь мерный ход колес, на этот раз под мелодию «Death is the road to awe»: куда-то катится груженная сеном старая, разбитая телега, навстречу ей катятся рулоны сена, катятся и катятся, не останавливаются, но и не настигают телеги. Вот Данька сам, зажмурившись в ожидании неизбежного столкновения, обратился в волчок, в юлу; вот его крутят и крутят вокруг оси, он словно вода, стекающая в отверстие и все никак не могущая вытечь до конца. А вот Даниил мчится в поезде, а поезд игрушечный, и железная дорога — лишь небольшой замкнутый круг. А кто же играет? Мальчик лет пяти, очаровательный малыш с вьющимися каштановыми волосами, прикрывающими прижатые к головке аккуратные ушки, с темно-зелеными большими глазами, опущенными длинными черными ресницами, с полными румяными щечками, с маленьким носом и поджатыми губами; весь такой складный, пышущий здоровьем, чистый, спокойный, располагающий к себе. Он знает, что его любят и будут любить, баловать, заботиться. Каждый одарит его вниманием и приветливостью, каждый почтет за честь услужить ему и вызвать улыбку на его лице. Слова мальчика будут литься соловьиной трелью, ласкающей слух; речь, опирающаяся на четкие, логичные и последовательные мысли, будет убедительна и желанна. Каждый встречный проявит свою благосклонность и примет участие в успехе этого избранного ребенка. Кто же он? Полная противоположность Даньке, друг, которому он завидовал все свое детство, брат или просто еще один герой еще одной выдуманной истории? Нет, это же Данька, все тот же Данька! Это благополучный, довольный, рассудительный Данька, который играет перед самим собой — незадачливым, запутавшимся, бесцельным, расколотым и отчаявшимся. Данька продолжает смотреть на Даньку, не отрываясь и кружась, буравит взглядом и окольцовывает свою тень, покуда весь тяжелый металлический состав не влетает в темный тоннель, и сознание не оглушает перестук колес. Кромешная темнота перемежается ярко вспыхивающими проблесками маленьких лампочек, отражающихся и множась в вагонных стеклах — не разберешь, где отражаемое, а где отражающееся. Вагон раскачивается, бросает из стороны в сторону, он дрожит, не в себе, испытывает приступы эпилептических припадков; раздираемый яростью и бешенством, он все набирает и набирает обороты, словно норовит на полном ходу вылететь из колеи. Даниилу не страшно, ему хорошо оттого, что от него не требуется больше усилий на борьбу, не нужно двигаться, думать, все несется само собою со спущенными поводьями в неизвестность, куда-то навстречу тому, к чему стремился наш герой всю свою жизнь. В блаженном предчувствии приближающегося достижения желанной цели он прикрыл веки, а открыв, вновь очутился в доме.

* * *

Интересно, что происходит с героем, которого автор зачал, вывел в жизнь, сначала в потустороннюю, а потом допустил и в свою собственную, а после, не то заскучав,

не то приревновав, бросил на произвол судьбы? Можно ли говорить о судьбе, если с героем больше ничего не случается, он замер, ждет продолжения, а его подвешивают в пустоте и, строго говоря, отрицают даже его право дышать? Что он должен чувствовать? Не «должен», а чувствует, да и чувствует ли, когда его, недорисованного, недовыведенного, но уже обозначенного, предают забвению? Имеет ли этот герой возможность в перерыве своего создателя, в прерванном творческом процессе, заполучить свою волю и начать скрытую самостоятельную жизнь не по сценарию (а может, уже начал, может, уже наблюдает, подглядывает?)? И пусть автор думает, что ему больше нечего выражать, пусть потерял он средства к самовыражению, перепробовав бунт, смирение, поклонение красоте и безобразию, пусть он смотрится в зеркало и не видит отражения, потому что больше нечему отражаться, на самом деле отражение, улучив миг притупившейся бдительности, вырвалось из плоскости и сбежало.

Даниил не знал, куда делись хозяин с дочерью, не искал ни ответа на этот вопрос, ни их самих. Это была задача: матрица три на три, определитель равен нулю, все миноры равны нулю. Тогда Даниил наконец понял, что есть одно-единственное желание, которое он может сам исполнить для придуманной дочери своего отца.

Внезапно Даниил физически ощутил удар под дых: уж не он ли сам, ослабившись, смотрел на самого себя и выталкивал из вагона поезда?

* * *

«Приступим к решению системы линейных уравнений методом исключения. Как бы я ни старался вынуть из своей матрицы тягучую субстанцию из чувств, упований и разочарований, какой бы из иксов ни зачеркивал, под каким бы ни подразумевал Тебя, выходило лишь одно: я оказывался не тем, из кого возможно вычитать, я был тем, кого следует вычесть. Мысленно я это уже не раз проделывал, а однажды у меня это почти получилось в реальности, но вышла осечка: я запутался, выжил и, вместо того чтобы добить свое прошлое, взялся его воскрешать. Я не нашел лучшего скальпеля для препарирования души, чем слова. Да, вновь и вновь я буду апеллировать к ним, к словам, — когда-нибудь они должны надо мной сжалиться. Но моя душа, извилистая, бескостная, сыграла со мной злую шутку — она оказалась так же живуча, как тот червь, которого делило в детстве камнем хрупкое создание с бледным, фосфорного оттенка, вытянутым лицом, тонкой шеей и тонкими же руками, сосредоточенное, напряженное и готовое растрескаться в любое мгновение.

Никогда не понимал, как абстракция соотносится с реальностью, а теперь понял: абстракция — это производная реальности, если интегрировать абстракцию, то получится реальность, ответ на вопрос: где бы я был, если бы меня не было.

Вот она — моя „лужа“. Лужа, Лужин, Клейн и тот, кто всему положит конец, — Вагнер. Лужа, в которой отчего-то растекается бензиновое пятно — от самых моих ног (только непонятно, кто и что на них смотрит: я или не я, глаза мои или прозревшая челюсть). В небо втиснута та же лужа, она окаймлена зелеными ершиками: вывернутый наизнанку еж. Амальгама, застигнутая врасплох коррозией, помутневший рыбий глаз.

Я вступаю в свою лужу, я — луч, падающий на преломляющую поверхность, я — луч света, я — луч тьмы. Синус угла падения между падающим лучом — мною и нормалью (тут чувствуется мне горлышко клейновской бутылки, не пересекающей таки ее стенок) относится к синусу угла преломления между преломленным лучом — ею и нормалью, как скорость света в первой среде к скорости света во второй среде. Свет —

это явление, связанное с топологией. Свет — это вмятина многомерного пространства. Начинаем интерферировать.

Интерференция наблюдается только в том случае, если световые лучи одного источника отражением ли, преломлением ли были „раздвоены“, а затем снова сведены.

Господи, как долго, как мучительно! Словно на операционном столе ждешь, когда отключат сознание. Включите музыку, я жду анестезию! Ну вот же она, вот! — сердцевина граммофонной пластинки — вовсе не луна! Ах, эти маленькие, тоненькие канавки, срез ствола могучего древа жизни — круги, круги, дорожки, в выемках которых скользит и спотыкается игла моего сознания! Узнаю плеск моей идеальной лужи! Мелодия, чудесная мелодия — я ее раньше слышал, узнаю — „Эйфория“ Айдары Гайнуллина. То мерно раскатывающиеся, собирающиеся в складки и разглаживающиеся, как атлас, умиротворяющие и спокойные; то вдруг нарастающие в валуны, грозные, схлестывающиеся, набегающие одна на другую, гасящие одна другую; то низвергающиеся, то закручивающиеся в водоворот, а иногда и вовсе прорывающие плотину объемные, многослойные гофрированные звуки, в которых плещется, плещется жизнь.

Вдруг в мой орган зрения вставили — так, как офтальмолог вставляет одну за другой линзы в ужасно неизящную громоздкую оправу, пытаюсь подобрать ту самую, которая подойдет лучше всего, — картинку, вынутую из памяти. Надо сказать, что изображение какое-то скудное и полинявшее, остается рассчитывать лишь на мягкую, нераспушившуюся художественную кисть фантазии: я сидел в филармонии и слушал двенадцатую сонату Бетховена — это противоречивое, лоскутное, мощное, раскатистое, воинственное произведение, и все же содержащее предвозвещение следующей сонаты — нежной, переливчатой, мерцающей, истончающейся и тающей, как леденец во рту (о, луна!), — „Лунной“. Я слушал с закрытыми глазами, стараясь вобрать музыку (какое-то каменное, сухое слово, мне бы хотелось назвать то, что звучало, чем-то вроде трансцендентных волн); временами получалось, временами тело посещала вожденная невесомость, его содержимое как будто освобождалось от границ, прорывалось горящей магмой, не ведающей ни боли, ни страданий, ни сомнений... Звуки плавились, осыпались росой, испарялись, отвердевали и в какой-то момент, кристаллизовавшись, являли, как откровение, новую, недоступную доселе грань — тень четвертого, пятого ли, а может, десятого измерения, я не был способен ее принять, она не проходила в узкое горнило моего сознания, утыкалась и оцарапывала острым краем — и в следующий миг все осыпалось и исчезало, чаще всего досрочно, не по своей прихоти: вот кто-то коснулся локтем одной из моих прижатых к туловищу рук (извечное напряжение и добросовестно работающий кондиционер вынуждали меня заключить себя в крепкие объятия), вот скрипнуло одно из узких кресел, спаянных в ряд, вот кто-то зашелся кашлем... тьфу! а у кого-то даже зазвонил телефон. Проклятые шероховатости, помехи, сила трения, которой невозможно пренебречь! Невольно я открываю глаза и озираюсь: ба (это не мое „ба“, какое-то книжное, я решил глянуть со стороны, как буду смотреться с этим „ба“, к лицу ли: ничего, сносно), да прямо передо мной сидит Генрих! Нет, не может быть, просто затылок, должно быть, напоминает его, но сам он сидит где угодно, например, в тюрьме, где ему и его поделщикам и место, но не со мной в одном зале филармонии, нет его здесь! Вторая часть Тринадцатой сонаты близится к концу, голова сидящего впереди меня человека поворачивается ко мне — Генрих, это он, вероятность ошибиться нулевая. Тихо, возможно, одними губами — но я слышу — он произносит: „Это тебя здесь нет, это ты сидишь в тюрьме за мошенничество“. Что за бред, какое мошенничество, тогда я еще ничего не сделал, да и сейчас — меня никто не тревожил, не допрашивал, не арестовывал! Я не мог сидеть за-

ранее за то, чего еще не совершил!.. В свои права вступает третья часть двадцать шестого опуса. Кто-то проводит сечение через плоскость моего бытия. Генрих смеется мне в лицо.

Знаете, я ведь чуть вас всех не перехитрил, а вы даже и не заметили. Но то не ваша вина, это не было в вашей власти, да и не я использовал уловку, а она меня, теперь вот пытаюсь высвободиться из нечаянно расставленных силков, как будто бабочка, в повернутом вспять времени вообразившая себя энтомологом. Бабочка со сложенными крыльями, тонкая линия — шов в пространстве, непараллельная плоскость моего бытия. Говорят, по крыльям бабочки можно определить все стороны света. Есть такая бабочка, ее зовут Арлекин. А еще, говорят, был Арлекин, всамделишный, человекоподобный, со скелетом, начиненный мышцами и кровью, как полагается, ладный, удачливый, известный, один лишь имел недостаток: путался порой в пространстве — то сердце справа забьется, то вспять пойдет, то вчерашний день за завтрашний примет. И вот этот Арлекин решил себя увековечить и взялся да осилил о себе роман. Памятуя о старой заповеди „Не умирает в книге тот, кто от себя рассказ ведет“, Арлекин вел речь от первого лица. Но роман не стал бестселлером, и Арлекин спустя годы умер. Умру и я, но она — моя тень, моя выдумка — она выживет.

Все путается и мечется во мне, в остатках меня, обгладываемых, словно пираньями, горячкой и бредом. Яркими маслянистыми и объемными вспыхивают образы воспоминаний, страхов и плодов воображения. Все забивается в теснину сознания, грозит хлынуть единым всеразрушающим потоком. Вот я снова пятилетним мальчиком лежу в своей постели с температурой, в жару, наведшими резкость на мое сознание, оборвавшими его подсвеченные края, как кромку сжигаемой пергаментной бумаги, и вижу прямо перед собой на потолке странного человека с длинными, по плечи, седыми волосами (сейчас я сравнил бы их с шевелюрой Баха), с морщинистым лицом и выпуклыми глазами, взглядом пронзающими меня насквозь, с густыми белыми бровями, сросшимися на переносице, усугубляющими выражение злости, если не сказать зла, которое источала и вся фигура — фигура крепкого статного мужчины, обтянутая черной кожаной рубашкой, черными же кожаными штанами, поверх всего этого у него за плечами виднелся черный плащ. Я смотрел на этого не то человека, не то мифическое существо наполненным ужасом взглядом и со спертым дыханием, и боялся отвести глаза — кто знает, где непрощенный гость может оказаться в следующую секунду, я обязан был проследить, чтобы нависшая угроза довольствовалась мной, чтобы она не переместилась к родителям. Исполненный трепета, напряжения, я прокараулил своего врага до самого рассвета. С утренними лучами нечисть растаяла, и потолок вновь обрел свой привычный, ничем не примечательный вид, но долго еще после я боялся ночи, долго грезил о том, чтобы долгие темные ночи сменились длинными полярными, не обернутыми в траурные ленты.

Дважды — это всегда безобразно, дважды — это всегда плагиат. Плагиат — это видеть себя жалким, растоптанным, униженным. Это я — пятилетний ребенок у окна. Ночь. Свет горит лишь в прихожей. Тяжелая штора отодвинута в сторону, я подлез под сетчатый тюль и уставился в окно. В окне — еще одна комната, и еще комната в комнате, продолжение комнаты в гиперпространстве, и еще один я. Я смотрю на себя и перестаю чувствовать себя, душа моя как будто оказалась по ту сторону окна. Есть конечная, но небольшая вероятность того, что я нахожусь за окном. Внести больше определенности может вычисление с помощью волнового уравнения Шредингера. Что до меня самого, то я терплю фиаско в его решении, пытаюсь собрать его составляющие. Я разделился, как червяк. Снова червяк, вездесущий червяк! Так я научился делиться, когда боль становилась невыносимой».

Вера ЗУБАРЕВА

ЛУКОМОРЬЕ У БЕРЕГА

* * *

Дом сигналил за дальними далями.
Снова брезжит, как старый фильм,
То ли берег, однажды оставленный,
То ли тот, кто оставлен им.
Все из этого фильма родом мы.
Вход — на линии береговой.
На табличке: «Билеты проданы».
В зале памяти — никого.
Только ты и ее откровения.
Им внимаешь. В который раз!..
Значит, впрямь есть что-то вне времени,
Коль вчера болит, как сейчас.

* * *

Если прошлое снится,
Если прошлое ходит за тобой по пятам,
Это значит,
Ты не здесь, а там.

Если прошлое греет,
Если прошлое посылает весть,
Это значит,
Оно не там, а здесь.

Если прошлое сдуло
И размыло, как след на воде,
Это значит,
Оно нигде.
И ты нигде.

Вера Кимовна Зубарева — доктор филологических наук Пенсильванского университета. Автор книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных литературных премий. Публиковалась в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Новый мир» и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент проекта «Русское безрубежье».

* * *

Как там мама?
 Что-то часто снится.
 Чуть глаза прикроешь — звуки ветра,
 Улиц разлетаются страницы.
 Черно-белый ролик в стиле ретро.
 Все одно и то же —
 Дождь и ветер,
 Море во весь рост,
 В болтанке катер...
 Дубль первый, пятый, двадцать третий...
 Ночь за ночью,
 Кстати и некстати.
 Думаешь, пустое?
 Да, ноябрь,
 Да, срывает листья. Серо. Голо.
 Но при чем тут эти сны?
 Корабль,
 Лоцман на трубе,
 Аллея,
 Школа,
 Уговор сорваться на казенку...¹
 Как трамвай? Скрипит еще по рельсам?
 Что ни сон, кричу ему вдогонку:
 «Как там мама — как моя Одесса?..»

* * *

Кто на улицу попал —
 Заблудился и пропал.
Корней Чуковский. Краденое солнце

Закрой глаза, и это все придет,
 И мы причалим в мир дозрелый, в тот
 Добрейший дом на улице Свердлова,
 Где гавань-двор и оберег ворот,

В окне лоза, над ней пчела жужжит,
 И облаков рассветных виражи,
 И кто-то обронил спросонок слово
 И постучался в день, и каждый жив.

Резвится солнце. А из-за ворот
 Доносится родной мироворот.
 Трамвай гудит, расплескивая лужи,
 Как самый важный в мире пароход.

¹ Прогул занятий (регионализм).

Все сразу встанет на свои места —
И памятник, что не сошел с поста,
И парк, что со своим названием дружит,
История — не с чистого листа.

Там хор друзей под окнами зовет,
Хохочет и гоняет взад-вперед,
И мама отпускает наконец-то
С условием — чтоб только до ворот.

И мы играем в жмурки (дыр-дыра!²),
А тот, кто выбегает со двора,
Уже не сможет возвратиться в детство
Из шторма, где трещит по швам «вчера»...

ОДЕССА

Долгий вечер тянется к сводам окна.
В зрительном зале улицы — глубина.
Рампа бордюров в свете мелькающих фар.
Ветры надули лунный блестящий шар.
У нее глаза цвета морской волны,
Летнего неба, утренней глубины,
Бликов на яхте, изумрудной росы.
Так она грезится башням в эти часы
В сумерках Города, в ритмах его морей,
В переплетеньях уличных фонарей.
А заодесье
замерло дотемна...
Что в этой пьесе?
Только бы не война...

В ПРЕДДВЕРИИ 2 МАЯ

Сумерки ступают к маю.
Близок. Вот-вот наступит.
Мается, бродит по краю,
По ковылю на уступе,
Море тревожит. Снится
Черному морю маевка,
Стены, где выжжены лица
В чайные (крика? вдоха?).
Кружит больная память —
Стон в обгоревших лохмотьях.
Кто их сумел с ней сплавить?
Стали ее плотью.

² Восклицание во время игры в жмурки (регионализм).

Воеет: «Уж скоро, скоро
Заполыхает солнце.
Сбросьте его с собора,
Пусть оно разобьется...»

* * *

Город в розыске.
Обследуют за кварталом квартал.
Он объявлен разносчиком опасного духа.
Ему грозит трибунал
За мятежность лестницы, благородство Дюка,
Пыл Де Рибаса, взявшего Хаджибей,
Основавшего наперекор надменному соседу
Чудо-мост меж Россией и Европой. Бей
Отщепенца, праздную победу!
Слава рейху! Два прихлопа, один прискок.
Гольтьба гуляет. Прошлые грабят.
Сломан компас. Как попасть на восток?
Стрелка все время показывает на запад.
Оккупанты-волны русский дух несут к берегам.
Их решают взорвать. И как можно скорее
Город казнить. А затем — в бега,
Чтобы не успели вздернуть на рее.
«Слава фараону!» — бьют в колокола.
Народ безмолвствует.
Слышен скрип трамвая.
Приговор оглашают: «Город сжечь дотла
В Доме профсоюзов 2 мая».

* * *

Хоть построй вокруг изгородь,
Запрети его речь,
Этот Город не вытравить,
Этот Город не сжечь.
Хоть ордою кочевников
Накати, как волна,
На страницах учебников
Замени имена,
Пришлой антикультурой
Жги отцовский завет,
Самурайской сакурою
Режь акации цвет,
Он вберет все речения,
Свяжет, преобразит,
И на *встречном течении*³
Возрастет одессит.

³ «Встречное течение» — известная концепция заимствования в литературе, принадлежащая А. Веселовскому.

Из таких и слагается
Город — мира оплот,
Белый ангел акации,
Белых чаек полет,
Пароход белый-беленький,
Неподвластный ветрам,
Лукоморье у берега,
И над берегом — храм,
И наречий мелодии,
Родословные лиц...
В этом дворики-Городе
Корни мира сплелись.

* * *

Город в ожидании белокрылой чайки.
Лодка в печали
Стоит на причале.
В детстве сплошь и рядом опечатки,
Которых только мы не замечали.
Улицы те же. Названья другие.
Кто-то сторонний взялся их править.
Бродит по Городу ностальгия,
Хочет уткнуться в детскую память.
Может, все еще однажды вернется —
Ветка акации белокрылой,
Памятник, площадь в утреннем солнце...
А иначе зачем это все было?

* * *

Этот мир и без нас разберется,
Этот мир и без нас проживет,
Даже если вдруг вспыхнет солнце
И расколется небосвод,
Даже если вздрогнут планеты
И сойдут со своих орбит,
Даже если все-таки это
Кто-то высший предотвратит...
Даже если и даже не если
Разлетится все в пух и в прах,
Будет ждать в условленном месте
В заповедных своих краях
Город-притча. В штормах лихолетий
Там отцы воздвигали мечту.
И уже заслужил он этим,
Чтоб стоять с ним плечом к плечу.

ПУШКИНСКИЕ МОТИВЫ

1.

Вновь у Старухи на посылках,
И стравлен мир исподтишка.
Несутся в бой — в башке опилки —
За Золотого Петушка.

О петушке они не в курсе.
Ведь им обещаны луга.
В ответ на оклик: «Гуси-гуси!» —
Зигуют дружно: «Га-га-га!»

Что, Просвещенная, бушуешь?
Ученья изливаешь яд?
Несешь нашкрябанный для чудищ
Единым почерком плакат?

Визжат: «Свобод!» В подтексте: «В гетто!»
Чума во всем, чума везде.
Мы все это читали где-то.
И даже точно помним где.

Все тот же клич, все те же толпы,
Все тот же допуск на разбой.
Прощай, свободная Европа!
В последний раз перед тобой.

2.

К 190-летию написания «Сказки о рыбаке и рыбке»

Золотая рыбка в Черном море резвится.	А наутро плавают
Ворочается ночами заморская царица.	Кораблей корыта,
Снится ей город	И планы заморской царицы разбиты.
С златоглавыми церквами,	Сидит и считает свои убытки.
С шумными улицами,	Не читала, видимо,
Памятниками, дворами...	Сказку о Золотой Рыбке.
Посылает за рыбкой своего старика	
И флот снаряжает, чтоб наверняка.	

3.

В Городе ввели комендантский язык.
По улицам снуют натренированные овчарки.
Издают предупредительный рык.
Горожане усваивают правила «молчанки».

Закон не распространяется только на глухонемых.
Правда, имеются исключения —

На прицел взяты памятники, потому что их
Молчание расценивается
Как запрещенное речение.

А море рокочет,
А с берега лают в упор,
И это выходит уже за рамки.
Недовольно в глубинах ворочается Черномор.
Кликнет витязей,
Тридцать три — и в дамки!

Лай в ответ пуще прежнего.
Море вот-вот закипит.
На каждую волну по овчарке спущено.
Но свободной стихией повелевает пиит,
И она рокочет на языке Пушкина.

ШЕКСПИРИАНА

1.

Нет повести печальнее на свете —
Шекспиром обрядился генерал.
Сражаются Монтекки с Капулетти.
Мир смотрит грандиозный сериал.

Ведутся съемки прямо с поля боя,
Военных действий огнедышит театр,
Мы следуем под взрывы за Судьбою,
И оператор шумно дышит в кадр.

Удар — удар. Прилеты и ответы.
Сценарием владеет Голливуд.
Но нет в нем ни Ромео, ни Джульетты.
И пьеса вырождается в абсурд.

2.

Неважно, что там, в суете мирской,
А здесь — солдат ли, витязь ли морской —
Пекутся о родимом бреге,
О горсточке земли как обереге.
А тот, кто превратил всю землю в тир
И мировую карту расчертил,
Чтоб обустройства второе гетто,
Забыл, что родина — особая примета,
Не номер на руке — ориентир.
Солдат и родина —
Ромео и Джульетта.
Но в пьесе от небесного Шекспира
Последний акт — о возрожденье мира.

РАССКАЗЫ

АЛЛЕРГИЯ

Я чистый лист в исписанной тетради.
Дыханье ветра. Рябь на водной глади.
Я память долгая туманной белой дали.
Надежда скорби, тишина печали.
И счастлив я, что так меня немного,
Что жизнь — лишь нота
В колыбельной Бога.

Доктор Рид обожествлял медицину — тончайшую из искусств и первейшую из наук. Математику называют королевой естествознания... Возможно, скептически соглашался доктор Рид. Однако алтарь науки, ее дух, сердцевина — только медицина. Ничто, кроме медицины, с ее безусловным стремлением облегчить страдания и спасти человека, не может быть святой святых храма знаний. А если учесть, что больной доверяет врачу свою жизнь, верит и до последней минуты надеется на чудо, то медицина в некотором смысле возвышается до религии, среди жрецов которой доктор Рид стоял далеко не на нижней ступени.

Был вечер пятницы, прием больных почти закончился. Доктор Рид устал. Он с надеждой выглянул в соседнюю комнату с терапевтическими креслами в белых чехлах. Рядом с последним сидели две женщины, стояла капельница. Доктор быстро закрыл дверь, вернулся к рабочему столу, где лежали анатомический атлас, серебряное перо и стопка визиток.

Он начал выкладывать из визиток пасьянс. «Ян Рид. Общая онкология» — зарябила золотая надпись на мерцающем глянце. Отложил стопку, уныло уставился на часы — еще полчаса, и все пациенты наконец уйдут. Он улизнет из клиники, дойдет до японского ресторана в центре Пало-Алто. Встретит Фреда, своего приятеля еще с интернатуры. Фред Кейн — лучший гастроэнтеролог Стэнфорда (Ян был в этом уверен), талантливейший врач, умница, безупречный профессионал. Доцент, между прочим!

Они посидят, не спеша обсудят новости. Затем лениво побродят по шумным улицам, зайдут в винный зал, возможно, в кино... Он погрузится в беззаботную суету вечернего города и освободится на несколько часов из-под власти клинической онкологии... до начала телефонного дежурства, когда его недолгий покой нарушат тревожные звонки из приемного отделения.

Ян встал, прошелся по кабинету и направился было к книжной полке. Остановившись перед зеркалом, принялся изучать свое отражение. Выразительные, внушающие доверие глаза, крупный нос, твердая линия рта, широкий, без морщин, лоб. Распола-

Макс Шапиро — переводчик, прозаик. Родился в Ленинграде в 1966 году. В 1988 году окончил ЛИИЖТ (ныне Санкт-Петербургский университет путей сообщения). По профессии инженер-программист. Публиковался в альманахе «Крылья» (2023). Живет в США.

гающая внешность! Опытный, уверенный в себе врач. Интересный, еще не старый мужчина. Огорчали легкая небритость и мятый халат. Зато ни одного седого волоса. Усталый вид в пятницу вечером более чем извинителен, а щетина... так это сейчас модно.

Он оторвался от зеркала. Вернулся к столу, открыл процедурный график. Улизнуть раньше не удастся: последней в списке стояла Ковита, тихая иранская девочка, приходившая на химиотерапию вместе с матерью и бабушкой. Незаметно не пройти, а разговаривать не хотелось. Придется тоном незыблемой уверенности, избегая взглядов двух пар испуганных черных глаз, отвечать на однообразные вопросы несчастных женщин, чей ребенок неумолимо угасал, утекая из их заботливых, но бессильных рук.

Ян со вздохом опустился в кресло, достал из ящика историю болезни Петра Большакова — мальчика, внезапно скончавшегося в Стэнфордском госпитале от аллергической реакции. Досадно, что говорить. Но сбои при диагностике неизбежны, в педиатрической онкологии тем более. Умение хладнокровно их анализировать и избегать — профессиональная необходимость. Врачи учатся этому болезненно и достаточно быстро. Пару лет работы в клинике, и начинающий онколог спокойно оценивает любую неудачу, а бесконтрольная эмпатия вредит и врачам, и пациентам.

Ян, может, и не вспомнил бы этот трагичный случай, если бы не короткое приглашение, пришедшее в офис от матери Большакова.

«Панихида по Петру состоится в субботу, 7 февраля, в 11 часов на сербском кладбище».

Он был уверен, что его адрес оказался в рассылке по ошибке, однако неприятные воспоминания, связанные с гибелью больного, письмо разбредило....

Ян снова украдкой заглянул в палату. Пуста. Последняя процедура закончилась. Отлично! Он с облегчением захлопнул историю болезни и швырнул ее обратно в стол. Наконец можно вырваться на волю.

Он тихо открыл дверь и, оглянувшись, проскользнул в регистратуру, где царила Лори, сестра-администратор, невозмутимая плотная японка с седыми волосами в тугой косичке и строгим взглядом за квадратными линзами очков. Лори проработала с Яном много лет и ни разу не ошиблась. Она была точнее часового механизма. Однако больные ее любили, а коллеги уважали и даже побаивались за острый язык и бесцеремонную прямоту.

— Добрый вечер, Лори, как поживаете? — спросил Ян, тяжело опершись о стойку.

— Доктор Рид, вы сегодня в четвертый раз спрашиваете, как я поживаю. Вы что, потеряли историю болезни и боитесь в этом признаться?

Ян нахмурился.

— Да, Лори, я действительно боюсь признаться. Я в вас давно и безнадежно влюблен, — попытался он пошутить.

— Неужели?! Что же вы молчали столько лет?

— Мое чувство к вам дремало и вот проснулось!

— Увы, моя рука принадлежит другому, более решительному поклоннику.

— Лори, вы разбили мне сердце.

— Могу порекомендовать опытного кардиолога, — парировала Лори, грозно сверкнув очками.

Ян невольно рассмеялся.

— Кстати, — снова заговорила Лори, — вы не знакомы с доктором Полсоном, бывшим главврачом госпиталя во Фримонте?

— Слышал о нем, но лично не знаю, — ответил Ян. — А чем он знаменит?

— Знаменит он тем, — сухо заметила медсестра, — что у него случился нервный срыв от переутомления, и ему пришлось оставить практику.

— К чему это вы? — насторожился Ян.

— К тому, доктор Рид, что вы плохо выглядите. Вам нужен отпуск.

— Невозможно! — устало отмахнулся Ян. — На кого больных оставить?

— Замену недели на три я вам обеспечу, хоть и придется поискать хорошего онколога. Но или вы берете отпуск, или доктор Рид станет мистером Ридом.

Ян задумался.

— А вы, Лори, считаете меня хорошим онкологом? — неожиданно спросил он.

— На мой взгляд, вы хороший онколог, неплохой организатор и даже сносный начальник. А вот кавалер из вас отвратительный: годами не появляетесь в регистратуре, а потом вдруг в пятницу вечером влетаете и признаетесь в любви.

— Какой ужас! Завтра же начну принимать больных в регистратуре, если вы так страдаете в мое отсутствие.

— Откровенно говоря, доктор Рид, забот и без вас хватает, — она выдержала многозначительную паузу и добавила: — Но если вы возьмете отпуск, я готова обсудить вашу тайную страсть.

— Спасибо, Лори, — сказал Ян, направляясь к выходу. — Я очень тронут. Возьму отпуск. Но и вы не задерживайтесь, пятница как-никак.

Он распахнул двери клиники и шагнул в вечерний Пало-Алто. Солнце уже почти закатилось за темную гряду холмов, ограждающих Силиконовую долину от зябких океанских туманов. Голубые сумерки быстро густели. Ночь обещала быть чистой и прохладной. На меркнушем небе загорались первые звезды, а за ними с академической синхронностью зажигались роскошные витрины, изысканные рестораны наполняли центр города упоительными запахами всех кухонь мира — от перуанской до тайской. Официанты выкатывали массивные, похожие на гигантские грибы газовые горелки прямо на центральную улицу и расставляли их вдоль тротуара. Черные пары, белые рубашки и красные галстуки, населявшие деловой квартал несколько часов назад, сменились пестрыми свитерами и протертыми по последней моде джинсами, а кое-где вечерними платьями, кожаными куртками и весьма редкими фраками: университетская мода не жаловала дресс-код. Винные залы быстро заполнялись возбужденными посетителями, за столики уже шла борьба. Где-то Паваротти пел неаполитанские песни, где-то танцевали.

Доктор Рид проголодался. Коробку бубликов, оставленную неизвестным благодетелем в ординаторской, расхватили за полчаса. Яну достались лишь жалкие полбублика и немного сыра — весь его дневной рацион. И все же он был рад погрузиться в гудящий водоворот пестрой толпы, заполнившей вечерний Пало-Алто. Ему нравилось слышать ее веселый гул, мимоходом читать обрывки афиш, с энтузиазмом махать руками, заметив знакомое лицо. Сумерки, словно театральное фойе перед спектаклем, несли в себе предчувствие чего-то праздничного, загадочного.

Ян любил этот маленький цветущий город: здесь все качественно, добротно, недорого — от мебельных салонов до матовых айфонов. Даже магазины нижнего белья с фотографиями красоток в кружевных трусиках смотрелись... почти не пошло.

Неширокие улицы приглашали побродить мимо старых викторианских домов, спрятавшихся в тени пышных садов, посидеть в уютных кафе, потягивая из крохотных чашечек терпкий эспрессо, поглазеть на фешенебельные витрины — роскошные, но некричащие, безукоризненно оформленные в современном стиле.

Пало-Алто — его город, населенный довольными, благополучными людьми, преуспевающими в своей области, как и он в своей, позволяющими себе одеваться в мод-

ных магазинах, обедать в дорогих ресторанах. Люди его круга — врачи, юристы, бизнесмены — цвет среднего класса Америки. Образованные, умные, энергичные, именно поэтому преуспевающие.

В ресторане было тихо и малоллюдно. В синем полумраке убаюкивающе играла бамбуковая флейта, мимо столиков неслышно скользили миниатюрные официантки в голубых кимоно. С наслаждением скинув обувь, Ян опустил уставшие ноги на теплый татами, заказал суши и погрузился в изучение винной карты. Очень хотелось выпить, но предстояло дежурство... Он с завистью оглядел счастливых, бессовестно смакующих горячий саке из теплых графинов. Утешившись тем, что печень у этих несчастных скоро откажет, Ян перевел взор в сторону кухни. Из дверей выплыло покрытое чудесами японской кулинарии долгожданное блюдо и плавно приземлилось на столик. Голодный, усталый доктор Рид приступил наконец к заслуженному ужину.

«А почему бы Лори и не считать меня хорошим онкологом? — думал он. — В конце концов, это доктор Рид создал пусть небольшую, но популярную практику в престижном районе Калифорнии, рядом с одной из лучших медицинских школ Америки!»

Уровень ремиссии у него на шесть процентов превышает среднестатистический по штату. Шанс выжить у его пациентов на шесть процентов больше, чем в других клиниках, в большинстве других клиник! С ним считаются в Стэнфорде. Он пишет статьи в журналы — нечасто, но если требуется мнение практика-профессионала, обращаются к нему, знающему и опытному врачу.

Смерть Большакова — несчастный случай, только и всего. Повседневная практика насчитывает десятки, сотни подобных сценариев. Они неизбежны, как естественный отбор.

Внезапно зазвонил телефон. «Начинается!» — Ян вздрогнул и обреченно полез за мобильником в карман. К его великой радости, в трубке раздался голос Фреда.

— Ян?

— Фред! Дружище!

— Ян... Я не приеду, — произнес Фред, явно чем-то огорченный.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

— Объясни толком!

Фред молчал. После долгой паузы Ян заговорил своим самым спокойным и размеренным тоном, которым он обращался к больным в критических ситуациях:

— Дружище, в чем дело? Ты же знаешь, я никому-никогда-ничего.

Тот помедлил, вздохнул и начал рассказывать:

— Я только что был у адвоката... понимаешь, молодая женщина с запущенным язвенным колитом. Месяцами уговаривал ее лечь на операцию. Она ни в какую. В результате острое внутрикишечное кровотечение. Я ее госпитализирую, торчу в клинике всю ночь, наконец стабилизирую ее состояние и только под утро еду домой. Не успел забраться в душ — звонят из клиники: ее нашли мертвой в уборной.

Фред замолчал.

— Тромб?

— Ну да. Перекрыв легочную артерию. Двух часов не прошло, как я из клиники уехал. Чертова эмболия!

— Сколько ей было?

— Около тридцати. Осталось двое сирот. Родственники подали в суд... Извини, на ужин не приду, не до застолий.

— Фред, успокойся, ты все равно ничего не мог бы сделать. Эмболию при остром кишечном кровотечении ни диагностировать, ни контролировать невозможно. Ты не виноват — любой юрист тебе это подтвердит.

— Врач всегда виноват. Недосмотрел, не убедил, не настоял. Объяснял ведь дуре: ложись на операцию. Была бы жива-здоровая. Так нет, уперлась... Я и с мужем ее говорил — все без толку!

— Ну, Фред, этак и в психушку угодить недолго. Откуда ты мог знать, что у нее оторвется тромб? Да если бы и знал, что бы сделал? Ждал бы, пока кровотечение само остановится?! Посмотри статистику. Такое случается сплошь и рядом...

— Не будем спорить, — раздраженно прервал его Фред, — не в статистике дело.

— Прости, дружище, — Ян сбавил тон, — не хотел тебя обидеть. Давай я к тебе еду, суши привезу?

— Нет, Ян, спасибо, кусок в горло не лезет. Я позвоню на неделе. Этот разговор строго между нами.

— Ну конечно, Фред. Конечно, между нами. Дружище, не принимай близко к сердцу. У тебя семья, пациенты...

— Хорошо, понял... У меня другая линия... До встречи.

«До встречи», — хотел сказать Ян, но не успел: в телефоне зазвучали короткие гудки. Ян захлопнул телефон. Некоторое время он сидел неподвижно, уставившись в окно, за которым веселилась университетская публика, потом пожал плечами и вернулся к ужину.

«Блаженный какой-то этот Фред! — думал Ян, безо всякого аппетита дожевывая суши. — Врач всегда виноват! Нелепость! Да практически никогда врач не виновен в смерти пациента — грубая халатность нам не свойственна. Конечно, есть специалисты, которых нужно гнать из медицины. Но Фред к ним не относится. Он все сделал абсолютно правильно... и вот его тянут в суд, а он переживает, считает себя виноватым!»

Ян не стал доедать. Расплатился, выбрался наружу. Заложив руки в карманы, медленно пошел в сторону университета. Подвыпившая публика, до отказа заполнившая питейные заведения, бесшумно двигалась за широкими окнами, словно рыбы в аквариуме.

С заходом солнца сильно похолодало. На город легла густая калифорнийская ночь. Но на улицах было светло — Пало-Алто включил все свои огни, чтобы темнота не мешала всеобщему веселью. Смех, громкие возгласы, раскаты рок-н-ролла, яростные гудки машин, сражающихся за случайную парковку, — все это внезапно закружилось, зашумело и выплеснулось на центральную улицу — нечто среднее между карнавальным шествием и стихийным бедствием.

Внезапно появился отряд приземистых мексиканцев в традиционных костюмах. Отвоевав маленькую площадку перед пиццерией, они быстро сгрузили на нее целый арсенал музыкальных инструментов и начали вооружаться гитарами, скрипками и огромными, закрученными в спираль трубами. Один из них, в громадном сомбреро, вероятно солист, схватил пузатый микрофон и заорал во всю мощь могучей глотки: «Mi amor me dejo».

От неожиданности Ян вздрогнул, юркнул в боковую улочку и быстро зашагал прочь от центра, не дожидаясь, когда смуглые музыканты ударят по струнам, трубы заревут и его накроет взрывная волна удалого «mariachi».

Через пару кварталов глухой шум ночного веселья остался в далеком, ярко освещенном, нереальном мире. Огромные магнолии, стоящие на страже вдоль тротуара, надежно защищали темные сады и дремлющие среди них безмолвные домики.

С каждым шагом погружаясь в тишину ночи, Ян вернулся к своим мыслям. «Фред не прав. У хороших врачей обязательно бывают неудачи. Это посредственность никогда не ошибается, а настоящий мастер, спасая жизнь, идет на риск, порой огромный. Но когда пациент умирает, все тут же обвиняют онколога, тащат в суды, как будто

нам наплевать на своих больных. Между прочим, естественно, что люди умирают. И как ни странно, больные чаще, чем здоровые! Задача медика — помочь человеку бороться с болезнью, не более. Медицина способна продлить жизнь, но гарантии исцеления дать не может. Например, Большаков. Мальчишка чудом протянул лишний год. И это уже огромный успех!»

Неходжкинская лимфома в четвертой стадии практически неизлечима, даже если болезнь удастся диагностировать значительно раньше, чем у этого ребенка. Томографические снимки были совсем неважные — три, от силы четыре месяца жизни.

Они пришли к нему сразу после Рождества — Петя и его мать, оба ярко-рыжие, долговязые, нескладные, с длинными руками и синими испуганными глазами на веснушчатых лицах. Даже коричневая обувь на их непомерно больших ступнях казалась одного фасона. Они вполне могли вызвать улыбку, если бы не изможденный вид мальчика, от которого только и оставалось, что пара глаз на осунувшемся лице и огромные уши, торчащие из рыжих волос. Что он не жилец, было видно и без томографа.

Никто из коллег Яна не взялся бы лечить лимфому в таком состоянии — колоссальные риски при нулевых шансах. Морфий, детский хоспис и психолог для родителей — все, что сделал бы другой онколог. Все, что мог бы сделать!

А Ян попытался. Он по наитию выбрал режим химиотерапии и начал лечение, хотя надежды практически не оставалось.

Прошло три месяца. Большаков мужественно боролся с болезнью, цепко удерживая каждый день, каждый час жизни.

Они всегда приходили к Яну вдвоем, в своих неизменных коричневых ботинках. Мать виновато улыбалась, а Петя, серьезно сдвинув брови, жал ему руку и на стандартный вопрос о самочувствии отвечал, что ему лучше. После осмотра они внимательно выслушивали Яна и покорно шли на процедуру. Петя ложился в кресло, а она тихо читала ему из красной книги, время от времени очерчивая над ним широкий греческий крест.

Ян постепенно проникся к ним симпатией. Он прекрасно понимал, как тяжело мальчишке, как переживает его мать, но не замечал в них ни раздражения, ни капризов, ни растерянности: Большаковы словно знали, что делать, и исполняли это собранно и внимательно, как два альпиниста в связке, упорно поднимающиеся по вертикальной скале.

Закончился курс интенсивной терапии, начался следующий... Результаты анализов вдруг начали улучшаться, раковые метки устойчиво поползли вниз — мальчик выкарабкивался. В его синих глазах зажглась жизнь, на вопрос о самочувствии он уже широко улыбался.

В конце марта Петя пришел в офис с булочкой, испеченной в форме птицы.

— Что это? — удивился Ян.

— Жаворонок!

— Жаворонок? Жаворонок?! — заинтригованный Ян покрутил хлебец в руке, а потом осторожно откусил кусочек. Должно быть, у него был весьма озадаченный вид, потому что Петя неожиданно засмеялся и выкрикнул: «Жаворонки прилетели!»

Боже, как фантастично звучал детский смех в онкологическом кабинете. Ян поднял глаза на мать — она с обожанием и надеждой смотрела на сына. Ребенок выживает. Непременно.

Действительно, пересадка костного мозга прошла на редкость гладко, томографическое сканирование не обнаружило метастазов. После девяти месяцев лечения ремиссия, возможно полная, очевидна. Если это не успех, что же тогда успех?!

Он остановился на перекрестке: «Опять я думаю о работе! Я же обещал себе прекратить! Мне не нужно оправдываться! Большаков — не поражение, а победа».

Из темноты выплыл силуэт массивного дома в два этажа. Через тяжелую стеклянную дверь виднелась широкая прихожая. Отделанная мрамором, она освещалась громадной бронзовой люстрой, казалось, едва державшейся на потолке. Прихожая вела в домашний кинозал, где мерцала плазменная панель размером с фреску Сикейроса. Шла реклама жвачки с арбузным вкусом. Герой нежно, но настойчиво закладывал в рот героини один пакетик за другим, они оба окрашивались в розовые тона. Жвачка сменилась вечерней комедией. Комедия — президентскими палатами, где милый, скромный, необыкновенно искренний мистер Буш аккуратно открывал и закрывал ротик под аплодисменты невидимой аудитории. Однако политика не интересовала владельца телевизора — фигура президента сменилась взрывами, падающими с обрыва машинами и растерзанными человеческими телами, которые, в свою очередь, уступили экран рекламе кетчупа.

С трудом оторвав взгляд от стеклянных дверей, Ян отвернулся.

«Какого черта я пялюсь в этот ящик? — он перешел на другую сторону улицы. — И какой кретин позволил этим богатым с... детям строить эти уродливые здания в центре Пало-Алто?!»

Было темно и пустынно. Желтые фонари едва освещали названия улиц. Ветви вековых магнолий, словно цепкие старушечьи руки, загораживали ночное небо. Роскошные особняки интернетовских магнатов гордо возвышались между скромными домиками профессорского состава.

Ян вспомнил теплое октябрьское утро накануне заключительной процедуры, когда все, даже череда зеленых светофоров, как по команде пропускавших его автомобиль на каждом перекрестке, предвещало безоблачный день, наполненный обыденной суетой и тихим удовлетворением от того, что долгая и сложная работа, слава богу, закончена и еще одна история болезни будет закрыта, убрана в картонную коробку и забыта через пару лет.

Свободная парковка в тот день нашлась всего в квартале от центра Пастера. Ян не спеша прогулялся до клиники, пококетничал с милейшей девочкой-радиологом, выпил отменный кофе и наконец добрался до приемной, где его ждали Петя с матерью.

Он с удивлением заметил выражение испуга на их лицах. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. Не получив ответа, Ян долго объяснял, что терапия трексалином — одна из самых безопасных онкологических процедур, что бояться ее не следует, что на его памяти от нее никто не пострадал, и главное... Это их последняя процедура, которая значительно увеличит вероятность ремиссии на следующие пять лет! Налет отчужденности начал сходить с лица женщины, но мальчик продолжал напряженно молчать. Тогда Ян присел рядом и, мягко взяв его за плечи, сказал: «Не бойся укола, это совсем не больно. Я все время буду рядом с тобой. Ты мне веришь?» Петя отвел глаза и кивнул в ответ, так и не проронив ни слова.

Потом были покрытые пятнами детские руки, судорожно вцепившиеся в подлокотники кресла, пронзительный вой сирены и короткие, быстрые движения реаниматоров, склонившихся над задыхающимся ребенком. Ян спиной чувствовал присутствие Большаковой, чье безнадежное молчание нависло над ним каменной стеной. Не найдя в себе мужества обернуться к ней, он украдкой позвал одного из ассистентов и попросил вывести Большакову. Та вышла без сопротивления.

Ян машинально взмахнул рукой, отгоняя воспоминания: «Большаков проходил стандартную процедуру. Терапия трексалином предписана в обязательном порядке. Не назначить препарат было бы непрофессионально... и подсудно! Даже при возмож-

ной аллергии потенциальная польза от трексалина на порядок превышает риски его применения. Литература полна позитивных клинических отчетов, любой онколог на моем месте поступил бы так же».

Литература... Случаи аллергии на препарат были известны, но весьма немногочисленны. Яну смутно помнилось, что в каком-то журнале упоминалась острая печеночная недостаточность, вызванная трексалином, но точно не ДВС-синдром.

Прошел месяц после смерти Большакова. Доктор Рид проводил семинар в Стэнфорде и, пользуясь случаем, зашел в университетскую библиотеку — «American Practitioner» наконец-то опубликовал его заметку о диагностировании ранней саркомы. Журнал лежал верхним в стопке, еще никем не востребованный. Ян без удовольствия открыл зеленую гладкую обложку, нашел свою страницу и мельком просмотрел хорошо знакомый текст. Вторая публикация в этом году — неплохо!

Отложив свежий октябрьский номер и взяв июльский, доктор Рид лениво перелистывал журнал, как вдруг увидел заголовок «Клиническое тестирование на гиперчувствительность к трексалину». Сбросив сумку, Ян сел и внимательно прочел статью. Это был клинический отчет об исследованиях, проведенных в штате Айова год назад. Айова?! Какие исследования в Айове?!

Первоначально методика тестирования публиковалась в онкологических листках графства, затем предложена к применению в клиниках штата — где клиники, в Айове?! Затем методикой заинтересовался «American Practitioner», уже на национальном уровне. Методика не гарантировала стопроцентный результат, но семьдесят процентов аллергиков на трексалин выявляла. Большакова можно было протестировать на реактивность к его последнему лекарству, оказавшемуся смертельным.

...Промчавшийся мимо «мерседес» внезапно ослепил его дальним светом. «Пьяный кретин!» — придя в себя, Ян ругнулся и нервно зашагал обратно к центру.

«Невозможно уследить за всей онкологической периодикой, тем более в неспециальных журналах. Есть куда более важные вещи, чем клинические испытания в штате Айова, — зло бормотал доктор Рид. — Если в Индонезии вдруг изобретут методику — разве я должен знать об этом на следующее утро? Шестимесячная публикация — смешно! Большинство врачей знакомы в лучшем случае с материалами годичной давности. Допустим, я не прописал бы трексалин — ребенок все равно умер бы. Не от аллергии, так от рака. В чем разница?! И кто сказал, что это тестирование работает? Эскулапы из Айовы?! Пока методика не проверена практикой, цена ей ноль. Ноль! Нужно время, чтобы накопить факты, провести серьезный клинический анализ. Не один и не два врача, а вся медицинская общественность должна сформировать мнение, проверить на практике, и только тогда можно применять. Не давать препарат на основании сомнительных результатов вдвойне опасно. Если больной умрет от рака, потому что врач испугался возможной аллергии... что тогда? Что тогда!.. Эти публикации хороши только с... детям — адвокатам, охотникам за честными врачами!»

Ян шел быстро, почти бежал. Он не заметил, как оказался на центральной улице в эпицентре ночного гулянья. После сумрака боковых переулков обилие искусственного света резануло глаза. Несмотря на поздний час, все заведения были открыты. Магазины и галереи заполняли неиссякаемые посетители, которым через силу улыбались смертельно уставшие продавцы. Закончился вечерний сеанс, из кинотеатра хлынул поток зрителей, пованивавших попкорном. Ресторанные запахи, перемешанные с табачным дымом, вызывали тошноту. Из дверей кабака доносилась музыка, назойливая, как армейский барабан. Рядом толпилась курящая молодежь, слышалась примитивная ругань.

Ян поспешил отойти, мимоходом поглядел на витрину. В ней отразились воспаленные глаза на усталом лице, растерянном и озлобленном, какое он часто видел у раковых больных, потерявших надежду. Перевел взгляд и наткнулся на рекламу похотливой фотомодели, водрузившей задницу на блестящий капот спортивного автомобиля. С отвращением отвернулся.

Он стоял посреди тротуара. Мимо него победоносно шествовал цвет среднего класса Америки: преуспевающие профессионалы — врачи, юристы, бизнесмены — холерные и благополучные, имеющие возможность тратить деньги в свое удовольствие.

— Сытые кретины, — буркнул доктор, направляясь в сторону итальянского ресторана. Пинком открыв дверь, зашел внутрь, и, не ответив на приветствие швейцара, плюхнулся на высокий стул за стойкой.

— Что желаете? — спросил потный, с рыбьими глазками, бармен, подозрительно его осмотрев.

— Виски, — выдохнул Ян и после некоторых колебаний добавил: — Двойной.

Бармен лениво нацедил ему шотландского и занялся другими посетителями. Доктор Рид вновь погрузился в свои мысли.

«Странно, что Большаковы так и не подали на меня в суд. Шансы у них определенно были. Возможно, им это просто в голову не пришло. Как я слышал, русские не любят судиться. Да и какая разница: засудят, не засудят. Не боюсь я этих стряпчих... Черт бы побрал всю эту историю с публикациями, адвокатами и судами, вместе взятыми! В задницу онкологию — стану терапевтом!»

Он залпом выпил виски, потребовал еще. Бармен замешкался.

«Послушай, доктор Рид, — обратился он к себе, нервно катая пузатую рюмку по стойке в ожидании повторной дозы. — Перестань ныть и валять дурака. Ты хороший врач. Ты хороший онколог. Тебе не в чем оправдываться, ты ни в чем не виноват. Соберись».

Увы, верилось слабо — внутри сломался важный и сложный адаптивный механизм, который уговорами не починить. Ян достал телефон, набрал номер Лори.

— Лори, добрый вечер.

— Здравствуйте, доктор Рид. Слушаю вас.

— Прошу прощения за поздний звонок. Надеюсь, я никого не разбудил?

— Все в порядке. Вы хотели поговорить о любви?

— Нет, нет... То есть да, конечно... — Ян запнулся, потом выпалил: — Лори, вы помните Петра Большакова? Умер в университетском госпитале полгода назад.

— Помню. Аллергический шок, повлекший ДВС-синдром. Смерть наступила в течение часа.

— Да, так и было... Где он похоронен, Лори?

— В Колме, на сербском кладбище.

— В Колме?!

— Да, на сербском кладбище в Колме.

— Откуда вы знаете?

— Из похоронного бюро приходило приглашение на похороны.

Ян подавленно молчал: о приглашении он знал, но предпочел забыть.

— Вам нужен адрес, доктор Рид? — участливо спросила Лори.

— Буду очень признателен. И вот еще что...

— Слушаю.

— Как мне найти его могилу?

— Я все узнаю и перезвоню завтра утром.

— Буду вам очень благодарен, Лори.

— Не волнуйтесь, доктор Рид. Все сделаю.

— Спасибо.

Разговор с Лори подействовал на Яна успокоительно. Она разыщет нужную информацию, можно не беспокоиться. После слабой попытки уговорить себя перестать пить и тихо удалиться он сдался и заказал еще рюмку. Перевалило за десять вечера, пора бы перестать бесконечно переживать историю смерти Большакова.

Медленно шагая к машине, доктор Рид с тоской вспомнил про телефонное дежурство до полуночи. К счастью, мобильник мирно молчал. «Господи, поспать бы часов шесть».

* * *

Звонок Лори вытащил сонного Яна из постели. Голова гудела после вчерашних возлияний. С третьей попытки ей удалось объяснить, как доехать до кладбища и найти там администратора, который покажет могилу Большакова. Затем он долго смотрел на клочок испанной бумаги, тяжело соображая, что делать дальше. Наконец собравшись, загнал себя под душ, проглотил двойную порцию двойного эспresso и отправился в Колму.

Колма оказалась туманным хмурым городом, где, по-видимому, селились только покойники, включая домашних животных, из Сан-Франциско и окрестностей. По мере того как автомобиль медленно взбирался в гору, Ян насчитал с десяток кладбищ.

Сербское начиналось за каменотесной мастерской. Крошечный газон перед ним был заставлен надгробными памятниками — от скромных крестов до мраморных ангелов в человеческий рост. Ян свернул на узкую дорогу с ровными рядами могил по обе стороны. Припарковал машину, вышел и осмотрелся. Тяжелый белый туман медленно полз вниз, застилая вид на серый залив, заглушая шуршание случайных автомобилей, изредка проносащихся мимо кладбища. Лишь столетние эвкалипты тихо шелестели узкими листьями, медленно покачиваясь вслед холодному ветру, упорно дующему с лысых холмов.

Административное здание оказалось старым сараем, где он обнаружил старушку, пьющую чай у русского самовара. Ян спросил, как найти могилу АТ-5690. Прервав чаепитие, женщина с трудом поднялась и повела его к белой часовне. Потом устало махнула рукой в сторону маленькой группы людей.

Ян подошел поближе. Среди обступивших могилу он знал только мать Большакова. Почувствовал неловкость, однако присоединился к поминальной службе. Русский священник кадил перед крестом, с которого на него смотрел смеющийся Петя, — на фотографии ему было не больше пяти лет.

Счастливый, абсолютно здоровый мальчик улыбался Яну с массивного серого креста, выросшего из гранитной плиты. Ян никогда не видел Петю здоровым. Он помнил его очень больным, потом с трудом выздоравливавшим, потом умиравшим... и мертвым. Эх, малыш, малыш! То, что казалось безусловной победой, обернулось полным поражением.

Русские выводили грустную мелодию. Доктор не понимал ни слова. Вчерашний виски шумел в голове, промозглый, влажный ветер немилосердно продувал куртку. Присутствие других людей у могилы сильно раздражало. Хотелось поговорить с Петей один на один, без свидетелей. Объяснить, что в его смерти он не виноват, указать на другие обстоятельства, причины, которые тоже нужно принять во внимание.

«Любая процедура в онкологии крайне рискованна, она может окончиться трагически, и этот риск оправдан, на него идут ради спасения безнадежно больных, —

обращался доктор Рид к Петру. — Онкология — это игра, которую выиграть удастся, увы, нечасто, особенно в педиатрии».

Ян всматривался в фотографию маленького счастливого Пети. Он знал, что мальчик с ним согласится, ведь он не был онкологом, не читал клинических отчетов. Доверчивый ребенок, который без жалоб исполнял каждое требование врача, понимая, что они вместе воюют с раком, а капризы на войне неуместны.

Служба подошла к концу. Кладбище затихло. Поцеловав крест, священник погасил кадило и медленно побрел к машине, за ним потянулись остальные. У могилы остались доктор и Большакова.

— Елена, — Ян все еще помнил ее имя, — я очень сожалею. Поверьте, очень.

— Спасибо, доктор, — она замялась, подняла заплаканные глаза. — Как вы узнали о панихиде?

— От вас пришло письмо в офис. Недоразумение, конечно... Вы позволите?

Присев рядом с крестом, он прикоснулся к холодному надгробию. Под этим камнем лежал Петр Большаков, чью жизнь он сначала с таким трудом вытянул из могилы, а потом так небрежно позволил ей выскользнуть обратно: «Прости меня, Петя. Прости, малыш. Ты мог бы жить... Должен был жить. Это моя вина, моя ошибка. Это я виноват в твоей смерти».

Ян медленно встал, повернулся к Большаковой.

— Елена... — образовалась пауза, он не знал, как продолжить. Слова не клеились.

— Что?

— Я хотел... хочу вам сказать... Смерть Петра для меня большая потеря. Я очень сожалею, что его нет с нами. Как его врач... Как его друг.

Женщина бросила на Яна удивленный взгляд.

— Друг?

— Я мог бы действовать более осторожно. Появилась новая методика тестирования на аллергию к трексалину. Я мог бы его проверить, подобрать другой препарат. Петина гибель не была неизбежной.

— Ночью, накануне смерти, Петя вдруг проснулся и позвал меня: «Мама, я завтра умру». Я его обняла и говорю: «Петенька, ты не умрешь, ты уже выздоровел». А он: «Нет, мама, ко мне пришли двое и сказали, что заберут меня завтра». — «Петенька, какие двое?» — «Не знаю. Двое... Они были одеты в свет».

Она осеклась и замолчала — ее душили слезы.

— Вы не виноваты, доктор. Вы ничего не могли сделать. Бог взял Петеньку. Бог дал, Бог взял. Мой мальчик....

Большакова разрыдалась. Ян осторожно взял ее под руку и усадил на могильную плиту. Она плакала о сыне — без ропота, без обиды. Ян молча стоял рядом. Он понимал, что говорить сейчас не стоит. Надо дать ей выплакаться, потом перевести разговор на другую тему. Расспросить о службе, священнике, похвалить хор. Хорошо, что рядом оказался врач, иначе она прорыдала бы на кладбище весь день.

За Петиной могилой поднимался целый лес крестов: одни с едва различимыми, выцветшими буквами жили здесь десятилетиями, другие казались поставленными только вчера. Каждый нес на себе имя владельца и дату смерти. Столько судебных закончилось здесь, некоторые длиной в век, а другие совсем короткие, как у Пети.

«Кладбище маленькое, а всех сожрало. Никому не тесно... Чертова смерть!» — Ян чувствовал, как внутри закипает тяжелая, мутная, рвущаяся на поверхность ярость. Пришлось напрячь все силы, чтобы ее не выплеснуть. Его лицо на мгновение изменилось. Большакова это заметила, встала и горячо заговорила:

— А я не верю в смерть! Петя жив! Я умру, и вы, доктор, умрете, и мы встретимся и уже не расстанемся. Бог, он всех Бог — и живых, и мертвых. И любит он нас и таких, и таких. Всегда! Как я Петю. Вы понимаете, о чем я, доктор.

Ян кивнул. Хорошо, если так. Хорошо, если есть неучтенная медициной инстанция, которая может исправлять ошибки врачей... Пусть и за порогом смерти.

Стало тихо и прохладно. Безмолвные ряды могил уже не вызывали гнева. Даже назойливое чувство вины исчезло — осталась лишь глубокая, как память, печаль. Он смотрел на широкий залив, затянутый у берегов туманом. Редкие облака медленно плыли по низкому небу, задевая голые вершины красных холмов. Грузные серые самолеты один за другим опускались в чашу аэропорта Сан-Франциско.

Ему захотелось улететь подальше из суетливой Силиконовой долины, от этой чертовой онкологии, от своих умирающих и умерших больных. Улететь куда угодно, хоть в Айову, где не нужно публиковаться и читать лекции в Стэнфорде. Где достаточно быть просто врачом... пусть даже терапевтом.

Доктор Рид обернулся. Большакова сидела напротив Петиной фотографии и беззвучно плакала. Он сел рядом и осторожно ее обнял.

ГОЛУБОЙ ЕДИНОРОГ

Разве жили в Нью-Йорке люди, разнящиеся сильнее Василия Яковлевича и Федора Афанасьевича? Первый юркий, тощий, как глиста на диете, неутомимый, ему чекушку водки что кефирчика глотнуть. Второй высокий, грузный, пролет лестничный с трудом одолеет. Один картины пишет, лодки из дерева точит, ручищи у него что клещи — хошь топор туда вставь, хошь зубило — все к месту, все умеют: и вырубить, и вытесать, и фаску снять. Другой карандаш не всегда удержит, а если удержит, то тетрадь испишет, восхваляя подвиги русских кадетов в эмиграции. Первый рода черного, крестьянского, а что ни напялит, ватник или фрак, — ну аристократ, вылитый граф, все сидит как с иголочки, бабы к нему липнут, не отбиться. Другой — из благородных, но уж больно потрепанных: пиджак мешком висит, штаны мятые, борода нечесаная, к тому же однолюб — в жены взял девицу Шаховскую, а та его прогнала.

Никто из старых эмигрантов бедного Федора Афанасьевича ютить не желал, хотя знали о его голубых кровях и заслугах из описания подвигов кадетского корпуса. Только одна милосердная душа нашлась. Поселил его в своей мастерской вышеупомянутый Василий Яковлевич Митников, знаменитый художник, прибывший с диссидентской помпой в Нью-Йорк в начале восьмидесятых.

— Живи, — сказал Митников, — бабу найдешь — съедешь.

— Бабу? — горько посетовал Федор Афанасьевич. — В крематорий бы не съехать.

— На крематорий наложим мораторий, — утешил его ласковый хозяин, — а ты, Федь, кто?

— Был историком, потом бухгалтером, а нынче... — Федора Афанасьевича передернуло, — нынче вот бездомный. Жена, с..., замки в дверях поменяла. Пришел с работы, в дом не зайти.

— Бабы — гадюки, — понимающе кивнул Василий Яковлевич. — Как первая со змеем поякшалась, так поныне они ядом сочатся.

Из чувства великой мужской солидарности обнял Митников Федора Афанасьевича за сутулые плечи.

— Не плачь, Федусенька, — сказал участливо, уводя страдальца в глубины мастерской, — отольются им наши слезы, мучения наши. А вот, гляди, комнатусечка твоя.

Здесь, правда, всякая мутня хранится — холсты, краски, зато живи сколько хошь. Матрац ща бросим — отдыхай, набирайся сил.

Очень был благодарен Федор Афанасьевич за такую доброту, поелику приходила ему уже не раз искуссительная мысль дойти до моста через Гудзон и напрямик головой в реку. Но Митников, душа-человек, гостя своего кормил, поил и всячески бодрил, называя ласково то Феденькой, то Федечкой, а порой и вовсе Федусиком. И что ж? Ожил со временем Федор Афанасьевич: отдохнул в кладовке недельку-другую, раны зализал, в себя пришел, даже на работу ходить начал. А еще стал к миру искусства приобщаться — куда денешься, ежели в мастерской художника живешь.

Хотя, положа руку на сердце, не нравились ему знаменитые картины Митникова, от которых в американском посольстве писали таким крутым кипятком, что на Лубянке канализационные трубы лопались. Все полотна казались склеены на один манер.

Кремль. Толстая кольцевая стена, наштукатуренная так, что кажется, еще мастерок набрось — и вся известь вниз повалится. Внутри стены прут вверх аляповатые купола, вроде нарядные и красивые, но уж очень мухоморы напоминают. Бурая звезда висит на Спасской башне, точно пакля на заборе. Небо серое, грязное, и оттуда черной смолой стекают стаи жирных ворон; крестов не видно, столько их. В центре полотна непременно ухмыляется крысиной мордочкой сам творец, художник-диссидент Митников, в рваной маечке или без оной, но обязательно выставив наружу голые грязные ступни-ласты. Вокруг Кремля, аккуратно вровень с босыми ногами Митникова, течет, бурлит и выплескивается на Красную площадь пестрая каша из советских людишек: кто в ватнике, кто в робе, кто в рыжей лисьей шапке. Вон бабуса в валенках распахивает толпу здоровенным холщовым мешком, мужик в синей дубленке топает, рыло тупое, сытое, затылок тройной, в руках важная кожаная папочка — не иначе, секретарь парткома. Модная розовая мадам в коричневых сапожках, заграничной курточке, накрашенная — макияж через холст проступает — держит на поводке рыжего кобеля. Ох и здоровая псина — шумерский лев: рычит, пасть разинул на глистообразную кошечку, ща проглотит. А та, не будь дура, прыг под ментовский мотоцикл.

Дрожат на морозе безликие солдатики, баба-вахтер в ватнике орет что-то ханурику на крыше Покровского собора. Как он туда забрался? Два драных алкашика оттаскивают кореша от Боровицких ворот, а напротив сонный бухарик хочет из рюмочной выйти, на Мавзолей полюбоваться, но вот незадача — прямо в дверях на пол стекает...

От души наливал Василий Яковлевич, всем места хватало, даже обалдевших от происходящего членов правительства — даже их щедро размазало по холсту митниковское варево. А уж с каким вдохновением выписывал он мордатых ментов в синих полубухках, так о том, наверное, знает только гоголевский кузнец Вакула, намалевавший такого черта, что нельзя было пройти мимо и не сплюнуть.

— Где ж ты таких мордovorотов нашел для своих полицейских? — спросил однажды Федор Афанасьевич. — От одного вида тошнит. Бабуины в форме.

— Ну, Федусь, сравнил, — присвистнул Митников, — советского мента и бабуина. Бабуин — это интеллигентный человек, договориться можно, а с ментом, брат, без вариантов.

— Знаешь, Вась, — не выдержал Федор Афанасьевич, — не нравятся мне твои батальные сцены на Красной площади. Какой-то безысходный, злой человеиник из кадра в кадр. Ты бы еще Ленина с жопой вместо лысины туда воткнул — вот был бы шедевр.

— Это, брат, соц-ефаризм, — доходчиво объяснил Митников, — по-другому не пишется. А Ленина я б воткнул, да не хотелось обратно в дурку.

* * *

Однажды, вернувшись со службы, Федор Афанасьевич обнаружил в мастерской важную английскую мадам с переводчицей. Сама длинная, сухая, морда лошадиная — вылитый Маккартни на пике карьеры. Мастерская, конечно, была порядком завалена всяким хламом, но Вася — князь, рассказывал в итальянской паре с красной кокетливой киской и производил впечатление светского льва, случайно забредшего в хлев вместо Версаля.

Оба с упоением рассматривали альбомы Васиных работ. Дама с пониманием кивала, роняя дорогие слова одобрения, но если на репродукции появлялась попа в поллиста, впадала в эстетический транс. «Fantastic, — восклицала она. — Sharply graphicall».

В творчестве Василия Яковлевича Митникова действительно проглядывала неудержимая тяга к изображению сего наиважнейшего места человеческого тела как центрального.

Федору эта тема мало нравилась, а вот английскую ценительницу приводила в восторг, чем Вася бесстыдно пользовался.

— Жопы — это современный квадрат Малевича, — вещал он, — агрессивная пластика гармонии плоти, десективизм, суперсексизм, assholatism. Свобода экспрессии, бунт самовыражения.

Бедняжка переводчица заикалась и постоянно ныряла в словарь. Однако на англичанку эта галиматья оказывала магическое воздействие: она даже умудрилась порозоветь, чем напавал сразила Федора Афанасьевича, поскольку уж очень напоминала египетскую мумию, которую видел он давеча в музее естественной истории.

«Что-то ему от этой воблы надо!» — смекнул Федя. А Вася, ну как мысли его прочел, резко повернулся и воскликнул выпрепне:

— Знакомьтесь, Федор Спиридонов. Узник совести, жертва карательной психиатрии, живописательный историк кадетского корпуса.

Тут Василий Яковлевич застыл в чрезвычайно драматической позе, устремив верхние конечности к Федору Афанасьевичу. Тот же, обессиленный борьбой с советской тиранией, уронил портфель на грязный пол, скорбно сдвинул брови и горестно воздел руки к серому в пятнах потолку. Переводчица затараторила. Английская мадам привстала в ожидании...

— Сейчас, — победно выкрикнул Митников, — он нарисует жопу сапожной щеткой.

Далее Василий Яковлевич произнес свою знаменитую фразу, которой частенько начинал занятия с дилетантами обоих полов:

— Эй ты, старый буй, бери щетку и рисуй.

Федор Афанасьевич не удивился: Митникова он изучил довольно и к его педагогическим приемам попривык. Послушно намешав краску в тазике, взял щетку, холст и принялся малевать розовый мячик с полоской посередине. Зато иностранная гостья, когда ей перевели Васин призыв, захихикала, что послужило Митникову сигналом к решительным действиям.

— Да разве ж это жопа? — возмутился он. — Вот как надо!

Выватив у Феде щетку, Митников начал лепить фрагмент женской фигуры. Из дымки холста вырастало осязаемое плотное тело, сквозь упругую молодую кожу просачивался матовый свет. Быстрые мазки щетки приводили в движение массы краски самых неуловимых оттенков. Словно волны, накатывались они друг на друга, поднимая из холста барельеф осязаемой плоти. Казалось, каждая щетинка играет свою

партию в этой симфонии цвета, повинуюсь командам сапожной щетки, как дирижерской палочки.

— F***ing impossible, — прошептала английская мадам.

Митников, казалось, только этого и ждал: обернувшись к гостье, он распахнул заляпанные краской руки и, протягивая ей сапожную щетку, возгласил с чудовищным акцентом:

— Come to me, miss Borg. Finish with me!

Завороженная мисс Борг подошла к холсту. Взяла щетку. Что-то человеческое, стыдливо женственное проснулось вдруг на чопорном лице великосветской мумии — у холста сидела вновь юная девушка, наслаждаясь давно забытой радостью созидания.

Через час картина была закончена. Митников снял полотно и вручил его мисс Борг вместе с рамкой.

— How much?

— Да ну, — Вася взмахнул рукой, — какие деньги? Сама ж нарисовала.

Мисс Борг поняла и неожиданно расплакалась.

— I want to say that I love him. In Russian, — обратилась она к переводчице.

— Я тебя люблю. — медленно проговорила переводчица, тщательно выделяя каждое слово.

— Вася, — сказала мисс Борг, не выпуская рамку из рук, — я тебя люблю.

Митников стоял напротив в безнадежно заляпанной итальянской паре и, довольного поблескивая своим хитрым крестьянским прищуром, оценивал добротный женский зад на холсте.

— Я голую бабу кого хошь рисовать научу, — сказал он так залихватски, что захотала вся компания, включая мисс Борг. Мог Вася порой так рубануть, что понимали его сразу, на любом языке, особенно женщины.

* * *

— Я сегодня протавляюсь, — сказал Вася, проводив дам, — знаешь, кто это?

— Ну?

— Арт-директор музея современного искусства.

— И?

— Теперь пойдут выставки, заказы. Деньжищи будем половником хлебать. Где здесь ресторан погрузинистей?

Василий Яковлевич желал кутить непременно в грузинском. Федор Афанасьевич знал два таких в Нью-Йорке: первый запомнился жирными тараканами, второй — жесточкой дрисней после юбилея Общества русских кадетов.

— Не надо в грузинский, — взмолился Федя, — поехали в греческий. Гитара, шашлык, а официантки — чистый мед.

— Ну раз мед... — великодушно согласился Вася, — поехали в греческий.

Не подвел ресторан. Все было здесь как-то душевно, по-гречески: и лысый, хромой хозяин, заверивший их, что не марала еще турецкая пята чистые плиты его заведения, и грубо намалеванный афинский Пантеон, среди колонн которого весталки в прозрачных туниках прятались от возбужденных сатиров, и суровые спартанские копьеносцы на противоположной стене, строго следящие, чтобы сатиры гостям не докучали. Пусть черноокие дщери Эллады ни спереди, ни тем более сзади художественной ценности не представляли и против русской бабы «есть полный нуль», зато густое вино «Гермес» блаженно вздыхало в тяжелых глиняных чашах, из-под тугих гитарных

струн лилась вязкая грусть, взывая к растроганным Васе и Федусику таким сердечным сиртаки, что и цыганский «Ай Ромалэ» позавидовал бы.

— Что же ты, Вася, все жопы рисуешь? — сетовал Федор Афанасьевич. — Нет чтобы благородную часть изобразить, а в попе какая художественность?

— Какая? А такая, жопа — это пластика, текстура, объем. Жопа — это, брат, живописная сила. А что до благородности... — хитрый митниковский глаз грозно сверкнул, — так ты скажи, Бог Адама с жопой сделал или без?

Федор Афанасьевич хлебнул красненького, призадумался.... Не получался Адам без задницы... не выходил.

— С жопой, — признал Федя с неохотой.

— Так-то, — поучительно сказал Митников, — у совершенного Адама — совершенная жопа. Бог лажу не гонит.

— Да ладно? Будто ты ему свечку держал.

— Держал не держал, а знаю, поелику я и есть бог.

— Ха, — возмутился Федор, — тогда и я бог.

— Именно. Кто творит, тот и творец.

— Ха. Да ты себя послушай за работой, матерком порой так и несет.

— И что? Думаешь, Бог не матерится?

— А что, матерится?

— Еще как. Лепишь, лепишь хорошего человека, а выходит Хрущ или Ягода, как тут не ругнуться. Кроет будь здоров, ангелы уши затыкают.

— Ты еретик. — вынес приговор Федор Афанасьевич.

— А ты, значит, папа римский? — ехидно поинтересовался Митников.

— Православный я, хоть и плохонький.

Митников захохотал переливчато, беззлобно, как только он один и умел.

— Поехали, столп веры, покажу Бога.

* * *

К удивлению Федора Афанасьевича, Митников послал таксиста обратно к мастерской. «Где он там Бога спрятал, — недоумевал Феодор, — вроде каждый угол знаком?» Но Вася отыскал в кипе холстов один, поставил его на мольберт и включил весь свет, какой был в помещении.

Федор подошел. Перед ним лежал бескрайний светлый луг. Цветы на том лугу летали, как бабочки: кружились, порхали, сверкали короткими росчерками молний. Травы казались сотканными из бурого, синего и белого да сплетенными столь ловко, что пышная, невесомая васильковая вязь покрывала весь луг и убегала к далекому, уже неразличимому горизонту, где влюбленная земля соединялась с беззаботным небом, где выплескивалось тучным, щедрым ливнем темно-голубое облако, спешившее зачем-то на правый берег холста, ломая широкие мазки белого света, посланные прозрачной твердью обогреть весь Божий мир. А с того далекого горизонта дул на Федусика удивительный ветер: и сильный, и нежный, и громкий, и беззвучный, такой, что точно знаешь: есть он, вот же дышит... а где, не скажешь, ладонью не коснешься. А какие диковинные мерцающие цветы, какие невесомые хрупкие лепестки, каких блестящих бабочек и стрекоз нес этот тихий ветер к центру холста, где смыкалась плоть дождя с полосами небесного света, где из шепота ветра, из переклички лепестков, из водоворота цветов, из высокой, по грудь, травы, из скорого перезвона дождевых капель, из самой сердцевины быстротечной радости рождался из жидкого воздуха голубой

единорог. Создан он был из немислимых оттенков белого, столь искусно слитых вместе, что виделся самым чистым, самым светлым, самым идеальным воплощением голубого. Погруженный в волнистые травы, словно в аметистовое море, мчался он вслед за облаком к кромке картины, и даже витой рог его стремился вперед, подобно стреле, летящей в мечту. Все было в движении, все несло вместе с единорогом к невидимой, но заветной цели, и только правый угол оставался неподвижным, освещая луг прозрачным покоем, за который шагни — и встретишь чудо.

— Смотри, — Митников показал на застывший свет в углу картины. — Там Бог.

Хрустнуло что-то в Фединой душе, словно встал на место смещенный позвонок, мучивший его всю жизнь. Есть красота, есть радость, есть Бог Митникова — не может человек написать голубого единорога, коли не дышит в нем надмирная гармония, коли не глаголет к нему Дух Творца.

«Да какого хрена я так печально живу, — ругал себя Федор Афанасьевич, — вот же голубой единорог, а я, дурак, страдаю. Да иди все на..., буду радоваться».

Стал с тех пор Федор Афанасьевич другим человеком: одеваться прилично начал, бриться регулярно, статьи публиковать в журнале «Путь кадета», даже на баб исподволь посматривать, хотя и с большой опаской. Нашел в Бостоне работу денежную и покинул гостеприимный Васин матрас, но ни Митникова, ни голубого единорога не забыл, поскольку нежно обоих полюбил, скучал, и как выпадала ему оказия в Нью-Йорк, непременно выпивали они в греческом ресторане с весталками, говорили про жизнь, а потом возвращались в мастерскую и долго изучали Васиные работы. Попы, разумеется, присутствовали, куда ж без них, но это Федю боле не смущало: понимал он, что дышит Дух, где хочет, и совсем без жопы единорога не изобразить.

Однажды в ноябре зашел он к Митникову — ключ от мастерской так на связке-то и висел. Хозяина не было, а стояло на мольберте большое полотно: лезет Вася на статую Свободы, небритый, лохматый, ухмылочка фирменная — крысиная, ступни-лапти грязнющие, маечка не первой свежести, джинсики драные, наклейка «Levi's» на всю задницу. Статуе Свободы приятно, аж порозовела от удовольствия — предвкушает, значит, а внизу, аккуратно под Васиной пятой, копошится народец: негры, латиносы, парочка англосаксов — глаженные брючки, рубашечки беленькие, розовые киски на бычьих шеях, а челюсти... бульдог позавидует. Танцуют хава нагилу евреи в черных котелках, пейсами потряхивают. Всех распахивая, прет шериф — рожа толстая, сытая, во рту сигара дымит, что твой дымоход. Кто-то ссыт, кто-то сосиски продает. А напротив Рейган с кафедры орет, его гнилыми томатами закидывают. Ну и, конечно, полицаи всюду. На вид люди приличные, но такой гомосятиной веет, что близко к холсту не подойти. Гадай, что лучше: советский мент или нью-йоркский пидор.

— Вот тебе и кап-ефаризм, — огорчился Федор, — разницы ноль. И зачем было из Москвы валить, шило на мыло менять?

Вася все не возвращался и не возвращался, а потому не мог утолить Федину любознательность. Ждал он, ждал, потом нашел голубого единорога, насмотрелся, напился его светом, покоем, дыханием Божьим и ушел, чтобы до полуночи в Бостон вернуться.

Через месяц — известие: умер Митников в День благодарения, аккуратно в три дня после Фединогo визита. Пришел вечерком домой после праздничной индюшки, лег на матрасик в кладовке и отдал Богу душу. Тело его отвезли в Москву, и остался Федусик круглым сиротой.

— Что ж ты, Вася, с..., умер? — крыл Федор Афанасьевич Митникова, трясясь в поезде по дороге в Нью-Йорк. — Хоть попрощался бы. Как жить-то? Ты все, а я? А мы?

Вышел на вокзале, взял такси и помчался в Васину мастерскую, может, не разграбили, может, хоть единорога оставили. Но нет — все растащили, только мусор валяется: тряпки, кровать поломанная, краски засохшие, драные холсты, тазик рисовальный, сапожные щетки... и матрас, на котором Федор Афанасьевич отдыхал, а Василий Яковлевич скончался. Ничего не сохранилось от Васи, разве ж только замызганный этот матрас, где скрывались еще остатки его запаха.

— Мля, Васька, с... — закричал Федусик, скорчившись от боли. — Умер, мля, не сказал!

Упал он на матрас, чтобы хоть запах Васин уловить, хоть какую часть Васи в себя вдохнуть. Долго шумел, поливая Митникова отборным матерком. Потом устал, замолчал — даже горе выдыхается.

Поднялся наконец Федор Афанасьевич, выбрал холст поцелее, поднял тюбики голубого и белого, порезал их, — внутри краска не засохла. Налил цвета в тазик, взял щетку и давай строить голубое небо, и белый свет, и поле, покрытое мягкой травой и цветами-бабочками, потому как обещал ему Митников, что ежели правильно написать мир, то обязательно задует с горизонта чудный ветер и в вихре белых лепестков принесет в центр полотна голубого единорога.

— Давай, старый буй, — сквозь слезы подбадривал себя Федусик, — бери щетку и рисуй.

СОН ИЗРАИЛЯ

Бог познаваем!
Но встретят Его лишь те,
кто с Ним готов повисеть
на буром от крови кресте.

Трибун Лидий Иосифу здравствовать!

О секте мессиан сведений собрать не удалось. Среди проданных в Египет сектантов не оказалось. Основатель секты — назорей, именуемый Иисусом, перед смертью предсказал разрушение Иерусалима. Полагаю, его адепты покинули Иудею в начале войны. Могу лишь сообщить, что в верхнем городе жил человек по имени Израил, которого многие подозревали в симпатиях к мессианам. Был он так стар, что помнил суд Пилата и распятие Иисуса. Мы пощадили его седины во время штурма. Но Флавий велел его казнить с не свойственной принцепсу жестокостью, чем сильно удивил царя Агриппу и Беренику.

(Источник: Иосиф Флавий, частная переписка)

Этот сон повторялся всю его нескончаемую жизнь. Жестокая память терзала новыми видениями, унося каждую ночь к бурому кресту на Голгофе, где Израиль и Яхве скрепили новый завет кровью Машиаха. Иногда всплывало забытое слово, иногда незамеченный рубец на теле жертвы, сладкая улыбка Каиафы, покрытый трещинами помост Претории, массивная печать прокуратора... Видения появлялись, исчезали, возникали снова, но это был все тот же сон, все тот же застывший во времени день, который всегда начинался у темного Гефсиманского сада, в ту единственную, страшную ночь накануне Песаха.

Среди людей, ожидавших мессию, мелькало немало знакомых лиц: слуги первосвященника, охрана Синедриона, учителя Галахи, фарисеи из школы Шаммая, храмовая челядь. Все были вооружены — копьями, ножами, вилами... столбами из изгороди, камнями из ограды. Трепет пламени выхватывал из мрака испуганные лица и желтые руки, судорожно сжимавшие дреколье. Он сам холодел от страха, представляя мечь Бога, которой ни человеку, ни народу не избежать. Наконец раздался ясный сильный голос пророка: «Иисуса Назорея ищите? Это я». Серая тень внезапно выплыла из мерцания факелов и скользнула вперед, чтобы поцеловать говорящего.

Он знал, ощущал всем существом, вплоть до нагих корней души, что совершается чудовищное, неслыханное безумие, но, зажатый в толпе, вместе со всеми стал красться к пленнику, медленно, согнувшись, почти на четвереньках, как зверь в стае, потом, осмелев и выпрямившись, побежал под торжествующий вой фарисеев, почувствовавших сладкий вкус мести.

Суд Синедриона длился вечность. Чреда лукавых свидетелей, молчание мессии, наконец, вопль Каиафы, более похожий на мольбу: «Ты ли Машиах, Сын Благословенного?!» Долгая, застывшая тишина, обрушенная коротким ответом: «Аз есмь». Каиафа, раздирающий одежды, согласный хор судей: «Достоин смерти!»

Он видел, как довольный первосвященник велел принести себе новое облачение, а на пленника посыпались удары и плевки. Чужая боль и унижение обжигали острее, чем если бы мучили его тело, и одновременно сердце заливалось странным, липким наслаждением: Бог отринул Своего пророка, теперь человеку позволено все!

Он отчетливо помнил двор Претории, белоснежную тогу на водянистом теле игемона, каждую складку на ткани, пурпурную скрепу на плече и даже незаметный кивок, которым Пилат велел вывести назорея на Гаваффу. Немногие выдерживают пытки преторианцев, но назвавшийся мессией выжил. Изодранное терновником лицо, красная от крови одежда, прилипшая к широким свежим шрамам от римской плети с шипами. Толпа завывала. Пилат поднял руку, требуя тишины...

Как часто бывает в снах, картины смешались. Белая стена тумана, ослепительная заря, перегруженная рыбацкая ладья, полная серебряной сверкающей трепещущей рыбы. Руки, руки, бесконечные руки, протянутые к корзине с хлебом. Оживший мертвец, закутанный в саван. Тихий голос учителя: «Да любите друг друга». Обнаженный ликующий Иерусалим, выплеснувшийся весь, без остатка, навстречу своему Царю, мечущий одежды ему под ноги.

Из темноты храма выплыл синий труп Иуды. Мертвые руки, швыряющие серебряники в лоснящиеся лица левитов. Визг гвоздей, впивающихся в деревянную плоть креста. Последний предсмертный хрип: «Жажду». Губка с уксусом, поднесенная к устам умирающего. Копье, пронзившее уже не дышащую грудь... кровь и вода, капающие из раны. Рыдания женщин, идущих по розовой борозде след в след. Многотысячный, восторженный, захлестывающий Иерусалим рев при виде Иисуса, рухнувшего под тяжестью креста.

Все стихло. Он снова оказался на площади Претории. Пилат стоял с поднятой рукой, ожидая тишины. «Этот человек невиновен. Что сотворю ему?» — с холодным отворачиванием бросил игемон в замершее перед ним людское море. Народ тяжело молчал...

«Распни его», — прошептал первосвященник. «Распни его», — эхом откликнулись саддукеи. Вот уже вся площадь взорвалась длинным звериным воем: «Распни! Распни его!»

Пилат страхнул с рук невидимую влагу вниз на толпу: «Неповинен я в крови праведной».

И он, который знал, что стоящий над беснующимся Иерусалимом, преданный самой постыдной казни, нищий, никчемный, безродный назорей и есть мессия, испол-

нившись необъяснимой, невыносимой ненавистью к осужденному, закричал: «Кровь его на нас и детях наших!»

Сын плотника из Галилеи оказался помазанником Бога! Но тем страшнее, тем глубже его вина, ибо он предал чаяния Израиля и ничего, кроме нелепых басен и бесполезных чудес, не принес народу избранных. Его Бог, принимающий всех — даже беззаконных, даже нечистых, — не может быть Яхве Израиля.

* * *

Скрип тяжелых ворот прервал наконец затянувшийся кошмар. Очнувшийся от сна со стоном открыл глаза и увидел преторианцев, входящих в проем каменной стены. Среди них были легаты в туниках с пурпурной полосой, военные трибуны, центурионы легкой пехоты с короткими мечами в руках, слуги царя Агриппы. Многих он знал еще детьми. В центре шел низкорослый коренастый человек в грубой тунике простого legionera. Его широкое лицо с огромными ушами и уродливым мясистым носом несло на себе печать такой силы, что казалось, его плотное тело впитало в себя всю чудовищную мощь империи.

Тит Флавий Веспасиан с неприязнью оглядел сотню жителей верхнего города, случайно не растерзанных озверевшими когортами во время последнего штурма. Строптивые фанатики, бросившие вызов Риму! Он убивал их тысячами — морил голодом, зарывал живыми, сжигал на кострах. Он истребил больше иудеев, чем Цезарь галлов. Он разрушил их города, сжег их храм, утопил в их крови алтарь Бога, чье имя эти безумцы боялись произнести. Через месяц придут караваны с солью, и он повелит своим легионам срыть священную гору и перепахать ее землю с солью, чтобы там, где жил Яхве иудеев, навсегда воцарилась смерть.

В огромной зале звенела тишина. Победенные и победители ждали решения императора. Не оборачиваясь к свите, Флавий начал отдавать короткие, резкие приказы.

— Иудея выделяется в отдельную провинцию. Легату претории собирать десятину для нужд Юпитера Капитолийского в Риме. Сопrotивляющихся распинать. Гору Яхве срыть, на месте храма Соломона разместить десятый легион. Сколько жителей Иерусалима осталось в живых? — обратился принцепс к трибуну.

— Девяносто семь тысяч.

— Отобрать семьсот юношей для триумфа, женщин и детей продать, остальных на рудники в Египет.

Тит в последний раз скользнул безучастным взглядом по застывшим от ужаса ирраильтянам и повернулся к легатам.

— Этих распять, — буднично приказал Флавий, направляясь к выходу.

Очнувшийся от сна не знал латыни. Но он знал римский обычай и понял, что царь ойкумены приговорил его к кресту. Превозмогая старческую немощь, он вцепился руками в каменную стену, с трудом встал и высоким срывающимся голосом закричал на арамейском в спину уходящему императору, словно спасение всего Израиля зависело сейчас от того, услышит ли Яхве его последнюю просьбу. Флавий обернулся, равнодушно взглянул на изможденного старика, держащегося за стену, подозвал придворного.

— Кто этот дряхлый иудей? Что ему нужно?

— Это левит Израил, летописец, — с поклоном ответил царедворец. — Он просит твоей милости, император.

— Что он хочет?

— Он хочет... Он сказал: «Дети, распните меня вниз головой».

Заметив удивление принцепса, мудрый придворный позволил себе чуть улыбнуться.

Алексей МАШЕВСКИЙ

* * *

В эфемерной жизни земной своей
Не успеть, не встретиться, не совпасть...
Ты пространство и время преодолей,
Воплощенного властного слова страсть!

А осенний ветер листву метет
По асфальту, по спинам гранитных плит.
Не приедет — как же так?! — не придет,
И слезами вечер дождя залит.

Лишь в платоновском мире идей-теней
Совпадают судеб людских пути.
Что ж, еще нежнее, еще сильнее?..
Но любви пристанища не найти,

Нет — увь! — нигде, кроме этих строк.
В них она и останется навсегда,
Как звезда путеводная, как упрек
Ускользящей жизни твоей. — Куда?

* * *

В этом возрасте хочется черт-те чего:
Волосы выкрасить в синий цвет,
С юной беспечностью наголо
Жизнь штурмовать, словно смерти нет.

Жаль: лишь охотничий спектр глазам
Дан, и с влюбленностью впопыхах
Встречи... Ответь, где сидит фазан,
Преодолея незнания страх?

В том-то и дело, что надо знать
То, чего знать не дано, мой князь.
Может ли семечко угадать,
Чем оно станет, ветвясь, стремясь

Алексей Геннадьевич Машевский родился в 1960 году. Поэт, автор девяти книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.

В небо, что манит к себе, паля?
Принц, да никак ты опять подрос?
Жалко: не будет у короля
Синих, дурацких твоих волос.

* * *

История как риф коралловый из судеб
Сложившийся всех тех, кто были, а теперь...
Теперь не знаю где. Но там, где каждый будет.
И боязно смотреть в распахнутую дверь.

Коралловый костяк страстей и упований,
Несбывшихся надежд, восторженных побед...
Из мириад имен и умерших прозваний
Лишь пара тысяч свой запечатлели след.

Всего-то оттиск на крошащихся, лежалых
Напластованиях, но чувствую за ним
Гул сонмищ голосов невнятных и усталых
Всех тех, чей путь, увы, безвестен и незрим.

Природа костяки, а память отголоски
Хранит. Но наших душ неведомы стези —
Как искры на ветру, кружащиеся блески
В ночи: живи, сквози, сияй, не угаси!

* * *

Вдруг появляются стихи —
Вот так... Из ничего.

Георгий Иванов

Из ничего и как бы ни о чем...
А словно, мимо проходя, плечом
Заденет, пробормочет два-три слова,
Обычные. Ты сам их бормотал...
Но миновав невидимый портал,
Душа замрет, несчастна, бестолкова.

Поговорить? Да разве есть предлог?
Снег шел всю ночь и, смерзшись, плотно лег
На нашу память ровным, белым настом.
Я тоже знаю, что не продохнуть.
Так что же, эту смуту, эту муть
Рассовывать публично по подкастам?!

И я про то: не вербализовать...
Лишь звезды будут неотступно звать
Туда, во мрак бескрайний, за собою.
И ты уже отправился в полет,
И жгущийся твоих признаний лед
Я чувствую примерзшею губою.

* * *

Кашемировый шарфик — на несколько раз,
А потом он весь в катышках будет. —
С глаз долой! Слава богу, другой про запас
Есть. И горла январь не застудит.

Ну а как там с влюбленностью, чьи лепестки
Дразнят благоухающим тленьем,
Опадая, увы? — И смахнуть не с руки,
И проникнуться новым томленьем.

Вот и с жизнью изношенной та же беда:
Не достать запасную из шкафа,
Даже если у нас впереди холода,
И бормочешь под нос раздраженно: «Да, да» —
На убогую мудрость Наф-Нафа.

* * *

А в самом ли деле духовна
Любовь? Что мне скажет в ответ
Крольчиха, с которой мы словно
Врастаем друг в друга шесть лет?

Вне всякого смысла и слова,
Идущего камнем ко дну,
Лизать мои пальцы готова,
Как только ладонь протяну.

Вне цели, помимо сознания —
Лишь нежность... О, не обессудь!
Но небытия прикосанье
Не так холодит мою грудь.

Живое живому причастно,
И как это ни назови,
Весь мир существует напрасно
Для смысла, но не для любви.

СВОБОДА ДЛЯ МЕРТВЫХ

Рассказ

Стриженные на английский манер газоны участка раздражали унылой равномерностью. «Черт их знает, этих британцев, — подумал Марк, отводя глаза от квадратов яркой зелени, разделенных вымощенными плиткой дорожками, — почему им надо все по линейке выравнивать? И чем Европе обычная трава не угодила? Вот дуб стоит — самый обыкновенный, а сколько в нем правды! Ствол черно-коричневый, узловатые ветви, и листва к осени уже набирает охры. Любо-дорого. Под таким дубом что хочешь делать можно: и чай пить, и жену тискать, и вот картину писать. А на веранде, где каждый сантиметр строителями выверен, мольберт смотрится луноходом, по ошибке попавшим на Марс. Третий час ищу колорит, и никак... Может, в зеленый все перекарсить?»

— Дорогая! — крикнул он в дом. — Тебя не затруднит мне чаю налить?

— Потерпи! — раздалось в ответ. — Минут через двадцать.

Резкий женский голос и это вот вечное «потерпи»... Когда строилась дача, Марина прямо-таки бредила Туманным Альбионом. Они тогда съездили в отпуск в Лондон, прокатились по его предместьям, полюбовались «игрушечными» домиками с красными черепичными крышами и такими вот коротко стриженными газонами, на которых время от времени попадались застегнутые на все пуговицы джентльмены с трескучими газонокосилками.

— Смотри, какая прелесть! — щебетала Марина. — Ничего лишнего. Глаз отдыхает. Трава зимой и летом зеленая, кусты подстрижены, кирпич оранжевый, заборчик белый, крыша красная. А у нас?

— Может, у них поголовно зрение плохое? — высказал тогда предположение Марк, вызвав волну возмущения благоверной. — Может, им иначе трудно на участке ориентироваться? Да и вообще, мне эта Англия иногда напоминает коробку с кубиками. И коробка есть, и кубики красивые, но ничего особенного из них не сложишь.

— У нас зато сложили, — фыркала жена. — Куда ни глянь, везде свалка. На любой даче стандартный набор: сарай покосившийся, мангал ржавый и дом-барак с облупившейся краской по неровным доскам. Может, тебе такое нравится?! Нет уж, когда свою фазенду строить будем, то непременно в английском стиле. Глядишь, и сами на таком участке себя аристократами почувствуем. Окружение — оно ж облагораживает!

— Это-то зачем? — поинтересовался Марк. — Нам до настоящей аристократии как Москве до Рима.

— А я вот хочу! — парировала Марина. — Всегда мечтала выйти утром на веранду, сесть в изящное креслице за маленький ажурный столик, неспешно выпить чашечку

Андрей Викторович Макаров родился в 1976 году, образование высшее финансово-экономическое, второе образование МВА ВШМБ АНХ при Правительстве РФ. Автор романа «Дорога к Белому берегу» (2021). Живет в Москве.

кофе. Непременно с глазуньей, румяными тостами и хрустящим беконом! Как подлинная леди.

— Хм...

— А ты можешь рядом свой мольберт поставить и рисовать, как лорд Байрон! Я буду тебе приносить чай. На серебряном подносе. Настоящий, заварной, с бергамотом, «Эрл Грей» называется. Файв-о-клок.

— Байрон не рисовал. Он стихи писал.

— Может, у него просто веранды не было? Поэты — люди бедные. А была бы — живописью бы занимался. Лордам все позволено. Вон Черчилль и президентом был, и картины рисовал.

— Не президентом, премьер-министром.

— Не суть. Ты же меня понял.

Они еще некоторое время спорили, но Марк в конце концов сдавался. Да и какой нормальный мужик станет гасить в женщине страсть к порядку и хозяйству? Пусть себе развлекается. Лишь бы не мешала, не лезла с расспросами о бизнесе, не заставляла самолично руководить строительством, вникая в цены на плитуса и гвозди. Вот теперь и веранда есть, приложение к правильному газону, черт бы их побрал совсем. А ведь рядом, в нескольких метрах за забором, все настоящее — и цвета, и линии, и жизнь... Впрочем...

На стриженный газон опустился неведь откуда залетевший вяхирь. Не голубь какой-нибудь, не стриж, не дрозд, а именно вяхирь — серо-стальной крупный птиц с отливающей театрально-бутафорским золотом зеленой шеей.

«Полный комплект. Британская идилия», — усмехнулся Марк и отвернулся, взглянув на свой холст. Там прозрачными мазками светлой охры были намечены контуры задуманной картины. Женская фигура в кресле стиля «барокко». Небрежная поза, фривольно наброшенная сорочка, сигарета в тонких пальцах, а в другой руке бокал с напитком. На коленях раскрытая книга. «Кич? — подумалось ему. — А вот и нет, господа британцы. Не угадали. Тут все дело во взгляде».

Взгляд сидящей женщины должен был перечеркнуть салонную слащавость антуража так, как полицейская лента перечеркивает пространство, отделяя его от места преступления. Все должно было проявиться в этом взгляде: ложь, равнодушие, похоть, дань традициям и готовность немедленно вернуться к самым низким, самым животным инстинктам. Такая вот задумка. Вместо надоевшей женщины-вамп — современная женщина-фейк. И не женщина даже — ловушка. Желанная, зовущая, готовая раскрыться при первом же прикосновении, а потом захлопнуться навсегда — насмерть...

Но взгляд не получался. Уже в который раз. Попытки написать этот сюжет Марк делал уже третий год, и неудавшимися эскизами с незаконченными лицами постепенно заполнялся дачный чердак. Иногда казалось — вот-вот, еще пара штрихов, но... Замысел умирал, а тот самый кич антуража нагло побеждал идею художника из всех углов холста.

Марина поначалу пожимала плечами: «Чего тебе не хватает? Вон кресло получилось — как живое. И сорочка у нее модная. Я б такую хотела. И фигура как у меня...» Но постепенно процесс начал жену раздражать.

— Дорисуй ты хоть одну, в конце-то концов, — говорила она. — Над камином повесим. Место как раз есть. Все какая-то польза.

Марк не отвечал. Что ты им объяснишь, этим серо-стальным птичкам с зелено-золотыми шеями. Вон ходит одно такое по газону и желуди высматривает. Все из себя. Тоже, поди, аристократа изображает. Птичьего. Интересно, какое оно на вкус, если изловить да в духовке запечь?

Впрочем, картинка переменялась. В щель под забором, плющась и вытягиваясь, пролез наглый и разухабистый рыжий соседский кот, считавший их участок собственной колонией. Как и положено опытному колонизатору, он не только развлекался на поработанной территории, но и налаживал отношения с туземцами: Марина сперва орала на него благим матом, а потом привыкла находить по утрам на дорожке у крыльца трупки мышей и кротов. Видимо, по замыслу кота это должно было примирить владельцев участка с несанкционированными визитами.

На этот раз хищник о дипломатии не вспоминал. Вяхирь, беззаботно ковылявший по стриженной траве, был для кота добычей желанной — редким жирным трофеем. Такого в случае удачи полагалось сожрать целиком в одну харю с перьями и костями. Охотник быстро и пристально огляделся, заметил Марка, но счел, что тот доброму делу не помеха. Вяхирь — птичка залетная, бесхозная и права на человеческую защиту не имеет. «Я продолжу?» — спросили желтые от жадности глаза. — Не против?»

Марк кивнул: «Валяй! Ату его!» Кот все понял и, припав к земле, изобразил из себя первый упавший лист осени. Медленно-медленно, в такт переваливающейся походке пернатого любителя желудей, рыжий убийца двинулся к своей цели.

«Черт бы побрал эти зеленые английские газоны! — подумал Марк. — И белые заборчики иже с ними! Англичанину на просторе неуютно. На просторе он либо воюет, либо интригует. А дома на острове ему подавай угол, определенность, традиции. Интересно, кстати, в России забором огораживают или куркуля жадного, или покойника. Зато у англосаксов вокруг живых заборчики, а на кладбищах камушки стоят, словно зубья дракона — если нужную могилку не нашел, можно у любой постоять. Без разницы. Свободны только мертвые... Живешь себе, золотишься, порхаешь, желуди собираешь, а сквозь твой забор уже пролез варварский кот и сейчас сожрет тебя с потрохами! Всю твою серо-зеленую стальную и золотую спесь. И как его потом называть? Освободителем?»

Вяхирь громко курлыкнул и увлеченно уткнулся клювом в траву. Кот тут же совершил очередное приближение к добыче. Прижимаясь, насколько возможно, к земле, он переместился к дубу и укрылся у его основания в густых кустиках земляники. Марк увидел, как солнечно пылают кошачьи глаза: «Животная хищная страсть. Живая, настоящая. Как добиться этой страсти на холсте? Чтобы правда проглянула изпод фейка?»

Кот готовился к финальному рывку, колеблясь всем телом, словно негр на протестантской молитве, когда за спиной у Марка корабельной рындой брякнул звонкий голос жены, вышедшей из дома на веранду:

— Ваш чай, сэр!

Вяхирь перестал топтать газон и настороженно вытянул голову. Кот не медлил ни секунды. Резко оттолкнувшись от земли лапами, он стремительно бросил свое огненно-медное тело в сторону жертвы. Но... не достал. Сантиметра не хватило! Раздался громкий хлопок, сопровождавшийся свистом, и большая серо-стальная птица, расправив широкие крылья, невредимой взмыла высоко в воздух. В чистое, так сказать, голубое небо. На свободу. Кот разочарованно проводил пернатую скотину взглядом, нервно дернул хвостом и повернул голову в сторону Марины. Забыв опустить переднюю лапу, хищник оценивающе осмотрел женщину. Затем, видимо не найдя ничего достойного упрека, отвернулся...

— Облом, — озвучил пролетевшую мимо мысль кота Марк.

— Это ты о чем? Чай, что ль, не тот?

— Я не про чай. Добычу спугнула. Зверя без дичи оставила, — с досадой вздохнул Марк.

— Ну и правильно! Нечего тут охоту без лицензии устраивать! На моей территории! Мне еще только голубя дохлого на газоне не хватало. Вдобавок к мышам и кротам, — безапелляционным тоном английской королевы заявила супруга.

— Это не голубь, а вяхирь.

— Да какая разница. Один черт голубь. А ты нашел за кого переживать. Был бы еще этот котяра домашним, поняла бы, а то ведь приبلудный, на улице живет. Пусть спасибо говорит, что соседи попались добренькие, прикормили охламона, не дали зимой коньки отбросить. Вон вся шерсть в репьях, может, и лишайный, — брезгливо поморщилась Марина и добавила с вызовом: — А птичку красивенькую не жалко было бы?

— Не-а.

— Почему вдруг?

— Охота — дело природное. Кому повезло, тому повезло.

— А на мой взгляд, дело в принципе: если ты дармоед, то и нечего по участкам шлаться. Ищи себе дичь в лесу.

— Так он тебе пользу приносит. Мышей вон душит.

— Я его на помощь не звала, — сдвинула брови Марина.

— Может, он тебя королевой считает, вот в качестве подношения мышей дохлых и оставляет, — усмехнулся Марк. — Кушай, дескать, Ваше Величество!

— Издеваешься? — английская королева внимательно оглядела своего принца-консорта. — Или гонишь, а я близко к сердцу принимаю?

— Мариш, — примирительно ответил Марк. — Я тут рисовать пытаюсь. Настроение улавливаю. Мысли в кучу собираю. За природой наблюдаю. А ты вместе с кружкой чая целый диспут на тему о пользе домашних животных из дома мне вынесла. А может, тебе просто завидно? Не хватает? Так давай своего кота заведем. Будет у тебя личный фаворит, так сказать.

— Не поняла, — Марина уперла руки в бока. — Это ты на что намекаешь, а?! А вообще, если уж заводить живность, то надо что-нибудь престижное. Ротвейлера, например. Или чего там еще есть? Добермана. Или дога мраморного.

— А дога-то зачем? Здоровенный телок, да и не шибко умный, говорят... В отличие от кота.

— Все язвись?! — испепелила взглядом мужа Марина. — Ничего ты не понимаешь. Только представь: сидим мы вечером под вишней в цвету, как японцы, — чай пьем. Шампанское рядом, в ведре со льдом, чтоб не остыло. Ну и виски тоже. Музыка играет романтическая — помнишь, ты мне всегда в ресторане Талькова заказывал, когда ухаживал? Эта, как ее? «Город, которого нет».

— Это не Тальков, а Корнелюк.

— А-а-а, да-да! И чего мне Тальков запомнился? Вот за что я тебя люблю, — Марина чмокнула мужа в затылок, — так это за то, что память у тебя хорошая. Ну вот. А у ног моих дог лежит — белый в крапинку. И у меня платье белое, в пол.

В кустах у забора зашуршало. Мелькнул рыжий хвост, и окончательно разочарованный кот, вымазав светлое брюхо землей, просочился под оградой наружу — к лесу.

— Марин, а может, пойдем в лес прогуляемся? Грибы пособираем... — спросил Марк, откладывая кисть и провожая гулящего охотника откровенно завистливым взглядом.

— Зачем?

— Ну, как сказать... Листва шелестит, солнышки светят, вяхири летают. Зайдем поглубже, найдем опушку какую, раскинем покрывальце, вспомним молодость... Я могу, кстати, и шампанское из холодильника прихватить. У нас там пара бутылок еще осталась.

— В смысле? Что вспомним?

— А как первый раз целовались... Ну и всякое такое...

— Угомонись! Какой лес? Тебе участка мало?

— Ну вот... А говоришь, что красоту любишь...

— Нашел красоту. Комаров кормить? И там всякие твари повсюду ползают: муравьи, пауки, клещи, да еще и такие, как ты, грибники, шастают.

— Когда это тебе мешало...

— Вспомнил. Мало ли что там было по молодости... Мне тогда муж нужен был. Умная женщина ради высокой цели все что угодно перенести может, — Марина горделиво вскинула подбородок и, прищурившись, взглянула на поселок. — А сейчас статус уже не тот — в кустах валяться. Спина потом болит, в трусах и бюстгальтере иголки сосновые... Тебя чем кровать не устраивает? Процесс тот же, а для свежего воздуха окно открой — на нем сетка от комаров. Романтика.

— Ага. И дог в самый раз. Пусть рядом сидит, наблюдает, — Марк опять повернулся к мольберту и сделал легкий мазок охрой, промурлыкав себе под нос: — «Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни...»

— Что-то мне твое настроение не нравится, — Марина нахмурилась. — В кои веки выбрались вдвоем за город, а ты придираешься. Лесной романтики ему потребовалось. С комарами и мошками. На кота, что ль, насмотрелся? Давай вон рисуй свою картину. Хоть одну до конца докрась.

— Чего обозлилась-то?

— А как? В городе я и уборщица, и кухарка. Только тут могу немного отдохнуть от бытовухи, истинной леди побыть. Хороший дом, участок стриженный, муж художничает — все, как у белых людей. Ну что, купишь мне платье белое?

— Чтоб под вишней чай шампанским запивать? Как японцы?

— Хотя бы.

— Ну да... — Марк ухмыльнулся и голосом Абдуллы из «Белого солнца пустыни» произнес: — «Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость...»

— А что тебя не устраивает? Может, ты собрался с баркаса уходить?

— Да как-то мне стареть пока вовсе не хочется. Ладно. Платье купим. Кстати, а чего у нас сегодня на обед запланировано? Может, курицу на гриле зажарим? Что не дозволено коту, то дозволено королям?

— Надоели твои грили. Смтайся в магазин по-скоренькому, привези рыбки. Я уху сварганю.

— Уху? — Марк разочарованно присвистнул. — Рыбный суп.

— А чем одно от другого отличается?

— Уха из того делается, что сам поймал. На костре. В котелке. С угольком...

— Вот сам и купи. А когда сварю, можешь себе в тарелку хоть весь вчерашний уголь засыпать.

Марк пожал плечами.

— Рисовать, значит, надо заканчивать на сегодня? Эх, Марин, когда жить-то начнем? Все обустроиваемся...

— Интересно. — Марина снова «включила королеву». — И что ты предложишь? Бизнес кое-как, с детьми кое-как, картинку ни одну не дорисовал — весь чердак холстами завален, и все наполовину. Если б не я, тут бы по сей день вагончик стоял строительный. Скажи спасибо, что у нас в семье есть кому порядок навести.

— Хорошо. Давай не портить друг дружке нервы. День такой пригожий. Рыбки говоришь? Будет тебе рыба.

- То-то. Желания жены настоящий мужчина должен влет исполнять.
- А жена?
- Что?
- Как она насчет мужских желаний? Должна чего-то или как?
- Так не вопрос, исполним и твои желания. Только ты сначала условия надлежащие создай. Можешь с платья начать.
- Так за рыбой же надо ехать.
- Вот и езжай! Чего сидишь?!

Подходя к воротам, чтобы открыть их, Марк вдруг увидел, как в тени алеющей ка-лины, у забора, сплошь обвитого щупальцами багряно пламенеющего девичьего ви-нограда, знакомый рыжий кот по-гусарски лихо наладил отношения с невесть отку-да взявшейся явно домашней кошкой. Ее ухоженная дымчато-серая шерстка блестела и лоснилась, словно норковый воротник дорогого пальто. Кот утробно урчал, впив-шись даме зубами в загривок, а прижимаемая к земле кошка содрогалась всем телом и смиренно мяукала.

«Вот пострел, и тут успел! Не получилось с вяхирем, так он взял и кошку опри-ходовал, с... поручик! Не везет в охоте, так повезет в любви! Хочешь большой и чи-стой любви, иди и бери... — удивился сцене Марк и во второй раз позавидовал коту. — Живет, как дышит. Страстно и без границ. А тебя, дорогой, ждет магазин, прямо-угольной коробкой точно вписавшийся в прямой угол перекрестка. Ненавязчиво впи-сали в него и тебя...»

Поселок встретил Марка строгими высокими стальными заборами, из-за которых проглядывали прячущиеся от общества разномастные дома, одни с витиеватой нелепой лепниной на фасадах, античными портиками, фальшивыми колоннами, другие — в сти-ле немецких фахверков и альпийских шале, а третьи — обитые по советской дачной традиции крашеной или мореной вагонкой. У глухих ворот и калиток виднелись но-мера домовладений, и рядом с ними тут и там торчали таблички с надписями круп-ным шрифтом: «Осторожно, злая собака», «Ведется видеонаблюдение», «Объект находится под охраной».

«Реальность удела в геометрии жизни, — усмехнулся про себя Марк. — Чертово Евклидово пространство. Углы, углы, углы. Цивилизация прямых углов. Углов с но-мерами... Сплошная тавтология. И никакой индивидуальности. И лепнина не спасает. И когда мы начали менять кривые на прямые?! Цветущие луга на монотонные англий-ские газоны? Дога мраморного ей подавай... Но торговля, даже типовая, как всегда, на виду. На углу».

Одну сторону одноэтажной новой стекляшки у главной дороги занимал сетевой су-пермаркет «Пятерочка», а в другой разместились аптека и рыбно-мясная лавка с не-ожиданным названием «Мясо-рыба». «А почему сначала „мясо“, а на конце „рыба“, а не наоборот? — бессмысленный вопрос почему-то заинтересовал Марка. — Хотя... рыба-то ближе к концу. Даже в домино „рыба“ — конец игре. Game over. Считай очки и не рыпайся! Даже если кости на руках еще есть... Не рыбайся...»

Заведовал лавкой молодой таджик. Рыбный отдел его магазинчика состоял из двух холодильных витрин. В первой за стеклом на стальных поддонах покоилось, холодно блестело чешуей разнообразное свежее и копченое. «Серебро и медь вместе, — подумал Марк. — С головой или без. Рыбьи очи не смотрят на тебя. Они вообще уже никуда

не смотрят. И ничего не отражают. Будто пустое стекло. Даже при жизни в них не было страсти. Это вам не желтые кошачьи глаза с пламенеющими наглыми помыслами...»

Во второй витрине в небольших пенопластовых лотках тушки продавались внарезку, соседствуя с прочими мелкими морепродуктами. Красиво все так уложено, ровными прямоугольными рядами. Таджики осклабилась в обязательной улыбке, доволен собой. Прокуренные неровные зубы. Смотрит на тебя подобострастно, предательски преданно, крупными миндалевидными глазами, будто дворовый пес: «Добрый день, уважаемый. Выбирай, дорогой. Все свешее, о-о-о-очень вкусное! Хочешь, выбрать помогу?»

Над каждым лотком табличка с наименованием товара ярко-красными крупными буквами и ценой черным маленьким шрифтом. Чтобы понять, который лоток тебе нужен, требуется, как на погосте, внимательно вчитаться в надписи. «Интересно, чем руководствуются люди, когда заранее выбирают себе место на кладбище? Не все ли равно, где тебя закопают? Ничего ведь уже не чувствуешь... И какая разница, стриженный на английский манер газон над тобой или дикий цветущий луг? Если и помянут тебя через тысячу лет, то уж не из-за наличия или отсутствия блестящего полированного памятника, с газоном или без...»

Марк ткнул, как и просила Марина, в тушку трески и добавил морского окуня целиком с головой. «Пириводом аплати, пожалуйста», — закивал продавец, подавая пакет.

Принимая из рук Марка рыбу, Марина вдруг замерла и как-то неловко вздрогнула. Что-то незримо переменялось в супруге. Дохнуло холодом стынущей реки.

— Что-то случилось? — робко спросила она, зябко поежившись.

— Да нет. Все хорошо, — ровным бесстрастным голосом молвил он. — Продукт подойдет?

— Вроде да, — ответила жена, вглядываясь в мужа. — Вот только ты какой-то не такой...

Марк посмотрел на Марину. Она снова вздрогнула.

— Замерзла, что ли? Хочешь, согрею?

Пламенное солнце вспыхнуло на мгновение в его глазах так же, как наметни у рыжего соседского кота, и тут же погасло, обернувшись ледяной пустотой.

— На второй этаж? — протянул он руку к жене.

— Ну, не сейчас, — отвела от себя она его руку и отстранилась. — Давай потом, позже. Мне белье развесить надо. А ты вроде картину собрался дописать...

— Как скажешь, — усмехнулся Марк и пошел к мольберту.

Ненаписанное женское лицо вопрошающе взирало на него с холста. Он взял тюбики с красным и желтым, выдавил из них на палитру понемногу краски, смешал ее и получившимся цветом вдруг резко мазнул по холсту. Жирная ярко-оранжевая линия перечеркнула намеченные глаза девушки.

— Марк, — услышал он вдруг вблизи голос жены, — я решила не варить уху. Сегодня уедем. Мама звонила. Она завтра с тетей Зиной на кладбище собралась. Бабушку навестить. Просит отвезти их.

— Чего это вдруг ей приспичило? Не годовщина вроде.

— Не знаю. Говорит, убраться перед зимой на могиле хочет, порядок навести.

— Так недавно же вроде ездила? Да и перед зимой зачем? Все равно все снегом заметет, по весне снова убираться. Напрасный труд.

— А черт ее знает. Вот хочется ей, — Марина взглянула на холст и оцепенела: — А ты зачем ей глаза оранжевым перечеркнул? Она у тебя рыжая, что ли, будет?

— Точно, рыжая, — ухмыльнулся Марк.

— Тебе теперь такие девушки нравятся? — подозрительно спросила Марина, с вызовом потряхнув темно-русыми волосами.

Марк, не оглянувшись, промолчал.

Антрацитовая лента шестиполосного автобана прямой линией восходила к холму, на котором раскиданными кубиками торчали жилища с бордовыми крышами и сияли в лучах уходящего солнца заостренные шпили с золотыми крестами. Машины текли темным потоком в направлении города — ясные дни закончились, завтра будет мелкий моросящий дождь. Гидрометцентр, чтоб ему...

В багажнике белой «тойоты» в стальной кастрюле, плотно зажатой сумками, покоились посыпанные кусочками льда безголовая треска и морской окунь. Из динамиков авто для них низким бархатистым голосом пел Крис Ри:

And still I stand this very day
With a burning wish to fly away.
I'm still looking, looking for the summer¹.

Марина дремала, уронив голову на боковое стекло.

«Хороший был день... — подумалось Марку. — Но теперь и он уже в прошлом. Все тщетно... Выхода нет... Нет выхода. Есть только комната. С белым потолком. В доме, который построил ты. С видом на стриженный газон. И вечный файв-о-клок... Придет зима и заметет все это: газоны, кладбища, тебя... Кем ты себя вообразил? Художником? Но это такой же фейк, как и вся остальная твоя жизнь. Мертвый не может сотворить живое. Даже по-настоящему радоваться живому не может...»

Поморщившись, он придавил педаль газа, и стрелка спидометра преодолела сначала отметку в сто тридцать, а вскоре и сто пятьдесят километров в час. Марк был бесстрастен. «Тойота» уверенно держала трассу в крайней левой полосе. Он моргал дальним светом впереди идущим машинам, и те уступали дорогу. «Вот так... то-то же», — улыбался он себе.

— Марк, ты куда это разогнался?! Здесь же так нельзя! — вдруг воскликнула Марина, открыв глаза. — Езжай давай по правилам.

Марк молчал. «По правилам, говоришь». В его зрачках зажглись бесовские безуминки.

— Сбавь обороты, я тебе говорю. Опасно же. Ты, вообще-то, не один едешь, обо мне подумай, — прозвенел набатным колоколом голос Марины.

Он снял ногу с педали газа и затормозил. Тут же сзади в их машину на полном ходу влетел черный угловатый внедорожник. «Тойоту» швырнуло вперед, шваркнуло со скрежетом об отбойник и развернуло поперек трассы. По касательной ее задел желтый «фольксваген»-такси, а идущая за ним еврофура, споткнувшись об него, клюнула капотом, подпрыгнула и сложилась буквой «Г» — очередным углом в правописании жизни.

Марк успел лишь выдохнуть: «Черт...», как изумленный вскрик Марины прорезал отчаянный визг тормозов и огромный белоснежный полуприцеп рухнул на «тойоту», расплющив под своим весом капот и частично смяв салон автомобиля. Искореженный багажник «тойоты» от удара раскрылся, как взломанная раковина, и исторг

¹ «И я все еще нахожусь в том дне / Со жгучим желанием улететь. / Я все еще в поисках, в поисках лета» (англ.). Chris Rea. «Looking for the summer».

на шоссе все свое содержимое, включая кастрюлю с рыбой. Изотермические панели фуры треснули и разломились, словно льдины тающего, крошащегося айсберга, и исковерканную «тойоту» погребло под посыпавшимися оттуда бесчисленными свежеморожеными тушками рыбы.

Резкая боль ледяным острием пронзила Марку насквозь. «Ай!» — жалобно вскрикнул он и обмяк. Пришла невыразимая легкость. Он не чувствовал ничего, ни одной клетки своего тела, и только смотрел — смотрел тускнеющим зрением на то, что еще было доступно взгляду.

Чуть скосив глаза, он увидел жену, пристегнутую не обеспечившим безопасность ремнем и засыпанную по самое горло, словно серебром, сверкающей рыбой. Марина глядела куда-то мимо него немигающим стеклянным взглядом, а по ее шелковистой загорелой коже медленно сползали вниз, словно капли по запотевшему бокалу, крошечные льдинки.

«Как много рыб, а жизнь всего одна... — плеснулась мысль и стала затухать концентрическими кругами: — Осень... кот... вяхирь... мясо... рыба... Мясо-рыба... Рыба!!!» Желтые глаза с узкими вертикальными зрачками возникли перед ним без улыбки, задрожали и растворились в мутном тумане. Он взволнованно и часто задышал, пока тьма, нахлынувшая внезапно, словно цунами, не погрузила его в свои душные объятия, заставив смиренно прикрыть веки. Все погасло.

На полянку перед верандой, где еще несколько часов назад стоял мольберт Марка, вальяжно выбрался охристо-золотистый взъерошенный кот. Он остановился, принял позу своего египетского предка и, томно щурясь, взглянул в сторону полыхающего у горизонта сочно-апельсинового круга. Из его рта торчали пушком сизо-голубые перышки. «Какой аппетитный закат!» — казалось, подумал он. Рыжий бестий сладко зажмурился на мгновение, игнорируя безмолвный дом.

Ласковые лучи заката окрасили в розово-лиловые тона белесые стены, проникли сквозь витражные окна второго этажа и упали на незаконченное полотно на мольберте рядом с письменным столом. На холсте молодая девушка в тициановской сорочке с недописанным лицом, сидя на барочном ультрамариновом кресле, дымя сигаретой и держа в руке бокал с виски, склонилась над толстой солидной книгой с чистыми страницами. По ее глазам проходила резкая фактурная линия ярко-оранжевого цвета. Витрувианский человек безмолвно взирает на нее с репродукции на стене. Заключенный творцом одновременно в круг и в квадрат, он дважды простер в стороны руки и ноги и, казалось, никак не мог определиться. Рядом на столе на бежевом полотенце строго параллельно друг к другу были выложены на просушку промытые кисти. В следующий раз их должны были убрать в холщовый чехол.

Завтра будет серый, тусклый, но все же новый рассвет. Будет дождь. Обещали. Гидрометцентр, чтоб ему... Лист набрякший слетит. Но ни кот, ни вяхирь слезы не прольют. И рында не прозвонит.

Анна ЮРЬЕВА

РАССКАЗЫ

из цикла «Городок»

«Лихие девяностые». Дальневосточный небольшой городок. У взрослых — сложные проблемы, которые мало касаются детей. Дети живут полной авантюризмом жизнью. Аня, девочка из бедной семьи железнодорожника и домохозяйки, растет в благополучном районе среди одних мальчишек. Ее детство полно как разочарований, так и радостей. Она знакомится с настоящим «мальчишечьим» миром: строительство штабиков, катание по тонкому льду, детские и азартные игры и многое другое. Детские шалости оборачиваются смертельными опасностями: доски могут завалить детей, лед провалиться. Но впереди и другие: наркотики, бандиты, а главное — взрослые проблемы и смерти. Как же пройдет детство Ани среди жестокого мира девяностых? Кем она станет?

ДЕТСТВО ЦВЕТА ЗЕЛЕНКИ

Детство проглядывает сквозь время, смотрит в глаза, напоминает о прошлом запахами, солнечными зайчиками, беззаботным смехом и дурачествами.

Садины на коленях и вечная несмываемая зеленка...

Прятки, велосипеды, «штабики», тайники и «войнушка». Вечера у костра. Все это как будто и не из моей жизни. Словно кто-то прожил ее... Не я. Воспоминания всплывают как-то не вовремя, невпопад и некстати, стирая всю значимость и ценность взрослой жизни и ее постоянных атрибутов: погони за всеми деньгами мира, престижем, достатком, семьей, такой, чтобы как положено: муж, жена, дети, кошка; все улыбаются, как в рекламе.

Если честно, как же хорошо было там — в детстве! Все было иным: бесконечным, ярким, синим и зеленым, светящимся, солнечным. Мир был удивительным и очень понятным.

— А-а-аня-а-а! — на весь двор кричала мама. — А-а-аня-а-а!

Но я, Аня, не шла и не отзывалась.

Анна Андреевна Юрьева родилась в 1990 году. Живет и работает в Благовещенске Амурской области. Окончила Амурский государственный университет по специализации «Филология». Работает в МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система». В 2019–2023 годах — внештатный журналист «Амур.инфо». Автор краеведческого комикса «Антоша Чехонте», авторского сборника «Белое, черное и цветное: в стихах и прозе», сборника стихотворений «На пределе эмоций» и графического романа «Леонид Волков — поэт и защитник Отечества». Руководитель литературной школы #ЯПишу. Куратор всероссийских проектов РГБМ «Премия читателя» и «Литературная карта России в комиксах» в Амурской области. Преподаватель писательского и сценарного мастерства в проектах-победителях Фонда президентских грантов. Публиковалась в литературно-художественном альманахе «Амур» (2023), литературном журнале «Урал» (2023), «Литературная газета» (2023), коллективных сборниках и изданиях.

— Ну вот что ты с ней будешь делать? Опять ушла куда-то со двора! — жаловалась мама, стоя на крыльце, отцу, сидевшему на завалинке нашего двухэтажного грязно-зеленого барака.

— Ничего, ничего! Есть захочет, придет, — улыбаясь, говорил отец и стряхивал пепел с сигареты. — Сорванец, а не девчонка!

В это время я могла заниматься чем угодно! Лето, солнце, друзья и уйма увлекательных дел.

Мы жили в Шимановске. Дом стоял на улице имени Плеханова, она была одной из главных в нашем городке и связывала центр с микрорайоном. Мы, дети, не знали, кто такой Плеханов. Знали мы одно: вдоль дороги шла канава. Бетонная. В нее после дождей стекала вода вперемешку с грязью и мусором. На дне канавы образовывался слой ила. Зеленый, скользкий. В этом иле даже рыба водилась, правда, мелкая — ротанчики в основном. Но нас этот ил привлекал не из-за рыбы. А из-за того, что по этому илу можно было скользить.

Разгоняешься, хлюпая босыми ногами по воде, встаешь и скользишь, как по льду. Даже соревнования проводили — кто дальше докатится. Один пролет, два, три...

Соперниками моими были мальчишки, потому что закон демографии в нашем дворе работал странно — одна девчонка на пять мальчишек. Лишь один раз я проиграла. Дело было так.

— Костя, давай! Ты первый! — крикнул Леха.

Костя, худенький, но высокий, в рубашечке и шортиках, как-то неловко разбежался и проскользил совсем мало, меньше одного пролета.

Леха задиристо усмехнулся и сказал, что он сейчас, как чемпион, всем нам покажет, но в итоге проехал не так далеко — примерно как Костя.

— Нет, это нечестно. Здесь песок. Можно я еще раз попробую? — прогнусавил Костя, никак не признавая свой проигрыш, но понимая, что сейчас катиться буду я.

— Ой, да пробуй! Все равно только один пролет и проедешь, — задирился Леха.

Костя разозлился, сжал кулаки, но побежал. Вдруг он поскользнулся и во всей своей чистой одежде — в рубашечке и шортах — плюхнулся спиной в зеленый-зеленый ил. Мы с Лехой замерли — что теперь будет Костику, домашнему мальчику? И сам Костя оторопел. Встал, посмотрел на себя и растерянно заговорил:

— Ребят, а что теперь делать, а? Мама дома, увидит меня такого... Накажет и гулять больше не выпустит...

Мы с Лехой пожали плечами. А что тут сделаешь-то?

Леха посмотрел на Костю и сказал:

— Мы, конечно, сейчас что-нибудь придумаем, постираем, например. Но пока — вопрос о чемпионстве остается открытым. Анька, давай, твоя попытка!

Костя вылез из канавы, сел на траву и снял рубашку, грустно ее рассматривая. Ил быстро высыхал, едко впитываясь в рубашку. Леха сел рядом и толкнул товарища — гляди, мол, сейчас посмотрим мы на эту Аньку.

— Ань, ты хоть бегать умеешь? — дразнился Леха.

— Смотри не упади... А то все дома будем сидеть! — грустно добавил Костик.

— Сейчас посмотрим, кто из нас чемпион. Все же знают, что я! — крикнула я и начала разгоняться.

Вот я скольжу — один пролет, второй. Леха даже привстал, не веря своим глазам. Я смотрю вперед и вижу перед собой зеленое стекло разбитой бутылки. Видимо, кто-то, пока мы разбирались с бедой Костика, проехал и бросил эту бутылку. Притормозить я никак не могла: ил очень скользкий.

Порезалась сильно, но не плакала. Кровь капала на зеленый ил, зеленое стекло бутылки и потом на зеленую траву. Костик даже дал свою и так уже испачканную рубашку. Мы, грязный Костик, Леха и я с порезанной стеклом ногой, сидели и боялись — домой страшно идти.

Тишина.

Леха что-то говорил про подорожник для ноги, про колонку, где можно вещи постирать. Что скажешь — счастливчик! И целый, и чистый...

Вдруг я слышу, как мама меня зовет. Ничего не поделаешь — нужно идти. Мальчишки взяли меня под руки и повели.

Папа сидит на завалинке, курит, мама в халате и с полотенцем стоит на крыльце. Из-за дома появляемся мы, троица разбойников с большой дороги. Мама охает, всплескивает руками. Папа хитро улыбается.

— Ну что, оболтусы, где были, чего делали? — спрашивает папа.

— Да оставь ты детей... Аня, что с ногой? — беспокоится мама. — Костя, ты почему такой грязный и в крови? Ну-ка марш все в дом.

Дома мама обработала мне ногу, постирала Костины вещи и заварила чай. Мы на перебой рассказывали папе невероятную историю, как же с нами это все произошло.

Через полчаса нога моя была забинтована, вещи Костика сушились, а мы пили чай с вареньем, малиновым. Только папа посмеивался и наконец сказал:

— Конечно, про гигантского ротана — это было почти правдоподобно. В следующий раз что-то поинтереснее придумайте!

Сейчас я с теплом вспоминаю детские дни. Только мама и папа уже не ждут меня на крыльце. Теперь я посмеиваюсь, слушая детские враки о приключениях во дворе, помогаю строить корабль из простыней, чиню велосипеды и рассказываю страшилки дочери, почти не страдающей от зеленки.

ПИКИ

В районе, который в Шимановске называется Шанхай, зима — особенное время. На стадионе, рядом с нашими домами заливали каток, а через дорогу, за площадью Победы, разливалось целое море, которое замерзало и становилось катком, но не для фигуристов и хоккеистов. Это лед для самокатчиков.

Пятиэтажка, стоящая на болотах, стала постоянной причиной разлива воды зимой. В болоте и так били небольшие ключи, дававшие влагу, комаров, камыш и пение лягушек. До того, как появилась пятиэтажка, за площадью Победы были маленькие озера. Иногда зимой начинал бить ключ и замерзал, как гигантский столб. Но потом появилась пятиэтажка, и все изменилось. Вода разливалась на всю площадь болота и замерзала. Природный каток. Самокатчиков стало в разы больше.

Знаете, что такое самокат? Даже если вы уверены, что знаете, все равно послушайте. К деревянному основанию, похожему на каталку для безногих инвалидов, прибивалась пара стальных коньков. Без ботинок. Комплект составляли пики — два толстых прута в полметра, заточенные снизу, а сверху украшенные ручками, как у металлической кочерги. Принцип был прост: встаешь коленями на самокат, в руки берешь пики и, толкаясь, как лыжными палками, мчишься по льду.

Раньше самокатчики ходили на озеро, а теперь это стало ненужным. Ведь под боком огромный ледяной стадион. Можно проводить соревнования на скорость и на красивые повороты, можно подъехать к зарождающемуся ледяному вулкану и раздол-

бить его пикой. Вулканчики были двух видов — интересные и не очень. Из интересного начинала бить вода, как гейзер. В общем, есть чем заняться, несмотря на зиму и холод.

Нас, тех, кто помладше, на озеро не пускали. Да и самокатов у нас не было. Но теперь лед был рядом, и все дети, как один, начали выпрашивать у родителей самокаты. Мол, близко и не опасно.

В один из дней Костя вытащил во двор самокат. Все во дворе, конечно, от зависти кусали локти. Как так, у Кости, правильного мальчика, малявки восьмилетней, настоящий самодельный самокат?

В тот день я пришла домой и начала канючить:

— Пап, па-а-а-ап, а у Кости самокат есть...

— Ну и что? — сказал мне папа.

— Папа, я тоже хочу. Сделай мне, пожалуйста, самокат. Я буду себя хорошо-хорошо вести, честно-честно, — говорила я, складывая руки на груди и делая жалостливые глаза.

— Аня, ты же девочка! Какой может быть самокат? — удивлялся папа.

— Да-да-да, — вторила мама. — Еще покалечится. Упадет с него или пикой что-нибудь проткнет. Себе. Или кому-то.

— Пожалуйста, я никому ничего не проткну. И не упаду. Я тихонечко, — пыталась уговорить родителей я.

— Разговор окончен, — отрубил папа.

Весь ноябрь Костик рассекал на самокате. Иногда давал покататься пацанам. Мне же на лед дорога была закрыта. Я сидела во дворе, строила замок из снега и грустила.

Однажды утром я проснулась с каким-то радостным предчувствием. Вижу, в прихожей возле печки стоит он — самокат, с пиками. Красивый!

Папа улыбается, мама вздыхает и говорит:

— Анечка, я тебя очень прошу, аккуратно!

Поблагодарив папу, я наспех надела на себя кофту, теплые штаны, валенки, варежки, шапку и шубу, схватила довольно-таки увесистый самокат и побежала во двор — хвастаться!

Пацаны обступили меня, одобрительно пощупали самокат и сказали:

— Вещь! У тебя самый крутой самокат во дворе!

— Нет, — сказала я. — У меня самый крутой папа!

Мы с Костином потащили наши самокаты на лед. Он меня учил и подбадривал, показывал, как делать повороты. Я быстро освоилась, и вот мы уже мчим наперегонки.

Несколько дней продолжалось это обучение. И в один из дней Костя предложил:

— А поехали к пятиэтажке.

Я спросила:

— А что там?

— Ты что, не знаешь?

— Нет, расскажи.

Костя тыкнул пальцем в пятиэтажку:

— Вот... Видишь?

— Что?

— Пар идет.

Я посмотрела, куда показывал Костя, и увидела, что сбоку от дома, там, где торчат трубы, идет пар. Видимо, оттуда сливалась использованная горячая вода из пятиэтажки.

Костя интригуяще сказал:

— Поехали! Там интересно...

Мы помчались к краю льда, который нависал над горячей водой. От воды шел пар и пахло канализацией.

— И что вы тут делаете? — спросила я.

— Как что? Смотри!

Костя подъехал к самому краю и стал пикой откалывать лед. Лед падал в кипяток и таял.

— Здорово же!

— Здо-о-орово... — потянула я.

— А спорим, я больше тебя кусок отколю!

— Спорим, — азартно ответила я.

Споры не мой конек. Я знаю это с детства, а точнее — с этого дня.

Мы стали откалывать лед. Раз, и у Кости приличный кусок упал в воду, он поплыл на самокате назад, приглашая к краю меня. Я размахнулась и ка-а-ак ударила пикой по льду. Удар был сильный, большой кусок отвалился и упал, а я радостно, с победным видом повернулась к Косте:

— Ну что, видел?

Но вместо одобрения или досады я увидела в Костиных глазах страх.

— Аня, осторожно!

Но было поздно. Кусок льда дал трещину, откололся... И я вместе с самокатом упала в горячую воду.

Я не умею плавать. Панически боюсь воды. Потому что однажды в лютый мороз в теплой одежде упала в горячую грязную канализационную воду. Я держалась за край льдины и чувствовала, как меня под нее затягивает. Мне было страшно. С рук упали варежки и вместе с пиками ушли на дно. Я хваталась за лед пальцами, которые от мороза прилипали к нему. Тяжелая, напитавшаяся влагой одежда тянула меня на дно. Рукам было адски холодно, а телу горячо. Я истошно кричала. Мне казалось, что это длилось не несколько секунд, а целую вечность.

Папа на днях, видимо в профилактических целях, рассказывал маме, как в прошлом году на озере весной утонул мальчик, который катался на самокате. Подъехал к краю полыньи, откалывал лед, упал в ледяную воду и утонул.

И тут у меня эта история в голове всплыла. Я не хотела утонуть.

Я почувствовала, как кто-то тычет мне в руку холодным железным прутом, и сквозь свой крик услышала:

— Аня, хватайся за пик! Я ближе не подойду, лед трещит!

Костя пытался меня вытащить. Я боялась отпустить руку, чтобы схватить пик, а потом поняла, что не могу этого сделать: она примерзла. И сил оторвать ее ото льда у меня нет. Я заплакала и поняла, что утону. Потом подумала, как это так, я утону? А мама, а папа?

Я разозлилась и стала отрывать руку от льда. Было очень больно, мороз крепко схватил и приморозил кожу. Но я сжала металлическую пик и приморозилась уже к ней. Облизывали ли вы когда-нибудь железку на морозе? Если нет, то не пробуйте.

Костя вытащил меня и мой самокат.

Я шла по льду, мокрая и рыдающая. На морозе вся одежда покрылась коркой льда, идти было трудно. До дома были какие-то пятьсот метров, начиналась пурга. Дома было не видно. Мне казалось, что я не дойду.

Но я дошла.

Мама ахнула, увидев меня. Папа замер, а потом кинулся снимать с меня одежду. Опустив в воду мою руку, он вытащил из сжатого кулака пик, скинул ставшую хрустальным панцирем шубу, щерящуюся ледяными иглами шапку и валенки.

Я плакала и говорила:

— Папа, у меня там пики утонули... Сделай мне новые.

ФИШКИ

Знаете, в детстве меня так учили: будь для всех людей. А дальше добавочные: добрым, вежливым, заботливым. Меня учили относиться к людям с уважением, доверием и любовью.

Справедливость была главным ориентиром в моей детской жизни. Не правильно или неправильно, хорошо или плохо, а справедливо или нет. Наверное, это советское наследие, которое в девяностые только кристаллизовалось. Справедливость была важнее всего. Честно или нет? Причем не для меня, а вообще — честно так поступать или нет, справедливо ли?

В детстве, если помните, была игра — фишки. Круглые картонки разных мастей — с персонажами из мультфильмов, фильмов и покемонами. Особое место занимали бойцы из «Смертельной битвы». Все их коллекционировали. Сражения были серьезными, не на шутку.

Я была маленькая, азартная и совсем не умела проигрывать.

Где-то нашла одну. Играла. Стало у меня штук шесть-семь. И в один из дней я их все проиграла Костику во дворе. Обидно, плачу, как водится. Но честно. Просто ему повезло, а мне нет.

Прихожу, расстроенная, домой. Мама спрашивает:

— Что случилось?

Рассказываю — говорю, не повезло.

Вечером пошли в гости к Костику, наверх, на второй этаж. Он, как и положено, хвастает. Да и я бы хвастала. От этого обиднее.

Я открыла дверь его квартиры и сбежала вниз.

Сижу на первом этаже нашего деревянного барака, на окне. Обнимаю коленки. Думаю, а слезы на глазах накаплиют.

Знаю, что мама не купит мне фишки. Денег особо нет, не до шалостей. В голове раз за разом последняя игра — сразу по пять фишек. И я первая бить должна. А они не перевернулись. Надо было руку по-другому повернуть. Ну да ладно. Не буду в следующий раз на много играть.

Опять плачу. Потому что не будет следующего раза.

Вижу, спускается мама. Сует мне в руку фишку.

Я смотрю на нее и не понимаю:

— Мам, а ты где взяла?

— Какая разница... Держи и давай не реви.

Мы пошли домой. Я сжимаю в руке эту фишку, на душе и радостно, и тревожно. Все думаю, где же мама ее взяла.

Утром ни свет ни заря бегу во двор — отыгрываться.

— Костя! — кричу. — Иди сюда, у меня фишка есть.

Костя молчит. Я подбегаю, тяну к нему руку с зажатой фишкой, разжимаю и говорю:

— Вот! Гляди!

Костя скривил лицо, выхватил у меня из рук фишку и говорит так неприятно:

— А я знаю, откуда у тебя эта фишка!

— Откуда? — спрашиваю я, а у самой ком в горле и ужасная догадка в голове.

— Это твоя мама у меня украла.

Я застыла. Стою, смотрю на него и на эту круглую картонку у него в руках. «Моя мама украла!» — кровь гулом шумит в голове.

Я толкаю Костю в грудь и кричу:

— Забери свою бумажку, а маму мою не трогай!

Я убежала и спряталась. И никак не могла понять: ну неужели он не понимает, что это значит? Что мама это сделала для меня, чтобы я просто не плакала?

Фишки перестали что-то значить в этот день. Как и многие другие пустяковые вещи.

Я пришла домой, обняла маму и сказала:

— Спасибо, мама, за фишку. Но я ее опять проиграла. А ты больше не бери у Кости этих фишек. Не нужны они мне. Я больше не буду плакать.

СНЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ

Дело было весной, а точнее — шестого мая. Уже пытались зацвести первые робкие растения, набухшие почки выпускали молодые зеленые листочки. В воздухе так и витал аромат весны: запах костров, просыпающейся земли, вспаханных огородов и много чего еще.

Городок готовился к одному из главных праздников — Дню Победы. Ранним утром солдаты в парадной одежде шли по главной улице — улице Орджоникидзе. Оркестр играл марш. Детвора из наших домов, по улице Плеханова, висела на заборах и смотрела на военных. Это было радостно и жуть как интересно.

Вечером, после школы, как водится, собирались на бревнах возле гаража и обсуждали — что за техника будет, кто бежит в эстафете из старшеклассников, какая школа победит. Если повезет, то будет тепло и уже можно выкатывать велики и снимать ненавистные куртки и шапки. Да-а-а...

Разговоры велись жаростно, с размахиванием рук и такими громкими криками, что встревоженные мамы периодически появлялись на крыльце нашего барака и смотрели — не дошло ли дело до драки. Криками интересовались не только мамы, но и Лешкина собака, заходившаяся лаем от наших криков на другом конце двора. Красивая колли каким-то образом попала в очерченную сеткой рабицей тюрьму и была вынуждена охранять сарай дяди Коли, Лешкиного папы. Она была такая злющая, что все время ходила в строгом ошейнике и сидела на цепи. Мимо проходить — страшно и неудобно. Особенно во время прятков — выдаст своим рыком и лаем. Поэтому Лессы мы и недолюбливали. Боялись и трусливо ругали.

Но сколько бы ни длился теплый майский день, наступал вечер. По небу радостно высыпали звезды, которые перекрывал дым, все еще шедший из труб над бараком. Старики, кутившие на улице, глубокомысленно смотрели на него и говорили что-то про похолодание, ветер и давление. Мы смеялись и не верили — май же! Везде зеленые листочки и трава, какое похолодание? Без куртки скоро можно! И велик!

Но утром случилось чудо. Весь наш маленький городок седьмого мая завалил пушистый новогодний снег. Он начал идти еще ночью, а днем даже и не подумал прекратиться, продолжив строить невероятно красивые сугробы. На расстоянии вытянутой руки сквозь хлопьями идущий снег ничего нельзя было разглядеть.

Мальчишки вытащили вместо долгожданных великов санки, надели зимние куртки и варежки. Конечно, и я с ними. Стали строить крепость, выставляя по бокам невероятно красивых и чистых снеговиков. Кидались снежками, носились, краснощекие и счастливые. Через месяц лето — а мы в снежки играем!

И тут Леха остановился:

— Ребят, а как же парад? Если снег не растает...

— Как это не растает? Куда он денется! — авторитетно заявил Костик. — Смотри, снег идет, а на улице всего минус один. Уже завтра снега не будет.

— А если не растает? — упорствовал Леша.

— Пацаны, а представьте, что что-то случилось, и не будет больше лета... Все, кончилось! — со страхом сказала я.

Мы начали строить ужасные перспективы белого плена в снегу. Леха сказал, что, если снег не растает и лето не наступит, нас всех заставят ходить в школу и дальше. Страшнее и не придумаешь. Костя уныло напомнил про велики, а я предложила делать иглу для тепла и снегоступы, как у эскимосов. На перспективу. Мы уже и не верили, что наш любимый парад состоится. И никакого мороженого.

— Ну давайте тогда учиться играть в прятки по-новому, — сказал Леха.

Мы переглянулись.

— В снегу прятаться? Интере-е-е-сно. А давай! — сказала я.

Костя добавил, что если игрока долго не найдут, то у нас появится ледяная скульптура. За занудство мы его и назначили ведущим. Леха и я побежали прятаться. Скрипел снег под ногами, а за каждым из нас шла вереница следов. Тут и сыщиком не надо быть, чтобы найти. Я стала хитрить и идти спиной вперед, чтобы Костя точно не нашел меня.

И тут... Я почувствовала, что позади кто-то бежит ко мне. Страшно было оборачиваться. Но я обернулась. И увидела, как из снежной пелены на меня выпрыгивает Лесси.

Оказывается, Леха решил спрятаться в сарае. Он и не знал, что отец накануне спустил Лесси с цепи. И в открытую Лехой дверь злоющая собака рванула на свободу.

Сначала я застыла и, как в медленном кино, видела бегущую на меня собаку. Та рычала и морщила длинный нос. Я испугалась и сделала то, что ни в коем случае нельзя было делать: я побежала по глубокому-глубокому снегу. Сапоги-аляски были полны снега, под пихору тоже набилось прилично. Я не кричала, просто бежала, вдыхая снежинки и холодный воздух. Глупая. Как я могла убежать от собаки?

Я и не убежала. Лесси опрокинула меня лицом в снег. В голове не было ни одной мысли. Дикий животный страх. Лицо обжег холодный снег. Я рывком перевернулась и подумала, что сейчас меня загрызет собака и я умру.

Я зажмурилась и закричала.

В ту же секунду я почувствовала что-то влажное на своем лице.

Кровь!

Наверное, вот так и умирают... Раз, и все.

Надо глаза открыть. Мама говорила что-то про рай и ад. Раз мокро, наверное, тепло. Раз тепло — наверное, ад.

Я подумала, что я что-то долго умираю. А потом почувствовала на своем лице шершавый язык.

Лесси и не собиралась меня грызть. Она облизывала мое красное замерзшее лицо. Видимо, собака решила, что я с ней играю в догонялки.

Как понимаете, ничего ужасного не случилось. Но день этот впечатался в мою память навсегда.

Лесси после этого события продолжала оставаться злой собакой, на цепи. По-прежнему было очень страшно ходить мимо нее. Но в глубине души я знала, что она добрая, а лает лишь потому, что на цепи и честно выполняет свою работу, охраняя имущество своего хозяина.

Был ли парад?

Конечно, был. Снег растаял на следующий день.

ВЕРНОСТЬ И СВОБОДА

Диалог писателя Александра Мелихова
и поэта Вадима Пугача

Александр Мелихов. В древнейшем конфликте личного и общественного семья обычно относилась к сфере личного, едва ли не «мещанского» в кондовой советской терминологии. Однако же когда семьдесят лет назад известный американский социолог Дж. Коулмен в грандиозном исследовании попытался определить, какие факторы определяют уровень интеллектуального развития школьника, то оказалось, что практически все определяет семья. Ребенок из хорошей семьи обычно хорошо учится в любом окружении. Ребенок же из социально ущемленного слоя учится хорошо среди товарищей с более высоким социальным статусом и плохо среди «ровни».

Таким образом, хорошая семья оказалась главным фактором воспитания не только собственных детей, но и тех, кому посчастливилось оказаться с ними в одном классе. Успешность даже и государственного образования зависит от семьи.

«Но кроме интеллектуального развития, есть и нравственное, — возражают государственники, относящиеся к частной жизни с недоверием. — Кто поручится, что эти умники усвоили ценности патриотизма, труда?»

Неудивительно, что примерно в то же самое время — в разгар «оттепели» — в прогрессивнейшем «Новом мире» была опубликована программная статья академика-экономиста С. Г. Струмилина, предложившего заменить дилетантов-родителей профессионалами, перейти от кустарного производства к фабричному. Педагогическая национализация должна была осуществиться к 1975—1980 годам: к этому времени «каждый советский гражданин (это о новорожденном младенце! — А. М.), уже выходя из родильного дома, получит направление в детские ясли, из них — в детский сад с круглосуточным содержанием или в детский дом, затем в школу-интернат» — и так далее, все выше, выше и выше.

Матерям же будет дозволено навещать детей «в свободное от работы время... столько раз, сколько это *предусмотрено установленным режимом*». А за хозяйством будет тоже присматривать «специальный совет», который заодно будет заботиться о пенсионерах и инвалидах *труда*.

Эти планы вполне укладывались в русло теоретизирований Маркса—Энгельса, писавших о бесплатном общественном воспитании *всех* детей, о производительном труде с девяти лет, однако и до классиков научного социализма государство обрушивалось на семью всякий раз, когда стремилось подчинить общество решению какой-то единой задачи.

В разгар якобинского террора Робеспьер самолично представил Конвенту разработанный Мишелем Лепелетье «План национального воспитания», открывавший миру, что «свирепые враги королей являются самыми нежными друзьями человечества». Нежные друзья человечества намеревались ни больше ни меньше как *создать новый народ*, для чего *все* дети с пяти лет (хотя бы не с роддома) должны были передаваться в общественные заведения по четыреста-шестьсот воспитанников, которых ожидало там полное равенство в строгой дисциплине, производительном труде, почтительном уходе за престарелыми, одинаковая еда, одежда и постель — все дешевое, но «удобное и полезное для здоровья» (вино и мясо исключались; за воспитателями и завхозами надзирал родительский комитет).

При этом в одном из пятидесяти (какова точность!) воспитанников к одиннадцати-двенадцати годам должен был обнаружиться какой-то талант — ему и будет предоставлена возможность учиться дальше — начальству ли не знать, кто талантлив, а кто нет! Благодарение богу, в этой спартанской обстановке, в изоляции от родителей высшие потребности вряд ли прорезались бы у слишком многих...

Кстати сказать, сами легендарные спартанцы, отнимая детей у родителей, и не претендовали на подобные изысканности: чтению и письму их обучали лишь «по необходимости», а «остальное же их воспитание преследовало лишь одну цель: беспрекословное послушание, выносливость и науку побеждать». Спарта и не породила ни поэтов, ни ученых, как с давних пор указывали либералы. Не беда, мужество и самоотверженность важнее наук и искусств, отвечали им государственники во главе с Жаном Жаком Руссо.

И спору этому не видно конца...

Но за каким же из этих культов — за культом государства или за культом семьи — все-таки истина?

Истиной нам представляется все, что способно убить наш скепсис. А наиболее убедительны для нас физические впечатления и апеллирующие к ним образы, возникающие по аналогии с физическими, базовыми.

Так из аналогии с каким базовым образом вырастает представление о государстве, о нации? На сходстве с чем зиждется их эмоциональное обаяние? Я думаю, представление о нации вырастает из образа семьи — недаром и поныне самые пафосные патриотические образы отсылают к семейным святыням: «царь-батюшка», «родина-мать», «отечество», «убивают наших братьев», «бесчестят наших сестер»... И если когда-нибудь семья из святыни превратится в утилитарную ячейку общества, тогда утратят обаяние и образы-следствия, и нация тоже превратится в одну из множества неустойчивых прагматических корпораций. Которой служат лишь до тех пор, пока это выгодно.

Отношения семьи и государства не есть отношения двух равноправных соперников — это отношения причины и следствия. Поэтому те ревнивые государства, которые стремятся дискредитировать, лишить обаяния своего извечного соперника — семью, уничтожают тем самым источник и собственного обаяния. В мире чарующих образов образ государства вырастает из образа семьи, подобно тому как могучий ствол вырастает из семени.

Вадим Пугач. Свою реплику мне хотелось бы начать с того, что семья у вас, Александр, выглядит несколько неконкретно. Что, например, такое «хорошая семья»? Ясно, что все хорошее лучше всего плохого, включая и семью. Но если «хорошая» семья противостоит семье из «социально ущемленного слоя», значит, хорошая — это богатая. Разве это совпадающие понятия? Мы готовы назвать представителей «золотой молодежи» хорошо воспитанными? Российский опыт, кажется, по большей части говорит о другом.

С тезисом о том, что государственное образование (оно же воспитание) зависит от семейного, совершенно согласен. Но это так, потому что государственное образование у нас очень слабое. Оно иногда — при счастливых обстоятельствах — может осуществлять поддерживающую функцию, когда ребенок уже хорошо подготовлен, но едва ли способно самостоятельно закладывать мощный образовательный фундамент. Впрочем, я бы говорил о необходимости влияния на образование и воспитание детей не семьи, а среды. Это менее абстрактное и в то же время более широкое понятие. В него может входить и семья, если есть, и круг знакомств, и школа, и информационное поле, в котором находится ребенок.

И третья тема, которую вы подняли, — борьба за влияние на ребенка между государством и семьей.

Дело в том, что образ семьи, который возникает в наших представлениях, связан исключительно с патриархальной моногамной семьей. В ней есть родители, одни и те же на протяжении всей жизни, есть дети, подхватывающие традиции родителей, и т. д. Но такая семья как институт держалась на праве, власти, собственности отцов. Равные права и возможности мужчин и женщин эту семью отменили. Сейчас пора говорить не столько о кризисе, сколько о фактическом исчезновении такого типа семьи. Когда-то адюльтер существовал вне правового поля и всерьез на институт семьи не влиял. Теперь брак, образующий семью, легко расторгается, а пары переменного состава образуют совсем другой тип семьи — временной. Романтические фантазии о возвращении к традиционной семье — крепкой (на всю жизнь), с большим количеством детей — едва ли смогут превратиться в реальность. Ни правовой, ни экономической базы такая семья сейчас не имеет. Интересно, что наши государственники предлагают нам именно эту несуществующую семью как опору государства (то есть пытаются сотрудничать, а не бороться). Впрочем, так живут наши мигранты, но ведь они приходят из общества, которое находится на другом этапе развития, где патриархальные механизмы еще действуют. К тому же у мусульман традиционная семья не моногамна.

А. М. Надеюсь, мы не станем обсуждать, что такое хорошая семья, ибо тогда мы никогда не закончим, поскольку любые уточнения потребуют новых уточнений. Ограничимся интуитивным представлением о том, что это такое. Для начала согласимся, что в традиционной хорошей семье есть родители, одни и те же на протяжении всей жизни, и есть дети, подхватывающие традиции родителей, а затем задумаемся, каким образом можно сохранить выполняемые такой семьей функции среди новых вызовов, которые вы совершенно справедливо перечислили.

Первейшая социальная функция такой семьи — дети продолжают следовать ее социально позитивным ценностям в равнодушном к ним или даже враждебном окружении, а служение наследственным ценностям есть не что иное, как аристократизм. Хорошая семья — это семья аристократическая. В которой дети, даже повзрослев, продолжают гордиться родителями и стараются оказаться их достойными.

Да, такая семья в значительной степени держалась на праве, власти и собственности отцов. Но если бы только на них, то она ощущалась бы деспотическим учрежде-

нием, и она таковым и ощущалась и ощущается там, где отсутствует уважение к ее главе. А деспотизм способен воспитывать только ненависть к тому, что он проповедует.

Но служение семье требует столько усилий и жертв, что на одном лишь уважении она тоже не удержалась бы — мы много кого уважаем, но жертвовать готовы лишь немногим.

И я надеюсь, вы, яркий и оригинальный поэт, согласитесь, что хорошая семья в огромной степени держится на поэзии. Образам материнства, отцовства, родительской, да и сыновней, дочерней верности посвящено столько преданий и произведений искусства, что они даже сегодня в глубине души ощущаются почти сакральными. Сами слова: материнство, отцовство, по-матерински, по-отцовски, сыновняя почтительность, дочерняя заботливость — рождают в нас некоторое просветление. Если бы я не опасался всякой метафизики, то даже сказал бы, что и семья, и государство зиждутся не только на правах и не только на интересах, но на святынях.

В двадцатые годы тов. Коллонтай пыталась разрабатывать марксистскую теорию семьи, выводила ее, как и все на свете, из экономических нужд: во времена рыцарства главным производством была война, поэтому рыцарь не должен был любить жену, а потому держаться за ее юбку, он должен был любить недоступную даму, чтобы ему было легче расстаться с жизнью. Капиталистическая семья предназначена для накопления капитала и для этого изобрела супружескую верность — чтоб денюжки не утекали на сторону. А то, что каждый из нас желает хотя бы для кого-то быть единственным и незаменимым, — это пережитки индивидуализма. В коммунистическом обществе, где все общее, можно, чтоб всей вселенной шла любовь. Мы до этого еще не возвысились, но сегодня общество несравненно более терпимо относится и к адюльтеру, и к разводу, и к созданию новых семей. Но прочность этих семей, преданность их членов друг другу в огромной степени порождается запасом поэзии (сакральности), накопленной традиционной семьей, члены которой сохраняют верность друг другу, покуда смерть не разлучит их. Если померкнет этот идеал, распадутся и новые семьи.

Подводя итог, сохранить традиционную семью как фактическую неприкосновенность невозможно, но ее необходимо сохранить как идеал, отступление от которого воспринимается если уж не как трагедия, то как серьезная драма. Как оно, впрочем, сейчас и воспринимается.

Я уже не говорю, что только в семье нас любят ни за что, любят нас самих, а не просто ценят какую-то нашу полезную функцию.

Собственно, ничего нового я не предлагаю. Хранить идеал, если даже безукоризненное следование ему почти невозможно, — таковы все этические идеалы. Идеал честности, бескорыстия — многие ли могут похвастаться, что никогда от них не уклоняются? Идеал семейной верности из этого же разряда.

В. П. Некоторые ваши утверждения мне очень нравятся. Особенно тезис о ярком и оригинальном поэте... И это не единственное, с чем я готов согласиться. Пожалуй, хорошая семья для меня — это та, где связи построены на любви и уважении, а не на праве. Когда-то молодой Тютчев, отвечая на пушкинскую оду «Вольность», противопоставлял просветительскому идеалу закона ценности «добра и красоты». Пушкин тютчевской реплики так и не узнал, но в зрелые годы, по-моему, перешел на его позицию («Иные, лучшие мне дороги права...»). Поступок по совести для российского человека всегда привлекательнее поступка по закону. В семье, мне кажется, стоит обращаться не к закону, а к совести. Это, конечно, в идеале. Но ведь вы и говорите об идеалах, то есть поэтических образах, служащих нам ориентиром. В вашей публицистике вы часто утверждаете важность поэтической фантазии, сказки для челове-

ка: именно ради сказки и совершаются подвиги. Человек — наименее материалистическое существо из живущих, это правда. Меня только смущает, что сказки, то есть идеалы, могут быть искаженными, даже уродливыми и просто преступными. И самое бескорыстное следование таким идеалам несет разрушение и смерть. Продолжаю думать, что патриархальная семья, сказкой о которой мы все еще пленяемся, принадлежит к числу сказок опасных. Вот мы поэтизируем власть Отца, но доброго, любящего, не пользующегося своей властью ради ущемления домочадцев. Другого отца, вы считаете, мы ненавидели бы. Но разве мы не поэтизируем власть отца-деспота? Разве не поэтизируются в проекции на семью образы таких маленьких иванов грозных и петров великих? Попробуем уместить в голове две как бы разнонаправленные мысли: а) миф человеку необходим; б) миф для человека опасен. К числу таких мифов относится и миф о семье. Когда на тему патриархальной семьи заспорили у Тургенева Павел Петрович и Базаров, последний напомнил о таком некрасивом явлении, как снохачи. Но ведь снохачество, как и другие уродливые проявления патриархальной жизни, неизбежно порождается самой патриархальностью. Если уж миф нам так нужен (а он нужен, повторю), давайте осознаем его амбивалентность. Может быть, это не разрушит миф, а придаст ему своего рода глубину? Вольно было Воланду и его компании творить миф о неразоблачаемости магических фокусов. Сама булгаковская литературная реальность их разоблачает, причем буквально: коровьевские купюры становятся бумажками, а наряды бесследно исчезают, предоставив женщин их собственной нагоде. Да, без мифа нет культуры. Но пусть к мифу прилагается и инструкция по его разоблачению...

А. М. «Но разве мы не поэтизируем власть отца-деспота? Разве не поэтизируются в проекции на семью образы таких маленьких иванов грозных и петров великих?» — «Разумеется, нет», — хочется ответить мне, ибо ни с чем подобным я никогда не сталкивался. Разве что у Чехова.

«Утром, когда я, встав от сна, стою перед зеркалом и надеваю галстук, ко мне тихо и чинно входят теща, жена и свояченица. Они становятся в ряд и, почтительно улыбаясь, поздравляют меня с добрым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю им, что глава дома — я.

— Я вас, ракалии, кормлю, пою, наставляю, — говорю я им, — учу вас, тумбы, уму-разуму, а потому вы обязаны уважать меня, почитать, трепетать, восхищаться моими произведениями и не выходить из границ послушания ни на один миллиметр, в противном случае... О, сто чертей и одна ведьма, вы меня знаете! В бараний рог согну! Я покажу вам, где раки зимуют! и т. д.».

Решительно во всех известных мне семьях отношения строятся на взаимной любви, неотделимой от уважения. Да, случаются и ссоры, и разводы, но они всеми воспринимаются как драматическая или даже трагическая аномалия. Решительно все согласны, что семейные отношения должны базироваться на любви и верности.

Скажите, пожалуйста, где вы, лично вы видели семейных деспотов, которые еще и считали, что так и должно быть, которые еще и поэтизируют эту роль? Вы говорите, что нужна инструкция по разоблачению этого мифа? Да, конечно, если в каких-то дремучих слоях он действительно существует. Но миф о мудром и добром отце и есть наилучшая инструкция для разоблачения мифа, поэтизирующего отца деспотического. Если же говорить о практической стороне дела, то, судя по тому, что больше половины браков распадаются, мало кто согласен терпеть деспотизм супруга или супруги по идейным соображениям. По опросам ВЦИОМ, треть разводящихся считает главной причиной развода финансовые проблемы, а неумение идти на компромиссы маячит на последнем месте, около 5 %.

Можно, правда, допустить, что деспотические семьи сюда не попадают именно потому, что не решаются разорвать брачные кандалы, и я с самым искренним интересом хотел бы от вас узнать, есть ли какие-то научные данные о количестве семей, томящихся под гнетом деспота отца или матери, и о мотивах, заставляющих их это положение терпеть?

В. П. Александр, я не социолог, каких-то научных данных привести не смогу. Но огромное количество разводов свидетельствует как раз о том, что институт семьи разрушается, патриархальность уже не привлекает, да она и невозможна. В этом смысле интересна метафора, которую вы употребили — «брачные кандалы». Точно ли вы такой уж защитник патриархальной семьи? Или это ирония?

Что до литературы, то образы отца-деспота мы находим во множестве — именно они (в том числе и ваш пример из Чехова), а не миф о добром и мудром отце есть лучшая инструкция против обаяния патриархального деспотизма. Вспомним Дикого из «Грозы», отца Аксиньи из «Тихого Дона». Патриархальность — страшная несправедливая сила, отдающая семью на волю отца. И дальше все зависит от этой воли — доброй или злой. Зачем искушать «малых сих» отцов этим? Иван Грозный и Петр тоже были отцами-сыноубийцами. И что, не поэтичны их образы? Не испытываем мы, читая о них, смесь пиитического ужаса и восторга? Уверены ли мы, что в своей семейной функции они только отвратительны? Сыноубийцей мог стать и самый архетипический из патриархов — смиреннейший Авраам. Был готов к этому. Но бог, что называется, упас. Для того, чтобы потом самому пройти этот путь... Недостаточно поэтичны мифологические отцы (Кронос, Лай), готовые принести детей в жертву, чтобы обезопасить себя? Достоевский даже исследует поэзию отвратительного: вспомним образ Карамазова-отца. Давайте же похороним патриархальность, благо она все равно мертва, перестанем ориентироваться на нее, как осел на прикрепленную впереди морковку.

А что до конкретного случая, то вот. Бабушка моя с гордостью вспоминала, каким строгим был прадед: чуть что не так за столом, сразу ложкой по лбу. Очень это ее восхищало. Зато мужа своего, комиссара на двух страшных войнах, не ставила ни во что: не был в семье грозен. Даже выгнала его из им же полученной за заслуги квартиры... Вообще презрительное отношение к слабому отцу — обратная сторона культа тирана. В «Недоросле» и «Господах Головлевых» слабые отцы — самые никчемные существа. Но если я ошибаюсь в том, что образ грозного отца все еще сохраняет свою опасную привлекательность, то в том, что отец-деспот — неизбежное следствие патриархальности, абсолютно уверен. Так что я говорю патриархальной семье «нет» — даже если ее предлагают только в качестве благостного ориентира.

А. М. Дорогой Вадим, да разве же я предлагаю вернуться к той ужасной патриархальности, которую вы развенчиваете вслед за классиками. Дед моей жены, когда взрослый сын громко засмеялся за столом, пробил ему голову мозговой костью, а когда мой собственный дед в молодости возвращался домой пьяный, все семейство разбегалось по соседям. При том, что он действительно выкормил всех внуков, пока отцы сидели и воевали. И в старости этой дури совершенно не проявлял — возможно, тоже находился под властью идеала грозного отца. И если вы считаете, что этот идеал действительно жив, то, разумеется, надо его развенчивать.

Но я какой ни на есть художник и умею верить только собственным глазам. «Грозного отца» я видел только однажды и описал его в повести «При свете мрака»: этот кретин пыжился и важничал, покуда реально не забил до смерти собственную жену. Но любящих, заботливых отцов я видел в сотни раз больше — других я, собственно,

почти и не видел. Стало быть, они пребывают под властью какого-то другого идеала, который бы я и хотел сохранить. Да, я хотел бы, чтобы семью сохраняли не «кандалы», а идеалы. Пусть даже и такие архаические, как Богоматерь и Отец небесный.

В. П. Согласен, что любящего отца увидеть в семье проще, ведь нелюбящих зачистую и след простыл. Знаю и таких, что, пройдя с полдесятка браков, любят всех своих детей в оставленных семьях. Может быть, на наших глазах возникает какой-то новый миф о семье, не связанный с патриархальностью? Может быть, мир отцов уже сменился миром людей?

А. М. Миром людей, не связанных верностью, хотите вы сказать? Чтоб всей вселенной шла любовь? Чтобы никто никого не считал единственным и незаменимым и сам не претендовал ни для кого быть единственным и незаменимым? Чтобы супруги не устраивали трагедий, теряя друг друга, а дети не видели ничего удивительного в том, что у них время от времени меняются папы и мамы? Мне кажется, такая коллективизация противоречит важнейшей тенденции современного мира — возрастанию ценности каждой индивидуальности. Если даже государства, по крайней мере, декларируют уникальность, незаменимость каждого гражданина, то тем более этого должна придерживаться семья. Ценности свободы не должны утверждаться за счет ценностей верности. Поиск компромисса между ними, поиск нового мифа, утверждающего обе эти ценности, — важнейшая задача социальной философии и художественной литературы.

РОЖДЕНИЕ СВОБОДЫ В ЕВРОПЕ

Часть 2*

Итак, всевластие разума поставлено под сомнение. Что же появляется вместо него? Свобода. Только во второй половине XVIII века, по сути, начался серьезный разговор о свободе как ценности. Все то, что часто у нас принято считать борьбой за свободу в средние века и в начале Нового времени, являлось, скорее, борьбой людей за соблюдение их корпоративных прав. Великие и невеликие хартии вольностей, золотые буллы, разнообразные привилегии подписывались не потому, что договаривающиеся стороны ценили свободу как таковую, а потому, что подобным образом урегулировали между собой конфликты, возникавшие в основном из-за раздела ресурсов. Парламенты, штаты, кортесы, сеймы, ландтаги, риксдаги и соборы требовались вовсе не для торжества свободы, а для того, чтобы урегулирование конфликтов велось с помощью переговоров, а не с помощью гражданских войн. Магдебургское, любекское и прочие права приобретались бюргерами не потому, что они страстно желали свобод, а потому, что внутри городских стен стремились сами ограничивать свободы ради максимизации выгод.

Нормальной логикой средних веков было стремление каждого расширить собственные рамки свободы, но сузить эти рамки для зависимых от него людей. Дворяне боролись за права с королем, но в отношении своих крестьян предпочитали крепостное право. Духовенство отстаивало собственные привилегии, но преследовало еретиков, не допуская свободы совести. Городские цеха опасались налогового беспредела государства, но сами не позволяли рыночным свободам разрушать сложившиеся монополии. А новый бизнес, возникший в XVI—XVII веках вне городских стен, рад был освободиться от цеховых ограничений, но при этом энергично богател на работорговле и на предоставляемых монархами монополиях в торговле с Ост- и Вест-Индиями. Лишь разочаровавшись в возможностях разума и регулярного государства, европейцы стали обсуждать проблему свободы как способа мироустройства и важнейшей ценности, в которой нуждаются все люди, независимо от сословного положения и цвета кожи.

«Человек рождается свободным, но повсюду он в цепях»

В научно-публицистической литературе о свободе в 1762 году заговорил Руссо, написавший книгу «Об общественном договоре, или Принципы политического пра-

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году. Российский экономист, политолог, журналист.

* Окончание. Начало см.: Нева. 2024. № 3.

ва». «Общественный договор» стал для читателей шоком, сопоставимым, наверное, по значению с шоком, порожденным сентиментализмом, нанесшим удар по разуму в художественной литературе. В первой строке первой главы Руссо однозначно заявил: «Человек рождается свободным, но повсюду он в цепях». Долгое время люди представляли, будто находятся под защитой государства, заботящегося об их благе, но оказалось, что они в цепях, которые государство как раз и сковало. Почему же так вышло? Согласно Руссо, дело не только и даже не столько в насилии, принудительном обращении в рабство и т. д. Дело в заключенном людьми общественном договоре и в той трансформации свободы, которая происходит под его воздействием. Чтоб ограничить насилие со стороны бандитов и завоевателей, предотвратить попадание в рабство и сохранить свою собственность, обеспечивающую возможность нормального существования, люди договариваются о формировании государства. В итоге «по Общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает». Само по себе это вроде бы неплохо. Томас Гоббс даже сказал бы, что очень хорошо. Однако процесс трансформации свободы на этом не заканчивается. Государь в конце концов разрывает общественный договор. И это, согласно Руссо, не случайность: «В этом заключается исконный и непрменный порок, который с самого рождения Политического организма беспрестанно стремится его разрушить, подобно тому как старость и смерть разрушают в конце концов тело человека». Переродиться правительство может разными путями: скажем, превратиться из демократии в аристократию, а из аристократии в монархию. «Такая склонность заложена в нем от природы». Представления автора «Общественного договора» о подобных процессах не соответствует реальному ходу истории, однако другой его «сценарий» вполне реалистичен. По Руссо, может произойти распад государства: либо монарх отказывается действовать соответственно с законами и узурпирует верховную власть, превращаясь в тирана, либо узурпируют власть члены его правительства, что порождает анархию или олигархию.

Думается, в действительности государи с самого начала формирования государства мало считаются с законами и нарушают их постоянно, если не встречают сопротивления в той или иной форме. Давидом Юмом на этот счет еще в 1748 году были высказаны значительно более трезвые, чем у французского мыслителя, взгляды. Но подобные представления плохо вписываются в теорию Руссо, а потому не находят отражения на страницах «Общественного договора». Впрочем, спорность его теории не помешала Руссо прийти к главным выводам: «Пока народ принужден повиноваться и повинует, он поступает хорошо; но если народ как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, он поступает еще лучше». И тут же автор «Общественного договора» легко расправляется с главным возражением своего времени: «Всякая власть — от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит ли это, что запрещено звать врача?» В общем, читатели Руссо вполне могли прийти к выводу, что при таких болезнях, как тирания и узурпация власти, чреватая несоблюдением законов, пора звать революционеров.

Руссо столь большое внимание уделял естественной свободе человека, что в своем педагогическом трактате «Эмиль» высказывал даже мнение, будто проблемы ребенка начинаются с плотного пеленания, из-за которого появляются горбатые, хромые, косолапые, кривоногие, рахитичные люди. Это его непонятно на каких наблюдениях основанное соображение весьма сомнительно, но зато вполне соответствует действительности другое: детей надо с раннего возраста приучать к переменчивости жизни, развивая способность реагировать на новые обстоятельства. Свободный ребенок,

умеющий принимать нужные решения, будет лучше адаптироваться в сложных условиях, чем тот, которого заставляли заучивать правила поведения отцов, якобы остающиеся неизменными. Начальное воспитание состоит не в том, чтобы научить истине и добродетели, а в том, чтобы сердце предохранять от порока, а ум — от заблуждений.

Родители английского поэта и художника Уильяма Блейка не могли знать теории Руссо, но поступили с сыном именно так, как тот требовал. «Я, слава богу, в школу не ходил // И глупостей под розгой не зубрил», — говорил Блейк стихами. А прозой добавлял, что «в образовании нет никакого проку». И более того: «Кто видит во всем сущем лишь рационализм, тот видит одного лишь себя». Не правда ли, весьма характерное высказывание в эпоху преодоления рационализма? С грамматикой и арифметикой Блейк не очень дружил. При этом читал книги и имел честолюбивое намерение познать все. Однако не через разум. Взявшись за Бэкона и Локка, он, например, обнаружил, что они лишь «насмехаются над Вдохновением и Видением». Блейк очень ценил Вдохновение в творчестве, а уж Видения его были таковы, что трудно нынче не признать многие его картины яркими и самобытными.

В Англии о свободе заговорил Адам Смит, но в отличие от Руссо сосредоточил внимание на экономике. В «Богатстве народов» он отметил неэффективность рабского труда и даже указал на малую эффективность труда арендатора, выделив в качестве главной причины отсутствие частной собственности. Раб вообще не может ничего приобретать. Он заинтересован лишь больше есть и меньше трудиться. Арендатор же стимулы к труду имеет, раз получает доход, но не имеет стимулов к инвестициям в землю, которая ему не принадлежит. Отдельный раздел своей книги Смит посвятил свободе внешней торговли, показав, что она способствует богатству народов, а монополии ему мешают.

Ученые либеральных и фритредерских взглядов появились наряду с Англией и в других европейских странах. Во Франции Анн Робер Жак Тюрго написал ряд небольших работ, где заявил о важности свободы. «Ничем не ограниченная свобода торговли и полное освобождение от всякого рода пошлин были бы самым надежным средством для того, чтобы поднять все отрасли национальной промышленности. Закон не должен устанавливать денежного процента, так же как не должен определять цены на все другие товары, обращающиеся в торговле». Наряду со Смитом и Тюрго к триумvirату великих экономистов эпохи относят еще итальянца Чезаре де Беккариа, который, правда, не был столь большим энтузиастом свободной торговли, как шотландец, зато важным принципом экономической деятельности считал эгоизм. В Германии Иммануил Кант заявил, что «государственный строй, основанный на *наибольшей человеческой свободе*, <...> есть необходимая идея, которую следует брать за основу при составлении не только конституции государства, но и всякого отдельного закона». Этой политологической идее Кант дал позднее философское обоснование, отметив, что допустимы любые действия человека, если они не мешают свободе других людей. «Государство, как он его понимает, — писал о Канте Анри Мишель, — имеет только одну задачу: исполнять роль часового, поставленного для охраны прав личности от посягательства на них». На закате дней в одном из писем Кант даже отметил, что именно проблема свободы («Есть свобода в человеке, или напротив: никакой свободы нет, все в нем природная необходимость») пробудила его от догматического сна и подвигла на критику разума, дабы устранить «скандал противоречия разума с самим собой».

В экономике идею свободы конкретизировал Вильгельм фон Гумбольдт, написавший (но не издавший из-за цензуры) в 1792 году работу о пределах государственной деятельности. Он отметил, что «должно быть отвергнуто всякое вмешательство

государства в частные отношения граждан во всех тех случаях, когда нет прямого нарушения прав одного из граждан кем-либо другим из них». Помимо прочего, вмешательство плохо тем, что приучает народ к патернализму, устраняя частную инициативу, но сохраняя стремление обойти государственные законы там, где это возможно. Гумбольдт отверг популярную в XVII веке идею, согласно которой государство должно работать ради благополучия подданных, и отметил, что вместо блага целью должна стать свобода. Ведь под предлогом блага монарх расширяет свою власть до тех пор, пока вред не превысит пользу. А свободный народ сам может добиться благополучия.

Книгой, которая обрела широкую известность, как популярное изложение доктрины Адама Смита, стал «Трактат политической экономии» Жана Батиста Сэя (1803), а ее автор стал первым во Франции университетским преподавателем политической экономии. А к середине XIX века появилась и первая всеобъемлющая система политэкономии, основанная на представлениях о важности свободы. Ее создал Джон Стюарт Милль, исходивший из того, «что великая цель социального прогресса должна заключаться в том, чтобы путем его культивирования сделать человечество пригодным для такого состояния общества, где сочеталась бы наибольшая личная свобода с таким справедливым распределением плодов труда, которое нынешние законы собственности откровенно даже не ставят своей целью». Милль не исключал госрегулирования экономики, но предупреждал о его опасности. «Притеснение со стороны правительства, могущество которого вообще не могут преодолеть никакие усилия отдельных лиц, оказывается намного губительнее для источников общественного благосостояния, чем практически любое беззаконие и смута в системе свободных институтов. Определенного богатства и прогресса народы достигли даже при таком несовершенном общественном устройстве, которое граничило с анархией; но ни одна страна, в которой народ безгранично подвергался произвольным поборам со стороны правительственных чиновников, не смогла сохранить ни промышленности, ни богатства. Подобное правление в течение нескольких поколений неизбежно приводило к уничтожению и промышленности, и богатства». А за счет чего происходит прогресс? Милль полагал, что в значительной степени за счет торговли, причем важно отметить, что ее очевидные экономические выгоды он ставил даже ниже ее влияния на умственные и нравственные качества народа. «Едва ли можно при нынешнем низком уровне развития человека не ценить того, что люди вступают в контакты с другими людьми, непохожими на них, с образом мыслей и действий, отличным от того, к которому они привыкли. Торговля теперь, как некогда война, служит главным источником таких контактов. Торговцы, решившиеся на рискованные предприятия и жившие в более цивилизованных странах, были первыми проводниками цивилизации для варваров». Этот подход сильно отличается от подхода тех, кто считал деструктивной погоню за деньгами.

Если Милль написал книгу для ученых, то француз Фредерик Бастиа в ироничной форме разъяснял преимущества экономической свободы для широких читательских масс. Он, например, продемонстрировал нелепость госрегулирования, сочинив прошение фабрикантов свечей, пожелавших запретить окна под тем предлогом, что солнце является их конкурентом, и уверявших, что национальная экономика расцветет, если защитить подобным образом «отечественного производителя». В другом сочиненном Бастиа ироничном прошении к королю некий мыслитель рекомендует для борьбы с безработицей запретить народу трудиться правой рукой. Ясно, что производительность труда у рабочих в этом случае резко снизится и спрос на рабочую силу возрастет. По мнению Бастиа, Бог даровал человечеству все необходимое для ис-

полнения своего предназначения. Поэтому не следует государству вмешиваться в систему мироустройства, созданную Господом, а лучше дать свободу, означающую, что мы верим в Бога и его творение. «Я глубоко верю в мудрость божественных законов и по этому самому верю в свободу», — писал Бастиа, соединяя то, что, казалось бы, несовместимо: религиозность с либерализмом. Даже гениальный мыслитель не может предложить такую организацию общества, которая превосходила бы естественную организацию, созданную Творцом. А значит, не стоит улучшать то, что и так хорошо работает.

Наряду с наукой и публицистикой идея свободы как важнейшей ценности охватила художественную литературу. О ней стал говорить Фридрих Шиллер устами маркиза Позы — важнейшего героя драматической поэмы «Дон Карлос». В диалоге с испанским королем Филиппом II маркиз развенчивает доминировавшую в XVII веке идею регулярного государства, где люди оказываются лишь инструментами в руках монарха, заботящегося о всеобщей гармонии: «Когда вы превратили человека // В свою игрушку — с кем же вы хотите // Гармонию создать?» Монарх задумывается о сказанном, но все же возражает, напоминая о достигнутой им стабильности: «Вы осмотритесь — // Как расцвела Испания моя: // Безоблачный покой и счастье граждан». «Такой же мир я прочу и фламандцам», — добавляет Филипп, объясняя смысл начатой им военной операции против Нидерландов, борющихся за свободу. Маркиз, однако, отвергает логику короля, говоря, что такой покой — это покой кладбищенский и что невозможно «остановить всеобщую весну, // Великое омоложение мира». От испанской стабильности достойные люди бегут в соседние страны. Личность оказывается сильнее государства. Поэтому разумный монарх должен не сосредотачивать у себя власть, а даровать свободу:

Нет, человек и выше, и достойней,
Чем думаете вы. Он разобьет
Оковы слишком длительного сна
И возвратит свое святое право <...>
Верните то, что отняли у нас, —
Великодушно, как пристало сильным,
Рассыпьте счастье щедрою рукой,
Даруйте в вашей мировой державе
Свободу человеческому духу <...>
Всмотритесь в жизнь природы.
Ее закон — свобода. Все богатства
Дала свобода ей <...>
Но жалок мир, который вы творите.

Шиллер, по словам Гёте, проповедовал евангелие свободы. С годами европейцы писали (и пели) о ней все больше. У Бетховена в «Фиделио» ария Леоноры начинается словами: «О нет, тиран, не за тобой грядущий день! // На краткий час твоя победа. // Исчезнешь ты, падешь бесследно». Альфред де Мюссе в «Исповеди сына века» отмечал, что после падения Наполеона во Франции славу и воинское честолюбие как важнейшие духовные ценности стала сменять свобода. Эта идея расползлась по Европе, охватывая все более широкий круг стран. Когда начал творить Александр Пушкин, мода на вольность уже проникла и в русские интеллектуальные круги. Сразу три его современника отмечали, что свободолюбие юного поэта скорее форми-

ровалось общей духовной атмосферой, чем было следствием серьезных личных раздумий. Именно в России возник, на мой взгляд, самый сильный, яркий и глубокий гимн свободе:

Я мало жил и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской.
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

Герой поэмы Михаила Лермонтова «Мцыри» хотел узнать, «для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы». Формально он проиграл и погиб, как Вертер. Но на самом деле победил, поскольку нашел в себе силы вырваться из «тюрьмы», «обняться с бурей», схватиться с барсом и одолеть зверя в этой, казалось бы, обреченной на поражение схватке. Мцыри, как Вертер, не мог предложить альтернативу «тюрьме», из которой хотел вырваться, но Лермонтов, наверное, даже лучше, чем Гёте, смог показать красоту той жизни, которая не вписывалась в рациональные схемы.

«Я к цепи руку приучил»

Впрочем, идея свободы пробуждала в душах поэтов не только гимны, но и печальные размышления. Проблема бегства от свободы была осмыслена Байроном в «Шильонском узнике» практически тогда же, когда другие авторы превозносили ее как важнейшую ценность. Наверное, не случайно поэт поместил своего героя не в «родной» Тауэр и не в нашумевшую за бурные революционные дни Бастилию, а в замок на Женевском озере, где мрачная тюрьма окружена божественной красоты природой. Подобный контраст заставляет читателя задуматься о том, что речь идет не просто о временном заключении, а, скорее, о самом человеческом бытии, о том, что мы постоянно зажаты между свободой, которая где-то совсем рядом, и тюрьмой, которой на деле оборачивается наше повседневное существование.

Утрата свободы, навязанная государством, стремящимся унифицировать людей, и обществом с его традиционными общинными нравами, ломает человека. Она не просто ограничивает возможности его жизни, а фактически лишает жизни как таковой, превращая существование во нечто мутное, невнятное, бессмысленное:

Все в мутную слилось тень;
То не было ни ночь, ни день,

Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистной для очей;
То было — тьма без темноты;
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без Промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой.
Недвижный, темный и немой.

Утратив вместе со свободой свою человечность и смысл своего существования, шильонский узник свыкается с тюрьмой и обнаруживает вдруг, что даже не хочет никуда из нее уходить. Ему в несвободе существовать комфортнее:

Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там всё друг,
<...>
Я к цепи руку приучил;
И столь себе неверны мы! —
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я об тюрьме своей вздохнул.

Сегодня мы понимаем, что именно из этого вздоха о тюрьме, о привычной «бездне пустоты» проистекают трудности модернизации общества. Байрон почувствовал это еще тогда, когда Европа с оптимизмом смотрела на возможности освобождения.

Другой комплекс проблем, порождаемых культивированием свободы, представляло собой творчество маркиза де Сада с его стремлением к свободе безграничной, не сдерживаемой моральными нормами. Саму по себе фигуру Сада вряд ли следует относить к числу тех, что могли быть порождены лишь новой эпохой. Подобный маркиз, получающий удовольствие от жестокого обращения со своими девушками, мог появиться и раньше. В средние века на него никто не обратил бы внимания при проявлении жестокости по отношению к крестьянкам. Или, наоборот, он был бы убит, если бы оскорбил знатную даму. В XVII столетии такого «безумца» мигом отправили бы в «психушку», на чем история «сализма» и закончилась бы. Во второй половине XVIII века формально ситуация оставалась похожей: маркиз побывал и в Венсенском замке, и в Бастилии, и в других тюрьмах, а закончил свою жизнь в начале XIX века в Шарантоне — лечебнице для душевнобольных. Но история сализма на этом не закончилась. Наоборот, лишь началась. Маркиз стал от нечего делать писать книги, и изменившееся общество со временем восприняло «свободолюбивые» (либертен-

ские, как говорил он сам) идеи Сада настолько серьезно, что «культурный след» его жизни сохраняется по сей день. Проблема садизма — проблема культурная, а не только медицинская. «Я уважаю любые вкусы и любые фантазии, какими бы абсурдными они ни казались», — писал Сад, и эти представления о свободе не остались без последователей.

Многие тексты Сада были вполне адекватны свободолобивым настроениям эпохи. Или, по крайней мере, они выстраивались так, чтобы вписываться в общий ход борьбы с деспотизмом. Скажем, самое знаменитое его произведение «120 дней Содомы», созданное в Бастилии накануне революции, начинается с краткого и гневного осуждения развращенности сильных мира сего, после чего на протяжении всего романа автор в деталях описывает проявления этой развращенности так, как будто хочет внушить читателю ненависть к Старому режиму. В романе «Жюстина, или Несчастья добродетели» бедная героиня ходит по рукам, причем каждый, к кому она попадает, оказывается маньяком и насильником, что демонстрирует превращение добродетели в маргинальное явление, сохраняющееся лишь у глупых, наивных девушек, воспитанных в монастыре. Маньяки столь успешно обосновывают необходимость своих действий в длинных философских диалогах, что читателю в голову закрадывается мысль, будто Старый режим погиб от недостатка разврата, способного служить важной социальной скрепой. Наконец, «Философия в будуаре, или Безнравственные наставники» переносит возмущение с государственного уровня на семейный, отрицая право родителей ограничивать свободу пятнадцатилетних девочек. Пусть предаются пороку: ведь природе соответствует все, что хочется делать человеку, что вытекает из потребности его чувств. Девушки, познавшие свободу, станут, по мнению «безнравственных наставников», значительно мудрее, поднимутся над обычаями и предрассудками, откажутся от религии, сбросят с себя «оковы». Наставников Сад, конечно, именует безнравственными, но больно уж досконально и убедительно он раскрывает их аргументы в тексте своего романа.

Маркиз полностью отказался от гипотезы о существовании души и свел тело к системе органов, лишенных внутреннего единства, к набору шестеренок. Это тоже было в духе эпохи, в духе теории Ламетри о человеке-машине (1747), начинающей работать благодаря заправке пищей и изнашивающейся к старости от непрерывного использования. В общем, если конкретика текстов маркиза шокировала читателя, то их идейное наполнение было в целом адекватно запросу общества на свержение всего старого. Социально озабоченные люди читали Руссо, сексуально озабоченные — Сада, но всё в эту эпоху так или иначе сводилось к одному. Хотя книги маркиза были недоступны читателям в день взятия Бастилии, сам ее скандальный узник еще 2 июля 1789 года звал народ из окна своей камеры на штурм тюрьмы.

Представления о свободе Рихарда Вагнера были не менее оригинальными, чем у маркиза де Сада, хотя, конечно, не столь скандальными. Композитор желал освободить искусство от пут коммерции, поскольку театр, как он считал, не свободен до тех пор, пока зависит от денег и похож на предприятие. Однако театральный революционер не желал ограничиваться столь узкой сферой, как искусство. Он считал, что путь к истинной свободе состоит в «эмансипации монархии» от демократических ересей и в восстановлении истинного германского отношения между князем и свободным народом. Конституционная монархия — это иностранное, не немецкое понятие. Логика здесь, по-видимому, такова: если монарх будет абсолютным, то станет абсолютно свободен от всех влияний. И тогда он послужит свободе. Не суетной свободе, связанной с обустройством унылого материального мира, а высшей — той, которая обещает «полное перерождение человеческого общества» и революционное преобра-

зование «чувственной формы настоящего времени». В нынешнем обществе «в угоду богатым Бог стал индустрией... наш Бог — это золото, наша религия — нажива». Нынешнее общество сбилось с истинного пути. То, что считается прогрессом, на самом деле является упадком. Цивилизация бессердечна и дурна, глубоко аморальна, людей она превращает в чудовищ. Наш мир Вагнер назвал «пустошью опорощенного Рая». Нужно сформировать религию, свободную от эгоизма, которая вернет этот рай народу.

Похожим образом рассуждали, кстати, славянофилы и панслависты. Как в Германии, так и в России эти размышления вели к новому варианту построения оптимального общества, но основанного уже не на рациональных началах, как в XVII веке, а на чувственных. «Неправильный человек» теперь не выводился за рамки общества, а подлежал исправлению. Если он станет правильно, возвышенно чувствовать, то вслед за исправлением нравов изменится в лучшую сторону и общество.

Перечень разнообразных проблемных представлений о свободе можно было бы, наверное, продолжить, но главной проблемой, думается, стало все же разделение искателей свободы на две большие группы, которые условно можно назвать наступательной и охранительной. Среди сторонников первой были те, кто стремился переустроить «старые режимы» на принципах свободы или переделать человека, освободив его от ментального наследия этих режимов. Среди сторонников второй оказались те, кто просто хотел сохранить себя от давления государства и общества: сохранить свою собственность, свое видение мира, свое право жить по личному выбору, а не по приказу энтузиаста, переустраивающего политические режимы и «неправильных» людей. Я бы хотел условно назвать первую группу романтической, а вторую либеральной, не вдаваясь сейчас в полемику об уже имеющихся многочисленных дефинициях романтизма и либерализма. Важно подчеркнуть, что как романтизм, так и либерализм в используемом мной смысле являются детьми одной эпохи — эпохи отказа от культа разума и регулярного государства. Стендаль сближал стремление к свободе политической и духовной, когда видел в борьбе романтиков против классицистов одно из проявлений борьбы либералов против старого режима. А Виктор Гюго называл романтизм либерализмом в литературе. Но идиллическое «братство», увы, сохранялось недолго. По прошествии времени, когда «детки» подросли, отношения между романтиками и либералами стали скорее напоминать отношения между Каином и Авелем.

Различные представления о свободе можно в прямом смысле проиллюстрировать работами ведущих художников эпохи. Наверное, первая картина, которая придет на ум каждому в этой связи, — «Свобода, ведущая народ. 28 июля 1830 года» (Париж, Лувр), или, как ее иногда называют, «Свобода на баррикадах». В картине есть много революционного пафоса и много оружия. Есть трупы бойцов, погибших за свободу, и есть национальное знамя, вдохновляющее живых на подвиги. Но с этим шедевром Эжена Делакруа удивительным образом переплетается картина Каспара Давида Фридриха, написанная двенадцатью годами раньше, — «Странник над морем тумана» (Гамбург, Кунстхалле). Герой немецкого художника, так же как героиня французского, поднимается на высоту. Но не на баррикаду в Париже, а на скалу в Саксонской Швейцарии. Вокруг него нет ни людей, ни признаков их существования. Лишь скалы да туман. Если он с кем-то и борется, то лишь с самим собой. И возникает чувство, что этот человек поистине свободен. Он ведь оставил всю суету нашего мира внизу, ушел вверх от цивилизации, от политики и быта, от схваток с врагами. Он просто впитывает в себя природу, не загружая разум социальной проблематикой.

Похожим образом ведет себя герой картины Каспара Давида Фридриха «Монах у моря» (Берлин, Старая национальная галерея). Он вырвался из храма, где должен молиться. И даже из стен своей обители. Он абсолютно свободен. Он превратился

в крохотную фигурку, почти растворяющуюся в природе. И подчинен он лишь логике природных процессов — буре и натиску стихий, а не монастырскому распорядку. Наверное, он мог бы молиться в горах перед огромным крестом, представленным в «Теченском алтаре» (Дрезден, Галерея новых мастеров), но там Каспар Давид Фридрих предпочел вообще обойтись без людей, оставив распятого Христа наедине со зрителем. И точно так же наедине со зрителем остается главный герой рубежа XVIII—XIX веков, изображенный в картине Антуана Жана Гро «Наполеон на Аркольском мосту» (Санкт-Петербург, Эрмитаж). Великий полководец с оружием в руке несет свободу Европе, всем своим видом призывая людей двинуться за ним, отстаивая это величайшее достижение восставшего французского народа.

Борьба за свободу требует от людей активной жизненной позиции. Наверное, лучше всего это выразил Жак Луи Давид в картине «Клятва Горациев» (Париж, Лувр), на которой изображены юноши, готовые взять мечи из рук своего отца. Их всего трое, но кажется, точно так же в шеренге готовых принять оружие людей могут стоять миллионы. В годы революции Давид начал работать над картиной «Клятва в зале для игры в мяч», на которой уже избранники миллионов простирают руки, демонстрируя готовность сражаться за свободу. Картина не была осуществлена, но по рисунку сделали гравюры, непосредственно использовавшиеся революционерами в пропагандистских целях. Картины Давида — это неоклассицизм, но эпоха отразилась в них так же, как в ярких произведениях романтизма: надо действовать, если желаешь добиться цели. А вот пейзажи Джона Констебля демонстрируют прямо противоположную идею, отрицая даже характерное для эпохи рационализма сознание превосходства человека над природой. Он создает, в частности, несколько картин, изображающих собор в Солсбери, делая акцент не на самом здании, а на окружающей его природе, на том, как дела человеческих рук вписываются в творение Господа. Романтический пейзаж предполагает, что мы не переустройстваем мир, а лишь встраиваемся в него. У Каспара Давида Фридриха природа поглощает, втягивает в себя одиноких людей и создает условия для того, чтобы они ощущали себя свободными. Герои «Новой Элоизы» Руссо вместо того, чтобы разбивать природу на квадраты, как принято было в садах эпохи рационализма, создают живописный пейзажный парк с извилистыми дорожками, хаотично разбросанными кустами и тенистыми деревьями. Главная задача — «избежать симметрии: ведь симметрия — враг природы и разнообразия». Романтический подход прямо противоположен старому — требовавшему искусственности и единообразия. «Садоводы ставили себе целью не создание нового микромира, ничем, кроме рельефа местности, не связанного с особенностями местной природы, а только преобразования и улучшения существующей уже растительности», — писал академик Лихачев. По такому принципу был создан Павловский парк под Петербургом.

«Правосудие придет на помощь моей ярости»

Важнейшим достоинством культа разума и регулярного государства считалась способность обеспечить стабильность общества и его функционирование на основе законов. Нарождающийся культ свободы, казалось бы, должен был вступить в противоречие с этим важнейшим достижением цивилизации. Но новая эпоха оспорила старую догму, заявив, что порочное правоприменение фактически свело роль права к нулю. Закон использовался в интересах сильных мира сего, тогда как слабые постоянно страдали от произвола. Абсолютистский Левиафан породил на деле абсолютное беззаконие. Трудно найти в литературе эпохи тему, более важную и популярную, чем демонстрация этих беззаконий.

Наверное, одним из первых серьезно усомнился в плодотворности законотворческой деятельности ироничный Джонатан Свифт в 1720-е годы. Во втором путешествии Гулливера король страны великанов (Бробдингнэг), внимательно выслушав рассказ о том, как живут люди в Англии, заметил, что там «невежество, леность и порок являются основными качествами, приличествующими законодателю; что законы лучше всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их». Похожую оценку дал и житель страны Гуигнгномов (лошадей), полагавший, что «существование у нас правительства и законов, очевидно, обусловлено большим несовершенством нашего разума». Мозгов у людей немного, отмечал Свифт устами своего лошадиного героя, и используют они их лишь для того, чтобы усугублять свои врожденные пороки и развивать новые. Свифт, впрочем, был явным нонконформистом, плохо приспособившимся к существовавшим в его эпоху правилам. Другие авторы приспособлялись лучше и стремились не мушкетировать опасную тему. Но во второй половине XVIII века «плотину прорвало» и произошло по-настоящему широкое отторжение жизненных старых норм.

У Шиллера в трагедии «Заговор Фиеско в Генуе» главный герой, рвущийся к власти, прямо заявляет, что для него большое удовольствие «водить закон — этого титана в латах — на помочах, видеть, как тщетны все его старания отплатить за нанесенные ему раны». В других произведениях демонстрируется, как именно сильные манипулируют законом. Например, в «Эмилии Галотти» Готхольда Эфраима Лессинга «госаппарат» принца похищает девушку и организует убийство ее жениха для того, чтобы ублажить страсть главы государства. В «Коварстве и любви» Шиллера «госаппарат» герцога строит интриги, оборачивающиеся гибелью двух влюбленных, для того чтобы укрепить политические позиции министра-президента и гофмаршала. «Правосудие придет на помощь моей ярости», — говорит президент, и эти слова точно отражают положение, которое занимает закон в обществе. Похожая история случается с влюбленными и в романе Алессандро Мандзони «Обрученные». Итальянский писатель на протяжении более 600 страниц описывает их злоключения, вызванные коварством тех, кто имел реальную власть в Италии XVII века, но уже в первой главе делает публицистическое отступление, формулирующее главную проблему: сколько бы нормативных документов ни принимали власти для поддержания порядка, правосудие все равно остается «басманным». Оно применяется лишь тогда, когда это выгодно власти имущим и только в интересах власти имущих. Те совершают насилие с помощью своих частных гвардий (так называемых «брави»), и правоохранительная система не может этому сопротивляться. «Закон отнюдь не служил оградой робкому и незащищенному человеку, не имеющему собственных средств держать близких в страхе. <...> Безнаказанность крылась уже в самой природе вещей, и указы либо не затрагивали, либо не в силах были искоренить ее. <...> Составители указов отдавали честных граждан на произвол всевозможных судей и исполнителей». Кстати, мнение Мандзони — не просто мнение писателя. Он сам осуществил большое исследование («История позорного столба») знаменитого миланского дела 1630 года о заражении населения чумой и показал, что вина осужденных на смерть «отравителей» вовсе не была доказана, что для получения «доказательств» использовались пытки и что судьи, скорее всего, были заинтересованы найти каких-то преступников то ли для выхода собственной ярости, то ли для успокоения народных масс, желавших видеть хоть какие-то действия властей по борьбе с заразой.

У Стендаля в «Пармской обители» все действие вращается вокруг истории героя, посаженного в крепость на долгий срок за предумышленное убийство, хотя на самом

деле оно было совершено им лишь в целях самозащиты. Всю суть проблемы правоприменения автор выразил в одной фразе: «Фабрицио полагал, что знатный человек стоит выше закона, но он не знал, что в тех странах, где высородные люди никогда не подвергаются карам закона, интрига всесильна даже против них». «У вас есть ученые законоведы, которые выступают по улицам с весьма важным видом, — говорят молодому принцу Пармскому, — но судить они всегда будут так, как это угодно партии, господствующей при дворе».

В Англии тему беззакония поднял Перси Биши Шелли в драме «Ченчи», где кардинал обстоятельно разъясняет, как улаживаются дела с законом: «Граф Ченчи покупает за богатства // Таковую безнаказанность, что в ней // Великая скрывается опасность; // Уладить два-три раза преступленья, // Сверхаемые вами, — это значит // Весьма обогатить святую Церковь». В итоге графа Ченчи, сжившего со света из жадности двух своих сыновей, убивает его же собственная семья, взяв на себя ту «работу», которую оказался не способен выполнить закон. После чего закон вдруг «проснулся» и подверг смертной казни дочь убитого преступника. В России близкую по духу историю рассказал Александр Бестужев (Марлинский) в повести «Латник». Князь сжил со света из жадности и самодурства собственную дочь, а когда его делишки приехали разбирать члены суда, он откупился от закона.

Во Франции молодой Виктор Гюго поднял беззаконие на высший уровень в пьесе «Король забавляется». Там весь королевский двор во главе с Франциском I издевается над девушкой себе на потеху: «двор бесчестья, произвола, безбожья, кровавых преступлений, двор, топчущий и женщин, и детей». Ну а в России о царском беззаконии написал Лермонтов в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Опричник беспредельничает с купеческой женой в том же примерно духе, что и герои Лессинга, Шиллера, Мандзони, Гюго... Калашников вызывает Кирибеевича на бой, объясняя, что жить надо по закону господнему и не разбойничать ночью темною. После чего опричник гибнет в честном бою, а православный царь вместо разбора конфликта по существу казнит купца без суда и следствия, предоставляя лишь его родственникам своеобразную материальную компенсацию «за утрату кормильца». У Лермонтова, конечно, меньше обличительного пафоса, чем у западных авторов, и даже сохраняется что-то вроде «взгляда над схваткой». Но по сути, Иван Грозный в «Песне...» ведет себя так же, как Франциск Валуа у Гюго.

Там, где юридические нормы используются против хороших людей, естественно, появляются положительные герои, выступающие против закона. Гёте начинал свою литературную деятельность пьесой «Гёц фон Берлихинген с железной рукой». Главный герой отказывается считать себя преступником. Он — благородный рыцарь, вступающий в конфликт с законом, «не из-за низменной корысти, не для того, чтобы отнять земли и людей у беззащитных и слабых», а, как сам он объясняет, «чтобы освободить моего отрока и защитить свою шкуру». В давнем корнелевском «Сиде», с которого начинался классицизм, герой, преступивший закон, легализуется, пойдя на службу государству. В гётевском «Гёце», созданном через полтора столетия после «Сиды», возникает прямо противоположная ситуация: героя, готового служить императору, закон преследует, несмотря на его благородные действия.

Настоящий перелом во взглядах общества начинается с «Разбойников» Шиллера. Если в «Гёце» драма выглядит еще лишь следствием случайного стечения обстоятельств, то в «Разбойниках» оптимальность мира европейского рационализма XVII—XVIII веков всерьез ставится под сомнение. Шиллеровская драма не дает ответа на вопрос, как правильно обустроить Европу, но старое мироустройство эмоционально отвергает. По Шиллеру, мир несправедлив, в нем добиваются успеха негодяи,

а честному человеку приходится разбойничать. Автор не оправдывает разбоя, но показывает, что среди тех, кого отвергал мир рационализма, могут быть достойные люди. Антисистемный мир тем самым уравнивается с системным, тогда как в классицизме вызывало подозрение все, находившееся вне рамок абсолютизма. Неудивительно, что молодежь переполняла театральные залы на постановках «Разбойников», тогда как старики их решительно отвергали. Гёте в беседе с Эккерманом вспоминал, что однажды слышал от некоего князя такую фразу: «Если бы я был богом и собрался сотворить мир, но в этот момент мне бы открылось, что Шиллер напишет в нем своих „Разбойников“, я бы уж его сотворить не стал».

«Закон заставил ползать улиткой тех, кто предназначен был парить орлом в поднебесье. Закон не создал еще ни одного великого человека, тогда как свобода порождает колоссов и крайности. <...> Дух мой жаждет подвигов, дыхание — свободы». Так говорит благородный разбойник Карл Моор при первом своем появлении на сцене. И хотя в трагическом финале драмы он признает необходимость ответить за свои проступки и отдаться в руки правосудия, само противопоставление свободы закону символизирует наступление новой эпохи. Если в классицизме человек, действующий вопреки правилам, установленным абсолютизмом, был кем-то вроде дикого зверя, то для главного героя «Разбойников» все человечество — это лицемерное крокодилово племя, тогда как среди отверженных обществом бунтарей попадаются порой благородные люди.

Шиллер посмеивался над французской драматургией, в которой герои выглядят марионетками и в известном смысле возвращается к Шекспиру. Франц Моор похож на Ричарда III своей откровенной склонностью к злодейству, Карл Моор — на Гамлета склонностью к рефлексии и медленно пробуждающимся желанием мстить, старый граф фон Моор — на короля Лира, запутавшегося в том, кто из его детей хорош, а кто плох. И концовка у Шиллера шекспировская, трагическая — вся сцена в трупах. Но в шиллеровской драматургии над проблемой бушующих страстей возвышается новая проблема — соотношение закона и свободы.

Ошибочным был бы вывод, будто Шиллер вообще не ценил законов и достижений человеческой цивилизации. Он их очень высоко ценил. Автор «Разбойников» выступал не против права как такового, а именно против конкретных форм правоприменения. Законы надо иметь обязательно, однако ужасно то, что делает с ними «крокодилово племя». Поэтому, стремясь уничтожить законы (например, в ходе французской революции, которая происходила как раз тогда, когда Шиллер был в расцвете творческих сил), человек «рискует существованием общества ради возможного (хотя в смысле моральном и необходимого) идеала общества».

Генрих фон Клейст в новелле «Михаэль Кольхаас» пошел дальше Шиллера в разоблачении системы и вывел сложные юридические процессы на первый план, подробнейшим образом расписав, как конкретно нарушались права его героя и почему тот вынужден был оказаться благородным разбойником. У большинства авторов столь подробного разбора процесса правоприменения найти нельзя, но в целом «бандитская тема» стала важнейшей для романтизма. Шиллер перед смертью задумывал перенести «свой бандитизм» с суши на море: герои его проектируемой драмы — корсары, пираты морей и переселенцы, которые ищут обетованную землю. У Байрона благородный разбойник сначала появляется в «Абидосской невесте», где он, как Гамлет, оказывается сыном вождя, подло убитого родным братом. А затем Байрон, как и положено поэту великой морской державы, перенес «бандитскую историю» на море в своей поэме «Корсар». Конрад — герой «Корсара» — очень похож на Карла — героя «Разбойников». Личные страдания оборачиваются социальной маргинализацией: «Оттолкнут, окле-

ветан с юных дней, // Безумно ненавидел он людей. // Священный гнев звучал в нем как призыв // Отмстить немногим, миру отомстив». Конрад во время набега ведет себя благородно. Благородство порождает любовь девушки. Отрицательным героем представлен не свободолюбивый бандит, а государственный деятель. И поскольку он, ко всему прочему, еще и турецкий паша, симпатии христианского читателя в полной мере оказываются на стороне пирата. Чуть более тридцати лет прошло со дня появления «Разбойников», и вот уже правда полностью ушла от представителей закона к благородным бандитам.

Литературный «евростандарт» эпохи стал привлекать многих авторов. Вальтер Скотт в романе «Пират», где его герой — не слишком удачливый «джентльмен удачи» — страдает и от разорившего его семью неприятеля, и от измены приятелей, и от дурных нравов общества. Вступил «на разбойный путь» и Виктор Гюго, который в драме «Эрнани» нафантазировал, будто в благородные разбойники в Испании XVI века ушел даже некий пострадавший от короля принц Арагонский, что представляло собой сюжет, весьма странный с содержательной точки зрения, но выдержанный вполне в духе требований эпохи. Юлиуш Словацкий создал образ страдающего, благородного корсара в драме «Ламбро, греческий повстанец». Можно сказать, что европейская культура романтизма стала «штамповать» страдающих разбойников одного за другим, демонстрируя тем самым пороки той рациональной социальной системы, которая веком раньше воспевалась как система, служащая благу подданных абсолютной монархии. Популярность «благородного бандитизма» была феноменальной. Скажем, юный Теофиль Готье сорок раз подряд смотрел «Эрнани». Более того, эта пьеса породила моду на плащ цвета крепостной стены, который молодые французы видели на сцене.

В России четырнадцатилетний Лермонтов тоже отметился «Корсаром», сделанным по «евростандарту»: «Узнав неверной жизни цену, // В сердцах людей нашед измену, // Утратив жизни лучший цвет, // Ожесточился я — угрюмой, // Душа моя смутилась думой». Но настоящий прорыв совершил Александр Пушкин, который в «Дубровском» перенес немецкую драму с английской поэмой на русскую почву. У Пушкина, как и у Клейста, правовые вопросы вышли на первый план. Генерал Троекуров отнял у поручика Дубровского имение, воспользовавшись тем, что нужные бумаги погибли при пожаре. Вся завязка истории строится именно на беззаконии. «В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение», — говорит Троекуров. Разбой молодого Дубровского стал следствием неспособности властей разрешить правовую коллизию, случившуюся с его отцом. При этом молодой Дубровский явно романтизируется, как и Карл Моор с Конрадом. Во всех случаях симпатии читателя находятся на стороне благородных разбойников, причем Дубровский абсолютно честен. Он отказывается от мести. Более того, в отличие от Карла Моора он даже не запятнан случайными преступлениями. Благородный разбойник романтизма — положительный герой в отличие от баронов-разбойников средневековья.

«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, несмотря на все внешние отличия, идет по тому же пути, что и «Дубровский». Акцент автором делается не на бандитизме (Эдмон Дантес вообще избегает разбойной судьбы благодаря внезапно обретенному богатству), а на несправедливостях социальной системы, доходящих до полного предела. Сюжетная схема французского классика вполне могла бы подойти для современного русского романа, описывающего ужасы сталинизма. Герой Дюма без суда и следствия оказался в пожизненном заточении благодаря анонимному доносу. В советском случае такое могло бы случиться, скажем, из-за политической борьбы сталинистов с троцкистами или бухаринцами, тогда как во французском — причиной попадания главного героя в зловещий репрессивный механизм оказался конфликт

роялистов с бонапартистами. Описывая судьбы своих героев, Дюма незаметно переходит от романтической критики возведенного в закон беззакония к осуждению самих основ социальной системы. Не случайно, наверное, злодеями у него оказываются «три столпа» капиталистического общества: прокурор, генерал и «олигарх», которым противостоит герой-одиночка. Он уже не отчаявшийся разбойник, то мстящий, то кающийся за пролитую кровь. Граф Монте-Кристо целенаправленно и вполне осмысленно уничтожает эти «столпы». Отсюда остается всего лишь шаг до настоящей революционной деятельности.

Проспер Мериме, путешествовавший по Испании в 1830 году, отмечал, что «профессия разбойника сплошь и рядом не расценивается как бесчестная. Грабеж на больших дорогах в глазах очень и очень многих является *актом оппозиции*, протестом против тиранических законов. А потому человек, у которого нет ничего, кроме ружья, и который достаточно смел, чтобы бросить вызов правительству, является своего рода героем, почитаемым мужчинами и обожаемым женщинами. <...> Иные честные души возлагают на правительство ответственность за все беспорядки, учиняемые бандитами». И далее Мериме приводит легендарные примеры благородства бандита Хосе Марии, всплывающего позже в повести «Кармен». Следует заметить, правда, что испанская ситуация (похожая, кстати, на российскую) радикально отличалась от французской. Как отмечал Мериме в другом письме из Испании, отношение к каторжникам в этих двух странах совершенно различно: «Во Франции человек, ссылаемый на каторгу, — вор, а иногда и того хуже; в Испании дело обстоит иначе: там в самые разные эпохи глубоко порядочных людей осуждали на каторгу за то, что убеждения их не совпадали с убеждениями правителей; хотя число политических жертв крайне незначительно, все же оно оказалось достаточным для того, чтобы переменить взгляды общества на ссыльных. Гораздо лучше вежливо обойтись с мошенником, чем оскорбить приличного человека».

Похожим образом Мериме оценил отношение к разбойникам на Корсике. В повести «Коломба» один из героев говорит: «Хороша жизнь бандита! <...> Корсика для молодого человека страна не очень веселая, но для бандита — совсем другое дело! Женщины от нас с ума сходят. У меня, например, три любовницы в трех разных кантонах. Я везде у себя дома. И одна из них — жена жандарма».

Стендаль фактически подтвердил это распространенное в Южной Европе мнение о бандитах, представив романтическую позицию итальянской дамы. «Только в Риме порядочная женщина, имеющая собственную карету, способна с чувством сказать другой женщине, своей простой знакомой, как это я слышал сегодня утром (30 сентября 1819 г.): „Ах, моя дорогая, не люби Фабио Вителлески! Лучше влюбись в разбойника с большой дороги. Несмотря на свой ласковый и сдержанный вид, он способен пронзить тебе сердце кинжалом и сказать с любезной улыбкой, погружая его тебе в грудь: „Милая, разве тебе больно?“»

Историки тоже подтверждают картину увлечения благородными разбойниками. «Диего Коррьентес (1757—1781), благородный разбойник из Андалусии, в общественном сознании приближался к Христу, — пишет Эрик Хобсбаум. — <...> Юрий Яношик (1688—1713) <...> был провинциальным грабителем в богом забытом уголке Карпат. <...> Но до сегодняшнего дня дошли буквально сотни песен о нем».

В итоге культ благородных разбойников должен был породить нечто вроде утопии, и эту задачу выполнил Вальтер Скотт, который в романе «Айвенго» дал жизнь не только шайке благородного разбойника Робина Гуда, но даже союзу короля Англии Ричарда Львиное Сердце с «королем Шервудского леса». В «Айвенго» все благородные люди вне зависимости от социального и этнического происхождения объединяются

против людей неблагородных, ставших баронами-разбойниками. В основе союза лежит все та же неспособность закона обеспечить достижение справедливости. Саксы страдают от норманнов, йомены — от феодалов, евреи — от храмовников, а сам Ричард — от козней своего младшего брата принца Джона. Но дело, однако, поправимо, если вести себя по совести. В утопии Вальтера Скотта нет правильных и неправильных людей. Правильны все, выступающие за справедливость. «Заветное мое желание, — говорит Ричард, — заключается в том, чтобы все сыны Англии жили между собой в мире и согласии...»

Подобные желания, естественно, никогда не сбываются, поэтому значительно более реалистичным подходом к проблеме является подход Гёте, который в беседе с Эккерманом сказал: «Если бы человечество можно было сделать совершенным, то можно было бы помыслить и о совершенном правопорядке, а так оно обречено на вечное шатание из стороны в сторону — одна его часть будет страдать, другая в это же время благоденствовать». Одним из вариантов такого «шатания» является революция, в ходе которой те, кто страдают, находят способ нанести удар по тем, кто слишком уж благоденствуют.

«Ответственность за революции всегда несет не народ, а правительство»

В свое время Пьер Корнель в трагедии «Цинна» осудил стремление народа к свободе, чреватой гражданскими войнами. Через сто лет после Корнеля персонаж Вольтера в трагедии «Брут» опять говорит, что «демократы» свержают царское иго лишь для того, чтоб возложить на народ свое. Но у Вольтера эти слова вложены в уста отрицательного героя, тогда как мудрый и мужественный Брут твердо стоит на страже римских вольностей. От такого подхода уже прямая дорога к принятию революции. Но настоящему вопросу о ее роли в истории был поставлен не Вольтером, а Гёте ближе к концу XVIII века.

Драму «Эгмонт» Гёте писал очень долго, но опубликована она была за год до начала Великой французской революции (1788) и отразила все «предреволюционные» переживания европейцев. Автор показал, как вызревала революция в Нидерландах XVI века, и фактически опроверг традиционные абсолютистские аргументы о необходимости стабильного режима, основанного на правлении одного человека. Абсолютизм в трактовке Гёте оказался режимом хоть и рациональным, но основанным на плохом знании общества и на упрощенном представлении о том, как устроен мир. Тем не менее Гёте панически боялся, что революция случится в Германии. Характеризуя «Эгмонта» в беседе с Эккерманом через много лет после написания драмы, он отметил, что не был другом французской революции, «ибо ее ужасы происходили слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно», но «ответственность за революции всегда несет не народ, а правительство».

В центре драмы — диалог графа Эгмонта, выражающего мнение нидерландской элиты, и герцога Альба, присланного испанским королем для подавления смуты. Альба решительно отвергает необходимость свободы, утверждая, будто она ведет к междоусобицам, что в конечном счете оказывается на руку врагу. В уста этого отрицательного героя Гёте вкладывает слова, которые полутора столетиями раньше часто звучали во французской классической драме из уст положительных героев Корнеля. Альба утверждает, что простолюдинов надо воспитывать, как детей, твердой рукой направляя к благим целям: «народ не стареет, не набирается ума, он навеки остается ребенком». У Корнеля на этой мысли все закончилось бы, поскольку смуты, возникающие из-за

народного неразумия, и впрямь поражали различные государства. Но у Гёте Эгмонт справедливо возражает Альбе, что король тоже редко разумен, даже если учитывает мнение советников. И проводя ошибочную политику, можно лишь оскорбить чувства людей, а потому лучше править, опираясь на старые традиции и «исконные вольности». «Они упорные и стойкие! — говорит Эгмонт о нидерландцах. — Гнуть их можно, согнуть нельзя». И дальше граф, пересматривает традиционное для абсолютизма сравнение короля и народа с пастырем и овцами. Эгмонт утверждает, что народ — это не стадо овец и не вол, покорно тянущий свой плуг. Люди его страны — благородные кони со своим норовом. Чтобы «объездить» их, надо сначала изучить нравы и действовать в соответствии с ними.

На протяжении всей драмы Гёте показывает, в чем состоят эти нравы. Уличные сценки фиксируют народные разговоры о желании иметь свободного и веселого правителя, который сам бы жил и жить давал другим. Не нравится простым людям вмешательство в их жизнь испанской инквизиции, которая всюду снует, выслеживает, вынюхивает, а также конструирует обвинение из мелких, косвенных, перепутанных, перевранных, потайных, отрицаемых и бог знает откуда выжатых улик. Судить людей должны не по иноземным нормам, а по законам соответствующей провинции. Да и в целом испанский образ жизни для Нидерландов не подходит. Лучше всего это понимает не Филипп II, находящийся за тридевять земель в своем Эскориале, не вооруженный до зубов его посланник герцог Альба и даже не миролюбивый граф Эгмонт, а мудрый принц Оранский, который в итоге становится во главе революции. «Эгмонт» фактически превращается из драмы в политический памфлет, который четко демонстрирует, как и почему разрушаются режимы, выстроенные, казалось бы, на «старых, добрых» рациональных представлениях о стабильности, послушании, устранении излишеств, умиротворении страстей и благе народа.

Революцию как таковую Гёте не описывал, зато Шиллер сделал это в своем труде «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества». Уже во введении автор однозначно указал, что его так привлекло в данной теме: «Как захватывает и как бодрит мысль, что надменные притязания деспотизма встретили, наконец, еще одного сильного противника, что хорошо рассчитанные покушения деспотов на человеческую свободу терпят позорную неудачу, что мужественное сопротивление может отвести занесенную руку деспота, что героическая настойчивость в состоянии истощить, наконец, его страшные силы». Характерно, что за этот труд он удостоился вовсе не репрессий со стороны властей, а, наоборот, почета — должности профессора истории Йенского университета, «попечителями» которого были сразу четыре германских герцога. Это свидетельствовало о том, что идеи борьбы с деспотизмом становились модными даже в правящих кругах.

Несколько позже Шиллер изобразил уже в художественной, а не в публицистической форме ту швейцарскую революцию, которую совершили лесные кантоны в XIII веке. Шиллеровский «Вильгельм Телль» имел большой успех в Веймаре, но постановка в Берлине обернулась истинным триумфом. После нее «состоялось шесть повторных спектаклей — так велик был наплыв публики. Несмотря на противостояние властей по всей Германии, театры состязались в чести иметь право поставить пьесу». Как и другие произведения эпохи, «Вильгельм Телль» описывает тиранию и разнообразные беззакония, вызывающие народный протест, но — самое главное — он описывает так называемую клятву на лугу Рютли: «Пускай тиранов множится вина. // Настанет день — и с ними мы сведем // И личные и общий счет, народный».

На место личной мести, характерной для ренессанса, и на место действий во славу государства, характерных для классицизма, приходит братство, заключенное ради

свободы и равенства. Именно на фоне таких настроений, выраженных Гёте и Шиллером, происходила французская революция, сводившая счеты с тиранами.

Если Гёте и Шиллер искали образцы борьбы за свободу в прошлом, то Байрон грезил о будущем. Куда ни заедет герой его «Паломничества Чайльд-Гарольда», всюду он думает о борьбе. Вот размышления на западе Средиземноморья: «Но ждут поработанные народы, // Добьется ли Испания свободы, // Чтобы за ней воспряло больше стран, // Чем раздавил Писарро. Мчатся годы!» А вот на востоке: «Рабы, рабы! Иль вами позабыт // Закон, известный каждому народу? // Вас не спасут ни галл, ни москвит, // Не ради вас готовят их к походу, // Тиран падет, но лишь другим в угоду. // О Греция! Восстань же на борьбу! // Раб должен сам добыть себе свободу!» И наконец, центральная часть Южной Европы: «Италия! Должны народы встать // За честь твою, раздоры отменяя. // Ты мать оружия, ты искусства мать, // Ты веры нашей родина святая». Ни наполеоновская империя, ни российская, ни османская, ни австрийская Байрона не устраивали. Поэт призывал к свержению всех тиранов, даже «коллективных». В трагедии «Марино Фальеро, дож венецианский» Байрон представил историю XIV века, в которой народ во главе с дожем борется против патрицианской тирании. Впрочем, ту же историю можно трактовать как попытку Фальеро узурпировать власть, устранив олигархическую демократию. Однозначный вывод из байроновской трагедии сделать сложно, поскольку жизнь вообще сложнее схем. Может, поэтому «Марино Фальеро» никогда не был столь популярен, как вполне однозначный «Вильгельм Телль»?

Шелли развил байроновскую тему свержения тиранов, подняв революцию до неба в прямом смысле слова. В «Освобожденном Прометее» свергается Юпитер, которого поэт представил тираном. Впрочем, вершиной романтического анализа революции стала, конечно, часть IV романа-эпопеи «Отверженные» Виктора Гюго, где автор переходит даже от художественной формы к публицистической, описывая общую логику преобразований, происходивших во Франции первой половины XIX века. Гюго описал режим Реставрации Людовика XVIII и Карла X как эпоху, при которой верх взяли не пушки, а мысль. «На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума». Но этот разум, однако, проиграл схватку. Разум не смог контролировать ход событий во Франции. Разум, который нес народу благо, не смог донести его, не расплескав. Дело в том, по мнению Гюго, что трудно навязать умеренное развитие «народу, у которого в его гражданских традициях было 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц». Даже Июльская монархия Луи Филиппа, пришедшая на смену Реставрации, не смогла удержаться под революционным напором масс. Мирустройство оказалось сложнее, чем полагал Разум прошлых лет. Даже разумное гибнет под напором естественного. Именно в этом смысле «революция — не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна происходить», — отмечает Гюго.

Если в обществе есть люди отверженные, исключенные, оно начинает бунтовать против людей «правильных, включенных». И те уже оказываются не способны контролировать ход развития. Рационализм XVII века уступает под напором иррациональных действий толпы поднявшихся из низов «дикарей», но эти «дикари», согласно романтически настроенному автору «Отверженных», несут с собой прогресс и ту цивилизацию, которую не удалось построить классической эпохе. «Доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации». Интересно, что Гюго специально оговаривает, что эти люди были «свирепыми и страшными во имя блага». То есть он подчеркивает, что благо

народа, о котором так высокопарно говорил XVII век, достигается не рациональными, а иррациональными методами. Рациональные же методы приводят лишь к пустым разговорам в гостиных, которые ведут сытые, хорошо одетые, улыбающиеся люди, желающие всем блага, но боящиеся затронуть основы того старого режима, при котором им так хорошо живется. «Если бы мы вынуждены были, сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, — говорит Гюго, — мы выбрали бы первых». А для доказательства революционного конструктива он осуществляет сравнение революции с Жакерией (стихийным всплеском народной ненависти). Гюго полагал, что «революция — это прививка от Жакерии». То есть, по всей видимости, революция спасала Европу от резни. Это, конечно, очень сомнительный тезис, но как романтик Гюго, видимо, предать революцию не мог.

По-своему революционер был и Адам Мицкевич. Для него исключенной из нормального европейского общества была целая страна — Польша, которая потеряла государственность после трех разделов, осуществленных в XVIII веке. В третьей части поэмы «Дзяды» он сравнил свой народ с распятым Христом:

Из трех народов крест, из древа трех пород
На место лобное возводит мой народ.
«Я жажду», — стонет он, глотка воды он просит,
Но уксус Пруссия, желчь Австрия подносит,
У ног Свобода-мать стоит, скорбя о нем,
Царев солдат пронзил распятого копьем.

Мицкевич фактически перешел от описания революций прошлого к предвещанию революций будущего. «Дзяды» поддерживали освободительный дух поляков на протяжении XIX и XX столетий вплоть до падения коммунистического режима.

«Кожа у нас разного цвета, но Бог повелел нам идти одной тропой»

«В 1827 году я был *романтиком*, — писал Проспер Мериме 13 лет спустя. — Мы говорили *классикам*: „Ваши греки вовсе не греки, ваши римляне вовсе не римляне. Вы не умеете придавать вашим образам *местный колорит*. Все спасение — в *местном колорите*“. Под местным же колоритом подразумевали мы то, что в XVII веке называлось *нравами*; но мы очень гордились этим выражением и полагали, что сами выдумали и это слово и то, что им выражалось». Несмотря на некоторую самоиронию, писатель верно отметил стремление новой эпохи уйти от унификации, характерной для классицизма, к изображению разнообразия.

В свое время герой одноименного романа Даниэля Дефо Робинзон Крузо — человек, сформировавшийся во второй половине XVII века, — с удивлением убедился, встретив Пятницу, что «хотя по неисповедимому велению вседержителя множество его творений и лишены возможности дать благое применение своим душевным способностям, однако они одарены ими в такой же мере, как и мы. Как и у нас, у них есть разум, чувство привязанности, доброта, сознание долга, признательность, верность в дружбе, способность возмущаться несправедливостью, вообще все нужное для того, чтобы творить и воспринимать добро». Столетие спустя европейцы уже этому не удивлялись и в массовом порядке стали интересоваться «пятницами». Если в XVII веке дикие народы годились лишь для покорения и обложения данью, а наиболее несчастливые —

для превращения в рабов или подневольных тружеников энкомьенды, то теперь сами их необычные быт, вера и нравы стали попадать на страницы романов и поэм. Постепенно формировалось представление о том, что есть разные способы существования. Можно жить иначе, верить иначе, трудиться иначе, но при этом тоже быть «правильными людьми», а не безумцами, дикарями, еретиками. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — заметил как-то раз Пушкин. Но это цивилизованные люди знали и раньше. А теперь выяснилось, что можно быть вполне дельным человеком и, скажем, носить килт вместо штанов (как шотландцы) или медвежью шкуру, прикрывающую тело (как литовцы), а то и убор из птичьих перьев на голове (как индейцы). Можно даже иметь целый сераль вместо одной жены. Конечно, до признания равноправия разных народов должно было пройти еще много времени, но сама постановка вопроса об иных формах жизни качественно отличала новую эпоху от старой. И хотя Гофман в «Житейских воззрениях кота Мурра», сравнивая кошачий и собачий языки, вволю поиздевался над философскими размышлениями о близости этносов, писательская ирония свидетельствовала о распространенности свежих взглядов. Авторы разных стран стали один за другим открывать европейскому читателю экзотические народы, а также героизировать и мифологизировать их черты.

Роман «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» (1814) Вальтера Скотта открывал для читателя мир горной Шотландии, расположенной почти по соседству с английской цивилизацией, однако живущей по совершенно иным законам. Они, скорее всего, не обеспечивали людям больше реальной свободы, чем законы регулярного государства, но точно предполагали меньше бюрократической зарегулированности. Неспособность британских властей вклиниться в отношения разных элитных групп оборачивалась своеобразным саморегулированием, напоминающим современные мафиозные схемы. Например, помещики-лоулендеры должны были платить дань вождям-хайлендерам, осуществлявшим своеобразное «крышевание» аграрного бизнеса, ведущегося на равнинных землях страны. В случае неуплаты дани «дикие племена» (на самом деле хорошо управляемые вождями кланов) могли совершить набег на хозяйство лоулендера и угнать стадо. Но достижение договоренности об уплате «волшебным образом» прекращало набеги. Другой пример: вооруженные силы хайлендеров напоминали феодальное ополчение, однако их лидеры порой имели опыт службы в разных европейских армиях и применяли полученный на континенте опыт для укрепления своих позиций. Если король нанимал их, эти солдаты поддерживали королевский порядок в Шотландии. Если же нет, они поддерживали свой: «...сейчас никто не может сказать, что мы люди короля Георга: — говорил один из героев романа — мы целый год не видели его жалованья».

В едином художественном пространстве столкнулось два мира: регулярное государство Нового времени и феодальная система прошлого. «Уэверли» оказался не просто любовно-приключенческим романом. Он был написан автором на богатом этнографическом материале. То, что в XVII веке могло восприниматься как пример дикости, недостойной интереса цивилизованного человека, вызвало интерес у читателей первой половины XIX столетия и сделало автора популярным. Хайлендеры оказались под пером романиста людьми совершенно нормальными. Нормальными, но иными. Иначе одетыми, иначе проводящими время, иначе строящими отношения между собой. Но их нравы заслуживали внимания и уважения. С ними вполне можно было иметь дело, не только руководствуясь логикой покорения дикости цивилизацией, но также основываясь на дружбе, любви и сотрудничестве.

В романе «Роб Рой» (1817) Вальтер Скотт решил развить начатую тему, причем столь основательно, что написал к книге большое публицистическое введение, где

изложил специфику клановой системы хайлендеров и историю несправедливостей, вынуждавших некоторых шотландцев становиться разбойниками. Закон «часто жестоко преследовал их и никогда не брал под защиту. <...> У них оставалось последнее средство — отбирать у пришельцев то, что они по праву считали своим». Но Роб Рой, «подобно английскому Робин Гуду, был добрым и благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро оделял бедняка». Разбойничья линия слилась с этнографической, и в этом смысле «Роб Рой» является одной из важнейших книг, представляющих дух романтизма.

У француза Проспера Мериме «под боком» была диковатая Корсика, и повесть «Коломба» оказалась выстроена на «этнографическом материале» (кланы, вендетта, благородные бандиты и право, основанное на обычаях), напоминающем тот, который использовал Вальтер Скотт для романов о горной Шотландии. Нравы корсиканцев и жителей континента сильно различаются, но судьба главных героев, балансирующих между требованиями традиционного общества и требованиями общества светского, показывает, что сближение все же возможно.

А Джеймс Фенимор Купер стал своеобразным американским Вальтером Скоттом, и у него место таинственных шотландцев-хайлендеров заняли индейцы. Белые пионеры медленно проникали в их диковинный мир, знакомились с диковатыми обычаями и постепенно приучались смотреть на дикарей как на людей, отличных по цвету кожи, но близких по внутреннему миру. Главный роман Купера «Последний из могикан, или Повесть о 1757 годе» (1826) завершается сценой, в которой бледнолицый говорит индейцу: «Кожа у нас разного цвета, но Бог повелел нам идти одной тропой». Мысль о единой человеческой общности была настолько важной для автора, что фактически повторяла сказанное индейцем в раннем романе «Пионеры, или У истоков Саскуиханны» (1823): «Великий Дух сотворил твоего отца с белой кожей, а моего отца — с красной. Но сердца их он одинаково окрасил алой кровью. <...> Разве под кожей не все люди одинаковы?» А в романе «Следопыт, или На берегах Онтарио» мысль о единстве тропы и крови двух разных народов подтверждается рассуждениями об общности их традиций. Казалось бы, «коллекционирование» скальпов убитых врагов — это проявление дикости, но Следопыт уверяет, что жестокая традиция связана с понятием военной чести, столь хорошо знакомым европейцам, но проявляющимся иначе: «Для Чингачгука скальп врага — его полковое знамя. Он сохранит его и будет показывать еще и детям своих детей». То же самое можно сказать и об ужасном победном кличе краснокожих: «Для индейцев это музыка, это их барабан и флейта, их трубы и литавры».

На востоке Европы Адам Мицкевич ввел в литературу «литовцев храбрых в плащах из шкур медвежьих, в рысьих шапках», написав поэму «Конрад Валленрод» (1828) о своеобразном «штирлице»,сланном для спасения Литвы в недра Тевтонского ордена и ставшего там даже не штандартенфюрером, а просто фюрером. Читавшие Мицкевича поляки открывали для себя в литовцах близкий им народ примерно так же, как англичане открывали шотландцев, читая Вальтера Скотта. А Байрон, описывая в «Дон Жуане», путешествия своего героя, надолго задержался в серале султана. Все то, что христианину еще вчера было чуждо, теперь увлекало читателя, и автор не стеснялся удовлетворять спрос на экзотику.

Еще один экзотический европейский народ — лапландцы. Сакариас Топелиус ввел его в большую литературу, написав сказку «Сампо-лопаренок», в которой чудный лапландский мальчишка внешне весьма экзотичен, но поведением напоминает обычного ребенка из любой цивилизованной страны.

Александр Пушкин в «Кавказском пленнике» с интересом описывал быт черкесов. Вместо того чтобы с презрением смотреть на жизнь «дикарей», к которым его занес случай, пушкинский герой наблюдал «их веру, нравы, воспитанье, // Любил их жизни простоту, // Гостеприимство, жажду брани, // Движений вольных быстроту, // И легкость ног, и силу длани». Но еще интереснее оказалась для Пушкина жизнь цыганского табора, который он ввел в большую литературу. В поэме «Цыганы» он изобразил кочевников, по словам Петра Вяземского, «со всей причудливостью их отличительных красок, поэтической дикостью их обычаев и промыслов и независимостью нравов». Главный герой Алеко (естественно, раздираемый страстями и преследуемый законом: как же без этого в эпоху романтизма!) обнаруживает в бессарабской степи вольную жизнь, абсолютно противоположную зарегулированной европейской жизни. В душных городах ведь люди «любви стыдятся, мысли гонят, // Торгуют волею своей, // Главы пред идолами клонят // И просят денег да цепей». А вот в степи все иначе: «Все скудно, дико, все нестройно: // Но все так живо-непокойно. // Так чуждо мертвых наших нег, // Так чуждо этой жизни праздной, // Как песнь рабов однообразной». И вот Алеко, «презрев оковы просвещения», переселяется в табор. Но вольный воздух Бессарабии сыграл с ним злую шутку. Герой, желавший сам пользоваться неограниченной свободой, не вынес свободы окружающего мира и вновь совершил преступление: «Ты не рожден для дикой доли, // Ты для себя лишь хочешь воли». Пушкин воспроизвел типичную ренессансную драму неконтролируемых страстей, однако в отличие от авторов шекспировской эпохи вынес ее из зарегулированного европейского мира в мир бессарабской степи, до которой не добирался закон.

Похожую историю рассказал Проспер Мериме в повести «Кармен» про экзотическую любовь андалусийской цыганки и баска, превратившегося из солдата в контрабандиста. Диковатый баск (дошедший до разбойной жизни) и вольнолюбивая цыганка (копия пушкинской Земфиры) создали вдвойне гремучую смесь бушующих страстей. Поведение Кармен разрушало все сложившиеся в обществе нормы, и это, по всей видимости, особо привлекало читателя, а также зрителя оперы Жоржа Бизе, написанной по мотивам повести. Если бы цыган не было на свете, романтизм, конечно, должен был бы их выдумать. Этот народ идеально подходил для выражения идей, пронизывающих эпоху. Не случайно цыганка стала главным героем еще и в романе «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, причем автор вывел в качестве второго важнейшего персонажа (горбуна Квазимодо) такого человека, который в рациональной системе XVII века вообще за человека считаться не мог и должен был бы, скорее всего, попасть в «психушку». Но в романтическую эпоху именно он оказался благородной и героической личностью в отличие от других героев романа, представляющих «правильные» сословия.

У Евгения Баратынского в поэме «Цыганка» — две героини: русская дворянка и девушка из табора. Обе влюблены в одного человека. Причем, несмотря на этническое различие и разницу в положении, чувствуют они одинаково: верят, тоскуют и ждут. Только одна что-то твердит в тоске на рояле, ожидая решения своей судьбы, а другая тоскует с иголкой за рукоделием. Не только крестьянки, но и цыганки любить умеют. Баратынский, по-видимому, специально создал два близких по духу образа, чтоб подчеркнуть, насколько близки нам люди иного круга.

Но ближе всех для нас, конечно, украинцы, а потому истинный переворот во взглядах на иные народы совершил, конечно же, Николай Гоголь. Под его пером украинцы — такие же, как мы, славяне, такие же православные — оказались вдруг волшебным народом, у которого могут твориться столь удивительные вещи, как, скажем,

в повести «Ночь перед Рождеством», где черт, кривляясь и обжигаясь, похищает вдруг месяц. А в повести «Страшная месть» то всадник с закрытыми глазами в рыцарской сбруе показывался меж облаков на вершине карпатских гор, то из-за леса поднимались тощие, сухие руки с длинными когтями, тряслись и пропадали. У Гоголя мертвецы могли встать из земли «от Киева, и от земли Галичской, и от Карпат». А могло случиться так, что «несметная сила чудовищ» влетала в божью церковь по призыву поднявшегося из гроба мертвеца, как в самой страшной гоголевской повести «Вий». Понятно, что просвещенный Петербург не воспринимал ночное явление Вия как нечто реально случающееся на малороссийском хуторе, но от диковинной истории, случившейся с семинаристом Хомой Брутом, веяло каким-то вольным ветром, продувающим насквозь затхлую бюрократическую среду имперской столицы. В повестях Гоголя исчезали те регулярность, размеренность и упорядоченность, какими была пронизана эта среда, живущая не живой жизнью, а передвижением с одного уровня на другой в петровской Табели о рангах.

Прагматичный Гоголь прекрасно осознавал запрос эпохи и ту «нишу», которую он — скромный провинциал — может найти в аристократической литературной среде Петербурга. Эффективное «производство» украинского мифа стало делом всей его семьи. Гоголь просит сообщать ему «забавные анекдоты» об отношениях между мужиками и между помещиками, а также все иное, что может пригодиться для литературы. Маменька и сестра, а с ними родственники и соседи слали ему с Украины списки песен, сказок, поверий и даже местные костюмы. И хотя рецензенты писали порой, что он допускает много ошибок в описании, что он «не хохол, а переодетый москаль», что он слишком усердствует в подражании Вальтеру Скотту, молодой автор нравился Пушкину и Жуковскому. А это обеспечивало успех.

Пушкин прощал ему «неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов», а то, что гоголевский «Тарас Бульба» похож на Вальтера Скотта, считал достоинством. Мир «Тараса Бульбы» и впрямь был вальтер-скоттовским или фенимор-куперовским. Действие происходит на фронтире — «на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников». Запорожцы хотя не снимают скальпы, как индейцы, но сдирают кожу с ног до колен у поляков, срезают груди у женщин, кидают младенцев в огонь, цепляя их на копья. И вместе с тем Тарас — благородный разбойник робин-гудовского типа, защитник православия, защитник украинских крестьян, страдающих от притеснений поляков. Такого героя трудно было не признать за своего в России. Особенно после польского восстания 1830—1831 годов. И вот уже Гоголь «стараниями Пушкина и Жуковского был возведен на кафедру в Санкт-Петербургском университете, где стал читать курс лекций по истории средних веков. Смешная получилась история, — отмечает биограф Гоголя Игорь Золотусский. — Человек без ученой репутации, без солидных трудов, без предварительной кропотливой работы в библиотеках вдруг сразу поднялся на целый этаж». Гоголь отставляет прочь документы и на песнях собирается строить «историю» Украины, причем многотомную. Именно малороссийские песни отражали, с его точки зрения, «верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа», а также «дух минувшего века».

Как лектор он фактически провалился. Как историк даже не сформировался. Но как писатель оказался успешен. Под его пером постепенно менялся мир, становился все более сложным и многокрасочным. В малороссах великороссы узнавали своих

младших братьев примерно так же, как «великобританцы», точнее, англичане узнавали своих — в «малобританцах», точнее, в шотландцах. А пушкинские черкесы демонстрировали русским примерно ту же «легкость ног и силу длани», какую «последние из могикан» демонстрировали «первопоселенцам» Америки. Мир расширялся, захватывая окраины, и эти окраины постепенно признавались нормальной, хотя и экзотичной частью привычного мира.

Заключение

Либерализм и романтизм дали европейскому миру второй половины XVIII — первой половины XIX века представление о свободе как важнейшей человеческой ценности. Свобода способствовала быстрому развитию экономики, росту благосостояния, формированию людей с независимым образом мышления. Но у всего этого была и обратная сторона. Романтизм пробудил то революционное движение, которое стало важнейшей чертой XIX—XX столетий. Проникшиеся романтическим духом люди усвоили несколько важных истин или то, что им казалось тогда истинами:

во-первых, мир устроен несправедливо, и Закон бессилен в борьбе с таким положением дел. Более того, он часто лишь усиливает несправедливость;

во-вторых, рациональное устройство государства не способно усовершенствовать Закон, поскольку сильные мира сего заботятся лишь о своих интересах;

в-третьих, те, кто изгнан за пределы общества, кто преследуется по закону или даже по беспределу, на самом деле часто бывают очень хорошими людьми;

в-четвертых, если силой отнять власть у людей нехороших и отдать ее в руки хорошим, мир может перемениться в лучшую сторону.

Подобные мысли проникали в головы миллионов читающих людей. На этом фоне революционная теория должна была, собственно, лишь объяснить «научно», кто плох, а кто хорош. Одно из наиболее убедительных объяснений дал человечеству марксизм с помощью понятий «эксплуатация» и «прибавочная стоимость». Но это уже другая история.

Константин ФРУМКИН

КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ ОЦЕНИВАЮТ ЯЗЫК ПИСАТЕЛЕЙ

В 1984 году Наталья Иванова написала: «В текущей критике анализ языка прозы, художественной речи, как правило, сводится к последним абзацам в статье или рецензии, к общим определениям типа „яркий“, „образный“, „сочный“ или же, напротив, „бедный“, „серый“, „непритязательный“»¹. Хотя и не буквально, но данное высказывание применимо к большей части истории русской критики. Хотя оценка языка («слога») писателя относится к числу чрезвычайно популярных и при том старейших тем русской критической литературы, аппарат анализа языка в целом в рамках литературной критики не достиг сколько-то серьезного развития и впечатляющие достижения лингвистики критиками для этой цели освоены не были. Пассажи, относящиеся к языку писателя, в критических текстах, как правило, достаточно коротки, при этом их анализ и классификация затруднены тем, что такие пассажи в основном содержат перечисление разных эпитетов и характеристик языка писателя, анализирующих его с самых разных сторон буквально в одном предложении. К тому же вместо лингвистического анализа мы часто сталкиваемся в критике с образно выраженными субъективными впечатлениями.

Тем не менее критика в разные эпохи формировала что-то вроде особого мета-языка для описания языка, и приведенные Натальей Ивановой эпитеты являются его характерными элементами.

От грубости к легкости

В конце XVIII — начале XIX века русская критика интересовалась по большей части языком поэзии, при этом она исходила как из общего места из положения, что у значительной, если не у большей части русских поэтов язык отличается громоздкостью, и необходимость втискивать смысл в поэтический размер приводит к темноте, сложности, нарушению языковых законов, отклонению от традиций живой речи и различным крайностям в лексике — либо к злоупотреблению высокими словами, либо смешению слов из разных стилей. Соответственно, лаудативные суждения прежде всего

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.

¹ Иванова Н. Б. *Искушение украшением, или «Раскаленная гиена»* // Иванова Н. Б. *Точка зрения: О прозе последних лет*. М.: Советский писатель, 1988. С. 44.

превозносят авторов, избавленных от таких недостатков. Язык плохих поэтов (или даже всех поэтов прошлого) характеризуется как грубый, а важнейшими эпитетами для характеристики хорошего языка являются такие, как «ясный», «легкий» и «чистый». В 1809 году Жуковский пишет о Крылове: «Слог басен его вообще легок, чист и всегда приятен»². В 1815 году А. Ф. Мерзляков указывает у слога Хераскова такие достоинства, как «ясность, чистота, плавность и непринужденная легкость»³, а в другой статье, написанной в том же году, отмечает, что достоинства эти редкие: «Писатель, чуждый темноты в слоге, есть редкое явление в литературе всякого языка, и особенно младенчествующего, не получившего надлежащей своей образованности. Херасков — это явление для нас! — он по сию пору еще остается образцовым в сем качестве писателем»⁴.

При этом в начале XIX века критика жила с ощущением быстрой модернизации, улучшения и облегчения поэтического языка, который уходил от громоздкости и сложности прежнего времени; и поэтому А. Ф. Мерзляков, оправдывая Тредиаковского, пишет: «По моему мнению, и в слоге заслуживает извинение Тредьяковский: грубость языка не столько ему принадлежит, сколько времени. Сравните стихи, может быть, излишне порицаемой „Тилемахиды“ с другими его века, и скажите, кто писал лучше?»⁵

Язык новых поэтов, даже сравнительно второстепенных, часто превосходит слог лучших русских стихотворцев XVIII столетия. В. Кюхельбекер напишет в 1825 году: «Сравнивая язык князя Шихматова с языком других наших стихотворцев, находим, что оный всех ближе подходит к языку Ломоносова, но новее, ибо представляет гораздо менее усечений, небрежностей и так называемых поэтических вольностей... Слог поэмы „Петр Великий“ нигде не представляет пестроты, которую встречаем и в лучших сочинениях Сумарокова, Петрова и даже Державина; нигде слова и обороты славянские не перемешаны в оной с низкими простонародными, как то весьма часто случается у упомянутых писателей»⁶.

Негативные оценки слога писателей в этом смысле продолжают негативное отношение к языку старых, XVIII века авторов — в начале XIX века писатель с плохим языком, как правило, является обладателем тех же самых недостатков, связанных с тем, что автор, с точки зрения критиков, еще не добился достаточно виртуозного владения языком.

На фоне этого критики — примерно начиная с 1820-х годов — начинают ценить писателей-новаторов, усилиями которых развивается и, кроме прочего, упрощается, приближается к живой речи литературный язык. В лексиконе критиков появляется слово «переворот» — речь идет именно о совершенном писателями перевороте в языке. Вот как Бестужев-Марлинский характеризует заслуги Карамзина: «Он преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчаемый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков. Он двинул счастливою новизною ржавые колеса его механизма, отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении и дал ему народное лицо. Время рассудит Карамзина как историка; но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в рус-

² Жуковский В. А. О басне и баснях Крылова // Русская литературная критика 1800—1820-х годов. М.: Художественная литература, 1980. С. 76.

³ Мерзляков А. Ф. Россияда // Там же. С. 185.

⁴ Там же. С. 182.

⁵ Мерзляков А. Ф. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии // Там же. С. 120.

⁶ Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий» // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 491.

ском языке на лучшее»⁷. Мы видим, что языковой «переворот» связан в том числе с упрощением.

Именно эта традиция и это коллективное представление о многочисленных недостатках — громоздкости, темноте, невыдержанности лексики, характерных даже для лучших поэтов XVIII века и для посредственных поэтов последующей эпохи, — предопределили отношение к слогу Пушкина. Пушкин был воспринят как поэт, наконец-то избавившийся от родимых пятен русского поэтического языка. В 1820 году, когда 20-летний Пушкин выпустит поэму «Руслан и Людмила», А. Ф. Воейков (чьим слогом впоследствии будет так недоволен Кюхельбекер) напишет: «В *слоге* юного поэта, уже теперь занимающего почтенное место между первоклассными отечественными нашими писателями, видна верная рука, водимая вкусом: нет ничего неясного, неопределенного, запутанного, тяжелого. Почти везде точность выражений, с разборчивостью поставленных; стихи, пленяющие легкостью, свежестью, простотою и сладостью; кажется, что они не стоили никакой работы, а сами собой скатывались с лебединого пера нашего поэта. Он никогда не прибегает к натянутому, холодному, риторическим фигурам, сим сокровищам писателей без дарования, которые, не находя в душе своей потребного жара для оживотворения их мертвых произведений, поневоле прибегают к сим неестественным украшениям и блестящим безделкам»⁸.

При оценке поэзии Пушкина будет часто использован термин «гармония», но еще более важную роль будут играть термины «гибкость» и «легкость» — Пушкин будет восприниматься как поэт, который наконец-то овладел языком и может его «гнуть» куда захочет, в то время как в руках прежних поэтов язык не гнулся.

И в это же время в критике возникает тема «отделки» и «обработки» — частью литературного сознания становится представление, что качество литературного произведения достигается благодаря вложенному поэтом труду, и потому хороший слог, в котором нет свойственных прошлой поэзии погрешностей, — следствие вложенных усилий. И вот, Кюхельбекер пишет об одном из произведений Анны Буниной, что оно отличается «обработанностью и точностью слога» и красоты ее «не помрачены ошибками слога и погрешностями против языка»⁹, а Николай Полевой пишет о Жуковском, что «он отделяет каждую ноту своей песни тщательно, верно, столько же дорожит звуком, сколько и словом»¹⁰.

Гоголь побудил критику интересоваться языком прозы.

Выяснится, что и прозаический язык может быть предметом подлинного творчества, о чем как о некоем открытии в 1842 году напишет Константин Аксаков: «Вероятно, некоторые станут нападать на слог, но, тут будет совершенная ошибка; слог Гоголя не образцовый, и слава Богу; это был бы недостаток. Нет, слог у Гоголя составляет часть его создания; он подлежит тому же акту творчества, той же образующей руке, которая вместе дает и ему формы, и самому произведению, и потому слога нельзя у него отделить от его создания, и он в высшей степени хорош (мы не говорим о частностях и безделицах)»¹¹.

⁷ Бестужев-Марлинский А. А. Взгляд на старую и новую словесность в России // Критика первой четверти XIX века. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 424.

⁸ Воейков А. Ф. Разбор поэмы «Руслан и Людмила», сочин. Александра Пушкина // Там же. С. 380—381.

⁹ Кюхельбекер В. К. Взгляд на текущую словесность // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 448.

¹⁰ Полевой Н. А. Баллады и повести В. А. Жуковского // Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Статьи и рецензии 1825—1842. Л.: Художественная литература, 1990. С. 211.

¹¹ Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М.: Современник, 1982. С. 146.

Но на слог Гоголя, как верно предугадывает Аксаков, действительно нападали, примером чего может служить нижеследующий пассаж Николая Полевого — сравнительно редкий пример осуждения чрезмерного сближения литературного языка с народным: «Если же автор не шутит, то каковы у него понятия о составлении языка! Он хочет учиться языку в харчевне и обогащать язык взятыми там поговорками! М. г., можно бы ему сказать, ратоборствуя против логики и грамматики, вы заставите думать, что вы их так же худо знаете, как худо знаете русский язык, хотя и наслушались слов, которых не говорят в порядочном обществе: первое доказывают ваши беспрестанные промахи и ошибки против этимологии и синтаксиса, так что у вас редкая запятая на месте и несвязность идей, которые не вяжутся одна с другою, а второе — беспрестанными галлицизмами, барбаризмами и неслыханным на Руси употреблением слов»¹². Легко видеть, что в этой инвективе в адрес Гоголя явно проглядывают те претензии, которые на протяжении предыдущих десятилетий предъявляли к языку поэзии в XVIII веке: слишком разнородная и неестественная лексика, слишком много вольностей и пренебрежений правилами.

Однако по-настоящему язык прозы — язык авторской речи — интересует критику только в XX веке. В XIX столетии больший интерес вызывает речь персонажей, истолковываемая как инструмент их характеристики. Именно тут, в создании речевых портретов героев, и должна проявляться языковая виртуозность автора. И вот А. В. Дружинин пишет об Островском: «Его действующие лица говорят так, что каждую своей фразой высказывают себя самих, весь свой характер, все свое воспитание, все свое прошлое и настоящее. Язык, доведенный до такой художественной степени, есть сильнейшее орудие в руках писателя, он дается только писателям образцовым, первоклассным»¹³.

Соответственно, негативные отзывы получали произведения, в которых речь персонажа недостаточно индивидуализирована. Николай Надеждин пишет о пьесе Погодина «Марфа посадница»: «Одного только недостает ей — разнообразия. Все новгородцы почти на одно поличье; даже язык их один и тот же: речи дьяка архиепископского не отличаются от речей бояр, старейших и людей живых»¹⁴.

Народность речи персонажей

Тема речевой характеристики персонажей — в частности, применительно к пьесам Островского — породила в русской критике XIX века еще одну тему, которая стала еще более популярна в XX веке, — тема точности воспроизведения писателями народного (то есть простонародного) языка. Кстати, способность Островского стилизовать народный язык вызвала разные оценки. Если Добролюбов писал про «меткость и верность народного языка в комедиях Островского»¹⁵, то Аполлон Григорьев говорит про драматурга: «...единственная критика на него была бы — перевод любой из его страниц якобы народных разговоров на простой и свободный народный язык»¹⁶.

¹² Полевой Н. А. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Статьи и рецензии 1825–1842. Л.: Художественная литература, 1990. С. 351.

¹³ Дружинин А. В. Сочинения А. Островского: В 2 т. // Дружинин А. В. Литературная критика. М.: Современник, 1983. С. 255.

¹⁴ Надеждин Н. И. «Марфа посадница Новгородская»: Трагедия в пяти действиях в стихах // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М.: Художественная литература, 1972. С. 294.

¹⁵ Добролюбов Н. А. Темное царство // Добролюбов Н. А. Литературная критика: В 2 т. Т. 2. Л.: Художественная литература, 1984.

¹⁶ Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу // Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. С. 260.

Способность писателей воспроизводить народную речь волнует критику на протяжении всего XX века, особенно в его первой трети. В тех случаях, когда, по мнению критика, писателю действительно удается ухватить дух народного языка, когда писатель показывает себя его знатоком — это неизменно становится поводом для самой горячей похвалы со стороны критика.

«Разговорный язык — настоящая сила Крюкова, — пишет в 1908 году А. Г. Горнфельд. — Нигде не шаржируя, не заставляя людей говорить теми „эссенциями“, в которых некогда Достоевский упрекал беллетристов-народников, он умеет индивидуализировать живую речь. Есть у него и народные слова, но они пахнут не записной книжкой и не подозрительной выдумкой... а творческой наблюдательностью, которая обобщает, не сгущая и не фотографируя»¹⁷.

Точному воспроизведению народной речи противопоставляется ее стилизация, которая, выражаясь словами Горнфельда, «пахнет записной книжкой и подозрительной выдумкой», и когда В. П. Полонский хвалит воспроизведение солдатской речи у Артема Веселого, он подчеркивает: «Это не стилизация под народный говор, не прием, использующий народные обороты, матершину, прибаутки. Здесь сама простонародная речь, как она есть»¹⁸.

В 1974 году Игорь Золотусский напишет о Живом — персонаже повести Бориса Можаева «Живой»: «Сила Живого, как и сила автора, слепившего его, — в языке. Русский крестьянский разговорный язык Б. Можаев прекрасно чувствует... Всякое слово у Можаева тут увесисто, тяжело внутри и бьет без промаха. Попадания его стопроцентны. В том-то и живучесть его героев, что они говорят этим бессмертно-смелым и неистребимо-первичным языком»¹⁹.

Стилизация под народную речь — разоблачаемая именно как стилизация — не всегда может быть поводом для обвинения, но похвалы писателям в этом случае бывают куда более сдержанными, критикам даже приходится оправдывать писателя за вынужденную стилизацию. Прекрасный пример тут — отношение критиков к Евгению Замятину, в частности к его повести «Уездное». Борис Эйхенбаум напишет: «Язык повести — хитрый, забавный, со множеством областных слов. И явление это не случайно, а потому его нельзя считать недостатком. „Сказывать“ нужно забавно, нужно словами и прибаутками сыпать, чтобы у всех уши поразвесились и рты пораскрылись. Как же сделать язык забавным для городских, „литературных“ читателей? Надо допустить диалекты, надо освежить застоявшуюся и изломанную метафорами речь областными говорами»²⁰. Фактически критик оправдывает примененную Замятиным стилизацию как вынужденный маркетинговый прием.

Ближе к концу XX века стилизация под народную речь вызывает уже откровенную неприязнь критиков — слишком очевидна потеря связи с аутентичной языковой стихией. В 1986 году Наталья Иванова напишет по поводу повести А. Виноградова «В конце аллеи»: «Псевдонародный стиль обогащается канцелярскими штампами. Рядом оказываются: „самое пекло людских страданий“ и „дед нашпигован новостями“, „алкогольный бесик нахально трепыхался внутри“ и „Ипполит опасливо понимал“»²¹.

¹⁷ Горнфельд А. Г. Рассказы Крюкова // Критика начала XX века. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 53–54.

¹⁸ Полонский В. П. Артем Веселый // Полонский В. П. О литературе. Избранные работы. М.: Советский писатель, 1988. С. 92.

¹⁹ Золотусский И. П. Мозаика // Золотусский И. П. Трепет сердца: Избранные работы. М.: Современник, 1986. С. 79–80.

²⁰ Эйхенбаум Б. Страшный лад. 1913 // Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987. С. 291.

²¹ Иванова Н. Б. Грани адаптации или плоды запоздалого чтения // Иванова Н. Б. Точка зрения: О прозе последних лет. М.: Советский писатель, 1988. С. 268.

И опять: претензии к Виноградову во многом воспроизводят претензии критиков начала XIX века к поэзии предыдущего столетия: мы видим смешение лексики из разных «штилей» и к тому же нарушение языковых правил и излишние языковые вольности. Похоже, что искусство стилизации народной речи к концу XX века тоже было утрачено, такой вывод, например, можно сделать из отзыва Ирины Роднянской о языке героев романа Татьяны Толстой «Кысь»: «Расхваленный добро- и недоброжелателями „сказ“ Толстой однообразно элементарен, сравнивать его со слогом „Ивана Денисовича“, где каждое словечко золотое, каждое с натуральным изгибчиком, — просто кощунство. Условно-простонародная речь... так вот, эта простонародная будто бы речь держится вся на сочинительном союзе „али“, на всяких „заместо“, „дак“, „тубарет“, на нутряных инверсиях („а идешь будто по долинам пустым, нехорошим, а изпод снега трава сухая...“), а пуще всего — на мнимо-„хрестьянских“ глагольных формах: „борода вся заиндевевши“, и так до бесконечности. Это чужой для писательницы язык, поставленный ей почему-то в заслугу (где ты, гамбургский счет)»²².

Простота языка как достоинство

Рядом с похвалами аутентичному воспроизведению народного языка в речи персонажей вполне органично смотрятся похвалы и авторскому языку, важнейшим достоинством которого, по словам критиков, оказывается простота. Наличие достаточно большого семейства лаудативных пассажей, использующих термины «простота» и «простой», применительно к языку во многом связано с важной лингвистической концепцией — что языковый переворот, совершенный в конце XVIII и первой трети XIX века такими авторами, как Карамзин и Пушкин, и приведший к формированию русского литературного языка, во многом заключался в его упрощении, в приближении литературного языка к повседневной речи. В 1886 году А. М. Скабичевский пишет: «Родоначальником беллетристики считается у нас Карамзин. Это не совсем верно, так как и до Карамзина не мало было у нас беллетристики, но вся она была до такой степени лубочна и лишена каких бы то ни было литературных достоинств и до такой степени ныне она забыта, что за Карамзиным все-таки остается звание родоначальника, так как упростивши литературный язык и дерзнувши впервые *писать, как говорят*, он первый начал писать повести легко и удобочитаемые»²³.

Видим мы тут, конечно, и определенный «иммунитет» литературного сознания по отношению к многочисленным языковым экспериментам, к избыточному украшательству и декоративности, часто связанной с заимствованиями и вторичностью. Соответственно, когда критик подчеркивает, что язык писателя «простой» — это с большой вероятностью похвала. «Гаршин отличался самым простым и в то же время сдержанным языком; пуще всего он остерегался от банальностей и от чужих готовых оборотов и выражений», — писал С. А. Андреевский²⁴.

В начале 1930-х годов, вопрос о простоте литературного языка стал предметом важнейшей идеологической дискуссии, инициированной Горьким, который противопоставлял простоту языка русской классики и экспериментаторам, вроде Андрея Белого, и таким писателям, как Федор Панферов, сближающим язык прозы с языком простых крестьян.

²² Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане (Кое-что о плохой хорошей литературе) // Русская литература XX века в зеркале критики. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 600.

²³ Скабичевский А. М. Наш исторический роман // Карамзин: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006. С. 66.

²⁴ Андреевский С. А. Всеволод Гаршин // Андреевский. С. А. Книга о смерти. М.: Наука, 2005. С. 336. — (Литературные памятники).

Горький писал, что современный читатель «вправе требовать, чтоб писатель говорил с ним простыми словами богатейшего и гибкого языка, который создал в Европе XIX века, может быть, самую мощную литературу. И, опираясь на эту литературу, читатель имеет право требовать такой четкости, такой ясности слова, фразы, которые могут быть даны только силою этого языка... Литература — это искусство пластического изображения посредством слова. Классики учат нас, что чем более просто, ясно, четко смысловое и образное наполнение слова, — тем более крепко, правдиво и устойчиво изображение пейзажа и его влияния на человека, изображение характера человека и его отношения к людям»²⁵. Дискуссия эта завершилась тем, что точка зрения Горького была фактически признана официальной и закрепилась в эстетике социалистического реализма, который до известной степени таким образом повторил на новом этапе ту же борьбу за простоту и ясность, которая велась в русской поэзии в начале XIX века.

Простота есть качество отрицательное, чтобы ее доказать, надо объяснить, чего в ней нет. У Гаршина, по словам Андреевского, нет «чужих готовых оборотов и выражений», и вот аналогичная похвала языку Твардовского в статье Д. Н. Голубкова от 1968 года: «Язык Твардовского, лишенный броских эпитетов и эффектных метафор, чистый, простой и вместе богатый, чаще всего напоминает речь грамотного, умного и честного крестьянина или немолодого центrorусского горожанина: москвича, смоляка или орловца, инстинктивно чуждающегося новомодных арготизмов и варваризмов и не брезгующего при надобности ладным песенным оборотом, дедовским усмешливо-мудрым присловьем»²⁶. Заметим, что тут критики опять использует ту ауру положительности, которая в русской литературной культуре XIX—XX веков окружает простонародную речь: хотя нельзя сказать, что Твардовский точно воспроизводит народную речь, но речь идет и не о стилизации, Голубков находит промежуточную формулу: речь Твардовского «напоминает» речь крестьянина.

Такую же среднюю формулу критик Андрей Немзер в статье от 1996 года применяет к прозаику Андрею Дмитриеву: «Словно взяв классика за образец, Дмитриев развернул свою историю и к обыденности, и словесному искусству времен далеких и недавних. Отсюда свобода слога и небрежение сегодняшними «литературными приличиями», согласно коим должно литературность либо старательно убирать, либо агрессивно демонстрировать. „Муки слова“ — хороший тон. Прилично переходить с высокого штиля на низкий, минуя средний — золотую повествовательную норму, которую сумел уловить Дмитриев... Писать так просто — это нахальство. А таковым щеголевато-нейтральным, отчетливо литературным без синтаксических рытвин и топорщащихся архаизмов слогом с еле заметной паволокой стилизации („по случаю праздника“, „с притворной укоризной“) писано все сочинение!»²⁷ Обратим опять внимание, что если критик говорит, что прозаик пишет «так просто», то ему требуется показать, чего в этом стиле нет: агрессивной демонстрации литературности, а кроме того, «синтаксических рытвин и топорщащихся архаизмов».

Как хвалили язык писателей в XX веке

На первую половину XX века приходится пик интереса русской литературной критики к языку. Этот факт был, конечно, связан с начавшейся в русской литературе эпохой

²⁵ Горький А. М. О прозе // Литературная учеба. 1933. № 1.

²⁶ Голубков Д. Н. Лирика Александра Твардовского // Пламя искания. Антология критики 1958—2008. М.: Литературная Россия, 2009. С. 150.

²⁷ Немзер А. Чем откровеннее, тем загадочнее. О прозе Андрея Дмитриева // Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 2003. С. 147—148.

языковых экспериментов, которые критика осознавала как революционные и открывающие новые перспективы литературного развития; вполне стандартно для эпохи высказывание Святополк-Мирского от 1922 года: «Словесное искусство Маяковского потому и ценно, что он открывает неограниченные горизонты чисто словесным возможностям языка»²⁸.

Вторым фактором, усиливающим интерес критики к языку, несомненно был расцвет русской лингвистики, одним из проявлений которого, скажем, стало появление ОПОЯЗа, объединявшего ученых и писателей. Однако связь этих фактов не означает освоение критикой аналитического аппарата лингвистики. Описание красоты литературного языка часто становится поводом для чисто художественных, риторических упражнений с метафорами и нанизыванием высокопарных эпитетов. Вот что Александр Блок писал про один из эпизодов романа Сологуба «Мелкий бес»: «Эпизод невинных любовных игр действительно можно прочесть отдельно, перечитывать, как стихи. Высшего расцвета достигает в нем язык Сологуба — язык, с которым вообще немногие языки и современной литературе могут тягаться, — такой он полный, широкий, свободный; величавым спокойствием и эпической медлительностью своей язык этот одевает его произведения, как драгоценная одежда»²⁹.

Позже Саша Черный напишет о языке Бунина: «Он завершен и сложен, и цветист, как многокрасочная переливающаяся парча»³⁰.

Традиция цветистых, но малосодержательных высказываний о великолепном языке тех или других писателей существует и дальше, не играя большой роли; Георгий Марков пишет в 1975 году: «Язык, слово Шолохова — это волшебство таланта, которое то и дело заставляет читателя замирать от изумления»³¹.

Большая удача, если в чисто литературном, цветистом метафорическом описании языка писателя встречаются все-таки конкретные указания на его лингвистические особенности, как в статье Андрея Немзера от 1999 года о прозе Сергея Солоуха: «В „Шизгаре“ и „Клубе“ Солоух рассказывал в общем-то очень печальные истории. Но — странное дело — сверкающая пестрота словесных рядов, фейерверки неожиданных эпитетов и метафор, головокружительные прыжки синтаксиса, издевательские и завораживающие ритмы, вплотную подводящие прозу к стиху, дабы вдруг испариться, растаять, развеяться и дать место почти обыкновенной речи — словно бы не подчинялись тоскливой и бессовестной действительности. Слог не уничтожал сюжета, но вел с ним вечный бой. Бой за праздник. За лето. За свободу, неотделимую от любви»³².

Несколько более содержательные высказывания возникают в том случае, когда критики начинают обращать внимание именно на звуковую сторону языка. Разумеется, чаще всего это происходит в отношении поэзии. Нельзя сказать, что именно в начале XX века в критике была открыта эстетика звука, рассуждения о сладкозвучии наполняют весь предыдущий век, однако критика в это время сосредоточивает на звуковой стороне поэзии беспрецедентное внимание. Валерий Брюсов долго рассуждает о сложности и неправильности стихов Ивана Коневского, но затем отмечает: «Впрочем, все это не мешало Ив. Коневскому относиться с крайней заботливостью к звуко-

²⁸ Святополк-Мирский Д. П. О современном состоянии русской поэзии // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 406.

²⁹ Блок А. А. О реалистах // Блок А. А. О литературе. М.: Художественная литература, 1980. С. 63.

³⁰ Саша Черный. Роза Иерихона // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 174.

³¹ Марков Г. М. Великий художник нашего времени // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды: Статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1983. С. 359.

³² Немзер А. О любви. Р. 5. К «Картинкам» Сергея Солоуха // Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 2003. С. 237.

вой стороне речи. Очень обдуманы у него все сочетания гласных и согласных в стихе, и у немногих поэтов найдется столько, как у него, игры звуками, — только игры не грубой, не бросающейся в глаза, а сокровенной, которую надо разыскивать, чтобы на нее указать, но которую чуткое ухо улавливает бессознательно»³³.

Тут важно то, что критика не просто открывает звуковую сторону поэзии — она открывает ее именно как «работу со звуком», как особую сторону творчества поэтов, как особую деятельность автора. Тут возникает мысль, что умелая работа поэта со звуком является особого рода магией, воздействующей на читателя. Эту мысль находим и в отзыве Бориса Эйхенбаума о поэзии Сологуба: «Сологуб не столько „поет“, сколько ворожит, колдует. Это достигается то воздействием звуков, то выбором и повторением слов, то, наконец, эффектом медленно ползущей и свивающейся, как змея в кольца, фразы. Не играя звукоподражаниями, как Бальмонт, и не принимая тем самым этого средства, Сологуб в наиболее патетических местах иногда как бы оставляет твердую почву смысла и погружается в стихию звука»³⁴.

Очевидно, что чрезмерность работы со звуком может идти в ущерб смыслу — но Ходасевич в статье о Цветаевой даже оправдывает этот ущерб: «Некоторая „заумность“ лежит в природе поэзии. Слово и звук в поэзии — не рабы смысла, а равноправные граждане. Беда, если одно господствует над другим. Самодержавие „идеи“ приводит к плохим стихам. Взбунтовавшиеся звуки, изгоняя смысл, производят анархию, хаос — глупость. Мысль об освобождении материала, а может быть, даже и увлечение Пастернаком принесли Цветаевой большую пользу: помогли ей найти, понять и усвоить те чисто звуковые и словесные задания, которые играют такую огромную роль в народной песне. Народная песня в значительной мере является причитанием, радостным или горестным; в ней есть элемент скороговорки и каламбура — чистейшей игры звуками; в ней всегда слышны отголоски заговора, заклинания — веры в магическую силу слова; она всегда отчасти истерична — близка к переходу в плач или в смех, — она отчасти заумна. Вот эту „заумную“ стихию, которая до сих пор при литературных обработках народной поэзии почти совершенно подавлялась или отбрасывалась, Цветаева впервые возвращает на подобающее ей место. Чисто словесные и звуковые задания играют в „Молодце“ столь же важную роль, как и смысловые. Оно и понятно: построенная на основах лирической песни, сказка Цветаевой столько же хочет *поведать*, сколько и просто *спеть*, вывести голосом, „проголосить“. Необходимо добавить, что удалось это Цветаевой изумительно»³⁵.

С другой стороны, в первой трети XX века так же, как работу со звуком, критики ценят работу со словом, внутри этой темы можно выделить несколько подтем: во-первых, выразительность и точность слова, способность его выражать именно то, что, по мнению критика, нужно и задумано писателем; во-вторых, неожиданность и оригинальность словесных выражений; в-третьих, само богатство лексики.

Разумеется, выразительность слова особенно ярко проявляется там, где требуется выразить душевные движения, явления внутреннего мира. На это обращает внимание Георгий Иванов в своей цветистой похвале словесному мастерству Клюева: «Но мастерство, которое учит поставить слово так, чтобы оно, темное и глухое, вдруг засияло

³³ Брюсов В. Я. Иван Коневской: мудрое дитя. 1901 // Брюсов В. Я. Ремесло поэта: Статьи о русской поэзии. М.: Современник, 1981. С. 298.

³⁴ Эйхенбаум Б. Поэзия Ф. Сологуба // Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987. С. 372.

³⁵ Ходасевич В. Ф. Заметки о стихах (М. Цветаева. «Молодец») // Ходасевич В. Ф. Перед зеркалом. М.: Олма-пресс, 2002. С. 325.

всеми цветами радуги, зазвенело, как горное эхо, — мастерство, позволяющее сокровенное движение души облечь в единственные по своей силе слова, — это настоящее мастерство встречается у нас так же редко, как и во все времена»³⁶.

А. К. Воронский, обращая внимание на такие встречающиеся в прозе Бабеля оригинальные выражения, как «пламенные плащи» и «страстные лохмотья», отмечает: «Очень своеобразно, неожиданно и метко соединяет художник прилагательные с существительными»³⁷. Это высказывание, в котором ярко — и с приведением примеров — обращается внимание не на язык писателя вообще, но на один и довольно узкий аспект этого языка — является верхом той содержательности, которая в разговоре о языке может себе позволить литературная критика.

Еще один узкий аспект — лексика, которую иногда хвалят за богатство и оригинальность. Так, Тынянов писал о Всеволоде Иванове, что это писатель, «строящий стиль на богатой лексической окраске», и эта лексика искупает другие недостатки этого автора: «Всеволод Иванов — писатель малой формы, вернее — расплывчатой формы, которая держится ярким словом. Как только он уходит от своего буйного словаря — большая вещь ему не удастся, обнажается серый, тянувшийся сюжет»³⁸.

Наконец, в лаудативном высказывании можно обратить внимание не на свойства языка как такового, но на само мастерство писателя и саму его готовность работать со словом.

Брюсов писал о сборнике Алексея Жемчужникова «Прощальные песни»: «Видно, что каждое слово в стихотворении взвешено и обдуманно, поставлено на свое место не случайно, а сознательно, что каждый стих огранен с усердием любителя, понижающего в таких вещах толк. Старый поэт не довольствовался одной „мыслью“, но внимательно искал для нее такого облика, в котором она была бы всего выразительнее; он любил не только „идеи“, но и „слова“»³⁹.

В критике XX века есть еще одна любопытная линия двусмысленных похвал, касающихся избыточной плотности стилистических экспериментов. В этих высказываниях признается безусловное мастерство, виртуозность писателя во владении языком — но чрезмерная плотность оказывается просто утомительной и не вполне нужной. Примерно так А. К. Воронский высказывается о повести Евгения Замятина «Ловец Человеков»: «Впервые художником дан тот отчеканенный, сгущенный стиль с тире, пропусками, намеками, недосказами, та кружевная работа над словом и поклонение слову, тот полу-имажинизм, которые впоследствии сильно отразились на творчестве большинства серапионов. До мелочи тщательная работа, столь кропотливая, что приходится все время держать себя в напряжении, вчитываться в каждую строку. Это утомляет, даже подчас доходит до манерности, до пресыщенности, словно автор играет своим мастерством»⁴⁰.

Примерно в этом же ключе высказывание Андрея Немзера о романе Алана Черчесова «Венок на могилу ветра»: «Читатель, даже почувствовавший магическую власть

³⁶ Иванов Г. В. Черноземные голоса // Иванов Г. В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. М.: Согласие, 1993. С. 486.

³⁷ Воронский А. К. И. Бабель // Воронский А. К. Избранные статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1982. С. 174.

³⁸ Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. История литературы. Критика. СПб.: Азбука-Классика, 2001. С. 447.

³⁹ Брюсов В. Я. Прощальные песни // Брюсов В. Я. Ремесло поэта: Статьи о русской поэзии. М.: Современник, 1981. С. 309.

⁴⁰ Воронский А. К. Евгений Замятин // Воронский А. К. Избранные статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1982. С. 127.

черчесовского ритма, даже пленившийся его „плотским“ слогом (а все это ощутимо на первых же страницах) задумывается: „Можно ли выдержать пятьсот с лишком страниц такого повествования — неспешного, вязкого, требующего постоянного напряжения? Стоит ли овчинка выделки?“⁴¹

Эти полупохвалы вплотную примыкают к тем чисто инвективным суждениям, в которых слишком декоративный или экспериментальный стиль называется критиками «манерным» и которые фактически содержат рекомендации писателям отказаться от такого слишком насыщенного оригинальностью стиля. Иногда критики рекомендуют вообще не отказываться от манерного стиля, но делать это временно, ставить его как бы на паузу — чего писателю не удастся. Таков характер довольно странной претензии Игоря Золотусского к рассказам Юрия Казакова: «Я не сказал о том, что фраза его, интонация берут иногда верх над реальностью, и тогда слушаешь не реальность, не жизнь, а эту интонацию... Магии интонации подчиняется иногда и сам Казаков. Ритм завораживает и его, и он уже не может сломать ритм, выйти из избранного напева — даже если обстоятельства требуют этого. И когда обстоятельства меняются, когда разворот их требует разрушения ритма — ибо тон их и тон прозы не совпадают, — Казаков не может преодолеть инерции, он уже пленник ее»⁴². Заметим, что в данном случае Золотусский видит недостатки разбираемых текстов в том, что избыточный стиль затмевает реальность, которая изображается в тексте, которая куда важнее, чем стиль, и которая — именно в силу своей важности — требует более прозрачного языка.

Высокопарный стиль может быть разоблачен как слишком простой, дешевый по применяемым приемам. Вот Ирина Роднянская пишет об Анатолии Королеве: «Слог Королева в целом тягостно манерен, что по-ученому можно назвать „маньеризмом“ ... Он с тем же однообразным упорством, с каким Толстая прибегает к своим „али“ и „наемшись“, нажимает на „поэтически“ звучащую номенклатуру: „щекотка выюнка, аромат розмарина, дух мяты с душицей“, „журчание славки, речитатив теньковки, стаккато малиновки“ ... Такое письмо, в сущности, механистично»⁴³.

Цитата как главный аргумент

Приведенный выше пассаж из Ирины Роднянской демонстрирует нам еще один применяемый в критике XX века прием, когда главной, ключевой частью критического пассажа становится приведение наиболее неудачных, по мнению критика, выражений, придуманных писателем, — после чего читателю предоставляется самому судить об уровне его словесного мастерства. Корней Чуковский в статье об Арцыбашеве обращается к профессору филологии Федору Батюшкову: «Я спрашиваю г. Батюшкова, чувствует ли он всю вульгарность писателя, который позволяет себе такие, например, издевательства над русским языком: „Студент подпускал пессимизма“ („Современный Мир“. XII, стр. 9). „Переламывается беззаботная, наивная девушка в полную жизни и желаний женщину“ („Современный Мир“. XII, стр. 21). „В ее робких словах было так много... робости“. „Все сердце его задрожало в бурной и тревожной дрожи“ („Современный Мир“. XII, стр. 21, 22). „Робкая робость“, „задрожать в дро-

⁴¹ Немзер А. Против неба — на земле // Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 2003. С. 469—470.

⁴² Золотусский И. П. Рукою жизни // Критика 50—60-х годов XX века. М.: Агентство «КРПА Олимп», 2004. С. 379.

⁴³ Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане (Кое-что о плохой хорошей литературе) // Русская литература XX века в зеркале критики. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 600—601.

жи“, „переламываться в женщину“, „подпускать пессимизма“, — какое, да простится мне! — хамство в таком отношении к „великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку“»⁴⁴.

Примерно так же поступает Наталья Иванова, критикуя роман Василия Белова «Все впереди»: «Полноте, да Белов ли это? „Он осторожно ступил к коридорному повороту и тут же отпрянул назад...“, „Его душа была широка, как широка и коренаста была вся его подвижная фигура, за внешним видом которой (?! — Н. И.) Люба следила, пожалуй, больше, чем за своим“, „Она сдержанно любовалась им, когда он по утрам уходил на троллейбус“, „Раздираемая душу тревога“, „Вид собственных конечностей устыдил его“ — многочисленные стилистические и языковые погрешности свидетельствуют о неорганичности, искусственности вещи в целом. Слово как будто взбунтовалось против прозаика, несмотря на разбросанные в тексте глубокомысленные рассуждения о нем»⁴⁵.

И совсем коротко Андрей Немзер — об Анатолии Королеве: «А кому нужен теперешний королевский слог — решайте сами: „Это была весьма выразительная рослая брюнетка с маленькой змеиной головкой и глазами, как стеклянные бусы“»⁴⁶.

Крайне редко современный критик все-таки опускается до подробного разбора, что он считает неудачным или неправильным с точки зрения языка — так делает Лев Данилкин в отзыве на роман Дмитрия Быкова⁴⁷ «ЖД»: «Главные, однако, ляпы этого романа — даже не фактические, а языковые. У Быкова, патентованного златоуста и лауреата-чемпиона, здесь язык заплетается, он городит невесть что — потому что транслирует неправду, ерунду, и сам об этом подозревает, но не может остановиться. „В прессу вовсю проникало слово «супостат». В детстве Волохову, увлекавшемуся тогда физикой, супостат представлялся прибором, регулирующим температуру супа, наподобие реостата, коим можно было умерять громкость; теперь мы на него бесперечь супились“. Это типичный пассаж из „ЖД“ — такой же вроде бы эффектный, как все здесь, но если присмотреться, набор стилистических неточностей и бессмыслицы. Реостат регулирует силу тока и его напряжение, и „температура“ здесь ни при чем. „Громкость“ нехорошо „умерять“ — ее можно регулировать, снизить, а „умерять“ лучше требования или пыл. Архаизм „кой“ — ни к селу ни к городу. Архаизм „бесперечь“ дублирует архаичное звучание „супостата“ с непонятной целью. Можно ли „проникать“ — то есть распространяться, пробираться — „вовсю“, изо всех сил, очень сильно? Либо „вовсю употреблялось“ — уже употреблялось, либо „начало проникать“ — но не „вовсю проникало“. Слово „тогда“ дублирует только что упоминавшееся „в детстве“; тройная игра слов — „супостат“, „суп“, „супиться“ — ни к чему не ведет, они связываются через сознание героя — просто для того, чтобы оправдать желание автора пошутить. Все это просто набор слов, слов ради слов, шутки ради. Из такого сырого, стилистически неправильного — а на самом деле маскирующего ложь — материала слеплен весь роман»⁴⁸. Надо отдать должное Льву Данилкину — мало какой критик опускается до столь подробного анализа в сфере языка, но в этом от-

⁴⁴ Чуковский К. И. Об Арцыбашеве // Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 7. Литературная критика (1908–1915). М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012. С. 458.

⁴⁵ Иванова Н. Б. Испытание правдой // Иванова Н. Б. Точка зрения: О прозе последних лет. М.: Советский писатель, 1988. С. 347.

⁴⁶ Немзер А. Языком вишневого киселя // Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 2003. С. 363.

⁴⁷ Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

⁴⁸ Данилкин Л. А. Круговые объезды по кишкам нищего. Вся русская литература 2006 года в одном путеводителе. М.: Амфора, 2007. С. 187–188.

рывке Данилкин находится в тени очень сложной и, наверное, не имеющей решения проблемы: в какой степени шутка или игра слов в литературном тексте имеют самодовлеющую ценность, или они должны быть подчинены какой-то внешней цели? Данилкин, как мы видим, считает, что «шутка ради шутки» является негативной характеристикой текста.

Небрежность, вялость и бедность

Приведение отрывков из критикуемых произведений, как правило, призвано показать, что в тексте присутствуют неправильности, нарушения законов языка и традиций литературы, которые могут толковаться как неудачный стилистический эксперимент, но чаще — как небрежность, как результат недостаточного труда, недостаточных трудовых инвестиций со стороны писателя. На протяжении всех двух веков существования русской литературной критики мы встречаем эти обвинения — что писатели дают неудачные, ошибочные образцы слога, причем зачастую подчеркивается, что эти неудачи и ошибки возникают вследствие пренебрежения писателем своим «трудовым долгом», недостаточной отделки, в большинстве случаев эти упреки доставались поэзии, где формальные ошибки видны гораздо лучше и где вследствие этого гораздо понятнее, в чем должны заключаться отделка и работа с языком. Так, Евгений Баратынский, критикуя поэзию Андрея Муравьева, пишет: «Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности... в поэме г-на Муравьева нет ни одной строфы, с начала до конца написанной истинно хорошими стихами»⁴⁹.

Добролюбов писал о поэзии Юлии Жадовской, что ее успеху всегда будет мешать один недостаток: «Это — недостаток отделки, небрежность и шероховатость стиха. По нашему мнению, недостаток этот не мешает быть стихотворению прекрасным и истинно поэтическим; но все-таки и мы признаемся, что лучше бы было, если бы среди рифмованных стихов не встречалось стиха без рифмы; если бы стих не оканчивался на но в рифму — суждено; если бы союзы уж, вот и др. употреблялись с большею осторожностью, и пр. Мы так привыкли теперь к совершенной гладкости и плавности стиха, что малейшая шероховатость производит на нас уже неприятное впечатление. А в стихах г-жи Жадовской небрежность отделки доходит до того, что иногда даже ударения ставятся довольно произвольно: это обстоятельство весьма важно для нашего стиха, которого вся звучность основана на ударениях»⁵⁰.

Иногда обвинение в недостаточной отделке радикализуется просто до обвинений в невладении языком, незнании языка — и вот Брюсов пишет в 1908 году: «Н. Минский, в свое время, очень точно усвоил себе все недостатки надсоновской манеры, усугубив их еще одним, ему лично присущим свойством: плохим знанием русского языка»⁵¹.

Пройдет ровно 100 лет — и вот почти такие же по духу обвинения звучат в адрес поэта Бориса Херсонского: «Не смущает ее (аудиторию. — К. Ф.) и неуклонно падающий уровень технического исполнения текстов Херсонского. От ученической прилежности не остается и следа (создается впечатление, что время написания новых стихотворений ограничено исключительно скоростью набора), а ключевая особенность поэтики автора — случайные слова в случайном порядке — становится заметна нево-

⁴⁹ Баратынский Е. А. «Таврида» А. Муравьева // Русская литературная критика 1800—1820-х годов. М.: Художественная литература, 1980. С. 252—252.

⁵⁰ Добролюбов Н. А. Стихотворения Юлии Жадовской // Добролюбов Н. А. Собрание сочинений. Т. 1. Статьи, рецензии и заметки 1853—1858. М.: Художественная литература, 1986. С. 499.

⁵¹ Брюсов В. Я. Н. Минский. Опыт характеристики // Брюсов В. Я. Ремесло поэта: Статьи о русской поэзии. М.: Современник, 1981. С. 284.

оруженным глазом»⁵². Как видим, и тут все крутится вокруг недостаточных трудовых усилий: утраченная ученическая прилежность противопоставляется недопустимой быстроте написания стихов, следствием которой становятся «случайные слова в случайном порядке», то есть то, что прямо противоположно «тщательной отделке».

И еще одна любопытная подтема, примеры которой особенно часто встречаются в конце XIX — первой половине XX века — упрек языку или стилю писателя в недостаточной энергичности, яркости; важнейшим термином, характеризующим авторский язык, тут становится «вялость». Одновременно рядом с упреками в вялости почти всегда в паре выступают упреки в недостаточном богатстве (языковом, лексическом, образном) и, соответственно, в бедности языка. Как пишет В. Г. Авсеенко в 1873 году: «Стих г. Некрасова, весьма небрежный и прежде, но в своей небрежности не лишенный иногда силы и выразительности, в последних произведениях его становится совершенно прозаическим и водянистым»⁵³.

Чуковский, рассуждая о стиле Арцыбашева, пишет: «Вялые, банальные слова уныло толкуются на месте; его словарь беден до странности»⁵⁴.

Владимир Ермилов, несмотря на свое предельно доброжелательное отношение к Юрию Крымову, вынужден признать: «Язык повестей Ю. Крымова менее богат и ярок в сравнении с языком лучших, опытнейших мастеров советской литературы. Мы не найдем у Крымова большого разнообразия красок и тонов...»⁵⁵

Отдельный вопрос, почему упреки в вялости так часто сопровождаются упреками в бедности. Возможно ли вялое языковое богатство? Во всяком случае, корреляция между отсутствием богатства и отсутствием яркости налицо, и выражение «вялый, но богатый язык» в традиции русской критики звучало бы как оксюморон. Можно также задаться вопросом, как характерное для традиции советской критики некоторое предпочтение простого языка сочетается с требованием «богатства», но, вероятно, богатство тоже может быть как простым, так и сложным. Важно то, что практика критики никогда не была тождественна эстетической теории (даже той теории, которой — в советское время — она присягала на верность), и потому не стоит ждать от нее абсолютно непротиворечивой и продуманной до конца понятийной системы.

⁵² Саломатин А. В. Эффект присутствия, или Политика вместо поэтики // Литературное сегодня. Мастерская современной критики. М.: Фонд СЕИП, 2014. С. 217.

⁵³ Авсеенко В. Г. Поэзия журнальных мотивов // Критика 70-х гг. XIX века. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 387.

⁵⁴ Чуковский К. И. Об Арцыбашеве // Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 7. Литературная критика (1908–1915). М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012.

⁵⁵ Ермилов В. В. Повести Юрия Крымова // Ермилов В. В. Избранные работы: В 3 т. Т. 3. Драматургия Чехова. О советской литературе. М.: ГИХЛ, 1956. С. 497.

Давид ДАВИДИАНИ

ПОТАЕННАЯ СИМВОЛИКА ФАШИЗМА

Неразгаданная кинопритча

Андрея Тарковского

Кажется, действительно, «Сталкер» будет моим лучшим фильмом.

Из дневников Андрея Тарковского

Символизм как антифашизм

Жизненные миры и авантурные изгибы творческих траекторий интеллектуалов чаще всего загадочны не только для окружающих, но и для них самих. Более того, даже когда появляются талантливые попытки разгадать эти загадки, то в таких опытах мера их собственной загадочности тоже оказывается значительна. Таким сверхзагадочным опытом является давний фильм Андрея Тарковского «Сталкер» (1979). Это кинематографическая притча режиссера-интеллектуала, рассказывающая об интеллектуалах Сталкере, Писателе и Профессоре и предназначенная в первую очередь для зрителей-интеллектуалов. Это правдоподобная сказка о чуде, явившемся из «миров иных», о таинственном зерне, брошенном на нашу планету неземной силой. В результате появилась некая загадочная Зона, а в ее центре — таинственная, исполненная духовного всемогущества Комната счастья, исполняющая самые заветные желания, тех, кто войдет в нее.

Люди, имеющие власть, обошлись с загадочной территорией счастья воистину «почеловечески»: послали туда войска, объявили это место запретной зоной, окружили колючей проволокой и полицейскими кордонами, запретили заходить в нее кому бы то ни было, приравняли посещение этого места к преступлению, а нарушавших запрет стали сажать в тюрьму. Тех очень немногих нарушителей, которые решились проникнуть в Зону, стали называть сталкерами (от англ. *stalker* — преследователь), то есть охотниками за чем-то необычным, поисковиками, искателями.

Три главных героя фильма существуют в мире, лежащем не в трясине обычного зла, но во зле фашизма. И хотя это зло всеобъемлюще, опознать и идентифицировать его непросто, поскольку Тарковский тщательно зашифровал и замаскировал его. В цитадели заматеревшего сталинизма это было необходимо. Без мер предосторожности и сложных средств шифровки фильм не дошел бы до массового зрителя.

В силу этих внешних, а также внутренних, сугубо творческих обстоятельств «Сталкер» стал фильмом-символом, символическим фильмом, собранием символических

форм. В нем все погружено во всеобъемлющую символику. Художественный язык фильма таков, что подтексты в нем важнее текстов. В романе «Братья Карамазовы» в диалоге Ивана и Алеши старший брат говорит младшему о том, что людей избаловал современный реализм и потому Алеше будет трудно воспринимать иносказания легенды о Великом инквизиторе. О массовом кинозрителе второй половины XX века можно сказать примерно то же самое: «избалованный», то есть оболваненный «социалистическим реализмом», он утратил способность понимать иносказательную символику сложных произведений искусства. И на примере «Сталкера» это хорошо видно.

Мастерство предпринятых режиссером мер было так высоко, что советская драконовская цензура не разглядела в символике фильма самого главного — его антитоталитарной, антифашистской, антисоветской сущности. Даже по сей день она остается не замеченной миллионами зрителей. Да и профессиональным гуманитариям не так легко ее разглядеть.

Между тем морально-эстетические признаки фашизма в фильме, что называется, на виду. Но чтобы их увидеть, следует помнить, что фашизм — это не только политика богоборчества, режим тотального насилия и войн, но и эстетика безобразного, этика цинизма, диктатура страха и унижений, дно зла, апогей несвободы. В фильме налицо:

- погруженность реальной жизни героев во всеобъемлющее зло;
- тотальное господство эстетики безобразного; ею пропитано абсолютно все, даже воздух;
- открытость зрителю дна мира, в котором невозможно нормальное, обычное человеческое счастье, где люди живут в убогих, безобразных жилищах, передвигаются по грязи отвратительных пригородных ландшафтов, где несчастные родители рожают несчастных детей-мутантов;
- присутствие атмосферы богоотрицания, препятствующей соприкосновениям героев с миром тайн и чудес;
- погруженность людей в привычную несвободу с ее повсеместными насильственными ограничениями и запретами.

Сталкер, главный герой фильма, — неукротимый охотник за необычным, поисковик смыслов, искатель веры. Это фигура во многом символическая, в которой можно угадать многих известных творческих личностей, страстно преданных своему делу. Это человек, которому душно и тесно в духовно убогом мире навязанной ему прокрустовой «нормальности». Он рвется из нее в запретную зону с ее метафизикой таинственного, непознанного, непонятного. У него есть твердая уверенность (он называет ее верой) в то, что там скрыто нечто прекрасное, истинное, открывающее пути к высшим смыслам бытия.

«Комната счастья», окруженная со всех сторон запретной зоной, — это символ всего того, чего нет в мире, лежащем во зле. А тяжелый и опасный путь к ней символизирует запрещенную властями веру в существование высших смыслов и ценностей. Комната — единственное место, где вера не просто возможна, но необходима. Во всех прочих местах она давно выкорчевана государством. В его режимном пространстве души людей оставлены опустошенными и нищими. Везде господствует абсурдная и смертельно опасная реальность уродливого, чудовищного мира-мутанта, в котором, по словам Писателя, одного из героев фильма, нет Бога. И в этом главная сущностная особенность государства, полностью погруженного в бесовщину.

Зона, через которую чрезвычайно трудно прорваться в Комнату исполнения желаний, — это не просто территория. Это демоническая реальность, отсекающая Ком-

нату от людей. Она насыщена множеством опасностей и смертельных угроз. Демоны абсолютного зла несут свою службу, стоят на страже, готовые уничтожить дерзких смельчаков.

В фильме вместе со Сталкером в таинственную Зону проникают два безымянных интеллектуала — модный Писатель и Ученый-физик. Один — безбашенный любитель острых ощущений, другой — мститель, задумавший отомстить той неведомой силе, которая занесла Комнату исполнения желаний на Землю и морочит людей.

Писатель — обладатель выгоревшей, опустошенной души. Такие носители интеллектуального безверия — писатели, поэты, ученые и философы — преобладали в СССР. Режим выжег в них всю духовность, оставив один пепел.

Писатель Тарковского — умный циник, безжалостный к другим и себе и нередко говорящий дельные вещи. Так он утверждает, что у него нет совести, а есть одни только нервы. При этом он идет на частичный плагиат, заимствуя эту фразу у японского писателя Акутагавы Рюнеске. Правда, ее изначальный вид несколько иной: «У меня нет убеждений, а есть только нервы». На нее в свое время обратил внимание Иосиф Бродский, для которого она стала чем-то вроде визитной карточки современного секюлярного интеллектуала.

Писателю удалось в нескольких саркастических фразах обрисовать характерную ловушку, подстерегающую каждого искателя истины: «Я эту самую истину выкапываю, а в это время с ней что-то такое делается, что выкапывал-то я истину, а выкопал кучу, извините... не скажу чего». То есть Писатель жалуется фактически на демона иронии, который смеется над теми, кто ищет истину вдали от Бога, в оглушительной духовной пустоте фашистского режима и, естественно, ничего не находит. Писатель не одинок в своих разочарованиях. То же самое происходит с множеством реальных интеллектуалов. В свое время это случилось с Марксом и немалым числом марксистов, которые вроде бы искали истину, но нашли вместо нее лживое и кровавое чудовище сталинизма. А физики, искавшие в стороне от Бога свою естественнонаучную истину, нашли вместо нее атомную бомбу с истребительными ужасами Хиросимы и Нагасаки.

Писатель жалуется и на другую каверзу демона иронии: когда его мысль забредает на территории трансцендентной реальности, высокой метафизики, соприкасающейся с теологией, то с ней, а заодно и с трансцендентными реалиями начинает происходить что-то непонятное и неуловимое. Стоит только обозначить эти реалии, назвать их, то их смыслы начинают куда-то исчезать, таять, растворяться, испаряться, подобно медузам на солнце. Писатель не желает слышать о главном условии успешности интеллектуальных усилий. Между тем, чтобы не стать жертвой обидных конфузов, искатель фундаментальных истин должен забыть о привычном познавательном инструментарии интеллектуалов-атеистов, о их слишком грубых аналитических орудиях, не предназначенных для работы с трансценденциями, экзистенциями и их абсолютными идентификатами и смысловыми маркерами. Изыскателю нужен путеводитель, который не лукавит, не заводит в ловушки и тупики, а указывает безошибочное направление поиска. В фильме он есть только у Сталкера, который в самые важные минуты приближения к цели поиска слышит слова из Апокалипсиса и Евангелия. Именно они свидетельствуют о существовании Истины, которая есть и Путь, и Жизнь. В этой Истине нет лукавства, иронии, сарказма. Она не обманет. Но приблизиться к ней можно только с верой, с полным доверием авторитету библейского Слова. У Сталкера эта вера есть, а у Писателя ее нет. Отсюда у последнего нескончаемые жалобы на все и вся, на осаждающую его душу экзистенциальную тоску, которую он глушит алкоголем.

Сталкер не может бросить свое занятие. Его уже сажали в тюрьму за проникновение в Зону. Но это его не остановило. В его беспросветной жизни авантурные вылазки в запретный мир — единственное, что привносит в нее смысл и свет. Он не желает «нормальной человеческой работы», которую навязывает ему машиноподобное, духовно мертвое государство-тюрьма. Он хочет свободы и максимально возможной самореализации. В нем есть черты, сближающие его с молодым Иосифом Бродским, с теми временами, когда в будущем лауреате Нобелевской премии обнаружился поэтический дар, неведь откуда взявшийся у мальчишки-второгодника, бросившего школу в восьмом классе, недоучки, сменившего много рабочих мест и занятий. Неожиданно для окружающих он начал писать необычайно талантливые стихи, а на суде сказал, что считает себя поэтом и что это от Бога.

Но режиму-людоеду не нужны ни Бог, ни поэзия, ни Бахи с Моцартами, ни Мандельштамы с Бродскими. Суд приравнял поэтический дар Бродского к преступлению, за которое тот был осужден на пять лет северной ссылки и отправлен под конвоем на тяжелые работы. Мир, лежащий в непроходимой грязи, пьяной блевотине и безысходной нищете, управляемый дьявольскими «чугунными законами», не оставил на своей территории ни одного живого места, где могли бы произрастать ростки свободной поэтической мысли, нарушающие эти законы. Этот мир заставляет Сталкера регулярно уходить туда, где он чувствует себя свободным. И в этом он — духовный собрат не только поэтов, но и тех очень немногих философов, которые чудом выжили в режимных условиях тоталитарной неволи. Если для Бродского пространство свободы — это поэзия, то для его духовного собрата Мераба Мамардашвили — область философской мысли. Воображение и мысль уносили их в выси, откуда злой мир виделся «в рассеянном свете», а зло выглядело нестрашным, поблекшим, мелким и ничтожным. Духовная жизнь каждого, состоявшая из взлетов и полетов, уходов и убегов, духовных странствий и приключений, — это то, что Бродский в своем эссе «В тени Данте» (1977) обозначил понятием «духовной одиссеи». Оно хорошо передает суть как его собственного жизненного пути, так и пути Мераба Мамардашвили. Они оба, поэт и философ, — духовные странники, беглецы, убежавшие от идеологического рабства, от этически и эстетически неприемлемой для них реальности. Так что в конце концов каждый из них мог бы, переходя финишную линию своей жизни, произнести те же самые слова, которые великий украинский философ Григорий Сковорода завещал выбить на своем могильном камне: «Мир ловил меня, но не поймал».

В фильме звучит стихотворение отца Андрея Тарковского, замечательного поэта Арсения Тарковского «Вот и лето прошло».

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало...

Для Сталкера это больше чем стихотворение. Оно заменяет ему молитву, в которой его душа жалуется неведомо кому на то, что ее томит неутолимая духовная жажда по неведомо чему, что ей в земной жизни всего мало и всегда мало.

В СССР с отменным коварством расправились с этим стихотворением и его идеей. Из него был состряпан разухабистый шлягер с лихим ритмом. Исполненный Софией Ротару, он на долгое время превратился в банальный хит с полностью дезактивированным духовным подтекстом.

На вопросы, почему существуют люди, которым всегда и всего мало, и почему среди них есть такие, чей духовный голод и жажда не утоляются, в стихотворении Арсе-

ния Тарковского нет ответа. Но он существует. Его классическую формулировку можно найти в утверждении Аврелия Августина, говорившего о том, что только в Боге успокаивается человеческая душа. Только Бог дает ей такую духовную пищу и питье, после которых голод и жажда перестают ее мучить и навсегда исчезают.

Уход от Бога и возвращение к Нему

Но что делать людям, если Бога у них отняли, если государство перекрыло к Нему все подступы, отобрало самое необходимое, самое важное в этой жизни — Источник животворящей воды и самой жизни?

Ответ очевиден: Бога непременно надо искать за пределами государства и сфер режимного существования, искать и во что бы то ни стало отыскать. Но чтобы встреча с Ним состоялась, к Нему нужно двигаться. И следует отдать должное отцу и сыну Тарковским, вымышленному Сталкеру, реальным Иосифу Бродскому и Мерабу Мамардашвили: они действительно пребывали в поиске, двигались каждый своим путем. Они были полубессознательными богоискателями, чувствующими, что Бог недалеко, где-то рядом, что еще несколько шагов — и встреча состоится.

В Новое время в Европе, а затем и в России возникло движение, участников которого называли деистами. Это были просвещенные интеллектуалы, вольтерьянцы и скептики, охладевшие к Богу. Они признавали, что Он существует, но не хотели Его знать, иметь с Ним личные отношения, поклоняться Ему, строить свою жизнь в соответствии с Его требованиями. Они фактически вычеркнули Его из своей жизни, отправили в ссылку, на периферию Вселенной, полагая, что так им будет легче Его навсегда забыть.

Наши герои — антидеисты, то есть духовные антиподы деистов. Они тоже знают, что Бог существует, тоже пребывают в значительном отдалении от Него, но их духовное движение по жизни устремлено, в отличие от деистов, не прочь от Бога, а к Нему.

И тут мы находим ответ на одно из недоумений, испытываемых большинством зрителей фильма, которым непонятно, для чего Андрей Тарковский включил в контекст самых важных финальных событий сюжета две библейские цитаты — из Апокалипсиса и Евангелия от Луки? Эти вставки кому-то кажутся чужеродными в содержательной ткани фильма. Станным выглядит и то, что их произносит за кадром жена Сталкера, ярая противница его походов в Зону, которая к тому же почему-то смеется, цитируя трагический библейский текст. Каков смысл этого режиссерского хода?

В дальнейшем сам Сталкер подводит нас к ответу на эти вопросы. Он обращается к Писателю и Профессору: «Вот вы говорили о смысле... Вот, скажем, музыка... Она и с действительностью-то менее всего связана, вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком... Без ассоциаций... И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу! Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения... И потрясает? Для чего все это нужно? И главное кому? Вы ответите: никому... И ни для чего, так. „Бескорыстно“. Да нет... вряд ли... Ведь все в конечном счете имеет свой смысл... И смысл, и причину...»

Если продолжить рассуждение Сталкера, вернувшись к вопросу о том, какой смысл в использовании в фильме прямых библейских цитат, то следует признать, что это использование, конечно же, не бессмысленно, не бесцельно, как не бесцельно использование библейских мыслей, образов, символов в стихах Бродского и в философских рассуждениях Мамардашвили.

Мы наблюдаем в фильме, как Библия, Слово Божье, подобно павшему с неба метеориту, внезапно врывается в сценарий. Но этот «метеорит» не разрушает, а животворит. Эти вторжения не выполняют декоративно-эстетических функций, не украшают человеческую речь, а возносят то, о чем люди говорят, на высоту абсолютных, неотразимых в своей истинности смыслов.

У Тарковского звучащие слова из Книги Апокалипсис говорят о снятии шестой печати и об обрушении на человечество череды глобальных катастроф: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6, 12–17).

Устами Иоанна Богослова Тарковский говорит о том, в какое время мы живем. Близится пора величайших потрясений, время финальной расплаты, когда каждый получит то, что заслужил. Одни за свою веру обретут спасение, но большинство за свое неверие не сможет рассчитывать ни на что, кроме гибели: кесарю — кесарево, Сталкеру — Сталкерово, Писателю — Писателево, Профессору — Профессорово, или, как выразился Писатель об одном из заэкранных героев фильма, Дикобразу — Дикобразово и т. д. Все мы уже взвешены на правосудных весах Господа. Тарковский провозглашает библейскую истину ненавязчиво, как бы мимоходом. Смех жены Сталкера, цитирующей Книгу Апокалипсис, совершенно неуместный, казалось бы, при чтении Библии, выполняет здесь функцию режиссерского маневра, отвлекающего внимание режимных цензоров, заставляет власти расслабиться и не принимать всерьез цитату. Тем не менее Слово Божье прозвучало во всеуслышание в гигантском государственном концлагере, напоминая людям о том, где, в каком хронотопе они все находятся.

Затем звучат слова из финальной главы Евангелия от Луки, где воскресший Иисус является двум из Его учеников, которые Его не узнали: «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его» (Лк. 24, 18). Здесь самое важное — это слова о том, что «глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Они прямо указывают на то, что мир переполнен людьми, неспособными узнать Христа, даже если Он приблизится к ним вплотную. Если уж ученики не узнали Учителя, то что говорить о всех прочих, включая героев фильма — Писателя и Профессора.

Следует помнить, что фильм 1979 года выпуска был предназначен зрителям, духовно обобраным до нитки преступным государством. Библейское Божье Слово не могло публично звучать там, где сатана правит бал. Но оно, вопреки всем препонам, открыто и громко прозвучало с киноэкранов страны. И миллионы людей услышали, что Бог не умер, что Он жив, что человеческая душа, даже ограбленная властями, не одинока, не брошена на произвол судьбы. Человек, услышавший Слово Бога, всегда может сделать шаг навстречу Ему. А если за первым шагом последует второй, затем третий, то духовная встреча творения с Творцом, блудного сына с любящим Отцом сможет состояться и у души появится шанс вырваться из мрака пустой безбожной жизни.

Два финала

Финал Тарковского прост и великолепен. За столом сидит дочка Сталкера. Под ее взглядом начинает двигаться и падать на пол посуда. Слышно грохотание поезда, на которое накладываются звуки музыки. Они становятся все громче, преодолевают шум механической громады; зритель узнает в них четвертую часть Девятой симфонии Бетховена и «Оду к радости» Шиллера, ставшие гимном объединенной Европы. Звучит гимн живому Богу, который есть «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам». Хор зазывно и требовательно гремит:

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!

Музыка славит Бога:

Радость двигает колеса
Вечных мировых часов,
Свет рождает из хаоса,
Плод рождает из цветов...

У зрителя как бы исподволь рождается надежда на то, что не все еще потеряно и может измениться к лучшему. Ему грезится, что демоническая Зона, отгораживавшая Чудо-комнату от людей, исчезнет. Сталкер продолжит водить людей в нее совершенно безопасным путем. Произойдет духовное возрождение Профессора и Писателя. Профессор, отказавшийся от своей сатанинской мечты и уничтоживший адское взрывное устройство, вновь займется наукой и получит Нобелевскую премию. А Писатель, которому Сталкер перевернул душу, будет долго, месяцы, годы думать о произошедшем с ним, распрощается со своим дежурным цинизмом, бросит пить, откажется от мыслей о самоубийстве и в конце концов сядет за книгу о Сталкере, на основе которой появится сценарий, а затем фильм «Сталкер».

И вот миновали полвека, показавшие, что все пошло не так. Реальный финал выглядит совершенно неудовлетворительным. И будь сегодня живы создатели фильма, они бы увидели, что Евросоюз, славивший Бога своим гимном, стал скрытным, но упорным богоборцем: отвернулся от Бога, возвел для своего правительства дворец в форме недостроенной Вавилонской башни древних неудачников-богопротивников, посрамленных Создателем. Он заполнил интерьеры этой башни изображениями языческих идолов и демонов. Он поощрил переход от сексуальной революции к гомосексуальной, повсеместно насаждает богопротивную содомо-гоморскую идеологию, психологию, этику и эстетику. Он не бьет в колокола и сравнительно спокойно воспринимает то, что миллионы людей со всех континентов не желают обняться, а повсеместно разжигают тотальную войну всех против всех. Хаос наступает на свет, радость угасает и исчезает. В мировом эфире все громче звучит не «Ода к радости», а разносящиеся из Давоса призывы Клауса Шваба к «великому обнулению», «великой перезагрузке», переходу к «новой нормальности» планетарного биоцифрового мегафашизма.

На фоне этих метаморфоз воображение зрителя без малейшего сострадания рисует безрадостные картинки, изображающие спившегося Писателя, покончившего с собой Профессора и пропавшего где-то на далекой Колыме Сталкера.



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

К 215-летию Н. В. Гоголя

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ВСЛЕД ЗА ГОГОЛЕМ...

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) — величайший писатель-христианин, классик русской и мировой литературы.

Уроженец Миргородского уезда Полтавской губернии, Гоголь во многих своих произведениях воспроизводил дорогой его сердцу, особый малороссийский колорит: «Вишневые низенькие садики, и подсолнеч<ники> над плетнями и рвами, и соломенный навес чисто вымазанной хаты, и миловидное, красным обводом окруженное окошко. Ты древний корень Руси, где сердечней чувство и нежней славянская природа»¹. Писателю хотелось «обнять обе половины русского народа, северн<ую> и южн<ую>, сокровище их духа и характера» (7, 387).

Жизнь и смерть Гоголя, его художественный мир до сих пор остаются во многом неразгаданными, не изведенными во всей их духовной сложности, таинственной глубине и Божественной правде. Писатель говорил о смысле своего творчества: «Дело в *деле* и в *правде* дела» (6, 588). Молитвенно обращался он к помощи Божией для укрепления высшего дара — любви к ближнему: «Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем» (7, 381).

Глубины духовных прозрений гения остаются до конца не изведенными в циклах его повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», в «Петербургских

Алла Анатольевна Новикова-Строганова — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

¹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М.; Л.: АН СССР, 1937—1952. — Т. 7. — С. 378. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

повестях», в бессмертной комедии «Ревизор», эпической поэме «Мертвые души» — с их общей магистральной темой борьбы с нечистой силой, одоления врага рода человеческого в любых его обличьях.

«А что греха таить, господа... Ведь „Мертвые души“ и точно тяжелая книга и страшная, — писал русский поэт и критик И. Ф. Анненский. — Страшная и не для одного автора. Чего заглавие-то одно стоит, точно зубы кто скалит: „Мертвые души“. <...> Что бы было с нашей литературой, если бы он один за всех нас не подъял когда-то этого бремени и этой муки»².

Гоголь выступил как истинный исполин духа — борец с нечистой силой, присутствие которой он ощущал, разоблачал и в социально-политическом, и в морально-нравственном, и в сакральном смыслах: «Вижу ясней многие вещи и называю их прямо по имени, то есть черта называю прямо чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма à la Байрон»³. Тактика и разрушающее действие на человека inferнальных сил были ведомы писателю, и он не уставал изобличать их в художественном творчестве, в публицистике, в переписке.

Так, в письме С. Т. Аксакову от 16 мая 1844 года Гоголь призывал своего друга-христианина не поддаваться на дьявольские уловки: «Все это Ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего „приятеля“, всем известного, именно — черта. Но Вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надувания» (238). Далее писатель указывает на сатанинские приемы искусителя: «Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом и потом подойдет с другой стороны, в другом виде, нельзя ли как-нибудь привести в уныние <...>. Словом, пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело» (239).

Гоголь предлагает радикальное средство в духе своего героя кузнеца Вакулы из повести «Ночь перед Рождеством», который напоследок отстегал черта хворостиной, и «вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен» (1, 241). Гоголь советует в письме С. Т. Аксакову: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он просто *черт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти*».

В то же время к подобной борьбе нельзя относиться легковесно. Сражение не проходит легко, просто и безболезненно. Не случайно «Ночь перед Рождеством» с преобладающей в ней светлой атмосферой Святков, радостной тональностью народных зимних праздников завершается образом испуганного ребенка, плачущего от страха перед «намалеванным» Вакулой на стене церкви изображением «черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *он бачь, яка кака намалевана!* и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери» (1, 243). Здесь явный намек на неодолимую силу чертовщины, которая продолжает сеять раздоры и страх, горе и слезы, страдания и гибель.

² Анненский И. Ф. Эстетика «Мертвых душ» и ее наследье // И. Ф. Анненский. — М.: Наука, 1979.

³ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. — М.: Худож. лит., 1986. — Т. 7. Письма. — С. 240. Далее ссылки на 7-й том данного издания приводятся в тексте с указанием страницы в скобках.

Людям не одолеть беса в одиночку, без помощи Божией. Необходима высшая сила, направленная против злого духа, который «очень знает, что Богу нелюб человек унывающий, пугающийся — словом, не верующий в Его небесную любовь и милость» (239).

Даже апостолы, наделенные Господом силой наступать «на всю силу вражью» (Лк. 10:17), принявшие Его заповедь: «...больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8), — не сумели изгнать особо коварного беса. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему <...> сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:19–21).

Знаменательный ответ Христа в его прямом и понятном значении стал смыслом последних лет жизни Гоголя. Он очень много молился и постился, готовясь пройти сквозь «последние врата» в жизнь вечную.

Православный литературовед К. В. Мочульский предположил, что «Гоголю было послано свыше откровение о смерти, он перестал бороться за жизнь, последние драгоценные дни употребил на христианское приготовление к великому Таинству»⁴. Возможно, Гоголь услышал некий «зов» и «угас, как свечка». Как и герой его повести «Старосветские помещики» безутешный вдовец Афанасий Иванович, который ясно услышал среди бела дня зов покойной супруги и «весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя» (2, 37).

Намек на эту тайну, которая навсегда останется тайной, есть в собственном признании Гоголя в этой же повести: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» (2, 37).

Мистиком и духовидцем считали Гоголя глубокие исследователи его творчества: «Таково объяснение в плане психологическом; но возможно и другое объяснение, в плане мистическом; оно вполне законно, так как относится к мистику, который, подобно всем духовидцам, переживал состояния благодати и безблагодатности, имел видения света и тьмы и с сознательного возраста вел упорную и тяжкую борьбу со злыми духами»⁵.

Однако этого не могли постичь люди даже из самого близкого окружения писателя. Они пытались насильно накормить его, строго постящегося; пытались лечить, в том числе холодными ваннами, якобы от «религиозного помешательства».

Поразительно заключительные строки повести, в которых автор будто предвидел свои последние дни — за 17 лет до кончины. В финале написанных от первого лица

⁴ Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя // Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М.: Республика, 1995.

⁵ Там же.

«Записок...» в безумные речи героя врывается взволнованный лирический монолог, где словно слышится жалобный стон самого умирающего Гоголя. Он бесконечно любил свою «дражайшую маменьку», как часто обращался к ней в письмах, и здесь будто не герой повествования, а он сам, Гоголь, жалуется матушке на своих мучителей: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя и все кружится предо мною <...> Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете!» (3, 214).

Рукописный вариант финала звучит следующим образом: «Матушка моя, за что они мучат меня! Голова моя светлая. Ты видишь, как жестоко поступают со мною за любовь. Ты видишь ли, как обижают меня» (3, 571).

В «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец» (1883) Н. С. Лесков писал: «Тут все переболели сердцем, читая весть про душевные муки поэта, начавшиеся для него томлением, которое предшествовало и, может быть, частью вызвало „Переписку с друзьями“»⁶.

«Жизнь Гоголя — сплошная пытка, самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения, — писал исследователь. — Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, воспринимавший мир *sub specie mortis* (с точки зрения смерти. — А. Н.-С.), боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, — этот же человек “сгорал” страстной жадой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя — сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу»⁷.

«Да не смущается сердце ваше. Иоанн XIV, 1» (7, 359); «Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости все мне грешному. Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду, да удалюсь от мира в святой угол уединения» (7, 376) — такие молитвы слагал Гоголь в своей «Записной книжке 1846–1851».

С. Т. Аксаков, близко знавший писателя, утверждал: «Я признаю Гоголя *святым*, это истинный мученик нашего времени и в то же время мученик христианства».

Финал повести «Записки сумасшедшего»: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют» (3, 214) — перекликается с финалом первого тома «Мертвых душ» — метафорическим образом Руси-тройки: «...кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

⁶ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 11. — С. 68.

⁷ Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя // Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М.: Республика, 1995.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымит-ся под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пора-женный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? <...> Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа» (6, 247).

«Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!» — писал И. С. Тургенев в некрологе, где назвал Гоголя великим писателем. За это Тургенев был арестован, а затем отправлен из столицы в ссылку, так как нарушил строгий запрет печатно упоминать о смерти великого сатирика, наложенный царским правительством. Видно, и ему так крепко прищемил хвост Гоголь, что и после смерти был страшен де-моническим силам разного рода.

За несколько дней до кончины Гоголь записал свою молитву: *«Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное. Помилуй меня грешного, прости, Господи. Свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого Креста».*

Вслед за Гоголем будем и мы молиться...

ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

К 125-летию В. В. Набокова

Александр ЗАХАРОВ

ГОВОРИ, МНЕМОЗИНА!

Заметки энтомолога

о Владимире Набокове

«Летним утром, в легендарной России моего отрочества, проснешь-ся, бывало, и сразу смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, не стоит и растворять ставни, хоть избавишься от зрелища — насупленный день по-зирует для своего портрета в луже. С какой досадой выводешь из линии тусклого све-та свинцовое небо, промокший песок, овсяную кашницу бурых опавших соцветий под кустами сирени и этот рыжеватый листок (первая утрата лета), плоско прилипший к мокрой садовой скамейке!

Александр Алексеевич Захаров родился в 1956 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ по специальности «Русский язык и литература». Член Союза журналистов Рос-сии (СССР) с 1983 года. Член ФИЖЕТ (Международная федерация журналистов, пишущих о туризме). Как литературовед и критик печатался с 1981 года в журналах «Звезда», «Литера-турное обозрение», «Север», «Звезда Востока» и др. Энтомолог-любитель.

Но если ставни шурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно отдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и тень. Пропитанная солнцем березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какую мне довелось опять отыскать только много лет спустя в горноборовой зоне Колорадо.

С семилетнего возраста все, что я чувствовал, завидя прямоугольник обрамленного солнечного света, подчинялось одной-единственной страсти. Первая моя мысль при блеске утра в окне была о бабочках, которых припасло для меня это утро», — писал Набоков в шестой главе книги «Память, говори», которая в одном из ранних вариантов называлась «Мнемозина, говори».

Насколько я помню, тогда издатели сказали ему, что это слишком сложно для современных, тем более американских, читателей: знать, что Мнемозина, конечно, богиня памяти.

Писатель согласился. А между тем именно такое название мемуаров — с античным оттенком — более всего было заманчиво для него. Да просто потому, что по дороге из Петербурга на Псков, и как раз возле имения Рождествено, которое так безнадежно запоздало подарил ему дядя Рука в 1916 году, летала ежегодно в конце июня бабочка *Parnassius mnemosina* L. — «мнемозина», которую между собой бабочники называли «черным аполлоном».

Бабочка, прямо скажем, скромная по расцветке, то есть почти черно-белая, но очень «локальная». Это означает, что летала она пару недель в году не повсюду, а лишь там, где произрастало кормовое растение ее гусеницы — хохлатка.

А хохлатка произрастала не везде. В основном на травянистых берегах какой-нибудь реки. И Оредеж, протекавшая прямо у барского дома в Рождествено, хохлатке, а значит, и мнемозине подходила.

Вот именно «локальность» своей памяти, а вовсе не особую грамотность по части мифологии и хотел подчеркнуть Набоков, предлагая первое название для книги воспоминаний.

Вообще, я давно заметил, что узкоспециальные знания заманивают коллег в увлекательную игру, смысла которой никто из дилетантов никогда не обрящет. Думаю, так между собой шутят и химики, и медики, и физики — вообще все, кроме лириков, чей лексический запас общедоступен и потому часто пошловат. Ну и биологи, конечно, в такие игры издавна играют.

Вот, например, создатель бинарной биологической номенклатуры, великий Карл Линней весьма остроумно однажды «подколол» директора нашего Ботанического сада на Аптекарском острове Иоганна Сигезбека. Они сначала дружили и переписывались, но потом поругались, поскольку петербургский ботаник выступил против «половой системы классификации растений», предложенной шведским коллегой. Довод Сигезбека был веский, но, конечно, оказался бы совершенно непонятным сегодня: «Бог никогда не допустил бы в растительном царстве такого безнравственного факта, как то, что несколько мужей (тычинок) имеют одну жену (пестик). Не следует преподносить учащейся молодежи подобной нецеломудренной системы».

В ответ Линней назвал одно из новых растений *Sigesbeckia orientalis* («сигезбекия восточная») и послал ее семена в Петербург в мешочке с надписью *Cuculus ingratus* («кукушка неблагодарная»). Надо ли говорить, что Сигезбек очень огорчился, дождавшись всходов!

Как профессиональный бабочник, Владимир Набоков тоже не отказывал себе в удовольствии ввернуть в текст некоторые энтомологические шутки, которые вряд ли

будут понятны большому числу читателей. Среди читателей «дуремаров» мало, зато среди писателей — пруд пруди.

Например, рассказывая о фамильном имени Батова, неподалеку от Рождествена, он касается «пистолетной дуэли Рылеева с Пушкиным, о которой так мало известно», произошедшей там «в парке между 6-м и 9-м мая (по старому стилю) 1820 года. Пушкин и двое его друзей, барон Антон Дельвиг и Павел Яковлев, провожавших его до конца первого перегона на длинном пути из Петербурга в Екатеринослав, мирно своротили с Лужского тракта в Рождествено, переехали мост (уханье копыт сменилось недолгим клацаньем), и старой колейной дорогой покатали на запад, в Батово. Здесь, перед самой мызой, их с нетерпением ждал Рылеев. Он только что отослал жену, бывшую на сносях, в их поместье под Воронежем и спешил покончить с дуэлью, чтобы — коли будет на то воля Господня — соединиться с нею.

Кожей и ноздрами чую упоительную сельскую свежесть весеннего дня, встретившую Пушкина и его секундантов, когда они выбрались из кареты и вошли в липовую аллею, начинавшуюся за еще девственно черными цветниками Батова. Ясно вижу эту троицу молодых людей (сумма их лет равняется моему теперешнему возрасту), идущих по парку за его владельцем и двумя неизвестными.

Об эту пору маленькие, мятые фиалки пробиваются сквозь ковер прошлогодней листвы, и только что вылупившиеся оранжевые белянки опускаются на подрагивающие одуванчики. Судьба поколебалась с миг, не зная, что ей предпочесть — преградить ли героическому мятежнику путь на виселицу, лишить ли Россию „Евгения Онегина“, — но затем решила не ввязываться».

Так вот. Из всех видов бабочек, которые в это время могли бы уже путаться под ногами Пушкина и Рылеева вместо судьбы, писатель выбрал только «оранжевых белянок» — так в русском варианте текста, а в английском — это «orange tip». На линнеевской же латыни — *Anthocharis cardamines* L. Эта бабочка — я всегда с удовольствием ее вспоминаю! — весной самая веселая у нас, потому что все остальные белянки в эту пору (репница, брюквенница, горошковая белянка, чуть погода капустница — одним словом, «пиериды») бледно-белые и даже сероватые, чаще с желтоватым исподом, а самцы нашей «антохарис» — с ярко-красными кончиками верхних крыльев. Потому-то мы и зовем их — «зорька». Ну а от зорьки до зари революции, применительно к Рылееву — декабризма, один шаг.

Так получилось, что в поздние годы перестройки мне довелось дважды беседовать с Дмитрием Набоковым, который приезжал в Россию не только посетить «родные пенаты» отца, но и урегулировать вопросы с его авторскими правами, потому что в неразберихе того времени Владимира Набокова издавали все кому не лень. При этом я еще очень тогда сочувствовал Андрею Битову, который, мне кажется, никак не предполагал, что Набокова вообще когда-нибудь разрешат в России печатать.

С Дмитрием Набоковым первый раз мы говорили в их доме на Большой Морской, второй — в гранд-отеле «Европа», где он остановился. У меня среди книг на полках где-то спрятались фотографии — нет, пожалуй, «фотки», на которых мы чокаемся рюмками.

Дмитрий Набоков, конечно, по приезде Рождествено, Батова и еще Суйду назад не требовал, но права наследования на произведения отца, естественно, хотел бы сохранить и гонорары получать. Но мне больше всего запомнилось, что, рассказывая о поездке в Рождествено, он называл Оредеж в мужском роде: «Я видел Оредеж, он такой же синий».

Этот пейзаж в Рождествено — самый вдохновляющий по шоссе из Петербурга во Псков и сейчас. Слева, на высоком берегу, стоит барский дом, а справа — запруда с кувшинками, которую образует здесь река.

По этой дороге, но только дальше, на 192-й километр, я ездил в 1980–1990 годах по несколько раз за лето: в Плюсском районе у моих родителей был летний дом. Несколько раз — это значит каждый раз на ловитву каких-то конкретных видов: бабочки ведь не вылетают из куколок когда ни попадя, а каждая в свое время. Летели вышеупомянутые «зорьки», месяцем позже приснопамятные мнемозины, а еще недели через три — тополиные ленточники, которых Набоков тоже в книге «Память, говори» поминает.

Впрочем, иногда его сведения оказываются на сегодняшний день уже устаревшими. Он с детским восторгом писал о редчайшей тогда в наших с ним местах поимке нимфалиды «дневной павлиний глаз» (*Vanessa io* L. в тогдашней номенклатуре), а сейчас от нее буквально спасу нет, как я говорю со старческим брюзжанием, вынимая из сачка и отбрасывая в полет очередной экземпляр, пойманный на роскошном цветке чертополоха в надежде, что это не «она». За почти полтора века между его детством и моей старостью некогда чисто сибирский вид, постепенно продвигаясь на нашу сторону Урала, занял всю европейскую часть, невольно подтверждая гумилевские тезисы о пассионарности и вильфандские о потеплении климата.

Как бы то ни было, однажды утром, когда я проходил несколько своих ежедневных километров по обочине шоссе туда и обратно, чтобы собрать сбитых за ночь ударной волной от дальнобойщиков ночных бабочек, я увидел сидящего на песке махаона (*Papilio machaon* L.). Это было в первый раз со мной в Псковской области и поэтому очень неожиданно. Я не знал, до какой степени махаон контужен и следует ли его предварительно накрыть для верности сачком или просто взять рукой. Я накрыл. И сразу вспомнил, как о подобной встрече в детстве с махаоном писал Набоков:

«На жимолости, нависшей поверх гнutoго прислона скамьи, что стояла против парадного крыльца, мой ангел-наставник (чьи крылья, хоть и лишенные флорентийского ободка, очень походят на крылья Гавриила у Фра Анджелико) указал мне редкого гостя, великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с киноварным глазком над каждой из парных черно-палевых шпор. Свешиваясь с наклоненного цветка и упиваясь им, оно слегка изгибалось словно припудренное тельце и все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желания, острее которого ничего с тех пор не испытывал. Проворный Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но по комического свойства причине (объясненной в другом месте) оказался тем летом в деревне, ухитрился поймать бабочку в мою фуражку, после чего ее вместе с фуражкой заперли в платяном шкапу, где, по благодушному домыслу *Mademoiselle*, пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина. Однако когда на следующее утро *Mademoiselle* отперла шкаф, чтобы взять что-то, мой махаон с мощным шорохом вылетел ей в лицо, затем устремился к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стал превращаться в золотую точку, и все продолжал лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где он потерял одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг его и поймал на иммигранте-одуванчике под эндемической осиной близ Боулдера».

В последней фразе здесь очередная энтомологическая шутка Набокова: махаон пролетел маршрутом, которым эмигрировал из революционной России один из его родственников.

Мой махаон тоже от меня улетел. Но я не жалею. Когда наш университет, а точнее, наш филологический факультет взял что-то наподобие шефства над квартирой Набо-

кова, где создавался музей, а затем частично и над домом в Рождествено, который, как и полагается любой уважающей себя дворянской усадьбе, не раз горел, у меня возникла идея собрать коллекцию бабочек, упоминавшихся в «Даре» и в «Память, говори», сопроводив каждый вид соответствующей цитатой из этих произведений. Я поделился идеей с кем-то на факультете — и, возможно, напрасно, потому что меня начали торопить с ее реализацией к какому-то знаменательному, по всей видимости, дню в жизни Рождествена.

В итоге, не подготовив тексты, бабочек я из разных своих коробок (а это, между прочим, всегда был ужасный дефицит!) собрал в одну коробку и отнес. Коробку отвезли в усадьбу. Один раз потом я ее в Рождествене видел, больше я там не был, но говорят — там коробка.

А значит, и махаон наш там. Или полетел дальше.

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Марианна РЕЙБО

НЕУВЯДАЮЩАЯ КЛАССИКА:

рождение нового героя в «золотую» эпоху западноевропейского реализма

«Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы. Идет человек, взвалив на себя это зеркало, а вы этого человека обвиняете в безнравственности! Его зеркало отражает грязь, а вы обвиняете зеркало! Обвиняйте уж скорее большую дорогу с ее лужами, а еще того лучше — дорожного смотрителя, который допускает, чтобы на дороге стояли лужи и скапливалась грязь». Эта известная цитата Стендаля — одного из первых классиков

Марианна Рейбо — писатель, публицист, кандидат философских наук. Родилась в 1987 году в Москве. Окончила факультет журналистики и аспирантуру философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор двух романов и повести. Лауреат международной премии «Литературный Олимп» с вручением одноименной медали (2021). Победитель Международного литературного конкурса «ЭтноПеро». Лауреат литературного конкурса «ДИАС» (2022). Дипломант литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» (2019, 2021), ММЛК «Веское слово» (2020). Двукратный лауреат журнала «Зинзивер» и газеты «Литературные известия». Член Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, Союза писателей XXI века, Международного союза писателей Иерусалима. Публиковалась в журналах «Времена» (США), «Гостиная», «Нева», «Знамя», «Причал», «Зинзивер», «Дети Ра», «Наука и религия», «Российский колокол», «Литературный Иерусалим», газетах «НГ-Exlibris», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературные известия», «Поэтоград» и др.

реализма в мировой литературе — как нельзя более точно характеризует знаковый переход от романтизма к реализму, начавшийся в 1820-е годы и завершившийся окончательной победой реализма уже во второй половине XIX века.

Два доминирующих литературных течения той «золотой» эпохи — романтизм и реализм, — долгое время шедшие рука об руку, находясь в постоянном взаимодействии, но при этом, по сути своей являясь полными противоположностями, были порождены одним и тем же мощным социальным импульсом — Великой французской революцией 1789 года.

Высокие идеалы революции, провозглашавшие: «Liberté, Égalité, Fraternité!» («Свобода, равенство, братство!»), не только во Франции, но и по всей Западной Европе расшатывают строгую социальную иерархию, где прежде главенствовала деспотия аристократии. Дает свои первые всходы идея о необходимости общей эмансипации человека (не только классовой, но в том числе и женской эмансипации — вспомним, например, английскую писательницу конца XVIII века Мэри Уолстонкрафт с ее знаковым эссе 1792 года «В защиту прав женщин»). Выступившая на первый план идея о силе человеческого духа, о борьбе с тиранией, о противостоянии личности обществу дает писателям-романтикам яркую вспышку вдохновения. Наполеон Бонапарт, внезапно превратившись из бедного капрала в выдающегося завоевателя, политика-реформатора и властителя полумира, становится непререкаемым идеалом и сотворенным кумиром для всего просвещенного Запада. В то же время довольно быстро наступает и этап разочарования: деспотия аристократии сменяется капиталистическим буржуазным обществом, где вместо высоких идеалов свободы, братства и равенства человеком управляет звонкая монета, а вчерашний идол Наполеон Бонапарт падает с небес на землю, бесславно оканчивая свои дни на острове Святой Елены.

И вот в то самое время, пока писатели-романтики в отчаянии пытаются спрятаться от неприглядного внешнего мира в мир идеализируемого прошлого или в мир собственных фантазий и снов, на сцену выходят первые мастера реализма, которые не боятся увидеть и показать своих современников такими, каковы они на самом деле. На мировом литературном небосклоне загорается целая плеяда «сверхновых»: Стендаль, Оноре Бальзак, Чарльз Диккенс, Уильям Теккерей, Проспер Мериме, Эмиль Золя...

В отличие от писателей-романтиков, которые работали на стыке двоемирия — мира реального и мира воображаемого, создавая образ героя исключительного, раздираемого страстями, имеющего практически неограниченные возможности для проявления своеволия в противовес социальным ограничениям (вспомним, например, «Паломничество Чайлд-Гарольда» Дж.-Г. Байрона), писатели-реалисты фокусируют внимание на простом обывателе. Мещанине, мелком буржуа, а в 1880-е годы — даже на простом рабочем, как, например, Эмиля Золя в своем лучшем романе «Жерминаль». Стараясь занимать позицию отстраненного повествователя, словно бы «сверху» озирающего и направляющего своих персонажей, писатели-реалисты, в отличие от писателей-романтиков, придают особое значение деталям, создавая объемные, подробно прописанные, характерные портреты своих персонажей. Человек как социальная единица, сформированная конкретным обществом и полностью зависимая от его законов, становится для писателей-реалистов ключевым объектом исследования. Интерес вызывают не только поступки персонажей, продиктованные реалиями, в которых они существуют, но и тщательная проработка особенностей их речи в диалогах, доскональное описание их внешности и одежды, которое как нельзя более точно определяет их место и роль в социальной иерархии. При этом на сцену реалистического романа выходит уже не один главный персонаж, а два и более. Да и персонажи второстепен-

ные, в литературе романтизма выполнявшие исключительно символическую, «подсобную» функцию для раскрытия главного героя в тех или иных обстоятельствах, у реалистов приобретают самостоятельное значение, становятся обособленными единицами, как, например, аптекарь Омэ в «Госпоже Бовари» Гюстава Флобера.

Переломным рубежом, открывающим эпоху реализма, становится легендарный роман «Красное и черное». Из-под пера «реалиста-первопроходца» Стендаля выходит качественно новый главный герой Жюльен Сорель, который становится в некотором смысле «переходным» персонажем, соединившим в себе пережитки романтизма с новыми реалистическими тенденциями западноевропейской литературы. В лучших романтических традициях, Жюльен Сорель необычайно красив: темные кудри, светлые глаза, тонкие черты лица и хрупкое изящество фигуры в сочетании с ловкостью и прекрасной физической формой делают его головокружительной мечтой любой мечтательной девушки. Характерная горбинка на носу, пылкость и целеустремленность характера — прозрачная отсылка к Наполеону Бонапарту, которому Жюльен Сорель поклоняется вослед всему западному обществу. Образ и необыкновенная судьба корсиканца, покорившего полмира, завораживают амбициозного юношу, охваченного манией собственной исключительности без видимых на то оснований. В его куртуазных отношениях с госпожой де Реналь, отчаянной попытке совершить преступление и трагической смерти на плахе также присутствует очевидное влияние романтической литературной традиции, влияние которой на Стендаля все еще очень сильно. Однако в образе Жюльена Сореля присутствует и принципиально новый контраст, переводящий вектор повествования в дискурс реализма. Жюльен Сорель циничен и расчетлив, его главная цель в жизни не подвиги и не страсти, а успешная карьера, которая позволила бы ему вырваться с лесопилки отца, выбиться в люди и разжиться деньгами. Перед ним два пути — «черный» или «красный»: черная сутана священника или красный мундир офицера. Жюльен владеет латынью, поступает в духовную семинарию, но при этом не верит в Бога — это циничный поступок, недостойный романтического героя. Точно так же он готов надеть и офицерский мундир — не во имя высоких идеалов, не путем самоотверженной службы в качестве простого солдата, а купив престижный военный чин за деньги, полученные в результате выгодной женитьбы на капризной маркизе Матильде де Ла-Моль, которую он расчетливо лишает невинности. Эта вторая любовная линия красноречиво контрастирует с чистым романтизмом истории с госпожой де Реналь: неловко сваливаясь по плечу из окна новой любовницы и чуть не ломая себе ноги при падении оземь, Жюльен Сорель символически низвергается Стендалем с пьедестала романтического героя, приобретая недостойные, комичные и нелепые черты. «Бедность и жадность побудили этого человека, способного на невероятное лицемерие, совратить слабую и несчастную женщину и таким путем создать себе некоторое положение и выбиться в люди... [Он] не признает никаких законов религии. Сказать по совести, я вынуждена думать, что одним из способов достигнуть успеха является для него обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием», — эти строки, написанные о Жюльене Сореле духовником госпожи де Реналь от ее имени и положившие конец его тщеславным мечтам, по сути своей справедливы.

Очевидно, любя своего главного героя и продолжая отдавать дань уходящей эпохе романтизма, Стендаль через мужественную смерть дарит Жюльену Сорелю возможность очиститься от тех недостойных поступков, на которые его подталкивают низменные идеалы нового буржуазного общества — жажда положения и наживы. Однако

последующие титаны реализма уже не поддаются подобным сантиментам, безжалостно приближая литературу к жизни.

Как и люди в жизни, новые литературные герои западноевропейского реализма становятся все более сложными и противоречивыми. Многих из них трудно охарактеризовать как однозначно положительных или отрицательных. Создаваемые с ориентиром на реальные собирательные образы и прототипы своего времени, они сочетают в себе добродетели и пороки, сильные стороны и непростительные слабости, нарушают правила морали и нравственности в силу внешних обстоятельств и законов общественного бытия. Именно такие двусмысленные персонажи ярче всего высвечиваются на фоне традиционно «чистых», положительных образов, как, например, порочная Ребекка Шарп на фоне непогрешимой Эмили Седли в «Ярмарке тщеславия» литературного преемника Стендаля Уильяма Теккерея.

Подобно Жюльену Сорелю, Бекки Шарп стремится вырваться из бедности и вынуждена прислуживать гувернанткой в богатом доме. Как и Сорель, она безуспешно стремится наладить свою жизнь благодаря успешной брачной партии. Как и в истории Жюльена Сореля с Матильдой де Ла-Моль, Ребекку не доводит до добра сомнительная связь с богатым лордом Стайном, через которого она пытается улучшить свое положение в обществе, а вместо этого опускается до статуса куртизанки. Иными словами, в обоих случаях героев вынуждают пренебречь добродетелью и пуститься в сомнительные авантюры низкое происхождение и недостаток «стартового капитала»; обоими движет тщеславие, заставляя прогибаться под требования высшего общества, в которое они стремятся попасть любой ценой. Принципиальное отличие Ребекки Шарп лишь в том, что она — женщина, а значит, ее честолюбие не может распространяться на недоступную женщинам того времени карьеру и ограничивается лишь сферой любовных интриг.

Еще более сложными и многогранными представляются герои главного французского мастера западноевропейского критического реализма XIX века Оноре Бальзака, которому суждено было стать демиургом целого литературного мира, названного «Человеческой комедией» — в противовес «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Зарабатывая на жизнь литературным творчеством, Оноре Бальзак целое десятилетие тратит свой недюжинный литературный талант на низкопробные романы, представляющие собой безвкусную пародию на романтизм, и только уже зрелым мастером он приходит к тому новому направлению в романе, которое обессмертит его имя в мировой истории. Знаковым переходным произведением становится роман «Шагреновая кожа», где в образе главного героя Рафаэля де Валентена Бальзак изображает бедного, неискушенного молодого человека, который в стремлении занять общественное положение и заполучить сердце богатой, строптивой «светской львицы» Феодоры погрязает в пороках современного Бальзаку светского общества и в конечном счете приходит к собственной гибели. В «Шагреновой коже» Бальзак выводит программную формулу, которую в том или ином виде будет развивать и раскрывать в более поздних произведениях, относящихся к «Человеческой комедии» и лишенных той условной мистической составляющей, которая присутствует в «Шагреновой коже»: «Желать сжигает нас, а мочь — разрушает...» Нерушимая сделка со стариком антикваром, у которого Рафаэль де Валентен приобретает волшебную шагреновую кожу, — это реплика на тему «Фауста» Гёте — по сути, та же сделка с дьяволом: в обмен на исполнение любых желаний шагреновая кожа забирает у Рафаэля его жизнь и, сжимаясь после каждой реализации вольно или невольно загаданного им, сокращает отведенное ему время. С ужасом осознав, в какое безвыходное положение он попал, Рафаэль тщетно пытается во имя спасения жизни победить в себе все желания —

не помогает даже попытка отказаться от истинной любви к Полине Годен, олицетворяющей чистую добродетель. Когда кусочек шагреневой кожи становится крошечным, герой заболевает чахоткой и умирает. Таким образом, в «Шагреневой коже» уже отчетливо просматривается идея постепенной утраты иллюзий — ключевой темы бальзаковского творчества.

Нельзя не обратить внимание, что уже в «Шагреневой коже» присутствует один из сквозных персонажей, которые будут переходить у Бальзака из романа в роман, образуя ту самую «Человеческую комедию» и формируя целый литературный мир, в котором все герои прямо или опосредованно связаны между собой, где у каждого из них своя прописанная роль и судьба. Так первым на скользком пути Рафаэля де Валентена встречается знаковый персонаж бальзаковских произведений, удачливый выскочка Эжен де Растиньяк. В Растиньяке Бальзак воплощает образ возвращенного светским обществом циника, бедного провинциала, который ради денег и положения поступает всеми прежде присущими ему идеалами и нравственными принципами и добивается успеха в высшем свете, пожертвовав ради этого своими иллюзиями и чистотой собственной души.

Эжен де Растиньяк — главный герой знаменитого романа Бальзака «Отец Горио», наравне с самим папашей Горио, судьба которого воплощает всю пустоту и безнравственность новой буржуазии. Мы видим отца Горио уже бедным и жалким, презираемым жильцами занимаемого им пансиона мамыши Воке и брошенного собственными дочерьми, которым он отдал все. Однако образ старого страдальца, в конце концов доведенного до смерти неблагодарностью и непомерными запросами своих жестоких дочерей, отнюдь не безупречен и особого сочувствия не вызывает. Папаша Горио — проницательный спекулянт, «вермишельщик», сумевший быстро сколотить состояние на продаже муки по завышенным ценам во время царившего после Великой французской революции голода. Иными словами, состояние отца Горио, которое он потерял из-за непомерных амбиций своих дочерей, было нажито на чужих слезах и смертях, как это обычно и бывает в условиях безжалостного капитализма. Так что печальный итог его стараний — бумеранг судьбы: в мире, где ценятся только деньги и «пыль в глаза», нет и не может быть места настоящей любви, чистым детско-родительским отношениям, благодарности, кровному родству.

Что же до Растиньяка, который вместе с дочерьми папашы Горио пользуется оскудевшим кошельком старика «вермишельщика», он точно так же, как и Жюльен Сорель, как и Ребекка Шарп, как отчасти и Рафаэль де Валентен — словом, как многие главные герои реалистического романа XIX века, — озабочен прежде всего охотой за тем самым «стартовым капиталом», без которого невозможно добиться больших денег в кругу богатой парижской буржуазии и составить выгодную брачную партию. Дабы пробить себе дорогу и покорить сердце невесты-миллионерши, необходимо уже на начальном этапе «охоты» вести образ жизни, соответствующий расточительным правилам игры высшего света, разоряясь на франтовские наряды и экипажи, предаваясь кутежу и азартным играм. И если более чистый душой Рафаэль де Валентен под тяжестью навалившихся на него общественных пороков обречен на гибель, то Эжен де Растиньяк чувствует себя в этой порочной среде как рыба в воде. Он заводит сомнительное знакомство с беглым каторжником Жаком Колленом, чудом избегая участия в преступлении ради выгодной женитьбы (вспоминаем, опять же, печальную участь Жюльена Сореля!), сожительствует с замужней Дельфиной де Нусинген, ведет распущенную жизнь светского денди. В конце романа Растиньяк дает клятву преуспеть любой ценой, обращаясь к Парижу: «А теперь — кто победит: я или ты!»

Новым словом в мировой литературе становится также одно из ключевых реалистических произведений XIX века, влияние которого сложно переоценить, — роман Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». И. С. Тургенев, имевший с писателем дружеские отношения, в свое время отзывался об этом романе как о лучшем произведении «во всем литературном мире». Книга была настолько смелой для своего времени, что после ее публикации в журнале автор вместе с издателями вынужден был пройти судебный процесс по обвинению в попрании общественной морали — к счастью, Флобера оправдали.

Главный «злодей» романа «Госпожа Бовари» — скука провинциальной мещанской жизни, из которой не находится иного выхода, кроме как предаться пороку и в конце концов загубить собственную жизнь. Центральный персонаж книги Эмма Бовари, безусловно, относится к тому самому сложному типу героев, которых никак не отнесешь к положительным, но в то же время нельзя охарактеризовать и однозначно отрицательно. Натура страстная и романтическая, она — жертва социальной пошлости. Флобер ставил перед собой труднейшую задачу: «Передавать пошлость точно и в то же время просто». Хотя сам Флобер отрицал наличие реального прототипа у Эммы Бовари, существует версия, что похожая история со столь же трагическим финалом случилась в кругу знакомых ему лиц, отчего легендарный роман приобрел особую достоверность, местами доходящую до натуралистичности.

Эмма Бовари мечтает о великой и чистой любви, о которой она читала в романах, и мужчины действительно любят ее, но не могут предложить ей ничего, кроме той самой социальной пошлости. Ее муж Шарль Бовари, провинциальный лекарь, обожает свою красавицу жену, но в силу вялого темперамента и скромных бытовых условий не соответствует требованиям ее страстного сердца, рвущегося из трясины обывательского существования. Скучная, ограниченная роль жены и матери не удовлетворяет ее настолько, что она проявляет равнодушие и жестокость даже по отношению к маленькой дочери. Реализацию своих потребностей в любви и страсти она ищет в объятиях двух любовников — искушенного соблазнителя Родольфа Буланже и более чистосердечного, но убогого душой Леона Дюпюи. Разница темпераментов и страстной полноты души видна даже на уровне построения диалогов — длинная, пространная, витиеватая речь Эммы наглядно контрастирует со сдержанными, немногословными ответами Родольфа. Готовая отдать своим возлюбленным все без остатка, она ждет от них столь же сильных порывов души и той же смелости, готовности к самопожертвованию, но не получает ничего, кроме разочарования, нищеты и позора. Все более погрязая из-за них в долгах и тайно разорив своего супруга, она оставляет свою дочь не только без матери, но и без гроша в кармане. Плачевный итог страстных порывов души мадам Бовари — пошлое самоубийство и разбитая жизнь мужа и ребенка. Однако, судя по всему, сам Флобер симпатизировал и сочувствовал мадам Бовари, наделив ее собственными сокровенными чертами и свойствами натуры. В истории литературы сохранилась его знаменитая фраза: «Эмма — это я!»

Подводя итог, можно сказать, что реалистический роман словно спускает литературу с небес на землю, переводя фокус внимания читателя с романтических грез, символов, видений и гиперболизированных приключений на окружающую повседневную действительность — во многом банальную, но в то же время интересную своей подлинностью. На первый план выходит множество прежде не имевших значения подробностей: скрупулезное портретное описание героев — их внешности, одежды, сложения, манеры говорить и держать себя; детализация современной авторам городской или провинциальной жизни, описание привычек и особенностей кругов разложив-

шейся аристократии, пресыщенных богатых буржуа или расчетливых, рвущихся к достатку малообеспеченных мещан; натуралистические описания происходящих событий — например, шокирующее детальное описание последствий отравления мышьяком Эммы Бовари.

Особенность западноевропейского реалистического романа в том, что автор не осуждает сам принцип буржуазного построения общества, а, как сторонний наблюдатель, только более или менее беспристрастно старается высветить те особенности и изъяны окружающей действительности, которые ежедневно видит вокруг себя. Оттого персонажи реалистического романа становятся более живыми и, соответственно, более интересными. У них появляются сложные, далеко не всегда однозначно трактуемые характеры, в которых есть свои сильные и слабые стороны, свои достоинства и недостатки. Конечно, это не значит, что со страниц реалистического романа исчезают преувеличенно «чистые» образы добродетели и порока, однако все большее приближение повествования к реальным обстоятельствам общественной жизни волей-неволей привносят все больше неоднозначности в сюжеты, в трактовки некоторых ключевых образов, вроде Жюльена Сореля, Ребекки Шарп, Эжена де Растиньяка или Эммы Бовари. Особенно это заметно теперь, уже с позиций современного человека, чье представление о дозволенном и недопустимом, о хорошем и плохом значительно расширились и видоизменились. Так, например, трагедия мадам Бовари, как и нашей Анны Карениной, едва ли произошла бы в условиях, когда для несчастливой в браке женщины возможен цивилизованный развод.

В то же время очевидно, что большинство проблем, поднимаемых зарубежными классиками позапрошлого столетия, все так же актуальны и сегодня: губительная погоня за социальным статусом и «длинным рублем», бездумный карьеризм и беспринципный конформизм, стремление казаться, а не быть, пренебрежительное отношение к чувствам других, попрание общечеловеческих ценностей, разрушение дружеских и родственных связей, и т. д., и т. п. Оттого произведения классиков реалистической западноевропейской литературы XIX столетия и сегодня читаются современно, свежо и увлекательно, а все те же завуалированные классические сюжеты неустанно перерабатываются уже в современных книгах, фильмах и сериалах. Ведь по мере развития общественной жизни, в неувядающей мировой классике открывается все больше новых смыслов, которые, быть может, и не приходили в голову даже самим создателям. Не зря же говорят, что после публикации произведение уже не принадлежит автору, а начинает жить собственной, независимой жизнью.

РЕЦЕНЗИИ

ВРЕМЯ НЕ АНГЕЛОВ — БЕСОВ, ВОЙНЫ И ПОПКОРНА...

Максим Замшев. Вольнодумцы: Роман. СПб.: ООО «Издательство К. Тублина», 2023. — 496 с.

«Я читаю дютюктивный роман, оставьте меня в покое». Этой фразой герой популярного фильма, видимо, хотел подчеркнуть ироническое отношение не только к книге, но и к самому жанру. Ну, в данном случае, перефразируя героя другого фильма,

ни за державу, ни за жанр не обидно. Ибо он процветает во всех своих проявлениях, от высокого до низкого и от простого до сложного. Это подтверждает и новый серьезный роман Максима Замшева «Вольнодумцы», в котором есть элементы настоящего детектива с загадочным убийством, запутанным расследованием, высокопоставленными преступниками и традиционно противоречивой атмосферой в обществе. Присутствуют в книге и озабоченные (но не обремененные особыми заботами) вольнолюбивые молодые люди, протестующие против всего плохого и выступающие за все хорошее. Это примерно о них сказал когда-то Салтыков-Щедрин: «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь». Кстати, книга его называлась «О праздношатающихся».

И все же роман Максима Замшева нельзя назвать классическим детективом, ибо в центре внимания не только и не столько расследование преступления. Главное в нем — повествование о том, как милые и прекраснодушные с виду молодые люди (и не только молодые) постепенно проникаются уверенностью в том, что избранная цель оправдывает средства. Что позерство и пустословие, воплощенные в образе пренебрежительно-брезгливой укоризны окружающей среде, дают право на «раскачку общества», на его обман и манипуляцию, на превращение этого самого общества в легко внушаемую толпу, ведомую по пути протеста в страну несбывшихся желаний. Ох, не зря полицейский генерал в начале расследования убийства юной участницы кружка современных революционеров настойчиво советовал подчиненным внимательно почитать Достоевского. «Бесы» не меняются. Они вне времени. А бесовщина насмешливо выглядывает... нет, не из щелей, из самых престижных окон и кабинетов. Она ходит по проспектам и центральным площадям, сидит в модных кафе, на лекциях и семинарских занятиях... И словно не было истории, дальней и ближней, не было трагедий и кровавых переворотов. И словно не льется кровь в соседнем доме, в котором все начиналось так же, с безобидных на первый взгляд лозунгов и призывов к светлому будущему, теряющемуся в смертельно безысходном мраке.

Книга Замшева удивительно актуальна и провидчески честна. Но для читателя на первое место, вероятно, выходит то, что она интересна и увлекательна. И при этом написана непривычно образным, поэтичным языком. Непривычно — для серьезного романа, да еще с детективным подтекстом. Но это ни в коей мере то, что принято называть «прозой поэта». В ней нет манерности и чрезмерности. Она легка, хоть и обильно наполнена приметами современности, пронзительными описаниями улиц и площадей столичных мегаполисов и провинциальных городов.

Вдали, сквозь толстое стекло, поблескивали огни фонарей. Что они освещали? Многокилометровые автобаны, где автомобили подчеркивают всеобщее отчуждение; крошечные поселки с сиротскими избами, в которых ставни годами заколочены; бензозаправки с невкусным кофе и черствой выпечкой, стаи собак, рыскающих в поисках пищи, или что-нибудь еще, диковинное и невиданное, чего себе не представишь...

А ведь как похоже на картину, написанную почти двести лет назад великим Пушкиным. Меняются детали пейзажа, но атмосферность изображения близка даже ритмически. «Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой, За ними чернозем, равнины скат отлогой, Над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые? где темные леса?»

Темный лес — в душах и мыслях героев романа, готовых с легкостью разрушать все вокруг, что для истории вовсе не ново. И как прежде, это в основном обеспеченные молодые люди, для которых пиар и корысть, азартный дух развлечений и авантюра,

смешиваясь с очарованием зла, рождают дурманящее чувство свободы мыслей и поступков. А юношеская беспечность мешает трезво оценить ответы на вопросы «Зачем?» и «Почему?». При этом вполне логичный вопрос «Кому это выгодно?» вообще приходит в голову с непоправимо большим опозданием.

И потому на своих собраниях они с легкостью смешивают правду и вымыслы, реальность и фантазии, в которых передергивание фактов — это нормальный процесс «работы с массами».

...Если мы начнем с вранья, грош нам цена, — вступил в разговор один из парней.

— Это не вранье, — обиженно ответила Соня. — Это способ подачи информации.

Дальше она популярно объяснила, как надо мракобесную деятельность министерства культуры увязывать с коррупционными скандалами. По ее мнению, намеки на воровство больше всего раздражают народ. Из этого весь Майдан слепили. Из воровства семейки Януковича.

— Чего в них больше, — спрашивал себя Артем, — юношеского максимализма или заблуждений...

Ненависть не учит любить, тем более целовать. Ненависть учится бить и, может быть, убивать. Еще она учится лгать, ей правда — как в горле кость. А злость — ее злая мать. Я ненавижу злость.

Ненависть пропитывает общество, разрушая представления о добре и зле, правде и вымысле, разделяя на своих и чужих, рождая нетерпимость к иному мнению, насмешливость и злорадство. Но авторское перо описывает события романа спокойно и даже буднично. И это добавляет ощущение правды. Автор внимательно вглядывается в лица героев и персонажей книги, пытается понять мотивы поступков, разобраться в чувствах и мыслях, найти истоки уверенности в собственной непогрешимости, которая заменяет правоту. Поначалу кажется, что в книге нет тех, кого принято называть положительными героями. Но и абсолютных злодеев тоже практически нет. Возможно, за исключением одного из участников кружка «вольнодумцев», прошедшего суровую в своей несправедливости армейскую школу, озлобившегося, не сумевшего реализовать свои мечты, затаившего желание мстить. Кому? Всем. Но при этом ставшего любовником... Кого? Не будем раскрывать тайну повествования. Оно того стоит. Впрочем, и положительные (с натяжкой) герои тоже присутствуют. На мой взгляд, это и сотрудники полиции, среди которых не только, по обыкновению, ироничные и умелые опера (есть, правда, и циничные мерзавцы, готовые из корыстных побуждений на любую подлость — все, как в жизни), но и пенсионер-генерал с сыном-полковником. Это он попал в центр водоворота событий, связанных с убийством, и сумел, проявив достоинство и мужество, с честью пройти испытания. Вызывает симпатию один из главных героев — директор библиотеки, а заодно и любовник (нет, в этом случае более подходит слово «возлюбленный») одной из главных активисток кружка, мечтающей о карьере знаменитой журналистки. Он подкупает искренностью, терпимостью, добродушием. А вот объект его воздыханий, манипулирующая всеми вокруг, в том числе и своим любовником (в данном случае слово точное), ближе все-таки к характеристике со знаком «минус».

— Скажи, а почему ты так ненавидишь режим? У тебя же все хорошо. Работа. Зарплата.

— За других обидно. — Короткова произнесла это абсолютно серьезно. — А ты?

— А мне за себя. Сначала в армию загнали, где такое дерьмо видел, что лучше не вспоминать, теперь вот работаю в ЧОПе. А хотел великим химиком стать. Да вот не получилось. Жизнь — не книга. В прошлое не вернешься. Да и незачем...

- О чем бы ты писал, если бы имел телеграм-канал?
- О том, что власть сама провоцирует волнения, постоянно создавая прецеденты, что лимит на революции Россия исчерпала, и задача общества наущать власть, пытаться изменить ее, но не провоцировать кровь...
- Да как же это возможно? Ничего слушать не будут. Им бабки важнее всего остального...
- Но надо пробовать. Лучше, думаю, людей переубеждать, чем бросать под пули. Кровь порождает кровь...

Кровожадность — как модный тренд, острый взгляд — как топор под полой, но бесчувственный, как документ, что подписан — и с плеч долой. Креативно-злорадная суть у кричащих и злых площадей... Если можешь — немодным будь, погружаясь в трясину идей.

Зачем все это, ради чего? Автор вместе с героями пытается понять смысл происходящего, обнаружить пружину протестных настроений. Вольнодумцами в истории называли и декабристов, и членов организаций «Земля и воля», «Народная воля». Да и революционеры ленинского призыва тоже подходили под это определение. И все же они были другие. Им в своем XIX веке хотелось больше справедливости для всех. И пусть действия их зачастую были несправедливыми, цели столь же часто свидетельствовали о благородстве помыслов. Впрочем, и «бесами» классик назвал примерно таких же «вольнодумцев» не зря.

Самолюбие, честолюбие, снобизм, замешанный на пренебрежении моралью и вызове общественным нравам, уверенность в собственной правоте, неприятие иного мнения — это было свойственно возмутителям спокойствия всегда. И так же всегда стоял перед ними выбор средств и методов достижения поставленной цели. И кстати, почти всегда их деятельность не являлась откровением для тех, кто по долгу службы знает все, всегда, про всех... А в нынешнее время социальных сетей, смартфонов и вай-фая — наверняка. И в романе деятельность кружка также просвечивается, как рентгеном, донесениями внедренного агента. И только случайная гибель одной из активисток нарушает размеренный и контролируемый ход с виду независимых и, казалось бы, импровизационных действий. Все под контролем. Но в жизни всегда есть место для экспромта.

Зачем все это происходит? Куда несется мрак и свет, клубок несыгранных мелодий и неотпаянных побед?... Зачем, куда — и нет ответа. В ответе — каждый за себя. Хоть много звезд, но мало света... И свет ласкает, не любя.

Сюжет романа, хоть и сконцентрирован на раскрытии преступления (и не одного), по-киношному многовекторен. События происходят не только в нынешнее время, но и на излете 80-х годов. И хоть говорят, что жизнь интереснее, чем кино, эта история может стать захватывающим кинофильмом. И очаровательные пейзажные зарисовки сценарию совсем не помеха. В них — дыхание пространства в Москве и Петербурге, а там все неизменно, хоть и меняется каждое мгновение.

...Справа одиноко торчала стела Поклонной горы с похожей на циркачку богиней победы. Темные комья небосвода угрожали разбиться о холодную землю и заполнить все мутным серым маревом. Елки удерживали снег на лапах с усердием солдата роты почетного караула... Впереди несла изящную колесницу Триумфальная арка... Дворники кое-где скребли снег с привычным отвращением к этому занятию. Окна изысканных домов с сожалением рассматривали то, что творилось под ними...

Ноябрь в Петербурге подает на серебряном мокром блюде ключи от подлинного понимания экзистенции Достоевского и Блока. Ночь, улица, фонарь, аптека

в ХХI веке трансформировались в нечто беспредметное, вязкое, превращающее город в большой муляж, в лишившуюся стен крепость, за которой колючий безнадежный пустой север...

Взгляд упирался в Спас-на-Крови, первого собеседника неба, а слева Казанский крыльями колоннад тщетно пытался обнять нечто несуществующее и замирал от отчаяния. Дыхание Невского ближе к ночи походило на вдохи легочного больного, фасады шелестели холодной влагой...

День темнеет и падает в ночь, улыбаясь, светлеет мрак... Тот, кто может, не хочет помочь, тот, кто хочет, не знает как.

Как помочь тем, кому вред мнится во всем, и в помощи тоже? Как научиться различать плюсы и минусы, не забывая, что все относительно, и так будет не всегда? Как не пропасть в пропасти, в которую может превратиться ближайшее будущее? Где она, мера правды и вымысла, осторожности и безрассудства, истины и фальши? И наконец, стоит ли продавать совесть, или все же жизнь дороже любого кошелька? Обо всем этом идет речь на страницах романа Максима Замшева. Ответы на вопросы каждый ищет сам для себя.

Слабость, дойдя до своего предела, легко превращается в силу, в сгустки желаний. В безразличии иногда больше свободы, чем кажется... Петербург покоился в желтом свете фонарей и подсветок на фасадах. Шпиль Петропавловки торчал намеком на то, что не все устремленное вверх есть свобода.

Ангел поет про свободу, где счастья пленительный свет. Пушкин читает, и память — опять рукотворна. Сердцу, живущему будущим, воли в покое все нет. Время не ангелов — бесов, войны и попкорна...

Владимир СПЕКТОР

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Владимир Червинский. Жаркое лето 53-го. СПб.: Петрополис, 2023. — 158 с.

Спустя много лет Владимир Червинский воскрешает свои бесхитростные впечатления, впечатления десятилетнего мальчика, и с высоты пережитого размышляет о том, что этому мальчику тогда было непонятно. Именно 1953 год стал для него значащей вехой: «...он как бы подвел черту под моим беззаботным и бестолковым детством и приоткрыл мне глаза на события и окружающую действительность, которые начали захлестывать мое сознание и ставить вопросы, на которые я потом отвечал всю жизнь. <...> По-настоящему 53-й год начался для меня со стука в дверь нашей комнаты в коммунальной квартире в доме № 19 по Баскову переулку. Было раннее утро 6-го марта». Это гораздо позже он понял, почему, услышав по радио известие о смерти Сталина, не плакали и не рыдали жители пятикомнатной коммунальной квартиры, в которой он жил с родителями. И даст «портрет» ленинградской коммуналки, населенной представителями и интеллигенции, и рабочего класса, и на примере соседей покажет, как люди того времени воспринимали Сталина — от иррациональной веры

в него до полного неприятия. А в марте 1953 года его больше всего интересовало — как и следовало ожидать, — надо ли ему идти в школу. Оказалось, надо. И он удостоился чести ровно пять минут простоять на лестничной площадке у огромного портрета Сталина, изображенного в полный рост. А еще ум мальчика занимала предстоящая поездка на Дальний Восток, куда направляли на новое место службы его отца, военного инженера. Это потом В. Червинский поймет, что перевод был связан с развернутой в стране в конце 1952 года антисемитской кампанией (еще один предмет размышлений автора в зрелые годы). И командование части приняло решение перевести своего подчиненного, еврея по национальности, на Дальний Восток, «подалее от этого „гадюшника“, как выразился командир части, с которым папа служил еще во время войны». И если отъезд на край земли в военный поселок посреди уссурийской тайги, куда-то под Владивосток, воспринимался родителями как крушение всех их жизненных планов, ломал только-только налаженный после войны быт и, главное, лишал ленинградской прописки, то для десятилетнего мальчика поездка сулила интереснейшее приключение. Из Ленинграда во Владивосток поезд не ходил, ехали через Москву, где остановились у брата отца. Уже там ждали первые яркие впечатления: Мавзолей с телами Ленина и Сталина, музей подарков Сталину, где поразил макет Кремля из шоколада размером с большой шкаф. А потом — путешествие через всю страну, во время которого мальчик все девять дней простоял у окна с перерывами на еду и сон. И каждый день открывал для себя бескрайнюю страну, в которой, сменяясь, не кончались леса и поля, рассекаемые множеством рек, а Обь и Енисей шириной превосходили «даже» Неву. Из окна он видел чудеса: озеро Байкал, высеченный в скале трехметровый бюст Сталина (в 1956 году из-за угрозы обрушения скала вместе с бюстом вождя была взорвана, стерта из памяти потомков). Он наблюдал за мерами защиты от грабителей, проникающих в вагоны с крыши поезда через окна и двери; за сбором продуктов для женщин с детьми, бегущих по насыпи за медленно ползущим поездом и просивших хлеба. Проводники собирали в мешки продукты, что давали пассажиры, и передавали еду через дверь. И это малоизвестные страницы нашей истории, каких в книге немало. Свои собственные впечатления от поездки автор свертывает с лирической комедией Ю. Райзмана «Поезд идет на Восток» (1947). Проезжая станцию Биробиджан, мальчик впервые увидел начертанное на здании вокзала слово «еврейская», поразившее его: это слово он не встречал ранее ни в книжках, ни в газетах. «Слово „еврей“ было, а евреев как бы и не было: о них не писали, не снимали кино и не говорили по радио». В. Червинский знакомит с историей необычного административного «образования» — Еврейской автономной области, иллюстрируя свой мини-очерк пересказом содержания фильма В. Корша-Саблина «Искатели счастья», посвященного евреям-переселенцам (1936). Новый этап в жизни ребенка начался в поселке Кневичи. Ярko, красочно, зримо воссоздает автор давно ушедшие подробности быта в затерянном в тайге поселке, где взрослые решали проблемы с едой (ибо в поселковом магазине всегда была водка, хлеб почти всегда, макароны редко, а остальное — никогда) и с дефицитом питьевой воды. А дети вовсю пользовались вольницей: ходили в тайгу, купались, рыбачили, играли в собственноручно сооруженной хижине, посещали «кладбище самолетов» на территории завода, где покоились побывавшие в боях самолеты. Непосредственные впечатления, воспоминания органично перетекают в исторические очерки. Это и история освоения Россией Амурской и Приморской областей, объявленных в 1861 году правительством свободными для заселения. До 77 % переселенцев были выходцами из Черниговской, Полтавской, Киевской и других юго-западных районов России. Насельниками вновь образованной деревни Кне-

вичи стали семьи из Черниговской губернии. Это и история того, когда, как и зачем в этой глухомани построили военный авиаремонтный завод и почему на кладбище самолетов, помимо выпотрошенных советских, находились английские и американские. Это и размышления уже взрослого, много передумавшего человека по поводу услышанной в детстве песенки «Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия...» о личности неоднозначной, сложной. Предположение, что «удержись Берия у власти, то с докладом о культе Сталина выступал бы он, а не Хрущев, и скорее всего, он бы не ограничился докладом, а провел бы настоящее судебное расследование преступлений, совершенных Сталиным и его окружением. Вероятно, мы бы продолжили строить социализм, но социализм с „человеческим лицом“ по типу скандинавских стран, и не понадобилось бы проводить перестройку, рушить экономику, проливать кровь в Афганистане и Чечне». В Уссурийском крае В. Червинский пробыл пять месяцев, а потом родители приняли решение, что мать и сын вернутся в Ленинград, где больше шансов получить хорошее образование, и только так можно сохранить ленинградскую прописку. Но побывав однажды на восточных просторах страны, В. Червинский стремился туда снова и снова. Впечатления о юношеских походах дополняют эту книгу.

Сергей Горюнков. Тайна русской неприкаянности. О стратегических задачах культурной политики России. СПб.: Политех-Пресс, 2023. — 248 с.

Выражение «тайна русской неприкаянности» принадлежит философу А. Панарину. Русскую неприкаянность он усматривал в том, что какие бы идущие к нам с Запада «великие учения», коммунистические или либерально-демократические, Россия ни принимала как свои, сама она тем не менее всегда остается Западу чужой. Разгадку тайны он связывал с малоизученной метаисторической культурой и пересмотром научного взгляда на смысл истории. Вот два таких взаимодополняющих вопроса — специфика метаистории и новый взгляд на смысл истории — и поднимает Сергей Горюнков в своей книге. Он покусается на святое — на научно-материалистическое учение. Отрицает его важнейший постулат: «Материя первична, сознание вторично». Считает, что сама идея о том, что главные вопросы человеческого бытия решаются исключительно экономическими средствами, привела к тому, что человеку стало безразлично все, что не имеет товарного статуса и меновой стоимости, идет ли речь о Боге, о совести, о национальном интересе или о государственном суверенитете. Человек и общество «получили право» на бессовестность и безнравственность. Однако наряду с почитанием свободы как вседозволенности и с культом потребительских интересов, веками существовала и другая мировоззренческая позиция, согласно которой свободу необходимо дополнять обязанностями и ответственностью, практические интересы — идеалом совести, а чисто формальное право — справедливостью. Эти две противоположные мировоззренческие позиции и определяют глобальный межкультурный диалог о мироустройстве. Чтобы понять, почему для одних этические требования, налагающие ограничения на права и свободы личности, воспринимаются как само собой разумеющееся, а для других — это досадные иллюзии, мешающие быть «свободными», С. Горюнков обращается к началу начал. Он погружается в глубокую древность, в доисторические времена, в метаисторию. Источником знаний об этом периоде жизни человечества являются мифы, народный эпос, фольклор, которые материалистическое учение толкует предельно упрощенно: фантазии первобытных людей, преклоняющихся перед силами природы. Автор выходит далеко

за пределы историко-материалистической картины мира. Он исследует разные мифологические модели мира, обнаруживая в них общие абсолютно для всех народов Земли концепции. Прослеживает, как зачиналась и шла духовная часть исторического процесса. Показывает, как рождались племена и народы, у которых понятия «добра» и «зла» были различны, но они включались в борьбу за право соотносить себя с положительным началом (борьбу, продолжающуюся и сегодня). В конечном итоге образ мышления людей, характер их поведения, направленность интересов и выбор целей, полагает автор, целиком зависят от понимания мироустройства и своего места в нем. Именно там, в глубокой древности скрыт ответ на вопрос, почему нет взаимопонимания между людьми с совестью и людьми без нее. Размышляя о фундаментальных принципах смысловой организации культуры, о мифах как древнейшей форме этой организации («именно мифы и есть то самое „наше все“, та самая „сокровищница смыслов“, игнорирование которой равнозначно игнорированию самой человеческой культуры»), о метаязыковом содержании культуры и ее этическом аспекте, Горюнков постоянно возвращается к «тайне русской неприкаянности». Временной размах постижения этой тайны — от древнейших времен до дня сегодняшнего. Автор проводит параллели между 996 годом и 1990-ми годами: в обоих случаях «смене веры» сопутствовала компрометация недавних верований. Первый в нашей истории «урок ненависти» к своему прошлому был зафиксирован в «Слове о законе и благодати» (киевский митрополит Илларион, XI век): «Прежде мы были как звери и скоты...» Под корень рубилась вся предшествовавшая, давшая нам лицо и язык культурно-историческая традиция, а вместе с ней мифология и языческая эзотерика, памятники светской письменности и литературы (осталось лишь «Слово о полку Игореве»). Вся «низовая» народная культура — вплоть до регулярных массовых сожжений народных инструментов и физических расправ со скоморохами. Потом последовали другие подобные уроки: никоновские и петровские реформы, восстание декабристов, революции и Гражданская война, хрущевские разоблачения, отказ от советской истории. Быть может, «русская неприкаянность» — это реакция слишком «впечатлительной нации» на попытки «реформаторов» заставить ее жить по чужим ей правилам? С. Горюнков считает, что сегодня Россия безоружна, ибо разобщена. Мировоззренческая ситуация в ней выстраивается по басне Крылова «Лебедь, Рак и Щука»: научно-материалистический лебедь продолжает рваться в «научное» небо, православно-церковный рак — хранить «букву» священных текстов, а «либеральная щука» охотится в мутной воде. Автор очень современен, когда пишет о нынешних ликах фашизма, о текущем противостоянии на Украине и роли в нем «фининтерновской крыши», о дебилизаторской роли СМИ и об играх с сознанием людей. Он дает свою интерпретацию того, что есть Россия в современном глобальном мире и почему столь непримиримы позиции России и Запада. «На самом деле в основе наряженной ситуации лежит намного более фундаментальный кризис целей и смыслов человеческого существования. И кризис этот лежит в понимании предпосылочных основ культуры». Он считает, что в историко-материалистической парадигме главная, духовная составляющая исторического процесса оказалась второстепенной («надстроечной»). В XXI веке духовная проблематика станет главной. «Настоящую надежду на сколько-нибудь сносное будущее способно сегодня внушить не некое „идеальное социально-общественное устройство“, <...> не соблюдение гражданских прав и свобод и не повышение материального благосостояния, а лишь такое качество духовного повзросления, при котором станет окончательно ясно: *абсолютно за все помысленное, сказанное и содеянное неизбежно последует расплата*. Причем в ее самых неожиданных и даже крайне неприятных

для современного образа мышления формах, включая форму *посмертного воздаяния за деяния*. Ведь именно страха перед неизбежностью расплаты за все совершаемое как раз катастрофически и не хватает сегодня». Возможно, Россия в такой новой исторической парадигме обретет свое подлинное место и перестанет чувствовать себя неприкаянной.

Александр Исаев. Императорский поезд. Хроника трех дней. 28 февраля – 2 марта 1917 года. СПб.: Алетейя, 2023. – 248 с.: ил.

Александр Исаев расследует обстоятельства движения императорского поезда в критически важные для существования Российской империи дни — с 28 февраля по 2 марта 1917 года. Удивительно, на эту тему написано значительное количество исследований, но многое из того, что происходило в период, до сих пор достоверно не установлено. Почему для императорского поезда, следующего в Петроград, был выбран маршрут Могилев—Бологое—Малая Вишера—Тосно—Гатчина—Александровская—Царский Павильон? Почему императорский поезд — «литер „А“» — и сопровождавший его и свитский состав «литер „Б“» встали на станции Малая Вишера, а затем проследовали по измененному маршруту: вернулись в Бологое, а оттуда направились на станцию Дно и далее во Псков? Ведь именно в Тосно государя ждало спасение! Ибо туда прибыл с верными царю подразделениями командир отдельного жандармского корпуса граф Н. Татищев, и императорский поезд по прибытии в Тосно немедленно должен был получить готовый к отъезду паровоз и тотчас с охраной проследовать в Гатчину и Царское Село. А что в течение столь значимых в истории России дней происходило с так называемым «эшелоном генерала Иванова»? Как сложилась судьба генерала и возглавляемого им Георгиевского батальона, отправленных в Царское Село для обеспечения безопасности императорской фамилии? А. Исаев, выстраивая почасово события тех дней, документально фиксируя, кто и какие указания отдавал, стремится понять, кто и в какой мере был непосредственно причастен к изменению маршрутов поездов «А» и «Б» и «эшелона генерала Иванова». Традиционно считается, что остановку царского поезда на станции Дно, повлекшую отречение императора Николая II, обеспечил Юрий Владимирович Ломоносов (1876—1952) — русский инженер-железнодорожник, изобретатель одних из первых в мире тепловозов. Во время Февральской революции короткий период он занимал важную должность в захваченном представителями Государственной думы управленческом аппарате железными российскими дорогами. Считается, что это Ломоносов помешал и переброске царских войск к Петрограду. Основным источником информации, подтверждающим эту версию, до сих пор являлись мемуары самого Ломоносова. Чтобы разобраться в событиях далеких лет, А. Исаев провел огромную работу. Свое расследование он предварил обширными очерками о том, как функционировали железные дороги России в начале XX века, организация движения по которым мало чем отличалась от современной. Разве что одна особенность того времени: скорость движения поездов ограничивалась тем, что существовал только один тип локомотива — паровоз, которому через 50—70 километров требовалось пополнение водой, через 120—140 километров — углем. То есть любой поезд — даже с «первыми лицами» — обязательно имел остановки через каждые 50–70 километров. А. Исаев рассказывает, какие проблемы на железных дорогах возникали в ходе Первой мировой войны, какая ситуация сложилась в начале 1917 года, когда на первое место вышла борьба с морозами и со снежной стихией — с метелями и заносами, которые затрудняли не только движение поездов, но

и своевременный подвоз угля и заранее заготовленных дров. Усугубляли тяжелое положение дел и бессчетно поступающие железнодорожникам противоречащие друг другу циркуляры, изношенность подвижного состава, сложная система взяточничества при заключении контрактов с поставщиками угля. Автор приводит полностью «Положение об императорских поездах», из которого следует, что меры, предусмотренные для безопасности «первых лиц», были вполне достаточны, главное, чтобы ответственные за их выполнение действовали согласно предписаниям. И только дав подробную картину функционирования российских дорог, А. Исаев переходит к скрупулезному анализу событий 28 февраля — 2 марта 1917 года и участию в них как работников железнодорожного транспорта, так и временщиков, назначенных Государственной думой, и прибывших к этим временщикам случайных лиц. Эти калифы на час сыграли важную роль в Февральской революции. Среди них инженер, член Государственной думы А. Бубликов. В качестве комиссара Временного комитета Государственной думы утром 28 февраля 1917 года он был направлен в Министерство путей сообщения с поддержкой в виде отряда солдат. Он отстранил прежнее руководство министерства и вызвал к себе Ломоносова, назначив его помощником. Это он приказал остановить царский поезд, вышедший из Ставки в Царское Село, и использовал железнодорожный телеграф для оповещения начальников всех железнодорожных станций страны о том, что власть перешла к Государственной думе. (2 марта 1917 года Бубликов отказался от должности товарища министра во Временном правительстве, так как хотел сам быть министром путей сообщения.) Комендантом Николаевского вокзала в Петрограде был назначен поручик К. Греков. Это он открыл «охоту» за императорским поездом, в результате которой Николай II и сопровождавшие его лица пришли к заключению, что в Петрограде начался не локальный бунт, а полномасштабная революция. К железным дорогам Греков никакого отношения не имел. Помощником военного коменданта важнейшей российской станции стал курсант военноморского училища Г. Паденский. А. Исаев показывает, какой сумбур сопровождал движение императорского поезда. Новые назначенцы отдавали приказания, должностные остановить императорский поезд, профессиональные железнодорожники их не выполняли, сознавая, что эти распоряжения могут привести к тяжелым авариям. И в первую очередь заботились о безопасности дорог, чем приводили Бубликова в бешенство. В итоге А. Исаев приходит к выводу, что главный герой его книги Ю. Ломоносов действовал прежде всего как высококвалифицированный инженер-путеец и любителем авантюры не являлся. И вопреки установившемуся мнению к изменению маршрута императорского поезда причастен не был. Изменение маршрута — стечение обстоятельств и в значительной степени не вовремя и неверно переданная информация.

Матье Дюма. Воспоминания. Избранные главы / Пер с франц. И. Шубиной; вступ. ст. и прим. А. Митрофанова. СПб.: Нестор-История, 2023. — 304 с.; ил.

Имя Матье Дюма (1753—1837), участника событий Великой французской революции и наполеоновских войн, высечено на Триумфальной арке в Париже рядом с именами других прославленных генералов и маршалов. Потомственный дворянин, сын казначея из Монпелье, он поступил на военную службу в пятнадцать лет. Не имея ни протекции, ни состояния, делал карьеру благодаря своим деловым качествам и способностям, принимая участие в важнейших событиях своего времени. С 1780-го по

1783 год в составе французского экспедиционного корпуса он участвовал в войне за независимость США, там завязал полезные знакомства, приобрел друзей. Дж. Вашингтон вспоминал о нем как о «весьма ценном офицере французской армии». После окончания войны был направлен в экспедицию на Ямайку, затем — разведывательная миссия на Ближний Восток, конфиденциальные миссии в Германию, в Голландию. В годы Великой французской революции он стал свидетелем и участником того, что потом станет Большой историей. Видел, как толпа захватывает оружие из арсенала Дома инвалидов, чтобы идти на штурм Бастилии. Стал одним из главных организаторов Национальной гвардии и написал первый ее устав, — Дюма состоял при штабе генерала Лафайета, своего друга по американской кампании и одного из лидеров первого этапа революции. Именно Дюма после неудавшегося бегства Людовика XVI в июне 1791 года по поручению Национального собрания охранял королевское семейство во время возвращения в Париж. В бурные годы революции жизнь убежденного монархиста Дюма не раз подвергалась смертельной опасности: трижды ему приходилось эмигрировать, каждый раз с приключениями, достойными шпионского романа. Наполеон, став Первым консулом, позволил вернуться многим бежавшим от революции эмигрантам, среди вернувшихся был Матье Дюма. Со временем Наполеон оценил организационные способности и безукоризненную честность Дюма и постепенно стал поручать ему все более ответственные задачи. На протяжении тринадцати лет Дюма часто работал под непосредственным руководством Бонапарта. Он состоял при нем в сражениях при Ульме, Эльхингене, Аустерлице, при Эсслинге и Ваграме. Готовясь к походу на Россию, в 1812 году Наполеон назначил Дюма генеральным интендантом Великой армии; в обязанности интенданта входило не только снабжение армии, но и организация госпитальной службы. Еще до начала кампании Дюма испытывал обоснованные сомнения в отношении ее перспектив. И оказался прав. Война закончилась для него в 1813 году под Лейпцигом, где, тяжелобольной, он попал в плен. В плену с ним обращались хорошо — австрийцы помнили, как он вел себя после взятия Вены наполеоновскими войсками в 1809 году. Богатый военный и административный опыт Дюма делал его востребованным и в период Ста дней, и во время второй реставрации Бурбонов. Подробно биография Дюма изложена во вступительной статье И. Шубиной. В конце жизни он стал писать мемуары. Трехтомник его воспоминаний был издан его сыном после смерти отца. Избранные главы воспоминаний Матье Дюма на русском языке публикуются впервые. Для этого издания выбрано в первую очередь то, что представляется наиболее интересным и важным для широкого круга читателей: юность и начало военной службы; драматические события начала революции и первых послереволюционных лет; знакомство с Наполеоном; переход через заснеженные Альпы в декабре 1800 года. И конечно, кампания 1812 года, в которой Дюма участвовал в качестве генерального интенданта Великой армии. Квалифицированный и осведомленный наблюдатель, он пишет обо всем этом настолько беспристрастно, насколько это вообще возможно для участника событий. Он следовал за армией и императорской ставкой на расстоянии одного дневного перехода и дает подробное описание маршрута: переправа через Неман, Витебск, Смоленск... «Мы нашли Смоленск почти покинутый жителями и лишенным средств, которые были нам так необходимы, особенно для устройства госпиталей... Чем более армия продвигалась внутрь страны, тем труднее становилась моя задача. Местность была опустошена противником; жилища были покинуты и по большей части сожжены; война не могла кормить сама себя, как это было в плодородных землях Германии». Он пишет о просчетах Наполеона, о действиях русской армии, не позволивших Наполеону решить судьбу кам-

пании одним генеральным сражением; о трудностях, с которыми столкнулись наполеоновские войска в России: об огромных потерях французов. Он рассказал о том, что видел и что его потрясло. Потрясением оказалась и Москва, в которую вошли французы: «...луна освещала эти прекрасные здания, большие особняки, пустынные улицы — это была могильная тишина». Он стал свидетелем разграбления Москвы: «Мы наблюдали за тщетными усилиями рабочих, которые под руководством инженеров пытались снять с верха купола главной церкви огромный крест, называемый Ивановским, — предмет поклонения и восхищения русского народа, который полагал его сделанным из чистого золота (крест был из меди, покрытой множеством листов золота). Поскольку этот крест было невозможно выдернуть, не разрушив замыкание купола, в которое он был глубоко вмурован, его решили спилить; он упал наземь с большим грохотом и был затем распилен на куски и тщательно упакован для перевозки в Париж. Император имел намерение его собрать и установить на купол церкви, которую по его распоряжению строили возле Лувра. Начальник штаба, удрученный и возмущенный этим грабежом, столь неверным политически, сказал мне: „Разве можно так поступать, когда мир уже у нас в кармане!“» Дюма видел Москву горящую: «Шум пожара был подобен реву волн; это действительно была буря в море огня. <...> Этот огромный город представлял собой теперь лишь огненную рекламу: небо и весь горизонт были словно охвачены пламенем...» Он живописует ужасы бегства французов с «проклятой земли», которой стала для них Россия. Ему повезло все же пережить страшное отступление, переправиться через Березину и достичь мест, куда война тогда еще не добралась. Матье Дюма — хороший рассказчик, грамотный, начитанный, по-военному точный, по-человечески эмоциональный. Из бытовых мелочей, мелких происшествий, замечаний, сделанных по ходу рассказа, складывается гораздо более живая картина ушедшей эпохи, чем из научных исследований и официальных документов. Издание снабжено подробными примечаниями почти обо всех упоминаемых автором людях и о некоторых событиях.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства за предоставленные книги

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ»

Часть 11

ХАРБИН. СВЯТО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ГОРОДЕ

Свято-Алексеевская церковь была основана в 1909—1910 годах прот. Владимиром Проницким (Праницким) при Коммерческих мужском и женском училищах КВЖД.

После окончания Русско-японской войны открылись Коммерческие училища — образцово налаженные учебные заведения (имевшее мужское и женское отделения), а вслед за ним и классические гимназии. Во всех появились священники-законоучители, а в некоторых — свои домовые храмы.

В 1910 году в харбинских Коммерческих училищах по инициативе директора Н. В. Борзова¹ оборудовали Свято-Алексеевскую церковь. Церковь была устроена в левом (женском) корпусе училища. Она была построена при содействии благотворителей Ф. К. Костромина², И. Ф. Чистякова и И. Ф. Кулаева³. Ее освятили в 1910 году. В 1910 го-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Борзов Николай Викторович (1871—1955). Родился 26 апреля в г. Глазове Вятской губернии в семье чиновника. Православный педагог и организатор. Эмигрировал в Харбин (Китай), где организовал Народный университет и Высшие курсы для русских эмигрантов, преобразованные впоследствии в юридический факультет. Преподавал русский язык и историю в Русско-Японском институте. Директор 1-го Объединенного общественного реального училища в Харбине. Позднее переехал в США. Издавал ежегодник «День русского ребенка». Активный член Общества помощи русским детям за рубежом. Председатель Благотворительно-просветительного фонда им. И. В. Кулаева. Скончался 25 ноября в г. Беркли (Калифорния, США) // Православная Русь. 1955. № 23. С. 8—10.

² Ф. К. Костромин, начальник конторы службы эксплуатации КВЖД, председатель родительского комитета Харбинских коммерческих училищ.

³ Кулаев Иван Васильевич (1857, Красноярск — 26 ноября 1941, Голливуд). Владел пароходством на Амуре, занимался операциями с недвижимостью в Харбине, затем открыл новые предприятия в Америке и Канаде. Благотворитель: строил соборы и церкви в Харбине, Тяньцзине и Шанхае, а также в США, содержал школы для русских детей и выделял стипендии для русских эмигрантов во всем мире, издавал книги русских эмигрантов и покупал литературу для библиотек. Основал

ду коммерции советник И. Ф. Чистяков⁴ пожертвовал для храма иконы-копии Васнецова работы Императорской Академии художеств. Весной 1913 года на церкви достроили колокольню, колокола для которой также пожертвовал И. Ф. Чистяков⁵.

Священниками этого домового храма и законоучителями Коммерческих училищ стали с 1910-го по 1912 год о. Александр Гаркин; его сменил о. Иннокентий Петелин⁶, возглавлявший приход до 1922 года.

Петелин Иннокентий Степанович. Родом из Иркутской губернии. Окончил Иркутскую духовную семинарию. В Маньчжурии с 1905 года. Служил в Харбине, Кагаси и Дальнем. Служил в Алексеевской церкви при Коммерческом училище КВЖД и далее в церкви на Зеленом базаре в Харбине (1912—1922; 1927—1940). Заведующий церковным отделом КВЖД и член Харбинского епархиального совета. В 1940 году переехал в г. Дальний, где служил при церкви Табынско-Казанского женского монастыря. Возможно, в это время был духовником атамана Семенова, который посещал храм монастыря. Арестован 9 декабря 1948 года. Приговорен к 25 годам лагерей. (По другим данным, арестован в 1946 году по дороге из Дальнего в Харбин. Вывезен в СССР. Скончался в заключении в 1950-е годы⁷.)

С 1922-го по 1927 год настоятелем прихода был о. Иоанн Сторожев.

Сторожев Иоанн Владимирович. Родился в 1878 году в г. Арзамасе в старинной купеческой семье. Окончил Нижегородский дворянский институт и юридический факультет Киевского университета (1902). Помощник прокурора в Екатеринбурге, затем известный на Урале присяжный поверенный. В 1912 году, оставив юридическое поприще, принял священнический сан; настоятель Ирбитского, Екатеринбургского кафедрального соборов. В 1915 году возведен в сан протоиерея. Военный священник в Белой армии. Эмигрировал в Китай в 1920 году. Служил в Харбине. Настоятель Софийской церкви (1921—1922), затем в Алексеевской церкви бывшего Коммерческого училища КВЖД в 1922—1927 годах (в дальнейшем перенесена на Зеленый базар). Скончался в Харбине 5 февраля 1927 года. Похоронен на Новом кладбище⁸.

С 1910-го по 1924 год регентом-псаломщиком церкви был П. Н. Машин.

Машин Петр Николаевич. Родился в 1877 году в Харькове. Окончил Харьковское музыкальное училище. Регент церковного хора в Харбине (1907—1924) и Шанхае (1925—1944). Скончался в Шанхае 7 марта 1944 года⁹.

Старостой Свято-Алексеевского храма с 1910-го по 1920 год был Иван Васильевич Кулаев, а в 1920-е годы — Ф. Е. Турчанинов.

Кулаев Иван Васильевич. Родился в 1857 году в г. Красноярске. Крупный предприниматель и благотворитель в Сибири и Маньчжурии. В 1910—1925 годах жил в Харбине, затем — в США. Выделял средства на строительство православных храмов в Хар-

Благотворительно-просветительский фонд в 1931 году, куда завещал все свои деньги // Кулаев И. В. Под счастливой звездой. Воспоминания. М.: 1999.

⁴ Чистяков Илья Федорович (? — 1922). В эмиграции в Китае. Жил в Харбине. Коммерсант. Владелец чайной фирмы. Скончался 22 ноября 1922 года. См.: Русский Харбин / Сост. и коммент. Е. П. Таскиной. М.: МГУ, 1998. С. 30.

⁵ Православные храмы в Северной Маньчжурии. Харбин, 1931. С. 13. По другим сведениям, колокольню для этого домового храма оплатил его ктитор миллионер И. В. Кулаев. Он же подарил комплект колоколов. См.: Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 69.

⁶ Священника В. Праницкого, уехавшего в Россию, вскоре заменил о. Иннокентий Петелин.

⁷ Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 106.

⁸ Там же. С. 110.

⁹ Там же. С. 256.

бине, Тяньцзине и Шанхае, а также в США. Основал Образовательный фонд. Скончался 26 ноября 1941 года в Голливуде¹⁰.

Турчанинов Феодор Евграфович. Родился в 1880 году. Бывший полковник царской армии. Член ревизионной комиссии Свято-Николаевского собора в Харбине в 1937—1943 годах. Пел на левом клиросе собора. Был старостой церкви на Зеленом базаре Харбина. Проживал во дворе Иверской церкви. Скончался в 1959 году. Похоронен на Успенском кладбище¹¹.

После перехода КВЖД под советско-китайское управление Свято-Алексеевская церковь перешла в положение приходской и в июле 1925 года была перемещена в наемное помещение на Зеленом базаре¹².

5 февраля 1927 года скончался настоятель Алексеевской церкви на Зеленом базаре протоиерей Иоанн Сторожев. Имя отца Иоанна было дорого православным харбинцам — до эмиграции он был настоятелем Екатеринбургского собора; в 1918 году совершил последнее богослужение с участием царской семьи перед ее мученической кончиной в Ипатьевском доме.

7 февраля, в день похорон протоиерея Иоанна, Свято-Алексеевская церковь была переполнена молящимися. Заупокойную литургию совершали архиепископ Мефодий, епископ Мелетий и епископ Нестор в сослужении харбинского духовенства¹³.

С 1927-го по 1940 год настоятелем храма снова был о. Иннокентий Петелин. С 1927-го по 1928 год в этом храме в качестве сверхштатного священника служил о. Леонид Викторов, но вскоре он был переведен в Свято-Николаевский собор, с зачислением на должность ключаря. В 1925—1928 годах в Алексеевской церкви служил диакон Симеон Никитич Коростелев, а с 1928 года он служил в Свято-Никольском соборе в сане протодиакона.

Коростелев Симеон Никитич. Родом из Москвы. Участник Гражданской войны в рядах Белой армии. Эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. В сане диакона с 1925 года. В 1925—1928 годах служил в Алексеевской церкви на Зеленом базаре. С 1928 года — в Свято-Николаевском соборе. Член Харбинского епархиального совета. Возвратился в СССР в 1956 году вместе с архиепископом Никандром (Викторовым). Служил с владыкой в Архангельской и Ростовской епархиях до самой кончины архиерея в 1961 году. Затем ушел за штат. Проживал у сестры во Львове. Пел здесь в церковном хоре. Скончался в 1978 году¹⁴.

В брошюре «Православные храмы в Северной Маньчжурии» (Харбин, 1931) читаем: «Ныне Св. Алексеевский храм существует как приходская церковь, содержит за свой счет бесплатную школу для бедных детей, где обучаются 106 человек. Настоятелем церкви, он же заведующий школой, состоит прот. Иннокентий Петелин¹⁵. Вторым свя-

¹⁰ Там же. С. 230.

¹¹ Там же. С. 266.

¹² Русские в Китае. Исторический обзор. Шанхай; М., 2010. С. 137.

¹³ Баконина С. Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920—1931 гг. На материалах Харбинской епархии. М.: Изд. ПСТГУ. 2014. С. 177.

¹⁴ Харбинский синодик... С. 174.

¹⁵ Петелин Иннокентий Степанович. Год рождения 1883-й. Место рождения Иркутская губ., Усть-Кутская волость, село Подымакино. В Харбине был законоучителем коммерческого училища. После принятия решений Поместного собора в 1917 году был учрежден Временный Маньчжурский окружной церковный совет, и о. Иннокентий был избран его председателем. С 1934 года преподавал на богословском факультете в институте имени Св. князя Владимира. В 1945 году служил священником Богородско-Казанской Табынской женской обители в Какагаши близ Дайрена (Дальнего/Далая — ныне в черте города), 24 марта того года направил патриарху Алексию I рапорт о состо-

щенником — протоиерей Тихон Ильинский¹⁶ и дьякон Н. Виноградов¹⁷. При церкви организованы: женский Марфо-Мариинский кружок и три мужских кружка»¹⁸.

Вспоминает Т. В. Пешкова (Флейшер): «Мои первые впечатления о храме связаны с Алексеевской церковью, которая в конце 30-х годов находилась на Соборной улице у Зеленого базара¹⁹. В ней я первый раз ходила к причастию, в эту церковь меня впервые взяли к заутрене»²⁰.

Вспоминает В. И. Иванов: «После установления китайско-советской администрации КВЖД церковь была закрыта, но позже была восстановлена в собственном помещении на Зеленом базаре. Наша мама и ее школьные подруги, выпускницы Коммерческих училищ 1925 г., несколько раз заказывали в этом храме молебны святителю Николаю, покровителю своего училища. Мама брала с собой и меня»²¹.

В 1940 году японские оккупационные власти экспроприировали церковь для своих нужд. После 15 лет аренды пришлось освободить и это здание, службы временно проходили в квартире приходского старосты С. П. Бабича по улице Речной, 78²². «В начале 40-х годов по каким-то причинам японцы потребовали освободить помещение, в котором находилась церковь. С тех пор до 1942 г. церковь находилась в частном доме на Речной улице у наших хороших знакомых Бабичей, — продолжает Т. В. Пешкова (Флейшер). — Степан Павлович был старостой церкви, и некоторое время церковь нашла пристанище в гостинной его дома. Не могу не вспомнить, что невесткой Степана Павловича и Варвары Петровны была известная в музыкальном мире Харбина оперная певица Антонина Бабич. Частым гостем в их доме был тоже известный певец Николай Дмитриевич Борисевич. По некоторым сведениям, знаю, что настоятелем церкви был о. Тихон Ильинский; а в 40-х годах о. Николай Писарев»²³.

Вспоминает С. Н. Карякина (Бобровская): «Храм был сначала на Зеленом базаре на Соборной улице. Здание было похоже на казарму. Потом японцы его забрали, и храм переведен на Речную улицу в частный дом, у которого был состоятельный хозяин, владевший огромным домом, одну комнату он отдал под храм. Я до отъезда ходила туда и помню, хор был всегда хороший»²⁴.

Позднее для церкви построили постоянное здание в Новом Городе на Кривой улице²⁵. Собственное здание на Кривой улице было освящено 13 декабря 1942 года при

янии Церкви в Китае. Оставался на том же служении к 1948 году, проживал в Дальнем. 9 декабря 1948 года был арестован ОКР МГБ в/ч 44396. Военный трибунал в/ч 16651 11 февраля 1949 года приговорил его к 25 годам ИТЛ по статье 58-2-11 УК РСФСР. 19 мая 1996 года был реабилитирован по заключению Военной прокуратуры ДВО (<https://drevo-info.ru/articles/21881.html>).

¹⁶ Ильинский Тихон Семенович. Служил в церкви на ст. Пограничная КВЖД (1912—1930), в Алексеевской церкви на Зеленом базаре Харбина (1931—1940). Последнее время — в Свято-Николаевском кафедральном соборе. Был духовником собора. Скончался в Харбине в 1947 году (Харбинский синодик... С. 142).

¹⁷ Виноградов Николай Иванович. Служил на ст. Ханьдаохецзы КВЖД в 1920-х годах и в Алексеевской церкви на Зеленом базаре в Харбине в 1928—1931 годах (Харбинский синодик... С. 173).

¹⁸ Православные храмы в Северной Маньчжурии. Харбин, 1931. С. 13.

¹⁹ Зеленый базар, ул. Соборная № 20.

²⁰ Пешкова (Флейшер) Т. В. Харбинские сказки // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 46.

²¹ Иванов В. И. Отрывочные воспоминания 60-летней давности о харбинских русских православных священнослужителях и околоцерковных людях // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 27.

²² Русские в Китае. Исторический обзор. Шанхай; М., 2010. С. 137.

²³ Пешкова (Флейшер) Т. В. Указ. соч. С. 46 (неточность: с 1940-го по 1942 год настоятелем храма был о. Николай Писарев, а о. Тихон Ильинский с 1931-го по 1940 год был сверхштатным священником).

²⁴ Карякина С. Н. (Бобровская). Воспоминания о дорогих людях // Русская Атлантида. 2011. № 39. С. 17.

²⁵ Тыкоцкий Г. Б. Православные храмы Харбина. Екатеринбург, 1999. С. 50—51.

настоятеле Николае Писареве²⁶. В этой церкви были иконы замечательного письма²⁷. В 1946 году над храмом была возведена колокольня, что явилось последней церковной постройкой в Харбине²⁸.

С. Н. Карякина (Бобровская): «Хочу вспомнить Св. Алексеевскую церковь на Кривой улице. Наш храм был построен на новом месте в 40-х годах. Когда мы в 1944 г. уехали из Харбина, а когда я вернулась со ст. Пограничной, Алексеевская церковь уже стояла. Она еще называлась Зелено-Базарской, и служил там священник о. Илия Новокрещеных²⁹. Хор был у нас прекрасный, регент был Приклонский, у его дочери было чудесное сопрано. Я пела в этой церкви с 1951 года и до отъезда. Сестричество было из довольно состоятельных людей, которые поддерживали храм и, конечно, священника, который вел службу прекрасно. Псаломщик или староста был положительный мужчина и всегда помогал петь»³⁰.

Алексей Владимирович Приклонский, волей судеб заброшенный в Харбин в тяжелые годы революции, с 1925 года зарабатывал на жизнь трудом регента и учителя в Алексеевской школе, а также регентом в Свято-Алексеевском храме бывших Коммерческих училищ, помещавшемся в «Касаткинских рядах» за Зеленым базаром, на Соборной улице³¹.

Вспоминает Н. Н. Лалетина (Николаева): «Была на Базаре зеленобазарская Алексеевская церковь, когда-то бывшая в Коммерческих училищах и впоследствии перенесенная в частный дом после перехода в 1925 г. КВЖД Советам, а потом через некоторое время построили и перенесли ее на Кривую улицу. Мой первый школьный учитель пения Алексей Владимирович Приклонский в сороковых годах был регентом в этой церкви. Помню, мы были наверно во втором отделении, когда он нас учил песенкам что-то вроде „Во саду ли в огороде...“, и так до 1945 года. И вдруг после конца короткой войны с Японией он запел: „Утро красит красным цветом стены древнего Кремля...“ и „Сталин — наше знамя боевое...“ Ну как тут можно было в детской головке успеть так быстро все переварить!»³² Алексей Владимирович Приклонский был регентом-псаломщиком Свято-Алексеевской церкви до начала 1950-х годов.

С середины 1943 года настоятелем Свято-Алексеевской церкви был протоиерей Илия Новокрещеных.

19 июля (1 августа) 1918 года в семье крестьянина-казака Василия Николаевича Новокрещеных и Ирины Адриановны в станице Борзя в Забайкальской области родился сын, и поскольку рождение его пришлось накануне дня памяти святого пророка Божия Илии, то и нарекли его именем пророка-громовержца. Отец и мать мальчика были глубоко верующими людьми. Василий Николаевич служил в действующей Белой армии и при отступлении с волной русской эмиграции попал в Харбин, ставший для семьи Новокрещеных уголком родины на три десятка лет. Здесь, в Харби-

²⁶ Писарев Николай Феодорович. Служил в пос. Верх-Кули Трехречья (1922), в церкви Госпитального городка (1930), Алексеевской церкви на Зеленом базаре Харбина (с 1940 г.) (Харбинский синодик... С. 126). / Русские в Китае. Исторический обзор. Шанхай; М., 2010. С. 137 / Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 90.

²⁷ По материалам издания: Троицкая С. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. — 64 с.

²⁸ Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 474.

²⁹ Прот. Илия Новокрещеных — настоятель Свято-Алексеевской церкви с 1943-го по 1955 год.

³⁰ Карякина С. Н. (Бобровская). Указ. соч. С. 17.

³¹ Сборник памяти 1-го Харбинского русского реального училища. https://archive.org/stream/sbomikpamiatilg028800/sbomikpamiatilg028800_djvu.txt Дата посещения 27.11.2022 г.

³² Лалетина (Николаева) Н.Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 31. С. 50.

не, была большая русская диаспора: около 100 тысяч русских, 22 церкви, монастырь. Дядя Илии, иеродиакон Иринарх (Матафонов) служил в харбинском Казанском монастыре, сюда же, в монастырь — по настоянию дяди и с благословения родителей — был отдан с семи лет воспитанником, а затем послушником маленький Илия. Он отличался от своих сверстников набожностью, а в монастыре рано привык к церковным службам; полюбил уставное пение и чтение, потянулся к духовенству. Живя в монастыре и исполняя послушание чтеца, певца, канонарха и иподиакона, Илия приобрел основательные практические навыки в церковном служении под руководством епископа Ювеналия (в схиме Иоанна). В 1938 году Илия стал священником.

В 1945 году иерей Илия назначается настоятелем Алексеевского храма, бывшей домово́й церкви Коммерческого училища КВЖД. Здесь, в Харбине, он заканчивает богословский факультет института Св. Владимира. Здесь, в приходе, он служит бескорыстно, полностью исполняя завет Христов: «даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8). Он отказывается перевестись в материально более обеспеченный приход, и когда маленькой церковной общине стало не по силам выплачивать взнос за аренду земли под церковь и за квартиру священника, он безропотно переселился с семьей в церковную сторожку. Прихожане помнили его исключительное добродушие и незлобивость. Однажды во время его молитвы воры вынесли из дома все ценное, но отец Илия не прервал молитвы и не стал сдерживать злоумышленников³³.

В то время в Харбине удивительным образом еще сохранялся кусочек старой России. Духовенство ходило в рясах, на Рождество Христово и Крещение не было ни одного дома верующих, куда бы ни заходили священники прославить Христа и освятить дом. На Радоницу и в Троицкую субботу не было такой могилы, куда бы ни приходили священники для совершения панихиды. Не было случая, чтобы кто-то откололся от Православной церкви. Здесь соблюдалась народом вера православная. Неудивительно, что когда в 1945 году в Харбин пришли советские войска, советские люди (а ведь выросло только одно поколение) спрашивали русских харбинцев: «Откуда вы такие взялись?»³⁴

Интересную историю рассказывал о. Илия. В сентябре 1945 года в церковь на Кривой улице в Харбине зашли трое советских летчиков и в нерешительности остановились перед алтарем. Так как службы в тот момент не было, настоятель подошел к ним, отвел в сторону и полюбопытствовал: «Господа, что вам будет угодно?» В ответ на это пришедшие рассказали ему следующую историю. Выполняя задание командования, экипаж самолета в составе трех летчиков вылетел на бомбардировку японских учреждений и войск в Харбине. На подлете к городу летчики, все как один, из-за облака увидели лицо старика, который поднял руки, и... самолет словно бы остановился в воздухе. Он не падал, но и вперед лететь не хотел. Могли повернуть направо, налево, назад, вниз, но только не вперед... Сбросив бомбы за чертой города, летчики вернулись на аэродром, не выполнив задания, но и не спешили докладывать о произошедшем начальству. Кто-то из них предположил, что образ старика очень походил на знакомого ему с детства по иконам Николая Чудотворца. И вот, собравшись с духом, втайне от политработника эскадрильи пришли в храм ему поклониться. Поставили свечки, ушли...³⁵

³³ Дети Харбина. Часть 3. Протоиерей Лазарь Новокрещенных: «Сынок, твое место — только в России» // Православие и современность. 2009. № 10 (26).

³⁴ Новокрещенных Лазарь, протоиерей (г. Саратов). Памяти протоиерея Илии Новокрещенных // Русская Атлантида. 2004. № 12. С. 7–8.

³⁵ Дети Харбина. Часть 1. Протоиерей Евгений Ланский: Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25).

Эта история замечательна прежде всего тем, что сами горожане свидетельствовали о том, что на Харбин за все время японской оккупации не было сброшено ни одной авиабомбы³⁶.

В 1945 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского) совершилось воссоединение Русской церкви, расколотой границей. Из шести епископов, служивших на Дальнем Востоке в составе Русской Зарубежной православной церкви, воссоединились пятеро, вместе с духовенством и паствой. Вместе с владыками Харбинскими архиепископом Димитрием (Вознесенским) и епископом Ювением в лоно Русской Матери Церкви возвратился и протоиерей Илия. Он продолжал возглавлять Алексеевский приход до 1955 года, после чего с семьей переехал из Харбина в Советский Союз.

В прощальном приветствии от духовных чад его и прихожан Алексеевской церкви, в частности, говорилось:

Более 10 лет Вы руководили нашим, материально необеспеченным приходом и были не только духовным отцом и добрым пастырем нашим, но находили в свое время возможность обслуживать наездами и приходы в городе Чаньчуне и на станции Шуаньченпу, пока там существовали храмы и жили православные русские люди. Благодаря Вашей энергии и настойчивости, площадь сего храма была увеличена особой пристройкой, и церковь получила к своему исключительно прекрасному художественному иконостасу еще дополнение другими священными изображениями и утварью. Вы проявили себя бескорыстным, глубоко верующим пастырем своих овец, с которыми делили и их радость, и их многочисленные скорби, никогда не отказывая самому бедному православному человеку в нравственной поддержке и исполнении духовных треб. Невзирая на приглашения Вас перевестись в другие, более материально обеспеченные приходы, оставались на своем трудном посту, можно сказать, до тех пор, пока оставалась не разъехавшихся самая малая горсточка Ваших прихожан.

В Советском Союзе о. Илия служил сначала в Тюмени, а затем по благословению архиепископа Тавии в челябинском кафедральном соборе во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь в 1960 году застали его «хрущевские гонения» на Церковь. Храмы и монастыри безжалостно закрывались по всей стране, преследовались священники. Был закрыт и челябинский кафедральный собор. В 1974–1976 годах о. Илия — настоятель Симеоновской церкви в Челябинске, с 1976 года служил в Риге. Здесь он и скончался 20 сентября 1992 года от тяжелой болезни³⁷.

А Свято-Алексеевская церковь в Харбине была закрыта в 1956 году, в связи с переходом последнего настоятеля о. Фотия Хо³⁸ в Свято-Николаевский собор³⁹.

ХАРБИН. СВЯТО-НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЗАТОНЕ

Затон — это район Харбина по левобережью Сунгари, где отстаивались в зимний период флотилии пароходов Китайской Восточной железной дороги и частных пароходоладельцев и проживали члены судовых команд — довольно многочисленная

³⁶ Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 89.

³⁷ Новокрещенных Лазарь, прот. Указ. соч. С. 8.

³⁸ Хо Фотий. Албазинец. Служил в Свято-Николаевском соборе Харбина в 1957–1958 годах, в Успенской церкви в 1958–1959 годах, в Преображенской церкви Корпусного городка до 1962 года. Переведен в Пекин. Скончался в Пекине от туберкулеза 10 июля 1965 года (Харбинский синодик... С. 145).

³⁹ Коростелев В. А., Караулов А. К. Указ. соч. С. 401.

прослойка местного русского населения, харбинские речники. Затон, соответственно, подразделялся на Казенный (КВЖД) и Частный.

Казенный Затон находился за железнодорожным мостом, ниже его по течению Сунгари. Здесь была устроена гавань с ограждавшей ее дамбой, имелось несколько построек — Народный дом (Клуб речников), мастерские судоходства дороги и их контора, дома КВЖД для служащих, полуказарма КВЖД. Другие же речники в основном жили в лежавшем выше моста Частном Затоне, где действительно с каждым годом появлялось все больше и больше построек частных жилищ и дач, хозяева которых могли и не иметь отношения к пароходствам. Но здесь же располагались дома Амурского и Восточно-Сибирского пароходств⁴⁰.

Приход в Затоне основан 28 января 1923 года по инициативе протоиерея Михаила Рогожина, поскольку «до того времени Затон представлял базу сектантства и безбожия»⁴¹.

Протопресвитер Михаил Петрович Рогожин родился 8 ноября 1889 года в г. Лаишево Казанской губернии. В 1907 году окончил Казанскую духовную семинарию. В ноябре 1907 года был назначен псаломщиком в село Березовую Гриву Спасского уезда Казанской епархии. В 1910 году переведен на должность псаломщика к Софийскому собору г. Лаишево (Казанская епархия). С 1913-го по 1915 год состоял слушателем Миссионерского отдела Казанской духовной академии. В июне 1915 года по мобилизации был призван на военную службу и находился в действующей армии до 1917 года. С декабря 1917 года продолжал службу псаломщиком в г. Лаишеве.

Во время Гражданской войны оказался во Владивостоке, где в 1921 году рукоположен в сан иерея и был назначен на приход в село Алексеевку Владивостокской епархии. С 1922 года в эмиграции в Китае. Служил в Харбинской епархии в г. Харбине. Священник и законоучитель в школах КВЖД (до 1925 года). Основатель (1923) и первый настоятель (до 1930 года) прихода в Свято-Николаевской церкви в Частном Затоне (Харбин). С 1930-го по 1937 год служил в Алексеевской церкви в Модягоу, был благочинным харбинских церквей. С 1937 года назначен настоятелем церкви в Тяньцзине. С 1940 года служил в Шанхае, где был настоятелем Свято-Богородицкого собора. В 1956 году выехал в СССР. Настоятель Свято-Троицкого храма в Краснодаре. Скончался 8 августа 1959 года в Краснодаре после тяжелой болезни. Похоронен в Краснодаре⁴².

Вначале был освящен временный храм в железнодорожной школе. С приходом на КВЖД советской администрации церковь один год находилась в наемном помещении. В 1924 году началась постройка нового каменного храма в центре поселка Затон на участке площадью 1500 квадратных сажен, представленном китайскими властями⁴³.

В 1925 году при помощи займа протоиерей Михаил Рогожин купил два дома. В один из них была перенесена временная церковь, в другом открыли школы: начальное и высшее начальное училища, где учредителем был сам о. Михаил и пять других учителей.

Строительство нового каменного храма продолжалось четыре года. В 1928 году состоялось торжественное освящение церкви, посвященной покровителю всех путешественников и плавающих — Святителю и Чудотворцу Николаю⁴⁴. Внешний облик церк-

⁴⁰ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 364–365.

⁴¹ Православные храмы в Северной Маньчжурии. Харбин, 1931. С. 16.

⁴² Журнал Московской Патриархии. 1959. № 12. С. 10–11; Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 133.

⁴³ Православные храмы в Северной Маньчжурии. Харбин, 1931. С. 16.

⁴⁴ Мелихов Г. В. Указ. соч. С. 365.

ви был традиционным, однако ее внешний вид был довольно сдержанным, отличаясь малым количеством деталей. По своим размерам храм был небольшим, одноглавым, с пристроенной с западной стороны двухъярусной шатровой колокольней. Верхний ярус колокольни, квадратный в плане, со всех четырех сторон был прорезан не одним, как обычно, а двумя проемами для звонов. Восьмигранный барабан над храмом, увенчанный слегка приплюснутой главкой, имел на всех гранях оконные проемы. У основания шатра колокольни на каждой из граней яруса звонов были сделаны кокошники килевидной формы. Такие же кокошники имелись и над средними окнами северного и южного фасадов основного объема храма⁴⁵.

Церковь имела высокохудожественный иконостас из 20 икон, исполненных известным в Харбине художником-иконописцем Н. С. Задорожным. Еженедельный харбинский журнал «Рубеж» откликнулся на это культурное событие статьей, иллюстрированной большим количеством фотографий с икон художника. Журнал, в частности, отметил, что, создавая иконы, художник «решил продолжать начатую в русской иконописной живописи работу русских художников Нестерова и Васнецова и писать иконы не по старинным образцам, а давать действительно художественные изображения собственной композиции. В течение трех лет писал он иконостас для затонской церкви, состоящий из двадцати икон, причем все написанные им образы строго выдержаны в исторической обстановке, соответствующей времени и месту действия»⁴⁶.

Помимо прекрасно выполненных икон, следует упомянуть о художественной работе всего иконостаса — из специального дерева со вставленными в него камнями. Эта работа была выполнена И. Ф. Ардатовым. Иконостас затонской церкви в то время считался одним из лучших в Харбинской епархии⁴⁷.

Кроме образов, Н. С. Задорожный выполнил и новые сложные композиции: «Рождество Христово», «Рождение Пресвятой Богородицы». Над росписями стен этого храма трудились и другие художники. Так, например, сложную многофигурную композицию «Тайная вечеря» выполнил брат Н. С. Задорожного — Петр Степанович Задорожный, тоже художник-иконописец, имевший большой опыт росписей храмов. В частности, он являлся автором иконостасов великолепного Благовещенского храма и Свято-Алексеевской церкви в Модягоу⁴⁸.

Священник Николай Падерин в своих воспоминаниях о церковной жизни Харбина относит Николаевский храм в Затоне к церквям, которые имели «обычное приходское назначение как очаги духовной жизни»⁴⁹. «Церковь была каменной, белой, светящейся при отражении в воде. Во дворе за алтарем весной цвели фиалки, — вспоминала жительница Затона Надежда Николаевна Клипиницер (Иванова). — Звон колоколов мелодично плыл над водными просторами, созывая прихожан в уютную, стоящую в зелени деревьев, церковь»⁵⁰.

В ограде церкви был выстроен флигель для псаломщика и сторожа⁵¹. Заботами о. Михаила Рогожина с 1925 года при храме действовали две школы. В брошюре «Пра-

⁴⁵ Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 130.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же. См. также: Тыкоцкий Г. Б. // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 27.

⁴⁹ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 270. Воспоминания харбинского священника Николая Падерина (впоследствии епископа Зарубежной Церкви в Бразилии) под названием «„Церковь Твою утверди“. Из воспоминаний о церковной жизни Харбина» были опубликованы в самиздате в г. Сан-Пауло в 1967 году.

⁵⁰ <http://www.orthodox.cn/localchurch/harbin/nikolaipatron.ru.htm>

⁵¹ Православные храмы в Северной Маньчжурии. Харбин, 1931. С. 16.

вославные храмы в Северной Маньчжурии» (Харбин, 1931) сообщалось: «В текущем году школы имели шестой выпуск учащихся в начальном и четвертый выпуск в высшем начальном училищах. Количество учащихся в обеих школах до 150. При школе с 1925 г. открыта общественная библиотека, имеющая до 2000 книг разного содержания. Заботами о. Рогожина открыта и сие время работает бесплатная амбулатория при враче Н. И. ЧуриLINE (дело это, при его энергии, расширяется). При школе имеется детская площадка»⁵².

В 1930 году протоиерей Михаил Рогожин по состоянию своего расстроенного здоровья вынужден был перейти из Затона на службу в Модягоу. Его преемником был назначен протоиерей Александр Лукин⁵³.

Протоиерей Александр Яковлевич Лукин был полковым священником в Белой армии. В конце Гражданской войны эмигрировал в Китай. Служил в Иверской церкви Харбина (1925—1931), в Успенской церкви на кладбище (1930) и в Затоне (1930—1937), на станции Имяньпо Восточной линии КВЖД. Последнее место служения в Китае — г. Дальний. Его дочь была замужем за князем Кекуатовым. После освобождения Маньчжурии от японцев князь с женой были арестованы и отправлены в СССР. В середине 1950-х годов о. Александр вернулся в Россию. Нашел свою дочь в г. Пласте Челябинской области. Остался здесь служить в местной церкви. Скончался в г. Пласте⁵⁴.

В 1937 году о. Александра сменил протоиерей Геннадий Красов.

Протоиерей Геннадий Адрианович Красов (Карасов) служил в церкви Механических мастерских Харбина (1921—1922), Свято-Николаевском соборе в 1922—1929 годах, на ст. Имяньпо КВЖД (1934—1937), в Затоне (1937—1941) и в церкви Московских казарм Харбина (1941—1945). Служил в Пекинской духовной миссии. В 1950 году направлен начальником миссии архиепископом Виктором (Святым) в Урумчи. В 1951 году, в ночь с 9 на 10 января, погиб во время пожара в своей квартире⁵⁵.

Протоиерей Константин Люстрицкий, сменивший о. Геннадия, служил в кафедральном Свято-Николаевском храме в Затоне с 1941-го по 1943 год.

Протоиерей Константин Константинович Люстрицкий служил в Свято-Николаевском соборе в Харбине в начале 1920-х годов. Настоятель церкви Св. Иоанна Предтечи в районе Московских казарм (1922—1941), в Затоне в 1941—1943 годах, затем в церкви поселка Механических мастерских Харбина⁵⁶.

В эти же годы при Свято-Николаевском храме в Затоне состоял сверхштатный священник Алексей Поляков.

Иерей Алексей Платонович Поляков в 1923 году жил на ст. Пограничная в Маньчжурии, работал машинистом поезда. На железной дороге повредил ногу. В 1926 году назначен псаломщиком Свято-Николаевского собора в Харбине сверх штата. С 1927 года рукоположен во диакона, служил безвозмездно. Рукоположен во священника после 1942 года. Сначала служил в Свято-Николаевской церкви в Затоне, затем в женском монастыре, Скорбященском храме при доме милосердия Харбина. Будучи уже за штатом, иногда служил в Затоне. Скончался в Харбине в марте 1950 года⁵⁷.

В Свято-Николаевском храме в Затоне с 1933-го по 1934 год служил протодиакон Петр Николаевич Вартминский.

⁵² Там же.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 78—79.

⁵⁵ Там же. С. 99.

⁵⁶ Там же. С. 113.

⁵⁷ Там же. С. 148.

Родился в 1905 году в Омске. В 1923 году эмигрировал с родителями в Китай. Жил в Харбине. В 1930 году рукоположен в сан диакона. Служил в г. Кобе (приход Харбинской епархии в Японии), в Цицикаре. В Харбине служил при церквях Старого Харбина, Корпусного городка, Иверской, Софийской (с 1942). В 1946—1948 годах служил на ст. Ханьдаохэцзы. В 1954 году с семьей из Дальнего выехал в СССР на целину. Последним местом служения в СССР был г. Чимкент. Там и скончался в 1975 году⁵⁸.

С 1934 года в Свято-Николаевском храме в Затоне служил диакон Аркадий Диоимович Долгополов.

Участник Ледяного похода через Байкал. Эвакуировался в Китай. Семья осталась в России. Служил в кафедральном Свято-Николаевском соборе Харбина в 1920—1927 годах, на ст. Букэду в 1927—1928 годах и ст. Ханьдаохэцзы в 1928—1932 годах. Затем в Затонской церкви Харбина и на Успенском кладбище. Скончался в 1947—1948 годах в Харбине⁵⁹.

В 1944—1952 годах в Свято-Николаевском храме в Затоне служил протодиакон Петр Степанович Задорожный. Он служил также в церкви дома милосердия в Харбине. Иконописец. Выехал в США. Скончался и похоронен в Сан-Франциско⁶⁰.

...В 1943 году настоятеля Свято-Николаевского храма в Затоне о. Константина Люстрицкого сменил протоиерей Николай Николаевич Стариков.

О. Николай родился 28 октября (10 ноября) 1917 года в Хабаровске. В 1922 году после падения Владивостока прибыл с родителями в Харбин. В 1933 году окончил 4-ю Железнодорожную гимназию. В 1936 году окончил Индустриально-транспортный техникум КВЖД. С 1937-го по 1940 год состоял студентом и прослушал курс богословского факультета Института Св. Владимира. 5 марта 1939 года был рукоположен в сан диакона преосвященным Мелетием, архиепископом Харбинским и Маньчжурским. С 1939 года служил в сане диакона в Софийской церкви. 1 декабря 1940 года тем же владыкой Мелетием был рукоположен в сан иерея и получил назначение настоятелем новостроящегося Свято-Иннокентиевского храма в г. Сахалине на севере Маньчжурии, на берегу Амура. Здесь впервые проявились его хорошие качества как священнослужителя. Много потрудившись на постройке этого храма, о. Николай снискал любовь и уважение своих прихожан.

21 февраля 1943 года отец Николай был переведен в Харбин с назначением в Свято-Софийский храм на Пристани сверхштатным священником. Через два месяца, 18 апреля того же года был назначен настоятелем Свято-Николаевского храма в Затоне, где прослужил 12 лет. Вместе с православными иерархами Харбинской епархии в 1945 году перешел в Московскую патриархию. 15 ноября 1955 года о. Николай был переведен в Свято-Алексеевский храм в Модягоу в связи с тем, что многие священнослужители покинули Китай, уехав в СССР. 1 февраля 1956 года был назначен членом и секретарем Харбинского епархиального совета⁶¹. В 1963 году он эмигрировал в Австралию, где был принят в общение Русской православной церковью за границей, служил в Крестовой церкви в Сиднее.

К сожалению, размещение Свято-Николаевской церкви в низинном месте оказалось ошибочным, и весьма странно, что в свое время этому не придали должного значения. Почти ежегодные наводнения затапливали храм, что оказывало разрушительное

⁵⁸ Там же. С. 173.

⁵⁹ Там же. С. 175.

⁶⁰ Там же. С. 174.

⁶¹ Косицын Г. П. (г. Сидней, Австралия). Митрофорный протоиерей о. Николай Стариков // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 3—4.

воздействие на его стены, великолепные росписи и отделку⁶². Отсутствовали средства на ремонт церкви. В 1955 году богослужения в храме прекратились из-за отъезда прихожан и священников. Храм при этом не был закрыт, а только законсервирован с сохранением икон и утвари⁶³.

В коммунистическом Китае начались разрушение и ликвидация религиозных общин и церквей. Протоиерею Николаю с разрешения властей удалось вывезти все иконы иконостаса Свято-Николаевской церкви в Затоне, а также другую утварь, не представляющую какую-либо ценность для Китая. Все было упаковано в ящики, на которых были поставлены печати китайской полицией и таможней, также были даны документы на вывоз икон и утвари. В Австралию привезена была также икона Святителя и Чудотворца Николая, находившаяся в Свято-Николаевском храме в Старом Харбине.

Эти иконы были помещены в Свято-Георгиевский храм Сиднея, где батюшка был настоятелем и который был отстроен под его руководством из бывшего баптистского молитвенного дома в 1966 году. Протоиерей Николай скоропостижно скончался 13 июня 1972 года и был похоронен на кладбище Руквуд в Сиднее⁶⁴.

Протоиерей Николай своевременно вывез из Китая все иконы иконостаса храма и некоторую церковную утварь, поскольку впоследствии Свято-Николаевская церковь в Затоне была разобрана, и от нее остались одни воспоминания⁶⁵.

Л. П. Маркизов (2001): «Левый берег реки Сунгари был пологий и состоял из песчаных островов: Крестовского — против поселка Ченхэ, почти пустынного с двумя домиками, и Солнечного — против городской набережной, застроенного дачными домиками. У самой насыпи на дамбах-затонах был жилой массив с *маленькой церковью, называемый Затон*. Здесь пролегла Соловьевская протока, отделявшая Солнечный остров от Затона. На углу дамбы стоял ресторан „Миниатюр“, от которого начиналась Зотовская протока с песчаными пляжами на несколько километров вдоль насыпи. В пойме реки было много маленьких островков, озер, проток, кишаших плотвой и карасями на радость рыболовам, любителям ловли на поплавки. Это был настоящий рай для летнего отдыха»⁶⁶.

В. М. Гинце (2001): «Мы предпочли переплыть Сунгари на маленьком катере (на 10 пассажиров). На том берегу — громадные перемены. В Затоне и на Солнечном Острове большинство старых дач снесено. Нет ни ресторана „Миниатюр“, нет и „Деда-Винодела“. Снесена, конечно, и *Затонская церковь*... Взамен снесенных построек стоят больницы, санатории, жилые дома, разбит большой парк. Берег реки приведен в порядок — устроена Новая Набережная, по которой ходят маленькие автобусы с туристами, прогуливаются отдыхающие. Масса людей приезжает сюда, как и прежде, чтобы погулять, развлечься, позагорать и покупаться»⁶⁷.

⁶² Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 130.

⁶³ Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 401.

⁶⁴ Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 128.

⁶⁵ См.: Конфедератова Э. В., Козыренко Н. Е. Архитектура православного Харбина // Новые идеи нового века. 2017: Материалы Семнадцатой Международной научной конференции = The New Ideas of New Century — 2017: В 3 т. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. Т. 1. С. 152—158.

⁶⁶ Маркизов Л. П. От азбуки до аттестата зрелости // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 53.

⁶⁷ Гинце В. М. Зарисовки о поездке в Харбин // Русская Атлантида. 2003. № 9. С. 66.

**Леонид Ещин. Стихи о Харбине.
Эпитафия**

Нет ничего печальней этих дач
С угрюмыми следами наводнения.
Осенний дождь, как долгий, долгий плач,
До иступленья, до отупенья!

И здесь, на самом берегу реки,
Которой в мире нет непостоянней,
В глухом окаменении тоски
Живут стареющие россияне.

И здесь же, здесь в соседстве бритых лам,
В селеньи, исчезающем бесследно, —
По воскресеньям православный храм
Растрянно подымлет голос медный!

Но хищно желтоводная река
Кусает берег, дни жестоко числит.
И горестно мы наблюдаем, как
Строения подмытые повисли.

И через столько-то летящих лет
Ни россиян, ни дач, ни храма — нет,
И только память обо всем об этом
Да двадцать строк, оставленных поэтом⁶⁸.

⁶⁸ Русская поэзия Китая. М., 2001. С. 337. Ещин Леонид Евсеевич (1897, Нижний Новгород — 1930, Харбин). Участник Ледового похода, офицер. Прожил в Харбине семь лет — все годы в нужде, в тяжелых условиях. Умер от злоупотребления алкоголем (Примеч. С. 675—676).

Contents

Prose and Poetry

- Alexander Gorodnitsky.** Poems • 3
Svetlana Mosova. Yaroslava. Goat Song. *Stories from the series „Pictures of the End of the Century with a Butterfly in the Upper Right Corner“* • 8
Anna Gedymin. Mom is in Her Repertoire. *Short story* • 14
Evgeny Kaminsky. Poems • 18
Aigul Akhmetova. Soltadas. *Novel* • 22
Vera Zubareva. Sea Bay Near the Coast. *Poems* • 117
Max Shapiro. Allergy. Blue Unicorn. Israel's Dream. *Short stories* • 124
Alexey Mashevsky. Poems • 144
Andrey Makarov. Freedom for the Dead. *Short story* • 147

Universe of Childhood

- Anna Yuryeva.** „Diamond Green“. Color Childhood. Peaks. Chips. Snow Monster. *Stories from the series „Town“* • 156

Journalistic Writings

- Loyalty and Freedom. *Dialogue between writer Alexander Melikhov and poet Vadim Pugach* • 164
Dmitry Travin. The Birth of Freedom in Europe. *Part 2* • 171

Criticism and Essays

- Konstantin Frumkin.** How Literary Critics Assess the Writers' Language • 195
David Davidiani. The Hidden Symbolism of Fascism. *An Unsolved Film Parable by Andrey Tarkovsky* • 209

St. Petersburg Bookman

- Territory of Memory.** *To the 215th Anniversary of N. V. Gogol.* Alla Novikova-Stroganova. Following Gogol... **Notes of a Stranger.** *To the 125th Anniversary of V. V. Nabokov.* Alexander Zakharov. Speak, Mnemosyne! *Entomologist's Notes about Vladimir Nabokov.* **Art of Reading.** Marianna Reybo. An Unfading Classic: the Birth of a New Hero in the „Golden“ Era of Western European Realism. **Reviews.** Vladimir Spektor. A Time Not of Angels — Time of Demons, War and Popcorn... **Book Island.** Elena Zinovieva's *Publication* • 216

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Harbin — „Russian Kitezh“. *Part 11* • 242

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»

Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9

Телефон: (812) 314-72-50

E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Сайт «Невы»: <http://nevajournal.ru>, <https://neva-journal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>, <https://neva-journal.ru>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 20.02.2023. Подписано в печать 15.03.2024.

Выход в свет 03.04.2024. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108 $\frac{1}{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 15

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86

Тел. (812) 207-58-43